

MARK
TWAIN

СДЕЛКА
С САТАНОЙ



**МАРК
ТВЕН**



**ЛЕНИЗДАТ
1986**

Составитель П. В. Балдицын

Твен Марк

Т26 Сделка с Сатаной /Сост.: П. В. Балдицын. —
Л.: Лениздат, 1986. — 496 с.

В сборник вошли сатирические произведения писателя, в которых автор высмеивает религиозное ханжество и нравы церковников.

Т $\frac{4703000000-255}{M171(03)-86}$ 291—86

86.16

МАРК ТВЕН И РЕЛИГИЯ

Ни одно божество, ни одна религия не выдержит насмешки. Церковь, аристократия, монархи, живущие надувательством, встретившись с насмешкой лицом к лицу, — умирают.

Марк Твен. Из записных книжек. 1888 г.

Том Сойер и Гек Финн, принц и нищий — эти герои произведений Марка Твена знакомы нам с детства. Всякий, верно, помнит, как юный пройдоха Том Сойер выторговал «духовную» награду — Библию в дешевеньком переплете, обменяв всевозможные ребяческие сокровища на желтые, красные и синие билетки, удостоверяющие знание двух тысяч стихов из Библии, а потом опозорился, перепутав библейских героев. Надо сказать, что создатель Тома Сойера еще мальчишкой заслужил эту награду по праву.

Великий американский писатель Марк Твен (1835—1910) вырос в захолустном городке на границе между освоенными землями и еще не заселенной территорией на Западе континента. И звали его в те годы Сэмюэль Ленгхорн Клеменс, а чаще, наверное, — Сэм. Сэм не был паинькой и — как Том Сойер — терпеть не мог воскресную школу, где в детские головы вдалбливали «слово божье». Но Библию знал, годам к пятнадцати прочел ее от корки до корки. При всем при этом, а может, благодаря этому набожностью и благочестием не отличался. Его даже исключили из воскресной школы за непослушание, а когда Сэм исчез из родного Ганнибала, прошел слух, что его унес дьявол.

США — первая в мире страна, которая еще в конце XVIII века провозгласила отделение церкви от государства, но отделение это никогда не было полным. По традиции речи политиков и государственных деятелей — от первого президента США до нынешнего без исключений — полны обращений к богу, к религиозным понятиям и символам. Быть атеистом в Америке всегда было чрезвычайно трудно, крайне неприлично и невыгодно. Так что многие просвещенные американцы даже сегодня, вынужденные отвечать на вопросы анкет об их вероисповедании, стыдливо пишут нечто вроде «агностик» (т. е. сторонник идеи непознаваемости бога) или «скептик» (т. е. сомневающийся в существовании бога), только бы не употреблять слова «атеист».

Просветители еще в XVIII столетии провозгласили наступление «Века Разума», но «Век Веры» в Америке явно затянулся. Детст-

во и юность писателя прошли в среде почти сплошь религиозной. Любые события в жизни человека, его поступки и помыслы — все объяснялось воздействием бога. И удачи и радости — от бога, и горе и невзгоды — от него же. Пуританская доктрина особенно нажимала на кару божью, и в душе юного Сэма Клеменса надолго поселился страх перед суровым пресвитерианским богом, так что каждую грозу он воспринимал как приход бога за душами грешников, а каждую смерть в городке — как суровое предостережение бога ему лично. Он ничуть не удивился бы, если б весь Ганнибал был умерщвлен богом только ради того, чтобы последний раз предупредить Сэма о соблюдении Дня субботного — дабы он не удил рыбу в день, предназначенный для отдыха.

Дома и в школе, в лавке и на улице — везде говорили о боге. Весь город сбегался послушать бродячего проповедника. На 2500 жителей Ганнибала в 1847 году было 6 церквей. Верной прихожанкой одной из них была мать будущего писателя. Правда, она любила веселье и танцы, что почиталось греховным с точки зрения пуританской морали, и была женщиной удивительно добросердечной, готовой заступиться за каждого униженного и отверженного, даже за Сатану, — обо всем этом говорится в твеновской «Автобиографии».

Рядом были не только люди веры, но и люди разума. Биографы писателя называют «свободомыслящими» его отца и дядю. Сам Твен вспоминал: «Мой отец был... непоколебимо честен, неподкупно справедлив и добродетелен, хотя никогда не ходил в церковь, никогда не говорил о религии, и, не разделяя благочестивых радостей своей пресвитерианской семьи, никогда, казалось, не страдал от этого». Дядя, на ферме которого юный Сэм проводил летние месяцы, интересовался естественными науками, был знаком с трудами Дарвина и Гексли, критиковал Библию.

Позднее было знакомство с шотландским мастеровым Макфарлейном, который поражал тем, что знал наизусть словарь и чуть не всю Библию. Он познакомил двадцатилетнего Сэма Клеменса с додарвиновской теорией эволюции, прихотил к систематическому чтению.

Больше всего Твен любил исторические и естественнонаучные сочинения — то, что он называл «самым весомым сортом литературы». И многое оттуда почерпнул. С интересом читал произведения великих просветителей Вольтера, Свифта и книгу Томаса Пейна «Век Разума» (1794), которую некогда называли «библией для неверующих».

Книги и жизненный опыт усиливали сомнение в религиозных догмах. Твен был самоучкой и кроме нескольких классов ганнибальской школы никакого образования не имел. После смерти отца с 12 лет ему пришлось зарабатывать себе на жизнь: был наборщи-

ком, лодчманом на великой Миссисипи, старателем и уж потом стал профессиональным журналистом.

Как газетный корреспондент в 1867 году Твен принял участие в путешествии «по святым местам» Палестины и стран Средиземноморья, посетил он и Россию. Убожество святых реликвий и ханжество новоявленных паломников, контраст между роскошью католических храмов и нищетой простых итальянцев — все это едко высмеял Твен в своей книге «Простак за границей» (1869).

Стремление быть искренним определяет и творчество Твена и его поведение в вопросах веры. Он полюбил дочь богатого углепромышленника Оливию Лэнгдон, с трудом добился согласия ее отца на брак, и вот перед самой помолвкой пишет обожаемой им Ливии, что совсем не чувствует в своей душе веры в бога. Оливия была весьма набожной и, согласившись стать женой насмешника и скептика, собиралась — ни больше ни меньше — совершить духовный подвиг — вернуть заблудшую овцу в «стадо Христово». По настоянию жены Твен ходил в церковь — как он признавался писателю У. Д. Хоуэллсу: «Это убивает меня, но я хожу». Он даже искал веры в своей душе.

И не нашел. Своему другу — священнику Твичелу, безуспешно пытавшемуся наставить его на путь истинный, Твен писал в 1878 году: «Я совсем не верю в вашу религию... Я не верю ни одному слову вашей Библии». И тогда же брату: «Ни Хоуэллс, ни я не верим ни в ад, ни в божественную сущность Христа», — добавляя при этом, — «но все же особа Христа священна, и никому не следует говорить о нем легкомысленно и непочтительно...»

Да, великую силу привычек он знал прекрасно! И вынужден был учитывать — и в жизни, и в творчестве. «Законы — песок, привычки — скала... Они не подчиняются доводам разума». Написав «Путешествие капитана Стормфилда в рай», Твен долгие десятилетия не печатал его. Так и не увидели свет при жизни писателя многие его антирелигиозные высказывания и произведения: «Письма с Земли» и автобиографические диктовки на эту тему опубликованы более чем через полвека после его смерти, а некоторые вещи так и лежат под спудом до сих пор.

Примирение с предрассудками среды не состоялось, и возвращения «заблудшей овцы» не произошло. Наоборот, божье стадо недосчиталось в конечном счете и еще одной души — «заблудилась» Оливия, под воздействием мужа утратив веру. Она признавалась, что стала совершенно безразличной к богу, не верит в загробную жизнь.

Религию Твен понимал как своего рода костыли для нищих духом, как поддержку для слабых волей, как «духовное убежище и приют», в котором, по его словам, «нуждаются все женщины и многие из мужчин». Поэтому он переживал, что сокрушил святыни той, которую горячо любил всю свою жизнь, он переживал, что

отнял у нее последнее утешение. На склоне ее жизни (она умерла в 1904 году) Твен даже пытался притвориться, что верит в существование загробного мира, но у него это неубедительно выходило — Ливи не поверила. Имея такой опыт, он не вмешивался в воспитание своих дочерей и не навязывал им своих взглядов. По иронии судьбы единственная из них, пережившая своего отца, стала страстной поклонницей той самой «христианской науки», которую отчаянно разоблачал Твен. Именно она долгие годы не разрешала печатать самые острые произведения отца, касающиеся религии.

Воззрения Твена были основаны на принципах свободы и терпимости.

Удивительным образом он умел сохранять дружеские отношения с людьми, чьих верований не разделял. Среди его друзей было несколько священников, он участвовал в их общественных начинаниях, если видел в них пользу людям.

Твен всегда был далек от односторонности и крайности фанатизма, пусть и богоборческого; он не только высмеивал несообразности религии, но умел заметить и какие-то положительные стороны деятельности религиозных учреждений и лиц. Так, он поддерживал преподобного Г.-У. Бичера, который мечтал создать храм, где были бы помещения для библиотеки и читального зала, для общественных собраний и семейных торжеств, игр и танцев и куда могли бы приходить люди разных вер, а также и атеисты. Отрицая лжеучение «христианской науки», Твен отмечал и ее умение отвлечь сознание человека от собственных тревог.

Анализируя наиболее развернутые высказывания Твена о религии — от замечаний в письмах 60-х годов до произведений его последних лет, можно заметить, что он наследник просветительской критики веры в бога. Прежде всего он отрицает милосердие бога, ведь несправедливость людского жребия была одной из главных причин сомнений в существовании богов.

Твен не принимал идею боговдохновенности Библии; он прекрасно понимал, что писания эти созданы людьми, а не богом, чудеса, в них описанные, — бездоказательны, содержание местами бесчеловечно и непристойно. Библию он рассматривал как собрание легенд, обычаев и преданий, и высоко ценил литературные достоинства их языка, меткость выражений.

Твен высмеял многие мифы и догматы христианства: всемогущество и провидение бога, первородный грех Адама и непорочное зачатие Христа, сказки о сотворении мира и вселенском потопе, о существовании загробной жизни и троицы бога. Он отвергал и важнейший для протестантизма постулат божественного предопределения, еще до начала времен назначившего, кто из людей будет спасен, а кто обречен на вечные муки. Основу христианской морали — Нагорную проповедь евангельского Христа Твен воспринимал не

как божественное установление, но как мораль, рожденную опытом человеческого общения, ведь подобные нравственные законы выводил и Конфуций, они просты, естественны и разумны.

В записной книжке Твена за 1898 год читаем: «Единственным подлинным Богом я считаю Бытие, что создало эту величественную вселенную и управляет ею... Истинная его сущность начертана ясными словами в истинной Библии — Природе и ее истории». Это почти цитата из пейновского «Века Разума». Но если Пейн обычно остается в границах логических рассуждений и доказательств, то Твен обязательно проверяет любое верование и любой религиозный догмат человеческой психологией, привычками и нравами людей.

Художественное начало играет особую роль в борьбе против религиозных предрассудков. К мощным орудиям разума и науки Твен добавляет еще одно — смех. И смех оказывается особенно разительным средством. Впрочем, и в этом Твен — наследник просветителей Вольтера и Свифта.

Смехом Твен боролся против религиозных нелепостей и людских пороков, против Его Всемогушества Доллара и Его Мерзейшества Империализма; смехом Твен боролся против чудовищной лжи, загораживающей горизонты человеческого бытия.

При жизни у Твена была слава шута. В его речах и интервью, в его рассказах и памфлетах множество шутовских рассуждений и образов, к этому все привыкли; на карикатурах и дружеских шаржах его рисовали в дурацком колпаке и костюме. Шутовство в данном случае — это определенная реакция на жизнь, продиктованная душевными и умственными качествами художника, подсказанная определенной традицией — американским фольклорным и газетным юмором. Рядом с Твеном была целая плеяда юмористов, от них он воспринял не только общий тон шутовской игры, но и соответствующие ей жанры, образные ходы, иронический тон... Да и Марк Твен — не просто псевдоним, а своего рода маска простака и шута, который во многом выше и умнее своих серьезных оппонентов, но притворно соглашается с ними или восхваляет то, что ему противно, чтобы шуткой разрушить доводы и хвалы. Шуткой он возвышается и над самим собой, над собственными невзгодами и ограниченностью своих взглядов — ведь первое правило истинного шута — шутить над собой. Марк Твен мог подтрунивать над своей смертью, вспомните его знаменитейшую фразу, ставшую крылатой, что слухи о его смерти сильно преувеличены.

Шутил он и в вопросах веры. Когда однажды его спросили, верит ли он в существование рая или ада, Твен ответил: «Я не хотел бы высказывать своего мнения, у меня есть друзья и там, и там».

Во многих своих произведениях Марк Твен выступает героем и рассказчиком одновременно. Он тут и простофиля и обличитель, подающий советы миллионеру Вандербильту делать добрые дела,

потомкам отцов-пилигримов — продать скалу, которой они так кичатся, американским миссионерам — вернуться в родную страну, чтобы положить конец линчеванию негров, или решающий проблему: «Был ли мир сотворен для человека?» Серьезное и смешное неразрывны, переходы от одного к другому мгновенны, критика ведется в маске иронии, но и маска эта не мешает услышать прямое суждение автора.

В других своих произведениях Твен как бы раздваивается: один — простак, обычный человек, воплощение «здравого смысла», порою недалекий, порою трусоватый; другой — таинственный и всезнающий незнакомец, который всегда выше обыденного человеческого понимания и мнения, чаще всего имя ему — Сатана. Эти две маски, два героя почти всегда рядом, хотя порою пара лишь подразумевается. В «Рассказе капитана» налицо один простак, а в «Письмах с Земли» один Сатана, но противоположная точка зрения и там и там присутствует.

Иногда эти герои вступают в диалог — кстати, может быть, этому Твен научился у Вольтера, тот любил диалоги сведущего и профана. Диалогичны многие рассказы Твена, но если даже форма их повествовательная, диалогичность почти всегда присутствует, она создает напряженность полемики и в «Письме ангела-хранителя», и в «Дневниках Адама и Евы», и в памфлетах Твена 1900-х годов, и даже в «Монологам» венценосцев.

Общение всеведущего Сатаны и самого обычного мальчишки Теодора развернуто в «Таинственном незнакомце». Вот Сатана иронизирует над людским тщеславием или трусостью, и в смехе Сатаны слышен горький смех автора. Но когда Сатана остается безразличным к страданиям людей, а Теодор теряет сознание, узрев пытки инквизиции, авторское «я» — в Теодоре. Здесь пара героев — как бы две точки зрения на человека, одна — снаружи, другая — изнутри, одна — критикующая несообразности устройства жизни и общества, людской психологии и морали, а другая — сочувствующая и сострадающая. Игровое столкновение этих точек зрения — вот результат художественного видения Марка Твена, вот суть его смеха — порою веселого, а порою и мрачного.

Траум — это мечта, мечта о совершенном существе, способном передвигаться быстрее скорости света, жить тысячи лет, обладать титаническими способностями. Человек не таков, но он должен быть лучше, он не должен уподобляться устрице и восторженно взирать на себя как на венец творения. Нет — человеческой ограниченности! — одна из ключевых мыслей твеновского творчества. Оттого и отрицает Твен религию, что она ставит пределы человеку.

Твен как мыслитель и художник всегда пытается увидеть иную сторону вещей, понять и почувствовать другого, перевоплотиться в него. Он выслушивает изгоя Сатану и не меньшего изгоя Адама, капитана Стормфилда, побывавшего на небесах, и китайца, очутив-

шегося в Америке, он говорит от лица народов, страдающих под пятой «христианской цивилизации», даже от лица тех, кого глубоко ненавидит, — русского царя, бельгийского короля Леопольда, жестокого бога, наконец.

Нельзя сказать, чтобы всегда и везде, затрагивая религиозную тематику, Твен бичевал религию. Вовсе нет. В «Дневниках» Адама и Евы он не просто подтрунивает над библейским мифом о перволюдях. Взяв его как материал, Твен с глубоким проникновением повествует о развитии человеческих взаимоотношений: встреча мужчины и женщины, возникающий между ними неодолимый интерес, симпатия, наконец, любовь и взаимопонимание. У писателей разные средства. Кто-нибудь рассказал бы эту вечную историю на реальном бытовом материале, а Твен использовал библейское предание, сделав его источником веселья и смеха. Художественный эффект во многом порожден вымышленной ситуацией, что у героев все — впервые. Адам — первый естествоиспытатель, Ева — первый лингвист на Земле. Как все это стерто и глухо в Библии, как свежо и лирично у Твена. Чувствуется, что ему глубоко симпатичны его герои.

Твен как-то назвал «Приключения Тома Сойера» «гимном в прозе», вот так и рассказы об Адаме и Еве — гимны жизни и любви. Стоит напомнить читателю, что «Дневник Евы» вышел в свет вскоре после смерти жены Твена, в нем звучит и печальная нота.

В странах, где Библия — с детства знакомая книга, религиозная символика, библейские мифы и происшествия — неисчерпаемый кладёзь ходячих формул и образов. Тем она и интересна для художника, который не раз заявлял, что пишет не для образованной публики, а для широкой массы народа. Твен вообще любил использовать уже избитые образы и сюжеты, взрывая их оригинальностью собственной творческой мысли.

Стертые пятаки — те же деньги, но как на этот медный мусор купить дорогой товар — читательское внимание — вопрос непростой. У Твена есть множество приемов.

Во-первых, можно посмотреть на вещи с неожиданной стороны. На алчного углепромышленника — глазами «ангела-регистратора», есть в протестантской мифологии и такая должность — ангел-хранитель поступков человека. Внимание, оказанное «скареднейшей гадине» со стороны господ бога и присных его, — мощный прожектор, который высвечивает тайное тайных, союз земных и небесных властей, ведь удача в мире собственников дается только самым подлым и беззастенчивым в средствах.

Во-вторых, можно перевести священные представления на грубый язык земли, плоти и быта. Комический эффект поразителен. Все, попавшие в рай, жаждут лобызаться с патриархами, и вот они с ног до головы обслюнявлены в «Путешествии капитана Стормфилда». Пение в раю оказывается скучной поденщиной, да и рай

выглядит весьма противно; ангел у Твена становится конторщиком; библейские поучения — аптекой, а религиозная практика напоминает действия неграмотного коновала; слова воодушевленной молитвы вдруг открывают свой чудовищный смысл.

В-третьих, можно столкнуть обыденное представление и суждение специалиста, это тоже становится формой сатирического разоблачения религиозных представлений. Описывая потоп, Твен включает сначала мнение мореплавателя и перечисляет все то необходимое оснащение, которого не имел ковчег Ноя. Затем обращается к точке зрения ученого-естествоиспытателя, и начинается перечисление, сразу же переходящее к цифрам, перечисление живых существ, которых Ною пришлось бы спасти от потопа, будь он на самом деле.

Еще одно средство — вывернуть наизнанку все ценности и представления лживого мира, и цари станут лицедеями, демократия обернется монархией доллара, Сатана окажется добрым, бог бесконечно жестоким, не вполне разумным, а человек — низшим животным... И выяснится тогда, что вывернутое наизнанку есть истина, а то, что проповедуется с политических трибун или церковных кафедр, — ложь.

Главная функция смеха — разоблачение: сорвать короны и царские одежды, сбросить пелену религиозного и социального обмана, и в то же время — обличение: показать лица узурпаторов и лжецов и тем самым уничтожить ложь, мнимое величие царей и злата, религиозных догм и политических заблуждений.

Вот что оказывается наиважнейшим в твеновской критике религии — то, что она несет в себе критику общества.

Даже в ранних его вещах, где много веселого смеха и чистого шутовства, социальный критицизм звучит вполне определенно. В «Рассказе о дурном мальчике», насмешливо пародирующем назидательные книжки для воскресных школ, вдруг действие переходит в иной план, обретая социальную значимость: «Всякими плутнями и мошенничеством он нажил состояние, и теперь он — самый гнусный и отъявленный негодяй в своей деревне — пользуется всеобщим уважением и стал одним из законодателей штата».

Рядом с этим Джеймсом в творчестве Твена появляются негодяи покрупнее — и уже вполне реальные: молящийся о бедствиях для ближних своих углеторговец из Буффало, мошенники и ханжи миллионеры Вандербилт, Гулд и иже с ними, целая компания политических проходимцев как из демократической, так и из республиканской партии. И тут религиозная эмблематика порою становится средством художественного обобщения — Святой Патрик или форма катехизиса, например. Но ведь и здесь постоянно утверждается мысль, что не боги создали людей, дали им мораль и нравы, а люди творят богов по своему образу и подобию. И возглашается

учение: «Деньги — вот бог... истинный, единый, всевышний, всемогущий».

До корней этого общества, его политики и морали, его философии и религии добрался Твен.

Встречая новое столетие, Твен создает свое издевательское «Приветствие XIX века — XX»: «Я передаю тебе величественную особу, имя которой Христианство, вернувшуюся из своих пиратских налетов на Кяо-Чао, Маньчжурию, Южную Африку и Филиппины испачканной, измазанной, потерявшей честь, с душой, исполненной подлости, с карманами, набитыми добычей, с ханжескими речами на устах. Дай ей мыло и полотенце, но спрячь от нее зеркало».

Твен стал одним из первых писателей, выступивших против империализма. И, естественно, против прикрывающей его «цивилизаторской» фразеологии, против религиозного его щита. Во всех своих острейших памфлетах 1900-х годов Марк Твен изобличал не только алчных монархов и лживых президентов, подлых военных и лицемерных миссионеров, но и в целом то, что они называли «христианской цивилизацией». Отрубленные руки конголезцев и убитые китайцы, жертвы еврейских погромов в России и линчевателей в Америке принесены на алтарь «христианской цивилизации». И в основе всего оказалась та же жажда наживы — захваты земли филиппинской, китайской, южноафриканской.

В подтексте всей этой серии памфлетов лежал призыв к революции. Недаром Твен называл себя «революционером по крови» и провозглашал: «Первой заповедью при всякой монархии должна быть Революция, второй — Революция, третьей и всякой заповедью, и единственным евангелием при монархии должна быть Революция против Церкви и Государства». Вот оно, «евангелие от Твена», его истинный завет.

Смех позднего Твена становится гневным, желчным, порой в нем сильны мрачные тона, а отрицание несправедливого общества наживы приобретает форму разочарования в человеке. Но даже тогда, когда он писал, что человек — трусливое существо, машина, которая действует под влиянием среды, Твен продолжал верить в существование свободного, самостоятельного в своих размышлениях и действиях человека, способного бороться против чудовишной лжи, опутавшей мир. Он верил, что такие люди есть. И прежде всего таким выступает автор твеновских памфлетов, статей и рассказов начала XX века; его совесть не позволяет ему жить спокойно, когда убивают людей — в далеких ли странах или в родном штате Миссури.

Его сатирическая публицистика сохранила свое значение и поныне. В 1960-е годы часто печатался «Монолог короля Леопольда». Во время агрессии США во Вьетнаме неоднократно издавалась «Военная молитва», и молодые американцы читали ее как злобо-

дневную антивоенную листовку. Так твеновские «заповеди» живут в XX веке и будут жить дальше.

В США давно идут споры, был ли Твен атеистом. При жизни его не раз объявляли «великим безбожником», «представителем князя Тьмы в Америке», «сыном дьявола». После смерти — по разным причинам — стали утверждать, что писатель так и остался верующим христианином. Одни — ради того, чтобы облик близкого им человека выглядел более благообразным с их точки зрения; другие — чтобы доказать ограниченность писателя рамками его среды... Наиболее глубоко и исторично этот вопрос исследовал американский историк-марксист Ф. Фонер в своей книге «Марк Твен — социальный критик» (1958, русский перевод — 1961), многие приведенные им факты использованы в настоящем предисловии. Вывод Фонера таков: Твен «не был атеистом, как считают многие. Он стремился убедить людей отказаться от традиционной веры и создать новую, которая способствовала бы развитию цивилизации». Позже появилась работа К. Харнсбергер «Марк Твен. Взгляды на религию» (1961), где — как и у Фонера — было собрано множество фактов и высказываний писателя, свидетельствующих, что взгляды Марка Твена, по крайней мере, не соответствуют общепринятой христианской вере, но основной вывод совпадал с фонеровским.

В общем, религиозную веру можно свести как минимум к двум принципам — к вере в высшее духовное существо и в загробную жизнь. Что мы находим у Твена? Вроде бы он прямо заявляет в записной книжке 1887: «Я верю в бога всемогущего», но затем опровергает один за другим многие религиозные догматы и заявляет, что глубоко равнодушен к вопросу о загробной жизни. И богом у него оказывается бытие, то есть материя, жизнь, вечный закон природы. Так что если внешне это напоминает просветительский деизм, то по сути перед нами атеизм, опирающийся на всеокрушительную силу смеха. Конечно, это атеизм, который только что освободился от веры и во многом занят ее вопросами, который избирает формой своего высказывания пародию на религиозные тексты, а маской своею — религиозные мифы и образы.

Что же касается веры Твена, то он верил по-настоящему. Верил в природу и незыблемость ее законов. Верил в человека растущего, которому окажутся ненужными духовные костыли религий. Верил в необоримую мощь народов, которые, рано или поздно осознав негодность условий человеческого существования, восстанут против них. Эту веру он и завещал нам.

И еще он верил в великую силу правды и великую силу смеха. Потому смех его, утверждающий истину, смех писателя живого и доныне сражающегося против зла в этом мире остается с нами и через 150 лет после его рождения.

П. Балдицын

ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА СТОРМФИЛДА В РАЙ¹

ОТ АВТОРА

С капитаном Стормфилдом я был хорошо знаком. Я совершил на его корабле три длинных морских перехода. Это был закаленный, выдавший виды моряк, человек без школьного образования, с золотым сердцем, железной волей, незаурядным мужеством, несокрушимыми убеждениями и взглядами и, судя по всему, безграничной уверенностью в себе. Прямой, откровенный, общительный, привязчивый, он был честен и прост, как собака. Это был очень религиозный человек — от природы и в силу материнского воспитания; и это был изощренный и удручающий сквернослов в силу отцовского воспитания и требований профессии. Родился он на корабле своего отца², всю жизнь провел в море, знал берега всех стран, но ни одной страны не знал дальше берега. Когда я впервые встретился с ним, ему было шестьдесят пять лет, и в его черных волосах и бороде сквозили седые нити; но годы еще не наложили

¹ ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА СТОРМФИЛДА В РАЙ. Замысел этого произведения возник у Твена еще в 1867—1868 гг., после знакомства с капитаном Нэдом Уэйкменом (он же послужил прототипом главного героя «Рассказа капитана»). Скорее всего, повесть была написана уже к середине 1870-х гг. Во всяком случае Твен писал писателю У.-Д. Хоуэллсу, одному из близких и давних своих друзей, в 1906 г.: «Например, завалилась у меня книжица, которую я читал вам в Хартфорде лет тридцать тому назад... Это — «Путешествие капитана Стормфилда в рай». Читается неплохо, и я не стал менять ни слова, — ведь оно не увидит света пока я жив». И все же Твен напечатал, правда, только третью и четвертую главы повести — в декабре 1907-го и январе 1908 г. в одном из журналов. В 1909 г. они появились отдельной книгой. — *Прим. сост.*

² По другим сведениям, капитан родился в Коннектикуте, а в море ушел четырнадцати лет. — *Прим. М. Т.*

своего отпечатка ни на его тело, ни на твердый характер, и огонь, горевший в его глазах, был огнем молодости. Он был чарующе обходителен, когда ему угрожали, в противном случае с ним нелегко было иметь дело.

Воображение у него было богатое, и, вероятно, это влияло на то, как он излагал факты; но если и так, сам он этого не сознавал. Он верил, что каждое его слово — правда. Когда он рассказывал мне про свои диковинные и жуткие приключения на Чертовой Дороге — обширном пространстве в южной части Тихого океана, где стрелка компаса не способна выполнять свою работу, а только крутится и крутится как сумасшедшая, — я его пожалел и не стал высказывать предположения, что все это ему приснилось, потому что понял: он-то говорит всерьез; но про себя я подумал, что это было видение или сон. В глубине души я уверен, что его путешествие в Иной Мир тоже было сном, но я и тут смолчал, чтобы не обидеть его. Он был убежден, что в самом деле совершил это путешествие; я слушал его внимательно, с его разрешения записал стенографически события каждого дня, а потом привел свои записи в порядок. Я слегка подправил его грамматику и кое-где смягчил слишком крепкие выражения; в остальном передаю его рассказ так, как слышал от него.

МАРК ТВЕН

Глава первая

Я умирал, это мне было понятно. Я ловил ртом воздух, потом на долгое время затихал, а они стояли возле моей койки, молчаливые и неподвижные, дожидаясь моей кончины. Изредка они переговаривались между собой, но их слова звучали глуше и глуше, дальше и дальше. Впрочем, мне все было слышно.

Старший помощник сказал:

— Как начнется отлив, он испустит дух.

— Откуда вы знаете? — спросил Чипс, судовой плотник. — Здесь, посреди океана, отлива не бывает.

— Как это нет, бывает! Да все равно, так уж положено.

Снова тишина — только плескали волны, скрипел корабль, раскачивались из стороны в сторону тусклые фонари, да тоненько посвистывал в отдалении ветер. Потом я услышал откуда-то голоса:

— Уже восемь склянок, сэр.

— Так держать,— сказал помощник.

— Есть, сэр.

Еще чей-то голос:

— Ветер свежее, сэр, идет шторм.

— Приготовиться,— скомандовал помощник. — Взять рифы на топселе и бомбрамселе!

— Есть, сэр.

Через некоторое время помощник спросил:

— Ну, как он?

— Отходит,— ответил доктор. — Пускай полежит еще минут десять.

— Все приготовили, Чипс?

— Все, сэр, и парусину и ядро. Все готово.

— А Библия, отпевание?

— Не задержим, сэр.

Снова стало тихо, даже ветер свистел теперь еле-еле, будто во сне. Потом послышался голос доктора:

— Как вы думаете, он знает, что его ждет?

— Что пойдет в ад? По-моему, да.

— Сомнений, надо полагать, быть не может? — Это был голос Чипса, и прозвучал он печально.

— Какое еще сомнение? — сказал помощник. — Да он и сам на этот счет не сомневался, чего же вам еще?

— Да,— согласился Чипс,— он всегда говорил, что там его, наверное, ждут.

Долгая, томительная тишина. Потом голос доктора, глухой и далекий, словно со дна глубокого колодца:

— Все. Отошел. Ровно в двенадцать часов четырнадцать минут.

Тьма. Сразу же непроглядная тьма! Я понял, что я умер.

Я почувствовал, что куда-то нырнул, и догадался, что птицей взлетаю в воздух. На миг промелькнул подо мною океан и корабль, потом стало темно, ничего не видно, и я, разрезая со свистом воздух, понесся вверх. «Я весь тут,— мелькнуло у меня в мозгу,— платье на мне, все остальное тоже, вроде как ничего не забыл. Они похоронят в океане мое чучело, вместо меня. Я-то весь тут!»

Вдруг я увидел какой-то свет и в следующее мгновение влетел в море слепящего огня, и меня понесло сквозь пламя. На моих часах было 12.22.

Знаешь, что это было? Солнце. Я так и догадался, и позже моя догадка подтвердилась. Я был там через восемь минут после того, как снялся с якоря. Это по-



могло мне определить скорость хода: сто восемьдесят шесть тысяч миль в секунду. Девяносто три миллиона миль за восемь минут! Ну и возгордился же я — таких гордых призраков еще свет не видел. Я радовался, как ребенок, и жалел, что не с кем здесь устроить гонки.

Не успел я это подумать, как солнце уже осталось далеко позади. Оно имеет меньше миллиона миль в диаметре, и я пролетел через него, не успев даже согреться. И снова попал в крошечную тьму. Да, во тьму, но сам-то я не был темным. Мое тело светилось мягким призрачным светом, и я подумал, что похож, вероятно, на светляка. Откуда исходит свет, я не мог понять, но время на часах было видно, а это самое главное.

Вдруг я заметил неподалеку свет, похожий на мой, и, обрадовавшись, приложил руки трубкой ко рту и окликнул:

— Эй на корабле!

— Есть, привет вам, друг!

— Откуда?

— С Чатам-стрит.

— Куда направляетесь?

— А вы думаете, я знаю?

— Небось туда же, куда и я. Имя?

— Соломон Голдстейн. А ваше?

— Капитан Бен Стормфилд, бывший житель Фэрхейвена и Фриско. Пристраивайтесь, дружище!

Он принял мое приглашение. В компании сразу стало веселее. Я от природы общителен, терпеть не могу одиночества. Но мне с детства внушили предубеждение против евреев — знаете, как внушают всем христианам, — хотя души моей оно не затронуло, дальше головы не пошло. Но даже если бы и пошло, в тот момент оно бы исчезло, — до того я томился одиночеством и мечтал о каком-нибудь попутчике. Господи, когда летишь в... ну, словом, туда, куда я летел, спеси в тебе поубавляется и бываешь рад любому, невзирая на качество.

Мы помчались рядышком, беседуя как старые знакомые, и это было очень приятно. Я решил, что сделаю доброе дело, если успокою Соломона и устраню все его сомнения. Когда в чем-нибудь не уверен, это всегда портит настроение, я по себе знаю. Итак, поразмыслив, я сказал ему, что, поскольку он летит со мной рядом, это доказывает, куда он летит. Вначале он был ужасно огорчен, но потом смирился, сказал, что так, пожалуй, даже лучше: ведь ангелы, конечно, не примут его в

свою компанию, еще прогонят, если он попробует к ним втереться; так было в Нью-Йорке, а высшее общество, наверно, везде одинаково. Он просил меня не покидать его, когда мы прибудем в порт назначения, ему нужна моя поддержка — ведь там у него не будет никого из своих. Бедняга так меня тронул, что я пообещал остаться с ним «на веки вечные».

Потом мы долго молчали; я не тревожил его, чтобы дать ему привыкнуть к новой мысли. Ему это будет полезно. Время от времени я слышал его вздохи, а потом заметил, что он плачет. Тут, признаюсь, я рассердился на него и подумал: «Типичный еврей! Пообещал какому-нибудь деревенщине сшить пиджак за четыре доллара, а теперь пожалел, решил, что, если бы вернулся, постарался бы всучить ему что-нибудь похуже качеством за пять. Бездушный народ, и никаких моральных принципов!» А он все плакал и всхлипывал, а я от этого еще пуще злился на него и все меньше его жалел. Под конец я уже не сдержался и сказал: —

— Ну хватит! Черт с ним, с пиджаком! Выбросьте это из головы!

— Пиджа-ак?

— Ну да. Уж горевали бы о чем-нибудь важном!

— Кто вам сказал, что я горюю о пиджаке?

— А о чем же?

— Ах, капитан, я схоронил свою маленькую дочку и теперь никогда, никогда ее не увижу! Я не выдержу этого горя!

Ей-богу, он меня как ножом полоснул. Дай мне целую эскадру, я не соглашусь еще раз пережить такой стыд за свои гадкие мысли. И я в этом признался ему, покаялся перед ним и так себя ругал, так ругательно ругал, что даже его расстроил и уж перестал говорить — половины того, что хотел, не высказал. А он принялся умолять меня, чтобы я не говорил про себя таких страшных вещей и не раздувал истории, что я ошибся, а ошибка — не преступление!

Правда, это было великодушно с его стороны? Что, нет? По-моему, да. Я считаю, что из него мог бы получиться отменный христианин, и я ему прямо это сказал. И если бы было не поздно, я бы жизни не пожалел, чтобы убедить его креститься.

Мы снова заговорили как друзья, и он уже больше не таил своей печали, а изливался мне открыто, а я с открытой душой слушал и слушал, пока она не переполнилась. Господи, какое это было горе! Он обожал

свою дочку, лелеял, берег как зеницу ока. Ей было десять лет, она умерла шесть месяцев тому назад, и он был рад собственной смерти, так как надеялся на том свете снова заключить ее в объятия и больше никогда с ней не расставаться. И вот погибла его мечта. Он потерял свою дочку — *навсегда*. Теперь это слово приобрело новый смысл. Я был ошеломлен, подавлен. Всю жизнь мы верим, что встретимся снова со своими умершими друзьями, ни на минуту в том не сомневаемся, нам кажется, что мы это *знаем*. И это дает нам силы жить. И вот рядом со мной отец, потерявший эту надежду. Как же я не подумал? Почему не промолчал? Он бы сам потом догадался! Слезы все еще струились по его щекам, из груди рвались стоны, губы вздрагивали, и он шептал:

— Бедная крошка Минни, и я бедный, несчастный!

А я повторял про себя его слова: «Бедная крошка Минни, и я бедный, несчастный!»

Я этого не забыл, это застряло как заноза у меня в сердце. Не раз потом, вспоминая трагедию бедного еврея, я говорил себе: «Эх, вот если бы я держал путь в рай, тогда я бы поменялся с ним местами, и он сидел бы со своей дочкой, пусть меня бог накажет, если я вру!» Вот попадешь сам в такое положение, тогда поймешь мое чувство!

Глава вторая

Мы болтали еще долго и, сильно уставшие, заснули часа в два ночи; спали крепким сном и проснулись бодрые, освежившиеся, около полудня. Есть нам не хотелось, но покурил бы я с великим удовольствием, будь у меня табак и трубка. И выпить бы тоже не отказался.

Необходимо было привести в порядок мысли. Проснувшись, мы сперва не могли сообразить, что с нами произошло, нам казалось, что мы все видели во сне. Да и потом не сразу избавились от ощущения, что это был сон. Однако все же избавились. И тут, вспомнив, куда летим, мы содрогнулись от ужаса. Потом ужас сменился изумлением. И радостью. Радостью — потому что мы еще не прибыли. Во мне шевельнулась надежда: авось не скоро долетим!

— Сколько мы уже прошли, а, капитан Стормфилд?

— Миллиард сто миллионов миль, а может, даже миллиард двести.

— Ах, майн готт, какая быстрота!

— Еще бы! Быстрее нас — только мысль. Даже курьерскому поезду потребовалось бы дней двадцать пять, от силы двадцать четыре, чтобы объехать земной шар. А мы за одну секунду можем облететь его четыре раза. Эх, жаль, Соломон, что не с кем устроить нам гонки!

Во второй половине дня мы заметили слабый свет с ост-норд-ост-тэн-оста примерно на два румба от ветра. Мы его окликнули, и он пристроился к нам. Это оказался покойник по фамилии Бейли, из Ошкоша¹, покинувший землю накануне в семь часов десять минут вечера. Малый неплохой, но, как видно, любитель погрузить и помечтать. По политическим убеждениям — республиканец, вбивший себе в голову, что никакая сила, кроме его партии, не способна спасти цивилизацию. Он был в меланхолическом настроении, но мы его расшевелили, втянули в беседу, и он, немножко повеселев, кое-что рассказал о себе. Между прочим и то, что покончил жизнь самоубийством. Мы это и раньше заподозрили — по дырке у него на лбу: свайкой так не проткнешь.

Потом он опять предался грусти и поведал нам причину. Он был щепетильно честен, а перед смертью сделал некий политический ход, и теперь все сомневался, вполне ли это было этично. У них в городке, где он жил, предстояли выборы на замещение какой-то должности в муниципалитете, и успех зависел от перевеса в один голос. А Бейли знал, что не сможет присутствовать на выборах, так как в это время будет уже здесь, где мы. И он подумал, что если кто-нибудь из членов демократической партии тоже устранился от выборов, тогда успех республиканскому кандидату все равно обеспечен. И вот, уже решившись на самоубийство, он отправился к одному своему другу-демократу, человеку строжайших нравственных правил, и убедил его составить ему пару. Этим он спас республиканский список и лишь тогда застрелился. Но теперь его немножко тревожил этот поступок: он не был уверен, что, как пресвитерианин, поступил правильно.

Соломон — тот сразу проникся к нему симпатией: по его мнению, выдумка Бейли была замечательная, и он, что называется, ел его глазами, завидовал его уму и, ухмыляясь этакой хитрой, чисто еврейской ухмылкой, хлопал себя по ляжке и восклицал:

¹ Ошкош — город в штате Висконсин. — *Прим. сост.*

— Ох, Бейли, ты меня прямо-таки подбиваешь крепиться!

А застрелился-то Бейли из-за девушки — такой Кандес Миллер. Он никак не мог добиться от нее ответа, любит ли она его, хотя казалось, что любит, и он питал надежду жениться на ней. Судьбу его решила записка, в которой Кандес призналась ему, что любит его как друга и хотела бы навсегда сохранить с ним добрые отношения, но сердце ее принадлежит другому. Рассказывая нам это, бедняга Бейли не выдержал и заплакал.

И ведь вот как иногда бывает! Внезапно мы заметили позади голубоватый свет, мы его окликнули, и, когда он приблизился к нам, Бейли вскричал:

— Господи, Том Уилсон! Вот так сюрприз! А ты каким образом очутился здесь, приятель?

Уилсон так умоляюще поглядел на него, что у меня сердце защемило. Он сказал:

— Не радуйся мне, Джордж. Я этого не стою! Я подлый негодяй, мне не место среди добрых людей.

— Полно вздор молоть! С чего это ты так? — удивился Бейли.

— Джордж, я поступил как предатель! Ты был мой самый лучший друг, мы с тобой дружили с детства, а я причинил тебе такое страшное зло! Но мне и в голову не приходило, что моя дурацкая шутка может иметь такие роковые последствия! Это я написал тебе письмо, будто от ее имени. Она ведь любила тебя, Джордж!

— Не может быть!

— Да, любила! Она первая вбежала к тебе в дом, увидела тебя мертвого, в луже крови, и рядом — письмо, подписанное ее именем, и поняла все. Она упала на твое бездыханное тело, осыпала поцелуями твое лицо, глаза, клялась тебе в любви, рыдала и сокрушалась. И выходит, что это я тебя убил, и я же разбил ее сердце. Я не мог этого пережить, и — как видишь — я здесь!

Ну-ну, еще один самоубийца! Бейли понимал, что назад дороги нет. На него было жалко смотреть. Он сгоряча решил убить себя, поддавшись отчаянию и даже не проверив, правда ли, что письмо написала та девушка. Он все повторял, что не может простить себе такую поспешность, и почему он не подождал, почему был глух к голосу разума, и все прикидывал, как ему следовало поступить и как он поступил бы теперь, если бы можно было вернуться. Но что толку! Как ни жалко

нам было его, мы знали, что возврата нет. Ужасная история! Люди думают, что смерть приносит покой. Ничего, умрут — тогда узнают!

Соломон оттянул Бейли в сторонку, чтобы успокоить его. Это он правильно сделал: люди, у которых свое горе, умеют утешить других.

Примерно через неделю мы нагнали еще одного путешественника. На сей раз это оказался негр. Ему было лет тридцать восемь — сорок, почти половину своей жизни он провел в рабстве. Звали его Сэм. Симпатичный малый, добродушный и жизнерадостный. Уже позднее я понял, что каждый вновь прибывший сперва производит на остальных гнетущее впечатление: он только и думает что о своих родных, о том, как они его оплакивают, и ни о чем другом он не способен говорить, и требует от всех внимания и сочувствия, и со слезами рассказывает, что за славная, добрая у него жена или бедная старушка мать, сестренка или братья, и, конечно, все это надо выслушивать с подобающей кротостью, и настроение у всех портится на несколько дней: каждый начинает вспоминать свое горе — свою семью и своих близких. Но самое тяжелое, когда новичок — молодой человек, у которого осталась на земле возлюбленная. Тут уж нет конца слезам, и сетованиям, и разговорам. И — в который раз — этот осточертевший вопрос: «Как вы думаете, она скоро откажется жить, скоро придет сюда?» Что можно ответить? Только одно: «Будем надеяться». Но когда ты повторил это несколько тысяч раз, то уже терпение лопается и думаешь: лучше бы мне не умирать! А покойник — он что, он тот же человек и, естественно, приносит с собой свои привычки. Ведь вот, приезжая в какой-нибудь город, в любой город на свете, слышим же мы вечно одни и те же вопросы: «Вы у нас впервые?», «Как вам здесь нравится?», «Когда вы приехали?», «Сколько намерены здесь пробыть?».

Иной раз удираешь на следующий же день, лишь бы скрыться от этих вопросов. Но со скорбящими влюбленными мы придумали лучше: мы соединили их в одну группу, предоставив им утешать друг друга. Им это не повредило, напротив — даже понравилось: сочувствия и соболезнований хоть отбавляй, а больше им ничего и не нужно.

У Сэма оказалась в кармане трубка, табак и спички. Не могу передать, как я обрадовался. Но радость моя быстро померкла, — спички не загорались. Бейли

объяснил нам причину: мы летим в безвоздушном пространстве, а для огня необходим кислород. Все-таки я посоветовал Сэму не бросать курительные принадлежности — авось мы еще влетим в атмосферу какого-нибудь светила или планеты и, если позволят ее размеры, может быть, успеем сделать одну-две затяжки. Но Бейли сказал, что это маловероятно.

— Наши тела и одежда утратили свои земные свойства, — пояснил он, — иначе мы мигом сгорели бы, когда прорывались сквозь слои атмосферы, окружающей Землю. И табак тоже утратил свои земные свойства: он теперь несгораемый.

Вот такая штука! Все же я предложил сохранить табачок — уж в аду-то он загорится!

Когда негр услышал, куда я лечу, он очень расстроился, не хотел верить и принялся спорить со мной и доказывать, что я ошибаюсь, но я нисколько не сомневался и сумел его убедить. Он жалел меня как самый близкий друг и все утешал, что, может быть, там не так уж жарко, как говорят, и успокаивал, что я привыкну, а привычка ведь все облегчает. Его добрые слова расположили меня к нему, а когда он предложил мне на память свой табак и трубку, я совсем растаял. Славный человек — ну как все негры. Чтобы у негра было злое сердце, этого я почти никогда не встречал.

Мелькали недели; время от времени к нам присоединялись новые спутники, и к концу первого года нас уже было тридцать шесть человек. Мы были похожи на рой светляков — прелестное зрелище! Нас мог бы набраться целый полк, если бы все мы летели вместе, но, к сожалению, не у всех была одинаковая скорость. Правда, эскадра обычно равняется по тихоходам, и я еще подтянул их немного, установив норму двести тысяч миль в секунду, но все же, те, кто спешил поскорее встретиться с друзьями, умчались вперед, и мы не стали их удерживать. Лично я не торопился. Мои дела подождут! Позади остались чахоточные и прочие больные — они ползли, как черепахи, и мы потеряли их из виду. Нахалов и скандалистов, которые поднимают шум из-за всякой чепухи, я прогнал с дороги, отчитав как следует и предупредив, чтобы держались подальше. С нами оставался разный народ — и помоложе и постарше, в общем ничего, неплохие люди, хотя надо признать, что кое-кто из них не вполне соответствовал требованиям.

Так вот, когда я пробыл покойником лет тридцать, меня начала разбирать тревога. Ведь все это время я несея в пространстве вроде кометы. Я сказал «вроде»! Но поверь, Питерс, я все кометы оставил позади! Правда, ни одна из них не следовала в точности по моему курсу — кометы движутся по вытянутому кругу, наподобие лассо; я же мчался в загробный мир прямо, как стрела; но изредка я замечал такую комету, которая час-другой шла моим курсом, и тогда у нас затевались гонки. Только гонки эти бывали обычно односторонние: я проносился мимо кометы, а она как будто стояла на месте. Обыкновенные кометы делают не более двухсот тысяч миль в минуту. Так что когда мне попадалась одна из них, ну, например, комета Энке или Галлея¹, я едва успевал крикнуть: «Здравствуй!» и «Прощай!» Разве же это гонки? Такую комету можно сравнить с товарным поездом, а меня — с телеграммой. Впрочем, выбравшись за пределы нашей астрономической системы, я начал наткаться и на кометы иного рода, в некоторой мере мне под стать. У нас таких нет и в помине! Однажды ночью я шел ровным ходом, под всеми парусами, попутным ветром, считая, что делаю не менее миллиона миль в минуту, если не больше, и вдруг заметил удивительно крупную комету на три румба к носу от моего правого борта. По ее кормовым огням я определил ее направление — норд-ост-тэн-ост. Она летела так близко от моего курса, что я не мог упустить этот случай, и вот я отклонился на румб, закрепил штурвал и бросился догонять ее. Ты бы слышал, с каким свистом я разрезал пространство, поглядел бы, какую я поднял электрическую бурю! Через полторы минуты я был весь охвачен электрическим сиянием, до того ярким, что на много миль вокруг сделалось светло, как днем. Издали комета светилась синеватым огоньком, точно потухающий факел, но чем ближе я подлетал, тем яснее было видно, какая она огромная. Я нагонял ее так быстро, что через сто пятьдесят миллионов

¹ *Комета Энке* — открыта в 1786 г., обращается вокруг Солнца за 3,3 г. *Комета Галлея* — одна из самых ярких комет; период ее обращения — 75 лет. Так получилось, что приближения этой кометы к Земле совпали с рождением и смертью Марка Твена: в ноябре 1835 г. и в мае 1910 г. В последние годы своей жизни Твен шутил: мы с кометой — причудливые и редкие явления, как она появится — я умру. — *Прим. сост.*

миль уже попал в ее фосфоресцирующий кильватер и чуть не ослеп от страшного блеска. Ну, думаю, этак в нее и врезаться недолго, и, подавшись в сторону, стал набирать скорость. Мало-помалу я приблизился к ее хвосту. Знаешь, что это напоминало? Точно комар приблизился к континенту Америки! Я все не сбавлял ходу. Постепенно я прошел вдоль корпуса кометы более ста пятидесяти миллионов миль, но убедился по ее очертаниям, что не достиг даже талии. Эх, Питерс, разве на земле мы знаем толк в кометах?! Если хочешь увидеть комету, достойную внимания, надо выбраться за пределы нашей солнечной системы, туда, где они могут развернуться, понимаешь? Я, друг мой, повидал там такие экземпляры, которые не могли бы влезть даже в орбиту наших самых известных комет — хвосты у них обязательно свисали бы наружу!

Ну, я пронесся еще сто пятьдесят миллионов миль и наконец поравнялся с плечом кометы, если позволительно так выразиться. Я был собою весьма доволен, право слово, пока вдруг не заметил, что к борту кометы подходит вахтенный офицер и наставляет подзорную трубу в мою сторону. И сразу же раздается его команда:

— Эй там, внизу! Наддать жару, наддать жару! Подбросить еще сто миллионов миллиардов тонн серы!

— Есть, сэр!

— Свисти вахту со штирборта! Всех наверх!

— Есть, сэр!

— Послать двести тысяч миллионов человек поднять бомбрамсели и трюмсели!

— Есть, сэр!

— Поднять лисели! Поднять все до последней тряпки! Затянуть парусами от носа до кормы!

— Есть, сэр!

Я сразу понял, Питерс, что с таким соперником шутки плохи. Не прошло и десяти секунд, как комета превратилась в сплошную тучу огненно-красной парусины; она уходила в невидимую высь, она точно раздулась и заполнила все пространство; серный дым валом повалил из топок — нельзя описать, что это было, а уж про запах и говорить нечего. И как понеслась эта машина! И что за шум на ней поднялся! Свистали тысячи боцманских дудок, и команда, которой хватило бы, чтобы населить сто тысяч таких миров, как наш, ругалась хором. Ничего похожего я в своей жизни не слышал.

С ревом и грохотом мы мчались рядом из всех сил,—ведь в моей практике еще не бывало, чтобы какая-нибудь комета обогнала меня, и я решил: хоть лопну, а добьюсь победы. Я знал, что заслужил определенную репутацию в мировом пространстве, и не собирался ее терять. Я заметил, что обхожу комету медленнее, чем вначале, но все же обхожу. На комете царило страшное волнение. Более ста миллиардов пассажиров высыпало на палубу, все они сгрудились у левого борта и стали держать пари, кто победит в наших гонках. Естественно, это вызвало крен кометы и уменьшило ее скорость. Ух, как рассвирепел помощник капитана! Он бросился в толпу со своим рупором в руках и заорал:

— Отойти от борта! От борта, вы!..¹ Не то всем вам, идиотам, черепа раскрою!

Ну, а я потихоньку обгонял и обгонял, пока не подпорхнул к самому носу этого огненного чудища. Теперь уже и капитана вытащили из постели, и он стоял на передней палубе, освещенный багровым заревом, рядом со своим помощником, без сюртука, в ночных туфлях, волосы торчат во все стороны, как воронье гнездо, подтяжки с одного боку свисают. Вид у него и у помощника был порядком расстроенный. Пролетая мимо них, я просто не в силах был удержаться, показал им нос и крикнул:

— Счастливо оставаться! Прикажете передать привет вашим родственникам?

Это была ошибка, Питерс! Я не раз потом пожалел о своих словах. Да, это была ошибка! Понимаешь, капитан уже готов был сдаться, но такой насмешки он стерпеть не мог. Он повернулся к помощнику и спрашивает:

— Хватит у нас серы на весь рейс?

— Да, сэр.

— Это точно?

— Да, сэр. Хватит с избытком.

— Сколько у нас тут груза для Сатаны?

— Миллион восемьсот тысяч миллиардов казарков.

— Прекрасно, тогда пусть его квартиранты померзнут до прибытия следующей кометы. Облегчить судно! Живо, живо, ребята! Весь груз за борт!

Питер, посмотри мне в глаза и не пугайся. На не-

¹ Капитан Стормфилд не мог вспомнить это слово. По его мнению, оно было на каком-то иностранном языке. — *Прим. М. Т.*

бесах я выяснил, что каждый казарк — это сто шестьдесят девять таких миров, как наш. Вот какой груз они вывалили за борт. При падении он смел начисто кучу звезд, точно это были свечи и кто-то их задул. Что касается гонок, то на этом все кончилось. Освободившись от балласта, комета пронеслась мимо меня так, словно я стоял на якоре. С кормы капитан показал мне нос и прокричал:

— Счастливо оставаться! Теперь, может быть, вы пожелаете передать привет вашим близким в Вечных Тропиках?

Потом он натянул на плечо болтавшийся конец подтяжек и пошел прочь, а через каких-нибудь три четверти часа комета уже опять лишь мелькала вдали слабым огоньком. Да, Питерс, я совершил ошибку — дернуло же меня такое сказать! Я, наверно, никогда не перестану жалеть об этом. Я выиграл бы гонки у небесного нахала, если бы только придержал язык.

Но я несколько отвлекся: возвращаюсь к своему рассказу. Теперь ты можешь себе представить мою скорость. И вот после тридцати лет такого путешествия я, повторяю, забеспокоился. Не скажу, что я не получал удовольствия, — нет, я повидал много нового, интересного; а все-таки одному как-то, понимаешь, скучно. И хотелось уж где-нибудь ошвартоваться. Ведь не затем же я пустился в путь, чтобы вечно странствовать! Вначале я был даже рад, что дело затягивается, — я ведь полагал, что меня ждет довольно жаркое местечко, но в конце концов мне стало казаться, что лучше пойти ко всем... словом, куда угодно, чем томиться неизвестностью.

И вот, как-то ночью... там постоянно была ночь, разве что когда я летел мимо какой-нибудь звезды, которая ослепительно сияла на всю вселенную, — уж тут-то, конечно, бывало светло, но через минуту или две я поневоле оставлял ее позади и снова погружался во мрак на целую неделю. Звезды находятся вовсе не так близко друг от друга, как нам это кажется... О чем бишь я?.. Ах да... лечу я однажды ночью и вдруг вижу впереди на горизонте длиннейшую цепь мигающих огней. Чем ближе, тем они все росли и ширились и вскоре стали похожи на гигантские печи.

— Прибыл наконец, ей-богу! — говорю я себе. — И, как следовало ожидать, отнюдь не в рай!

И лишился чувств. Не знаю, сколько времени длился мой обморок,—наверно, долго, потому что, когда я очнулся, тьма рассеялась, светило солнышко и воздух был теплый и ароматный до невозможности. А местность передо мной расстилалась прямо-таки удивительной красоты. То, что я принял за печи, оказалось воротами из сверкающих драгоценных камней высотой во много миль; они были вделаны в стену из чистого золота, которой не было ни конца ни края, ни в правую, ни в левую сторону. К одним из ворот я и понесся как угорелый. Тут только я заметил, что в небе черно от миллионов людей, стремившихся туда же. С каким гулом они мчались по воздуху! И вся небесная твердь кишела людьми, точно муравьями; я думаю, их там было несколько миллиардов.

Я опустился, и толпа повлекла меня к воротам. Когда подошла моя очередь, главный клерк обратился ко мне весьма деловым тоном:

— Ну, быстро! Вы откуда?

— Из Сан-Франциско.

— Сан-Фран?.. Как, как?

— Сан-Франциско.

Он с недоуменным видом почесал в затылке, потом говорит:

— Это что, планета?

Надо же такое придумать, Питерс, ей-богу!

— Планета?—говорю я.—Нет, это город. Более того, это величайший, прекраснейший...

— Хватит!—прерывает он.—Здесь не место для разговоров. Городами мы не занимаемся. Откуда вы вообще?

— Ах, прошу прощения,—говорю я.—Запишите: из Калифорнии.

Опять я, Питерс, поставил этого клерка в тупик. На его лице мелькнуло удивление, а потом он резко, с раздражением сказал:

— Я таких планет не знаю. Это что, созвездие?

— О господи!—говорю я.—Какое же это созвездие? Это штат!

— Штатами мы не занимаемся. Скажете ли вы, наконец, откуда вы вообще, вообще, в целом? Все еще не понимаете?

— Ага, теперь сообразил, чего вы хотите. Я из Америки, из Соединенных Штатов Америки.

Верь не верь, Питерс, но и это не помогло. Разрази меня гром, если я вру! Его физиономия ни капельки

не изменилась, все равно как мишень после стрелковых соревнований милиции¹. Он повернулся к своему помощнику и спрашивает:

— Америка? Это где? Это что такое?

И тот ему поспешно отвечает:

— Такого светила нет.

— Светила? — говорю я. — Да о чем вы, молодой человек, толкуете? Америка — не светило. Это страна, это континент. Ее открыл Колумб. О нем-то вы слышали, надо полагать? Америка, сэр, Америка...

— Молчать! — прикрикнул главный. — Последний раз спрашиваю: откуда вы прибыли?

— Право, не знаю, как еще вам объяснить, — говорю я. — Остается свалить все в одну кучу и сказать, что я из мира.

— Ага, — обрадовался он, — вот это ближе к делу. Из какого же именно мира?

Вот теперь, Питерс, уже не я его, а он меня поставил в тупик. Я смотрю на него, раскрыв рот. И он смотрит на меня, хмурится; потом как вспылит:

— Ну, из какого?

А я говорю:

— Как из какого? Из того, единственного, разумеется.

— Единственного?! Да их миллиарды!.. Следующий!

Это означало, что мне нужно посторониться. Я так и сделал, и какой-то голубой человек с семью головами и одной ногой прыгнул на мое место. А я пошел прогуляться. И только тогда я сообразил, что все мириады существ, толпящихся у ворот, имеют точно такой же вид, как тот голубой человек. Я принялся искать в толпе какое-нибудь знакомое лицо, но ни единого знакомого не нашлось. Я обмозговал свое положение и в конце концов бочком пролез обратно, как говорится, тише воды, ниже травы.

— Ну? — спрашивает меня главный клерк.

— Видите ли, сэр, — говорю я довольно робко, — я никак не соображу, из какого именно я мира. Может быть, вы сами догадаетесь, если я скажу, что это тот мир, который был спасен Христом.

При этом имени он почтительно наклонил голову и кротко сказал:

— Миров, которые спас Христос, столько же, сколько ворот на небесах, — счесть их никому не под силу.

¹ Милиция — в США военные части, формируемые в случае экстренной необходимости из гражданского населения. — *Прим. сост.*

В какой астрономической системе находится ваш мир? Это, пожалуй, нам поможет.

— В той, где Солнце, Луна и Марс... — Он только отрицательно мотал головой: никогда, мол, не слышал таких названий. — ...И Нептун, и Уран, и Юпитер...

— Стойте! Минуточку! Юпитер... Юпитер... Кажется, у нас был оттуда человек, лет восемьсот — девятьсот тому назад; но люди из той системы очень редко проходят через наши ворота.

Вдруг он впился в меня глазами так, что я подумал: «Вот сейчас пробуравит насквозь», а затем спрашивает, отчеканивая каждое слово:

— Вы явились сюда прямым путем из вашей системы?

— Да, — ответил я, но все же малость покраснел.

Он очень строго посмотрел на меня.

— Неправда, и здесь не место лгать. Вы отклонились от курса. Как это произошло?

Я опять покраснел и говорю:

— Извините, беру свои слова назад и каюсь. Один раз я вздумал потягаться с кометой, но совсем, совсем чуть-чуть...

— Так, так, — говорит он далеко не сладким голосом.

— И отклонился-то я всего на один румб, — продолжаю я рассказывать, — и вернулся на свой курс в ту же минуту, как окончились гонки.

— Неважно, именно это отклонение и послужило всему причиной. Оно и привело вас к воротам за миллиарды миль от тех, через которые вам надлежало пройти. Если бы вы попали в свои ворота, там про ваш мир все было бы известно и не произошло бы никакой проволоочки. Но мы постараемся вас обслужить.

Он повернулся к помощнику и спрашивает:

— В какой системе Юпитер?

— Не помню, сэр, — отвечает тот, — но, кажется, где-то, в каком-то пустынном уголке вселенной имеется такая планета, входящая в одну из малых новых систем. Сейчас посмотрю.

У них там висела карта величины со штат Род-Айленд, он подкатил к ней воздушный шар и полетел вверх. Скоро он скрылся из виду, а через некоторое время вернулся вниз, закусил на скорую руку и снова улетел. Короче говоря, он это повторял два дня, после чего спустился к нам и сказал, что как будто нашел на карте нужную солнечную систему, впрочем не ру-

чается — возможно, это след от мухи. Взяв микроскоп, он опять поднялся вверх. Опасения его, к счастью, не оправдались: он действительно разыскал Солнечную систему. Он заставил меня описать подробно нашу планету и указать ее расстояние от Солнца, а потом говорит своему начальнику:

— Теперь я знаю, сэр, о какой планете этот человек толкует. Она имеется на карте и называется Бородавка.

«Не поздоровилось бы тебе,— подумал я,— если бы ты явился на эту планету и назвал ее Бородавкой!»

Ну, тут они меня впустили и сказали, что отныне и навеки я могу считать себя спасенным и не буду больше знать никаких тревог.

Потом они отвернулись от меня и погрузились в свою работу, дескать со мной все покончено и мое дело в порядке.

Меня это удивило, но я не осмелился заговорить первым и напомнить о себе. Просто, понимаешь, я не мог это сделать: люди заняты по горло, а тут еще заставлять их со мной возиться! Два раза я решал махнуть на все рукой и уйти, но, подумав, как нелепо буду выглядеть в своем обмундировании среди прощенных душ, я пятился назад, на старое место. Разные служащие начали поглядывать на меня, удивляясь, почему я не ухожу. Дольше терпеть это было невозможно. И вот я наконец расхрабрился и сделал знак рукой главному клерку. Он говорит:

— Как, вы еще здесь? Чего вам не хватает?

Я приложил ладони трубкой к его уху и зашептал, чтобы никто не слышал:

— Простите, пожалуйста, не сердитесь, что словно я вмешиваюсь в ваши дела, но не забыли ли вы чего-то?

Он помолчал с минуту и говорит:

— Забыл? Нет, по-моему, ничего.

— А вы подумайте,— говорю я.

Он подумал.

— Нет, кажется, ничего. А в чем дело?

— Посмотрите на меня,— говорю я,— хорошенько посмотрите!

Он посмотрел и спрашивает:

— Ну, что?

— Как что? И вы ничего не замечаете? Если бы я в таком виде появился среди избранных, разве я не обратил бы на себя всеобщее внимание? Разве не показался бы всем странным?

— Я, право, не понимаю, в чем дело,— говорит он. — Чего вам еще надо?

— Как чего? У меня, мой друг, нет ни арфы, ни венца, ни нимба, ни псалтыря, ни пальмовой ветви — словом, ни одного из тех предметов, которые необходимы здесь каждому.

Знаешь, Питерс, как он растерялся? Ты такой растерянной физиономии сроду не видывал. После некоторого молчания он говорит:

— Да вы, оказывается, диковинный субъект, с какой стороны ни взять. Первый раз в жизни слышу о таких вещах!

Я глядел на него, не веря своим ушам.

— Простите,— говорю,— не в обиду вам будь сказано, но как человек, видимо проживший в царствии небесном солидный срок, вы здорово плохо знаете его обычаи.

— Его обычаи! — говорит он. — Любезный друг, небеса велики. В больших империях встречается множество различных обычаев. И в мелких тоже, как вы, несомненно, убедились на карликовом примере Бородавки. Неужели вы воображаете, что я в состоянии изучить все обычаи бесчисленных царствий небесных? У меня при одной этой мысли голова кругом идет! Я знаком с обычаями тех мест, где живут народы, которым предстоит пройти через мои ворота, и, поверьте, с меня хватит, если я сумел уместить в своей голове то, что день и ночь штудирую вот уже тридцать семь миллионов лет. Но воображать, что можно изучить обычаи всего бескрайнего небесного пространства,— нет, это надо быть просто сумасшедшим! Я готов поверить, что странное одеяние, о котором вы толкуете, считается модным в той части рая, где вам полагается пребывать, но в наших местах его отсутствие никого не удивит.

«Ну, раз так, то уж ладно!» — подумал я, попрощался с ним и зашагал прочь. Целый день я шел по огромной канцелярии, надеясь, что вот-вот дойду до конца ее и попаду в рай, но я ошибался: это помещение было построено по небесным масштабам — естественно, оно не могло быть маленьким. Под конец я так устал, что не в силах был двигаться дальше; тогда я присел отдохнуть и начал останавливать каких-то нелепого вида прохожих, пытаясь что-нибудь у них узнать; но ничего не узнал, потому что они не понимали моего языка, а я не понимал ихнего. Я почувствовал нестерпимое одиночество. Такая меня проняла грусть, такая

тоска по дому, что я сто раз пожалел, зачем я умер. Ну и, конечно, повернул назад. На завтра, около полудня, я добрался до места, откуда пустился в путь, подошел к регистратуре и говорю главному клерку:

— Теперь я начинаю понимать: чтобы быть счастливым, надо жить в своем собственном раю!

— Совершенно верно,— говорит он.— Неужели вы думали, что один и тот же рай может удовлетворить всех людей без различия?

— Признаться, да; но теперь я вижу, что это было глупо. Как мне пройти, чтобы попасть в свой район?

Он подозвал помощника, который давеча изучал карту, и тот указал мне направление. Я поблагодарил его и шагнул было прочь, но он остановил меня:

— Подождите минутку; это за много миллионов миль отсюда. Выйдите наружу и станьте вон на тот красный ковер; закройте глаза, задержите дыхание и пожелайте очутиться там.

— Премного благодарен,— сказал я.— Что ж вы не метнули меня туда сразу, как только я прибыл?

— У нас здесь и так забот хватает; ваше дело было подумать и попросить об этом. Прощайте. Мы, вероятно, не увидим вас в нашем краю тысячу веков или около того.

— В таком случае оревуар,— сказал я.

Я вскочил на ковер, задержал дыхание, зажмурил глаза и пожелал очутиться в регистратуре моего района. В следующее мгновение я услышал знакомый голос, выкрикнувший деловито:

— Арфу и псалтырь, пару крыльев и нимб тринадцатый номер для капитана Эли Стормфилда из Сан-Франциско! Выпишите ему пропуск, и пусть войдет.

Я открыл глаза. Верно, угадал: это был один индеец племени пай-ют, которого я





знал в округе Туларе, очень славный парень. Я вспомнил, что присутствовал на его похоронах; церемония состояла в том, что покойника сожгли, а другие индейцы натирали себе лица его пеплом и выли, как дикие кошки. Он ужасно обрадовался, увидев меня, и, можешь не сомневаться, я тоже рад был встретить его и почувствовать, что наконец-то попал в настоящий рай.

Насколько хватал глаз, всюду сновали и суетились целые полчища клерков, обряжая тысячи янки, мексиканцев, англичан, арабов и множество разного другого люда. Когда мне дали мое снаряжение, я надел нимб на голову и, взглянув на себя в зеркало, чуть не прыгнул до потолка от счастья.

— Вот это уже похоже на дело, — сказал я. — Теперь все у меня как надо! Покажите, где облако!

Через пятнадцать минут я уже был за милю от этого места, на пути к гряде облаков; со мной шла толпа, наверно в миллион человек. Многие мои спутники пытались лететь, но некоторые упали и расшиблись. Полет вообще ни у кого не получался, поэтому мы решили идти пешком, пока не научимся пользоваться крыльями.

Навстречу нам густо шел народ. У одних в руках были арфы и ничего больше; у других — псалтыри и ничего больше; у третьих — вообще ничего; и вид у них был какой-то жалкий и несчастный. У одного парня остался только нимб, который он нес в руке; вдруг он протягивает его мне и говорит:

— Подержите, пожалуйста, минутку. — И исчезает в толпе.

Я пошел дальше. Какая-то женщина попросила меня подержать ее пальмовую ветвь и тоже скрылась. Потом незнакомая девушка дала мне подержать свою арфу — и, черт возьми, этой тоже не стало; и так далее в том же духе. Скоро я был нагружен как верблюд. Тут подходит ко мне улыбающийся старый джентльмен и просит подержать его вещи. Я вытер пот с лица и говорю довольно язвительно:

— Покорно прошу меня извинить, почтеннейший, но я не вешалка!

Дальше мне стали попадаться на дороге целые кучи этого добра. Я незаметно избавился и от своей лишней ноши. Я посмотрел по сторонам, и знаешь, Питерс, все эти тысячные толпы, которые шли вместе со мной, оказались навьюченными, как я был раньше. Встречные, понимаешь, обращались к ним с просьбой подержать

их вещи — одну минутку. Мои спутники тоже побросали все это на дорогу, и мы пошли дальше.

Когда я взгромоздился на облако вместе с миллионом других людей, я почувствовал себя на верху блаженства и сказал:

— Ну, значит, обещали не зря. Я уж было начал сомневаться, но теперь мне совершенно ясно, что я в раю!

Я помахал на счастье пальмовой веткой, потом натянул струны арфы и присоединился к оркестру. Питерс, ты не можешь себе представить, какой мы подняли шум! Звучало это здорово, даже мороз по коже подирал, но из-за того, что одновременно играли слишком много разных мотивов, нарушалась общая гармония; вдобавок там собрались многочисленные индейские племена и их воинственный клич лишил музыку ее прелести. Через некоторое время я перестал играть, решив сделать передышку. Рядом со мной сидел какой-то старичок, довольно симпатичный; я заметил, что он не принимает участия в общем концерте, и стал уговаривать его играть, но он объяснил мне, что по природе застенчив и не решается начинать перед такой большой аудиторией. Слово за слово, старичок признался мне, что он почему-то никогда особенно не любил музыку. По правде сказать, у меня самого появилось такое же чувство, но я ничего не сказал. Мы просидели с ним довольно долго в полном бездействии, но в таком месте никто не обратил на это внимания. Прошло шестнадцать или семнадцать часов; за это время я и играл, и пел немножко (но все один и тот же мотив, так как других не знал), а потом отложил в сторону арфу и начал обмахиваться пальмовой веткой. И оба мы со старичком часто-часто завздыхали. Наконец он спрашивает:

— Вы разве не знаете какого-нибудь еще мотива, кроме этого, который тренькаете целый день?

— Ни одного,— отвечаю я.

— А вы не могли бы что-нибудь выучить?

— Никким образом,— говорю я. — Я уже пробовал, да ничего не получилось.

— Слишком долго придется повторять одно и то же. Ведь вы знаете, впереди — вечность!

— Не сыпьте соли мне на раны,— говорю я,— у меня и так настроение испортилось.

Мы долго молчали, потом он спрашивает:

— Вы рады, что попали сюда?

— Дедушка, — говорю я, — буду с вами откровенен. Это не совсем похоже на то представление о блаженстве, которое создалось у меня, когда я ходил в церковь.

— Что, если нам смыться отсюда? — предложил он. — Полдня отработали — и хватит!

Я говорю:

— С удовольствием. Еще никогда в жизни мне так не хотелось смениться с вахты, как сейчас.

Ну, мы и пошли. К нашей гряде облаков двигались миллионы счастливых людей, распевая осанну, в то время как миллионы других покидали облако, и вид у них был, уверяю тебя, довольно кислый. Мы взяли курс на новичков, и скоро я попросил кого-то из них поддержать мои вещи — одну минутку — и опять стал свободным человеком и почувствовал себя счастливым до неприличия. Тут как раз я наткнулся на старого Сэма Бартлета, который давно умер, и мы с ним остановились побеседовать. Я спросил его:

— Скажи, пожалуйста, так это вечно и будет? Неужели не предвидится никакого разнообразия?

На это он мне ответил:

— Сейчас я тебе все быстро объясню. Люди принимают буквально и образный язык Библии и все ее аллегории, — поэтому, являясь сюда, они первым делом требуют себе арфу, нимб и прочее. Если они просят похорошему и если их просьбы безобидны и выполнимы, то они не встречают отказа. Им без единого слова выдают всю обмундировку. Они сойдутся, попоют, поиграют один денек, а потом ты их в хоре больше не увидишь. Они сами приходят к выводу, что это вовсе не райская жизнь, во всяком случае не такая, какую нормальный человек может вытерпеть хотя бы неделю, сохранив рассудок. Наша облачная гряда расположена



так, что к старожилам шум отсюда не доносится; значит, никому не мешает, что новичков пускают лезть на облако, где они, кстати сказать, сразу же и вылечиваются.

Заметь себе следующее,— продолжал он,— рай исполнен блаженства и красоты, но жизнь здесь кипит как нигде. Через день после прибытия у нас никто уже не бездельничает. Петь псалмы и махать пальмовыми ветками целую вечность — очень милое занятие, как его расписывают с церковной кафедры, но на самом деле более глупого способа тратить драгоценное время не придумаешь. Этак легко было бы превратить небесных жителей в сборище чирикающих невежд. В церкви говорят о вечном покое как о чем-то утешительном. Но попробуй испытать этот вечный покой на себе, и сразу почувствуешь, как мучительно будет тянуться время. Поверь, Стормфилд, такой человек, как ты, всю жизнь проведенный в непрестанной деятельности, за полгода сошел бы с ума, попав на небо, где совершенно нечего делать. Нет, рай — не место для отдыха; на этот счет можешь не сомневаться!

Я ему говорю:

— Сэм, услышь я это раньше, я бы огорчился, а теперь я рад. Я рад, что попал сюда.

А он спрашивает:

— Капитан, ты небось изрядно устал?

Я говорю:

— Мало сказать, устал, Сэм! Устал как собака!

— Еще бы! Понятно! Ты заслужил крепкий сон,— и сон тебе будет отпущен. Ты заработал хороший аппетит,— и будешь обедать с наслаждением. Здесь, как и на земле, наслаждение надо заслужить честным трудом. Нельзя сперва наслаждаться, а зарабатывать право на это после. Но в раю есть одно отличие: ты сам можешь выбрать себе род занятий; и если будешь работать на совесть, то все силы небесные помогут тебе добиться успеха. Человеку с душой поэта, который в земной жизни был сапожником, не придется здесь тащить сапоги.

— Вот это справедливо и разумно,— сказал я. — Много работы, но лишь такой, какая тебе по душе; и никаких больше мук, никаких страданий...

— Нет, погоди, тут тоже много мук, но они не смертельны. Тут тоже много страданий, но они не вечны. Пойми, счастье не существует само по себе, оно лишь рождается как противоположность чему-то не-

приятному. Вот и все. Нет ничего такого, что само по себе являлось бы счастьем,—счастьем оно покажется лишь по контрасту с другим. Как только возникает привычка и притупляется сила контраста — тут и счастьем конец, и человеку уже нужно что-то новое. Ну, а на небе много мук и страданий — следовательно, много и контрастов; стало быть, возможности счастья безграничны.

Я говорю:

— Сэм, первый раз слышу про такой сверхразумный рай, но он так же мало похож на представление о рае, которое мне внушали с детских лет, как живая принцесса — на свое восковое изображение.

Первые месяцы я провел, болтаясь по царствию небесному, заводя друзей и осматривая окрестности, и наконец поселился в довольно подходящем уголке, чтоб отдохнуть, перед тем как взяться за какое-нибудь дело. Но и там я продолжал заводить знакомства и собирать информацию. Я подолгу беседовал со старым лысым ангелом, которого звали Сэнди Мак-Уильямс. Он был родом откуда-то из Нью-Джерси. Мы проводили вместе много времени. В теплый денек, после обеда, ляжем, бывало, на пригорке под тенью скалы, курим трубки и разговариваем про всякое. Однажды я спросил его:

— Сэнди, сколько тебе лет?

— Семьдесят два.

— Так я и думал. Сколько же ты лет в раю?

— На рождество будет двадцать семь.

— А сколько тебе было, когда ты вознесся?

— То есть как? Семьдесят два, конечно.

— Ты шутишь?

— Почему шучу?

— Потому что, если тогда тебе было семьдесят два, то, значит, теперь тебе девяносто девять.

— Ничего подобного! Я остался в том же возрасте, в каком сюда явился.

— Вот как! — говорю я. — Кстати, чтоб не забыть, у меня есть к тебе вопрос. Внизу, на земле, я всегда полагал, что в раю мы все будем молодыми, подвижными, веселыми.

— Что ж, если тебе этого хочется, можешь стать молодым. Нужно только пожелать.

— Почему же у тебя не было такого желания?

— Было. У всех бывает. Ты тоже, надо полагать, когда-нибудь попробуешь; но только тебе это скоро надоест.

— Почему?

— Сейчас я тебе объясню. Вот ты всегда был моряком; а каким-нибудь другим делом ты пробовал заниматься?

— Да. Одно время я держал бакалейную лавку на приисках; но это было не по мне, слишком скучно — ни волнения, ни штормов — словом, никакой жизни. Мне казалось, что я наполовину живой, а наполовину мертвый. А я хотел быть или совсем живым, или совсем уж мертвым. Я быстро избавился от лавки и опять ушел в море.

— То-то и оно. Лавочникам такая жизнь нравится, а тебе она не пришлась по вкусу. Оттого, что ты к ней не привык. Ну, а я не привык быть молодым, и мне молодость была ни к чему. Я превратился в крепкого кудрявого красавца, а крылья — крылья у меня стали как у мотылька! Я ходил с парнями на пикники, танцы, вечеринки, пробовал ухаживать за девушками и болтать с ними разный вздор; но все это было напрасно — я чувствовал себя не в своей тарелке, скажу больше — мне это просто осточертело. Чего мне хотелось, так это рано ложиться и рано вставать, и иметь какое-нибудь занятие, и чтобы после работы можно было спокойно сидеть, курить и думать, а не колобродить с оравой пустоголовых мальчишек и девчонок. Ты себе не представляешь, до чего я исстрадался, пока был молодым.

— Сколько времени ты был молодым?

— Всего две недели. Этого мне хватило с избытком. Ох, каким одиноким я себя чувствовал! Понимаешь, после того как я семьдесят два года копил опыт и знания, самые серьезные вопросы, занимавшие этих юнцов, казались мне простыми, как азбука. А слушать их споры — право, это было бы смешно, если б не было так печально! Я до того соскучился по привычному солидному поведению и трезвым речам, что начал примазываться к старикам, но они меня не принимали в свою компанию. По-ихнему, я был никчемный молокосос и выскочка. Двух недель с меня вполне хватило. Я с превеликой радостью снова облысел и стал курить трубку и дремать, как бывало, под тенью дерева или утеса.

— Позволь, — перебил я, — ты хочешь сказать, что тебе будет вечно семьдесят два года?

— Не знаю, и меня это не интересует. Но в одном я уверен: двадцатипятилетним я уж ни за что не сделаюсь. У меня теперь знаний куда больше, чем двадцать семь лет тому назад, и узнавать новое доставляет мне радость, однако же я как будто не старею. То есть я не старею телом, а ум мой становится старше, делается более крепким, зрелым и служит мне лучше, чем прежде.

Я спросил:

— Если человек приходит сюда девяностолетним, неужели он не переводит стрелку назад?

— Как же, обязательно. Сначала он ставит стрелку на четырнадцать лет. Походит немножко в таком виде, почувствует себя дурак дураком и переведет на двадцать,— но и это не лучше; он пробует тридцать, пятьдесят, восемьдесят, наконец девяносто — и убеждается, что лучше и удобнее всего ему в том возрасте, к которому он наиболее привык. Правда, если разум его начал сдавать, когда ему на земле минуло восемьдесят, то он останавливается на этой цифре. Он выбирает тот возраст, в котором ум его был всего острее, потому что именно тогда ему было приятнее всего жить и вкусы и привычки его стали устойчивыми.

— Ну а если человеку двадцать пять лет, он остается навсегда в этом возрасте, не меняясь даже по внешнему виду?

— Если он глупец, то да. Но если он умен, предприимчив и трудолюбив, то приобретенные им знания и опыт меняют его привычки, мысли и вкусы, и его уже тянет в общество людей постарше возрастом; тогда он дает своему телу постареть на столько лет, сколько надо, чтобы чувствовать себя на месте в новой среде. Так он все совершенствуется и соответственно меняет свой внешний облик, и в конце концов внешне он будет морщинистый и лысый, а внутренне — проницательный и мудрый.

— А как же новорожденные?

— И они так же. Ну и идиотские же представления были у нас на земле касательно всего этого! Мы говорили, что на небе будем вечно юными. Мы не говорили, сколько нам будет лет, над этим мы, пожалуй, не задумывались, во всяком случае не у всех были одинаковые мысли. Когда мне было семь лет, я, наверное, думал, что на небе всем будет двенадцать; когда мне исполнилось двенадцать, я, наверное, думал, что на небе всем будет восемнадцать или двадцать; в сорок я повернул назад: помню, я тогда надеялся, что в раю всем

будет лет по тридцать. Ни взрослый, ни ребенок никогда не считают свой собственный возраст самым лучшим — каждому хочется быть или на несколько лет старше, или на несколько лет моложе, и каждый уверяет, что в этом полюбившемся ему возрасте пребывают все райские жители. Притом каждый хочет, чтобы люди в раю всегда оставались в этом возрасте, не двигаясь с места, да еще получали от этого удовольствие! Ты только представь себе — застыть на месте в раю! Вообрази, какой это был бы рай, если бы его населяли одни семилетние щенки, которые только бы и делали, что катали обручи и играли в камешки! Или неуклюжие, робкие, сентиментальные недоделки девятнадцати лет! Или же только тридцатилетние — здоровые, честолюбивые люди, но прикованные, как несчастные рабы на галерах, к этому возрасту со всеми его недостатками! Подумай, каким унылым и однообразным было бы общество, состоящее из людей одних лет, с одинаковой наружностью, одинаковыми привычками, вкусами, чувствами! Подумай, насколько лучше такого рая оказалась бы земля с ее пестрой смесью типов, лиц и возрастов, с живительной борьбой бесчисленных интересов, не без приятности сталкивающихся в таком разнообразном обществе!

— Слушай, Сэнди, — говорю я, — ты понимаешь, что делаешь?

— Что же я, по-твоему, делаю?

— С одной стороны, описываешь рай как весьма приятное местечко, но с другой стороны, оказываешь ему плохую услугу.

— Это почему?

— А вот почему. Возьми для примера молодую мать, которая потеряла ребенка, и...

— Ш-ш-ш! — Сэнди поднял палец. — Гляди!

К нам приближалась женщина. Она была средних лет, седая. Шла она медленным шагом, понутив голову и вяло, безжизненно свесив крылья; у нее был очень утомленный вид, и она, бедняжка, плакала. Она прошла вся в слезах и не заметила нас. И тогда Сэнди заговорил тихо, ласково, с жалостью в голосе:

— Она ищет своего ребенка! Нет, похоже, что она уже нашла его. Господи, до чего она изменилась! Но я сразу узнал ее, хоть и не видел двадцать семь лет. Тогда она была молодой матерью, лет двадцати двух, а может, двадцати четырех, цветущая, красивая, милая — роза, да и только! И всем сердцем, всей душой она бы-

ла привязана к своему ребенку, к маленькой двухлетней дочке. Но дочка умерла, и мать помешалась от горя, буквально помешалась! Единственной утехой для нее была мысль, что она встретится со своим ребенком в загробном мире, «чтобы никогда уже не разлучаться». Эти слова — «чтобы никогда уже не разлучаться» — она твердила непрестанно, и от них ей становилось легко на сердце; да, да, она просто веселела. Когда я умирал, двадцать семь лет тому назад, она просила меня первым делом найти ее девочку и передать, что она надеется скоро прийти к ней, скоро, очень скоро!

— Какая грустная история, Сэнди!

Некоторое время Сэнди сидел молча, уставившись в землю, и думал; потом произнес этак скорбно:

— И вот она наконец прибыла!

— Ну и что? Рассказывай дальше.

— Стормфилд, возможно, она не нашла своей дочери, но мне лично кажется, что нашла. Да, скорее всего. Я видел такие случаи и раньше. Понимаешь, в ее памяти сохранилась пухленькая крошка, которую она когда-то баюкала. Но здесь ее дочка не захотела оставаться крошкой, она пожелала вырасти; и желание ее исполнилось. За двадцать семь лет, что прошли с тех пор, она изучила самые серьезные науки, какие только существуют, и теперь все учится и учится и узнает все больше и больше. Ей ничто не дорого, кроме науки. Ей бы только заниматься науками да обсуждать грандиозные проблемы с такими же людьми, как она сама.

— Ну и что?

— Как что? Разве ты не понимаешь, Стормфилд? Ее мать знает толк в клюкве, умеет разводить и собирать эти ягоды, варить варенье и продавать его, а больше — ни черта. Теперь она не пара своей дочке, как не пара черепаха райской птице. Бедная мать: она мечтала возиться с малюткой! Мне кажется, что ее постигло разочарование.

— Так что же будет, Сэнди, они так и останутся навеки несчастными в раю?

— Нет, они сблизятся, понемногу приспособятся друг к другу. Но только произойдет это не за год и не за два, а постепенно.

Глава четвертая

Мне пришлось немало помучиться со своими крыльями. На другой день после того, как я подпевал в хоре, я дважды пытался летать, но без успеха. Поднявшись

первый раз, я пролетел тридцать ярдов и сшиб какого-то ирландца, да, собственно говоря, и сам свалился. Потом я столкнулся в воздухе с епископом и, конечно, сбил его тоже. Мы обругали друг друга, но мне было весьма не по себе, что я боднул такого важного старика на глазах у миллиона незнакомых людей, которые, глядя на нас, едва удержались от смеха.

Я понял, что еще не научился править, и потому не знаю, куда меня отнесет во время полета. Остаток дня я ходил пешком, опустив крылья. На следующее утро я чуть свет отправился в одно укромное место — поупражняться. Я вскарабкался на довольно высокий утес, успешно поднялся в воздух и ринулся вниз, ориентируясь на кустик, за триста ярдов или чуть подальше. Но я не сумел рассчитать силу ветра, который дул приблизительно под углом два румба к моему курсу. Я видел, что значительно отклоняюсь от своего ориентира, и стал тише работать правым крылом, а больше жать на левое. Но это не помогло, я почувствовал, что мне грозит опасность опрокинуться, так что пришлось сбавить ходу в обоих крыльях и опуститься. Я залез обратно на утес и еще раз попытал счастья, наметив место на два или на три румба правее куста, и даже рассчитал дрейф, чтобы лететь более правильно к точке. В общем, у меня это получилось, но только летел я очень медленно. Мне стало ясно, что при встречном ветре крылья плохая подмога. Значит, если я захочу слетать в гости к кому-нибудь, кто живет далеко от моего дома, то придется, может, несколько суток ждать, чтобы ветер переменился, кроме того я понял, что в шторм вообще нельзя пользоваться крыльями. А если пуститься по ветру, истреплешь их сразу — ведь их не уменьшишь, — брать рифы на них, например, невозможно, значит остается только одно: убирать их — то есть складывать по бокам, и все. Ну, конечно, при таком положении в воздухе не удержишься. Наилучший выход — убежать по ветру; но это здорово тяжело. А начнешь мудрить — наверняка пойдешь ко дну!

Недельки через две — помню, дело было во вторник — я послал старому Сэнди Мак-Уильямсу записку с приглашением прийти ко мне на следующий день вкушать манны и куропаток. Едва войдя, он хитро подмигнул и спрашивает:

— Ну, капитан, куда ты девал свои крылья?

Я сразу уловил насмешку в его словах, но не подал виду и только ответил:

— Отдал в стирку.

— Да, да, в эту пору они по большей части в стирке,—отозвался он суховатым тоном,—уж это я заметил. Новоиспеченные ангелы—страсть какие чистюли. Когда ты думаешь получить их обратно?

— Послезавтра.

Он подмигнул мне и улыбнулся. А я говорю:

— Сэнди, давай начистоту. Выкладывай. Какие могут быть тайны от друзей! Я обратил внимание, что ни ты, ни многие другие не носят крыльев. Я вел себя как идиот, да?

— Пожалуй. Но это ничего. Вначале мы все такие. Это вполне естественно. Понимаешь, на земле мы склонны делать самые нелепые выводы о жизни в раю. На картинках мы всегда видели ангелов с крыльями, и это совершенно правильно; но когда мы из этого делали вывод, что ангелы пользуются крыльями для передвижения, тут мы попадали впросак. Крылья—это только парадная форма. Находясь, так сказать, при исполнении служебных обязанностей, ангелы обязательно носят крылья; ты никогда не увидишь, чтобы ангел отправился без крыльев по какому-нибудь поручению, как никогда не увидишь, чтобы офицер председательствовал на военно-полевом суде в домашнем костюме, или полицейский стоял на посту без мундира, или почтальон доставлял письма без фуражки и казенной куртки. Но летать на крыльях—нет! Они надеваются только для виду. Старые, опытные ангелы поступают так же, как кадровые офицеры: носят штатское, когда они не на службе. Что же касается новых ангелов, то те, словно добровольцы в милиции, не расстаются с формой, вечно перепархивают с места на место, всюду лезут со своими крыльями, сшибают пешеходов, витают то здесь, то там, воображая, что все любят их и что они самые главные персоны в раю. И когда один из таких типов проплывает по воздуху, приподняв одно крыло и опустив другое, то ясно можно прочесть на его лице: «Вот бы сейчас увидела меня Мэри-Энн из Арканзаса. Небось пожалела бы, что дала мне отставку!» Нет, крылья—это только для показу, исключительно для показу, и больше ни для чего.

— Ты, пожалуй, прав, Сэнди,—сказал я.

— Зачем далеко ходить, погляди на себя,—продолжал Сэнди.—Ты не создан для крыльев, да и остальные люди тоже. Помнишь, какую уйму лет ты потратил на то, чтобы добраться сюда? А ведь ты мчался быст-

рее любого пушечного ядра! Теперь представь, что это расстояние тебе пришлось бы проделать на крыльях. Знаешь, что было бы? Вечность прошла бы, а ты бы все летел! А ведь миллионам ангелов приходится ежедневно посещать землю, чтобы являться в видениях умирающим детям и добрым людям,—сам знаешь, им так положено по штату. Разумеется, они являются с крыльями,—ведь они выполняют официальную миссию, да иначе умирающие и не признали бы в них ангелов. Но неужели ты мог поверить, что на этих крыльях ангелы летают? Нет. И вполне понятно, почему: крыльев не хватило бы и на половину пути, они истрепались бы до последнего перышка, и остались бы одни остовы,—как рамки для змея, пока их не оклеили бумагой. На небе расстояния еще в миллиарды раз больше; ангелам приходится по целым дням мотаться в разные концы. Разве они управились бы на крыльях? Нет, конечно. Крылья у них для фасона, а расстояния они преодолевают вмиг—стоит им только пожелать. Ковер-самолет, о котором мы читали в сказках «Тысячи и одной ночи»,—вполне разумное изобретение; но басни, будто ангелы способны покрыть невероятные расстояния при помощи своих неуклюжих крыльев,—сухая чепуха!

Наши молодые ангелы обоего пола,—продолжал Сэнди,—все время носят крылья—ярко-красные, синие, зеленые, золотые, всякие там разноцветные, радужные и даже полосатые с разводами, но никто их не осуждает: это подходит к их возрасту. Крылья очень красивая вещь, и они к лицу молодым. Это самая прелестная часть их костюма: нимб по сравнению с крыльями ничего не стоит.

— Ну ладно,—признался я,—я засунул свои крылья в буфет и не вынул их оттуда, пока на улице не будет грязь по колено.

— Или торжественный прием.

— Это еще что такое?

— Такое, что ты можешь увидеть, если пожелаешь, сегодня же вечером. Прием устраивается в честь одного кабатчика из Джерси-Сити.

— Да что ты, расскажи!

— Этот кабатчик был обращен на молитвенном собрании Муди и Сэнки¹ в Нью-Йорке. Когда он возвращался к себе в Нью-Джерси, паром, на котором он

¹ Муди и Сэнки — модные американские проповедники в конце XIX в. — *Прим. сост.*

ехал, столкнулся с каким-то судном и кабатчик утонул. Этот кабатчик из породы тех, кто думает, что в раю все с ума сходят от счастья, когда подобный закоренелый грешник спасет свою душу. Он полагает, что все небожители выбегут ему навстречу с пением осанны и что в этот день в небесных сферах только и разговору будет что о нем. Он воображает, что его появление произведет здесь такой фурор, какого не запомнят старожилы. Я всегда замечал эту странность у мертвых кабатчиков: они не только ожидают, что все поголовно выйдут их встречать, но еще и уверены, что их встретят с факельным шествием.

— Стало быть, кабатчика постигнет разочарование?

— Нет, ни в коем случае. Здесь не дозволено никого разочаровывать. Все, что новичок желает,— разумеется, если это выполнимое и не кощунственное желание,— будет ему предоставлено. Всегда найдется несколько миллионов или миллиардов юнцов, для которых нет лучшего развлечения, чем упражнять свои глотки, толпиться на улицах с зажженными факелами и валять дурака в связи с прибытием какого-нибудь кабатчика. Кабатчик в восторге, молодежь веселится вовсю,— никому это не во вред, и денег не надо тратить, а зато укрепляется добрая слава рая как места, где всех вновь прибывших ждут счастье и довольство.

— Очень хорошо. Я обязательно приду посмотреть на прибытие кабатчика.

— Имей в виду, что, согласно правилам этикета, надо быть в полной форме, с крыльями и всем прочим.

— С чем именно?

— С нимбом, арфой, пальмовой ветвью и так далее.

— Да-а? Наверно, это очень нехорошо с моей стороны, но, признаюсь, я бросил их в тот день, когда участвовал в хоре. У меня абсолютно ничего нет, кроме этой хламиды и крыльев.

— Успокойся. Твои вещи подобрали и спрятали для тебя. Посылай за ними.

— Я пошлю, Сэнди. Но что это ты сейчас сказал про какие-то кощунственные желания, которым не суждено исполниться?

— О, таких желаний, которые не исполняются, очень много. Например, в Бруклине живет один священник, некий Толмедж¹,— вот его ждет изрядное разочарова-

¹ Толмедж Томас Дьюнтт (1832—1902) — священник главной пресвитерианской церкви в Бруклине (Нью-Йорк), которого Твен

ние. Он любит говорить в своих проповедях, что по при-
бытии в рай сразу же побежит обнять и облобызать
Авраама, Исаака и Иакова и поплакать над ними. Мил-
лионы земных жителей уповают на то же самое. Каж-
дый божий день сюда прибывает не менее шестидесяти
тысяч человек, желающих первым делом помчаться к
Аврааму, Исааку и Иакову, чтобы прижать их к груди
и поплакать над ними. Но ты согласишься, что шестидесят
тысяч человек в день — обременительная порция для
таких стариков. Если бы они вздумали согласиться на
это, то ничего иного не делали бы из года в год, как
только давали себя тискать и обливать слезами по три-
дцать два часа в сутки. Они бы вконец измотались и
все время были бы мокрые, как водяные крысы. Разве
для них это был бы рай? Из такого рая побежишь без
оглядки, это всякому ясно! Авраам, Исаак и Иаков —
добрые, вежливые старые евреи, но целоваться с сен-
тиментальными знаменитостями из Бруклина им так же
мало приятно, как было бы тебе. Помяни мое слово,
нежности мистера Толмеджа будут отклонены с благо-
дарностью. Привилегии избранных имеют границы да-
же на небесах. Если бы Адам выходил к каждому но-
воприбывшему, который хочет поглазеть на него и вы-
клянчить автограф, то ему только этим и пришлось бы
заниматься и ни для каких других дел у него не хва-
тило бы времени. Толмедж говорит, что он собирается
почтить визитом не только Авраама, Исаака и Иакова,
но и Адама тоже. Придется ему отказаться от этой
затеи.

— И ты думаешь, Толмедж в самом деле вознесет-
ся сюда?

— Обязательно. Но пусть тебя это не пугает, он
будет водиться со своими — их тут много. В этом-то и
заключается главная прелесть рая: сюда попадают лю-
ди всякого сорта, — здесь священники не командуют.
Каждый находит себе компанию по вкусу, а до других
ему дела нет, как и им до него. Уж если господь бог
создал рай, так он устроил все как следует, на широ-
кую ногу.

Сэнди послал к себе домой за своими вещами, я
тоже послал за своими, и около девяти часов вечера
мы начали одеваться. Сэнди говорит:

высмеял в 1870 г. за его слова, что «запах рабочего человека
оскорбителен для ноздрей более утонченных членов его цаствы»
(«О запахах»). — *Прим. сост.*

— Сторми, тебе предстоит интереснейший вечер. По всей вероятности, будут какие-нибудь патриархи.

— Неужели?

— Да, скорей всего. Конечно, они держатся как аристократы, перед простым народом почти не показываются. Насколько я понимаю, они выходят встречать только тех грешников, которые спасли душу в последнюю минуту. Они бы и тут не выходили, но земная традиция требует большой церемонии по такому поводу.

— Неужели все до одного выходят, Сэнди?

— Кто? Все патриархи? Что ты, нет; самое большее два или три. Тебе придется прождать пятьдесят тысяч лет, а может быть и больше, чтобы хоть одним глазком глянуть на всех патриархов и пророков. За то время, что я здесь, Иов показался один раз, и один раз Хам вместе с Иеремией. Но самое замечательное событие за все мое пребывание тут произошло в прошлом году: был устроен прием в честь англичанина Чарльза Писа, того самого, которого прозвали Баннеркросским убийцей. На трибуне стояли тогда четыре патриарха и два пророка, ничего подобного не видели в раю со дня вознесения капитана Кидда¹; даже Авель и тот пришел — впервые за тысячу двести лет. Пустили слух, что собирается быть и Адам; на Авеля всегда сбегаются колоссальные толпы, однако с Адамом в этом отношении и ему не сравниться! Слух оказался ложным, но он облетел все небо; и такого, как тогда творилось, я, наверно, никогда больше не увижу. Прием устраивался, конечно, в английском округе, который отстоит за восемьсот одиннадцать миллионов миль от границ отделения Нью-Джерси. Я прилетел туда вместе с многими соседями, и нам представилось исключительное зрелище. Из всех округов валом валили эскимосы, татары, негры, китайцы, — словом, люди отовсюду. Такое смешение народов можно наблюдать лишь в Большом хоре в первый день после прибытия, а больше никогда. Миллиардные толпы пели гимны и выкрикивали осанну, шум стоял невероятный; даже когда рты у всех были закрыты, в ушах звенело от одного хлопанья крыльев, потому что ангелов на небе было столько, что казалось, будто идет снег. Адам не пришел, но и без него было очень интересно; на главной трибуне восседали три ар-

¹ *Капитан Кидд* — Уильям Кидд (1645—1701) повешен в Лондоне по обвинению в пиратстве, хотя, возможно, оказался жертвой политических интриг. — *Прим. сост.*

хангела, тогда как в других случаях редко можно увидеть даже одного.

— Какие они из себя, эти архангелы, Сэнди?

— Ну, какие? Лица сияют, одеты в блестящие мантии, чудесные радужные крылья за спиной, в руке у каждого меч; рост — восемнадцать футов, величавая осанка, похожи на военных.

— А нимбы у них есть?

— Нет, во всяком случае не ободком. Архангелы и патриархи высшей категории носят кое-что получше. Они носят великолепный круглый сплошной нимб из чистого золота, посмотришь — просто глаза слепит. Ты, когда жил на земле, не раз видел на картинках патриарха с такой штуковиной, помнишь? Голова у него точно на медном блюде. Но это не дает правильного представления, — то, что носят патриархи, красивее и лучше блестит.

— Сэнди, а ты разговаривал с этими архангелами и патриархами?

— Кто, я? Что ты, что ты, Сторми! Я недостойн разговаривать с такими, как они.

— А Толмедж достоин?

— Конечно, нет. У тебя путаное представление о таких вещах; впрочем, оно свойственно всем земным жителям. На земле говорят, что есть царь небесный, — и это верно; но дальше описывают небо так, будто оно представляет собой республику, где все равны и каждый вправе обнимать любого встречного и якшаться с разной знатью, вплоть до самой высшей. Вот путаница! Вот чепуха! Разве может быть республика при царе? Разве может вообще быть республика, когда государством правит самодержец, правит вечно, без парламента и без государственного совета, которые имели бы право вмешиваться в его действия; когда ни за кого не голосуют и никого не избирают; когда никто не имеет голоса в управлении страной, никого не привлекают участвовать в государственных делах и никому это даже не разрешается?! Хороша республика, нечего сказать!..

— Да, рай, пожалуй, не таков, каким я его себе представлял. Но все-таки я думал — похожу всюду и хотя бы познакомлюсь с вельможами. Я не собирался есть с ними из одного котелка, а так — поздороваться за руку, провести в их компании часок-другой...

— Мог бы любой простолюдин вести себя так в от-

ношении российских министров? Зайти запросто, например, к князю Горчакову¹.

— Думаю, что нет, Сэнди.

— Ну, здесь та же Российская империя, даже по-строже. Здесь нет и намека на республику. Существует табель о рангах. Существуют вице-короли, князья, губернаторы, вице-губернаторы, помощники вице-губернаторов и около ста разрядов дворянства, начиная от великих князей — архангелов, и дальше все ниже и ниже, до того слоя, где нет никаких титулов. Ты знаешь, что такое принц крови на земле?

— Нет.

— Так вот. Принц крови не принадлежит ни к царской фамилии, ни к обыкновенной аристократии — он стоит ниже первой, но выше второй. Примерно такое же положение занимают на небе патриархи и пророки. Здесь имеются такие важные аристократы, что мы с тобой недостойны чистить им сандалии, но и они недостойны чистить сандалии у патриархов и пророков. Это дает тебе некоторое представление о их ранге, так? Соображаешь теперь, какие они важные? Поглядел на одного из них — и будет о чем помнить и рассказывать тысячу лет. Представь себе, капитан, что Авраам переступил бы этот порог, — вокруг его следов сейчас же поставили бы ограду с навесом, и паломники стекались бы сюда со всех концов неба многие века, чтобы только посмотреть на это место. Авраам как раз один из тех, кого мистер Толмедж из Бруклина собирается по прибытии сюда лобызать и обливать слезами. Пусть запасет побольше слез, не то — пари держу — они у него высохнут, прежде чем он добьется встречи с Авраамом.

— Сэнди, — говорю я, — а я ведь думал, что буду здесь на равной ноге со всеми, но уж лучше позабыть об этом. Да это и не играет особой роли, я и так чувствую себя вполне счастливым.

— Да ты счастливее, капитан, чем был бы при иных обстоятельствах! Эти патриархи и пророки на много веков перегнали тебя, они за две минуты разбираются в том, на что тебе нужен целый год. Пробовал ты когда-нибудь вести полезную и приятную беседу с гробовщиком о ветрах, морских течениях и отклонении компаса?

¹ Князь Горчаков Александр Михайлович (1798—1883) — русский дипломат и государственный деятель, был министром иностранных дел и государственным канцлером России. — *Прим. сост.*

— Понимаю, что ты хочешь сказать, Сэнди: мне было бы неинтересно разговаривать с ним,—он полный профан в этих делах; и мы оба зачахли бы от скуки.

— Вот именно. Патриархам было бы скучно слушать тебя, а понимать их речи ты еще не дорос. Очень скоро ты сказал бы: «До свидания, ваше преосвященство, я зайду к вам в другой раз», но больше не зашел бы. Приглашал ты когда-нибудь к себе на обед в капитанскую каюту кухонного юнгу?

— Опять-таки мне ясно, к чему ты клонишь, Сэнди. Я не привык к такой важной публике, как патриархи и пророки, и робел бы в их присутствии, не зная, что сказать, и был бы счастлив поскорее убраться восвояси. Скажи, Сэнди, а кто выше рангом: патриарх или пророк?

— О, пророки поважнее патриархов! Самый молодой пророк гораздо больше значит, чем самый древний патриарх! Так и знай—даже Адам должен шагать позади Шекспира.

— Шекспир разве был пророк?

— Конечно! И Гомер тоже, и множество других. Но Шекспир и остальные должны уступить дорогу Биллингсу, обыкновенному портному из Теннесси, и афганскому коновалу Сакка. Иеремия, Биллингс и Будда шагают вместе, в одной шеренге, непосредственно за публикой с разных планет, которые не в нашей системе; за ними идут десятка два прибывших с Юпитера и из других миров; далее выступают Даниил, Сакка и Конфуций; за ними—народ из других астрономических систем; потом—Иезекииль, Магомет, Заратустра и один точильщик из древнего Египта; дальше еще целая вереница разных людей; и только где-то в самом хвосте—Шекспир с Гомером и башмачник по фамилии Марэ из глухой французской деревушки.

— Неужели Магомета и других язычников тоже пустили сюда?

— Да, каждый из них осуществил свою миссию и заслуживает награды. Человек, который не получил награды на земле, может быть спокоен—он непременно получит ее здесь.

— Но почему же так обидели Шекспира, заставили его шагать позади каких-то башмачников, коновалов и точильщиков, о которых никто и не слыхал?

— А это и есть небесная справедливость: на земле их не оценили по достоинству, здесь же они занимают заслуженное место. Этот портной Биллингс из штата

Теннесси писал такие стихи, какие Гомеру и Шекспиру даже не снились, но никто не хотел их печатать, и никто их не читал, кроме невежественных соседей, которые только смеялись над ними. Когда в деревне устраивались танцы или пьянка, бежали за Биллингсом, рядили его в корону из капустных листьев и в насмешку отвешивали ему поклоны. Однажды вечером, когда он лежал больной, обессилив от голода, его вытащили, нацепили на голову корону и понесли верхом на палке по деревне; за ним бежали все жители, колотя в жестяные тазы и горланя что было сил. В ту же ночь Биллингс умер. Он совершенно не рассчитывал попасть в рай и уж подавно не ожидал торжественной встречи; наверно, он очень удивился, что ему устроили такой прием.

— Ты был там, Сэнди?

— Спаси бог, что ты!

— Почему? Ты разве не знал, что готовится торжество?

— Прекрасно знал. О Биллингсе в небесных сферах много толковали — и не один день, как об этом кабатчике, а целых двадцать лет до его кончины.

— Какого же черта ты не пошел?

— Вон как ты рассуждаешь! Чтобы такие, как я, попали на прием в честь пророка? Чтобы я, неотесанный чурбан, совался туда и подсоблял принимать такое высокое лицо, как Эдвард Биллингс?! Да меня засмеяли бы на миллиард миль в округе. Мне бы этого никогда не простили!

— А кто же там был?

— Те, кого нам с тобой вряд ли когда доведется увидеть, капитан. Ни один простой смертный не удостоивается счастья побывать на встрече пророка. Там собралась вся аристократия, все патриархи и пророки в полном составе, все архангелы, князья, губернаторы и вице-короли, а из мелкой сошки — никого. Причем имей в виду, вся эта знать — князья и патриархи — собрались не только из нашего мира, но из всех миров, которые сияют на нашем небосклоне, и еще из миллиардов миров, находящихся в бесчисленных других системах. Там были такие пророки и патриархи, которым наши в подметки не годятся по рангу, известности и так далее. Среди них были знаменитости с Юпитера и с других планет, входящих в нашу систему, но самые главные — поэты Саа, Бо и Суф — прибыли с трех больших планет из трех различных, весьма отдаленных си-

стем. Их имена прогремели во всех уголках и закоулках неба наравне с именами восьмидесяти высших архангелов, тогда как о Моисее, Адаме и остальной компании за пределами одного краешка неба, отведенного для нашего мира, никто не слышал, разве что отдельные крупные ученые,—впрочем, они всегда пишут имена наших пророков и патриархов неправильно, все путают, выдают деяния одного за деяния другого и почти всегда относят их просто к нашей солнечной системе, не считая нужным входить в такие подробности, как указание, из какого именно мира они происходят. Это похоже на того ученого индуса, который, желая похвастать своими познаниями, заявил, что Лонгфелло живет в Соединенных Штатах,—словно он живет сразу во всех концах страны, а сами Соединенные Штаты занимают так мало места, что, куда ни швырни камень, обязательно попадешь в Лонгфелло. Между нами говоря, меня всегда злит, как эти пришельцы из миров-гигантов презрительно отзываются не только о нашем маленьком мире, но и обо всей нашей системе. Конечно, мы отдаем должное Юпитеру, потому что наш мир по сравнению с ним не больше картофелины; но ведь имеются в других системах миры, перед которыми сам Юпитер меньше, чем горчичное семечко! Взять хотя бы планету Губра, которую не втиснешь в орбиту кометы Галлея, не разорвав заклепок. Туристы с Губры (я имею в виду туземцев, которые жили и умерли там) заглядывают сюда время от времени и расспрашивают о нашем мире, но когда узнают, что он так мал, что молния может обжегать его за одну восьмую секунды, они хватаются за стенку, чтобы не упасть от хохота. Потом они вставляют в глаз стеклышко и принимаются разглядывать нас, словно мы какие-то диковинные жуки или козявки. Один из этих туристов задал мне вопрос: сколько времени продолжается у нас день? Я ответил, что в среднем двенадцать часов. Тогда он спросил: «Неужели у вас считают, что стоит вставать с постели и умываться для такого короткого дня?» Эти люди с Губры всегда так — они не пропускают случая похвастать, что их день — все равно что наши триста двадцать два года. Этот нахальный юнец еще не достиг совершеннолетия, ему было шесть или семь тысяч дней от роду, — то есть, по-нашему, около двух миллионов лет,—этакний задиристый щенок в переходном возрасте, уже не ребенок, но еще не вполне мужчина. Будь это в любом другом месте, а не в раю, я сказал бы ему пару теплых слов.

Ну, короче говоря, Биллингсу закатали такую велико-
лепную встречу, какой не бывало много тысяч веков;
и я думаю, это приведет к хорошим результатам. Имя
Биллингса проникнет в самые далекие уголки, о нашей
астрономической системе заговорят, а может, и о на-
шем мире тоже, и мы поднимемся в глазах самых ши-
роких кругов небожителей. Ты только подумай: Шек-
спир шел пятак перед этим портным из Теннесси и бро-
сал ему под ноги цветы, а Гомер прислуживал ему, стоя
за его стулом во время банкета! Конечно, там это ни
на кого не произвело особого впечатления — ведь важ-
ные иностранцы из других систем никогда не слышали
ни о Шекспире, ни о Гомере; но если бы весть об этом
могла дойти до нашей маленькой Земли, там бы это
произвело сенсацию! Эх, кабы этот несчастный спирит-
тизм чего-нибудь стоил, тогда мы могли бы дать знать
об этом случае на землю, и в Теннесси, где жил Бил-
лингс, поставили бы ему памятник, а его автограф це-
нился бы дороже автографа Сатаны. Ну вот, покутили
на этой встрече здорово, — мне обо всем подробно рас-
сказывал один захудалый дворянин из Хобокена, баро-
нет, сэр Ричард Даффер.

— Что ты говоришь, Сэнди, баронет из Хобокена?
Как это может быть?!

— Очень просто. Дик Даффер держал колбасную и
за всю жизнь не скопил ни цента, потому что все оста-
тки мяса он потихоньку раздавал бедным. Не нищим
бродягам, нет, а честным, порядочным людям, остав-
шимся без работы, таким, которые скорее умрут с голо-
ду, чем попросят подаяния. Дик высматривал детей и
взрослых, у которых был голодный вид, тайком следо-
вал за ними до дому, расспрашивал о них соседей, а
после кормил их и подыскивал им работу. Но так как
Дик никому ничего не давал на людях, за ним устано-
вилась репутация сквалыги; с ней он и умер, и все го-
ворили: «Туда ему и дорога!» Зато не успел он явить-
ся сюда, как ему пожаловали титул баронета, и первые
слова, которые Дик, колбасник из Хобокена, услышал,
ступив на райский берег, были: «Добро пожаловать,
сэр Ричард Даффер!» Это его удивило, так как он был
убежден, что ему предназначено на том свете другое
местечко, с климатом жарче здешнего.

¹ Хобокен находился рядом с Нью-Йорком, сейчас — его район.
Никаких титулов в США нет. — *Прим. сост.*

Внезапно вся местность вокруг задрожала от грома, пальнуло разом тысяча сто одно орудие. Сэнди говорит:

— Вот. Это в честь кабатчика.

Я вскочил на ноги.

— Пошли, Сэнди; еще прозеваем что-нибудь интересное!

— Сиди спокойно,— говорит он,— это только телеграфируют о нем.

— Как так?

— Дали залп в знак того, что кабатчика увидели с сигнальной станции. Он миновал Сэнди-Хук¹. Сейчас ему навстречу вылетят разные комиссии, чтобы эскортировать его сюда. Начнутся всякие церемонии и проводочки; до места еще не скоро доберутся. Он сейчас за несколько миллиардов миль отсюда.

— С таким же успехом и я бы мог быть пройдохой-кабатчиком,— сказал я, вспомнив свое невеселое прибытие на небеса, где меня не встречали никакие комиссии.

— В твоем голосе я слышу сожаление,— сказал Сэнди.— Пожалуй, это естественно. Но что было, то прошло; тебя привела сюда собственная дорога, и теперь уже ничего не исправишь.

— Ладно, забудем, Сэнди, я ни о чем не жалею. Но, значит, в раю тоже есть Сэнди-Хук, а?

— У нас здесь все устроено, как на Земле. Все штаты и территории Соединенных Штатов и все страны и острова, крупные и мелкие, расположены на небе точно так же, как и на земном шаре, и имеют такую же форму; только здесь они все в десятки миллиардов раз больше, чем внизу... Второй залп!

— А он что означает?

— Это второй форт отвечает первому. Каждый из них дает залп из тысячи ста одного орудия. Так обычно салютуют пришельцам, спасшим свою душу в последнюю минуту, причем тысяча сто первое орудие — дополнительно для мужчины. Когда встречают женщину, мы узнаем это потому, что тысяча сто первое молчит.

— Сэнди, каким образом мы различаем, что их тысяча сто одно, если они палят все разом? А ведь мы различаем это, безусловно различаем!

— Наш ум здесь во многих смыслах развивается, и вот — наглядный пример этого. Числа, размеры и рас-

¹ Сэнди-Хук — мыс к югу от Нью-Йорка. — *Прим. сост.*

стояния на небесах так велики, что мы научились воспринимать их чувствами. Старые приемы счета и измерения здесь не годятся,—с ними у нас получилась бы сплошная путаница и морока.

Мы потолковали еще немножко на эту тему, а потом я сказал:

— Сэнди, я заметил, что мне почти не встречались белые ангелы; на одного белого приходится чуть ли не сто миллионов краснокожих, которые даже не знают по-английски. Чем это объясняется?

— Да, ты можешь наблюдать это в любом штате или новой территории американского округа рая. Мне как-то пришлось лететь без перерыва целую неделю, я покрыл расстояние в миллионы миль, повидал огромные скопища ангелов, но не заметил среди них ни одного белого, не услышал ни единого понятного мне слова. Ведь на протяжении целого миллиарда лет или больше, до того, как в Америке появился белый человек, ее населяли индейцы, ацтеки и так далее. Первые триста лет после того, как Колумб открыл Америку, все ее белое население, вместе взятое,—я считаю и британские колонии,—можно было свободно разместить в одном лекционном зале. В начале нашего века белых в Америке было всего шесть-семь миллионов,—скажем, семь; в тысяча восемьсот двадцать пятом году — двенадцать или четырнадцать миллионов; в тысяча восемьсот пятидесятом году — примерно двадцать три миллиона, а в тысяча восемьсот семьдесят пятом году — сорок миллионов. Смертность у нас всегда составляла двадцать душ на тысячу в год. Значит, в первом году нашего века умерло сто сорок тысяч человек, в двадцать пятом — двести восемьдесят тысяч; в пятидесятом — полмиллиона и в семьдесят пятом — около миллиона. Я готов округлить цифры: допустим, что в Америке с самого начала до наших дней умерло пятьдесят, пусть шестьдесят, пусть даже сто миллионов белых: на несколько миллионов больше или меньше — роли не играет. Ну вот, теперь тебе ясно, что если такую горстку людей рассеять на сотнях миллиардов миль небесной американской территории, то это будет все равно что рассыпать десятицентовой пакетик гомеопатических пилюль по пустыне Сахаре и надеяться их потом собрать. С чего бы нам после этого занимать видное место в раю? Мы его и не занимаем. Таковы факты, и надо с ними мириться. Ученые с других планет и из других астрономических систем, объезжая райские кущи, заглядывают

и к нам; они здесь погостят немного, а потом возвращаются к себе домой и пишут книгу о своем путешествии, и в этой книге Америке уделено пять строк. Что же они о нас пишут? Что Америка — слабонаселенная дикая страна и в ней живут несколько сот тысяч миллиардов краснокожих ангелов, среди которых встречаются кое-где *больные* ангелы со странным цветом лица. Понимаешь, эти ученые думают, что мы, белые, а также немногочисленные негры — это индейцы, побелевшие или почерневшие от страшной болезни вроде проказы, в наказание — заметь себе — за какой-то чудовищный грех. Это, мой друг, довольно-таки горькая пилюля для всех нас, даже для самых скромных, не говоря уже о тех, которые ждут, что их встретят как богатых родственников и что вдобавок они смогут обнимать самого Авраама. Я не расспрашивал тебя о подробностях, капитан, но думаю, что мой опыт подсказывает мне правильно: тебе никто не кричал особенно громко «ура!», когда ты сюда прибыл?

— Не стоит об этом вспоминать, Сэнди, — сказал я, краснея, — ни за какие деньги я не согласился бы, чтоб это видели мои домашние. Пожалуйста, Сэнди, переменим тему разговора.

— Ладно. Ты как решил, поселиться в калифорнийском отделении рая?

— Сам еще не знаю. Я не собирался останавливаться на чем-нибудь определенном до прибытия моей семьи. Мне хотелось не спеша осмотреться, а уж потом решить. Кроме того, у меня очень много знакомых покойников, и я думал разыскать их, чтобы посплетничать маленько о друзьях, о былом, о всякой всячине и узнать, как им покамест нравится здешняя жизнь. Впрочем, моя жена скорее всего захочет поселиться в калифорнийском отделении, потому что почти все ее усопшие родственники, наверно, там, а она любит быть среди своих.

— Не допускай этого. Ты сам видишь, как плохо обстоит дело с белыми в отделении Нью-Джерси, а в калифорнийском в тысячу раз хуже. Там кишмя кишит злыми, тупоголовыми темнокожими ангелами, а до ближайшего белого соседа от тебя будет чего доброго миллион миль. *Общества, вот чего особенно не хватает человеку в раю*, — общества людей, таких, как он, с таким же цветом кожи, говорящих на том же языке. Одно время я чуть не поселился из-за этого в европейском секторе рая.

— Почему же ты этого не сделал?

— По разным причинам. Во-первых, там хоть и видишь много белых, но понять почти никого из них нельзя, так что по душевному разговору тоскуешь все равно как и здесь. Мне приятно поглядеть на русского, немца, итальянца, даже на француза, если посчастливится застать его, когда он не занят чем-нибудь нескромным, но одним глядением голод не утолишь, ведь главное-то желание — поговорить с кем-нибудь!

— Но ведь есть Англия, Сэнди, английский округ?

— Да, но там ненамного лучше, чем в нашей части небесных владений. Все идет хорошо, пока ты беседуешь с англичанами, которые родились не более трех столетий тому назад, но стоит тебе встретиться с людьми, жившими до эпохи Елизаветы, как английский язык становится туманным, и чем глубже в века, тем все туманнее. Я пробовал беседовать с неким Ленглендом и с человеком по имени Чосер¹ — это два старинных поэта, — но толку не вышло! Я плохо понимал их, а они плохо понимали меня. Потом я получал от них письма, но на таком ломаном английском языке, что разобрать ничего не мог. А люди, жившие в Англии до этих поэтов, — те совсем иностранцы: кто говорит на датском, кто на немецком, кто на нормандско-французском языке, а кто на смеси всех трех; еще более древние жители Англии говорят по-латыни, по-древнебритански, по-ирландски и по-гэльски; а уж кто жил до них, так это чистейшие дикари, и у них такой варварский язык, что сам дьявол не поймет! Пока отыщешь там кого-нибудь, с кем можно говорить, надо протискаться через несметные толпы, которые лопочут сплошную тарабарщину. Видишь ли, за миллиард лет в каждой стране сменилось столько разных народов и разных языков, что эта мешанина не могла не сказаться и в раю.

— Сэнди, а много ты видел великих людей, про которых написано в истории?

— О, сколько хочешь! Я видел и королей и разных знаменитостей.

— А короли здесь ценятся так же высоко, как и на земле?

— Нет. Никому не разрешается приносить сюда свои титулы. Божественное право монарха — это выдумка, которую неплохо принимают на Земле, но для неба она

¹ Ленгленд Уильям (ок. 1330—1400), Чосер Джефри (1340?—1400) — английские поэты. — *Прим. сост.*

не годится. Короли, как только попадают в эмпиреи¹, сразу же понижаются до общего уровня. Я был хорошо знаком с Карлом Вторым² — он один из любимейших комиков в английском округе, всегда выступает с аншлагом. Есть, конечно, актеры и получше — люди, прожившие на земле в полной безвестности, — но Карл завоевывает себе имя, ему здесь пророчат большое будущее. Ричард Львиное Сердце³ работает на ринге и пользуется успехом у зрителей. Генрих Восьмой⁴ — трагик, и сцены, в которых он убивает людей, в высшей степени правдоподобны. Генрих Шестой⁵ торгует в киоске религиозной литературой.

— А Наполеона ты когда-нибудь видел, Сэнди?

— Видел частенько, иногда в корсиканском отделении, иногда во французском. Он по привычке ищет себе место позаметнее и расхаживает, скрестив руки на груди; брови нахмурены, под мышкой подзорная труба, вид величественный, мрачный, необыкновенный — такой, какого требует его репутация. И надо сказать, он крайне недоволен, что здесь он, вопреки его ожиданиям, не считается таким уж великим полководцем.

— Вот как! Кого же считают выше?

— Да очень многих людей, нам даже неизвестных, из породы башмачников, коновалов, точильщиков, — понимаешь, простолюдинов бог весть откуда, которые за всю свою жизнь не держали в руках меча и не сделали ни одного выстрела, но в душе были полководцами, хотя не имели возможности это проявить. А здесь

¹ *Эмпиреи* — в древнегреческой мифологии верхняя огненная часть неба, где пребывают боги, в переносном смысле — высь, мечты. — *Прим. сост.*

² *Карл II* (1630—1685) — английский король. После казни своего отца Карла I (1649) во время английской буржуазной революции был провозглашен королем Шотландии. В 1660 г. стал королем Англии. Известен своей неводержанностью и беспутством, поэтому, вероятно, Твен делает его комиком в раю. — *Прим. сост.*

³ *Ричард Львиное Сердце* (1157—1199) — английский король с 1189 г., вел непрерывные войны, стоившие стране огромных средств, участвовал в крестовых походах. Прославился своей жестокостью: при взятии Аккры убил 2000 пленных сарацин. Стал героем песен, легенд и романов, где часто выступал в рыцарских поединках, — у Твена «работает на ринге и пользуется успехом у зрителей». — *Прим. сост.*

⁴ *Генрих VIII* (1491—1547) — английский король с 1509 г. Человек чувственный и импульсивный, он казнил нескольких своих жен (был женат 6 раз), а также многих неугодных ему политических деятелей, в том числе Томаса Мора (1478—1535), автора всемирно известной «Утопии». — *Прим. сост.*

⁵ *Генрих VI* (1421—1471) — английский король, отличался слабостью, набожностью и припадками безумия. — *Прим. сост.*

они по праву занимают свое место, и Цезарь, Наполеон и Александр Македонский вынуждены отойти на задний план. Величайшим военным гением в нашем мире был каменщик из-под Бостона по имени Эбсэлом Джонс, умерший во время войны за независимость. Где бы он ни появился, моментально сбегаются толпы. Понимаешь, каждому известно, что, представься в свое время этому Джонсу подходящий случай, он продемонстрировал бы миру такие полководческие таланты, что все бывшее до него показалось бы детской забавой, ученической работой. Но случая ему не представилось. Сколько раз он ни пытался записаться в армию рядовым, сержант-вербовщик не брал его — у Джонса не хватало больших пальцев на обеих руках и двух передних зубов. Однако, повторяю, теперь всем известно, чем он *мог бы* стать — и вот, заслышав, что он куда-то направляется, народ толпой валит, чтобы хоть одним глазком на него взглянуть. Цезарь, Ганнибал, Александр и Наполеон — все служат под его началом, и, кроме них, еще много прославленных полководцев; но народ не обращает на них никакого внимания, когда видит Джонса. Бум! Еще один залп. Значит, кабатчик уже миновал карантин.

Мы с Сэнди надели на себя полное облачение, затем пожелали — и через секунду очутились на том месте, где должен был состояться прием. Стоя на берегу воздушного океана, мы вглядывались в туманную даль, но ничего не могли разглядеть. Поблизости от нас находилась главная трибуна — ряды едва различимых во тьме тронов поднимались к самому зениту. В обе стороны от нее бесконечным амфитеатром расходились места для публики. На трибунах было тихо и пусто, никакого веселья, скорее они выглядели мрачно — как театральный зал, когда газовые рожки еще не горят и зрители не начали собираться. Сэнди мне говорит:

— Сядем здесь и подождем. Скоро вон с той стороны покажется голова процессии.

Я говорю:

— Тоскливо здесь что-то, Сэнди; видимо, произошла какая-то задержка. Одни мы с тобой пришли, а больше нет никого, — не очень-то пышная встреча для кабатчика.

— Не волнуйся, все в порядке. Будет еще один залп, тогда увидишь.

Через некоторое время мы заметили далеко на горизонте пятно света.

— Это голова факельного шествия,— сказал Сэнди.

Пятно разрасталось, светлело, становилось более ярким, скоро оно стало похоже на фонарь паровоза. Разгораясь ярче и ярче, оно в конце концов уподобилось солнцу, встающему над морем,—длинные красные лучи прорезали небо.

— Смотри все время на главную трибуну и на места для публики и жди последнего залпа,— сказал мне Сэнди.

И тут, точно миллион громовых ударов, слившихся в один, раздалось бум-бум-бум — с такой силой, что задрожали небеса. Вслед за тем внезапная вспышка осветила нас, и в то же мгновение миллионы мест заполнились людьми — насколько хватало глаз, все было набито битком. Яркий свет заливал эту великолепную картину. У меня просто дух захватило.

— Вот как у нас это делается,— сказал Сэнди. — Время зря не тратим, но и никто не является после поднятия занавеса. Пожелать — это куда быстрее, чем передвигаться иными способами. Четверть секунды тому назад эти люди были за миллионы миль отсюда. Когда они слышали последний сигнал, они просто пожелали сюда явиться, и вот они уже здесь.

Грандиозный хор запел:

Мечтаем голос твой услышать,
Тебя лицом к лицу узреть.

Музыка была возвышенная, но в хор затесались неумелые певцы и испортили все, точь-в-точь как бывает в церкви на Земле.

Появилась голова триумфальной процессии, и это было изумительно красиво. Нога в ногу шли плотными рядами ангелы, по пятьсот тысяч в шеренге, все пели и несли факелы, и от оглушительного хлопанья их крыльев даже голова заболела. Колонна растянулась на громадное расстояние, хвост ее терялся сверкающей змейкой далеко в небе, переходя в конце в едва различимый завиток. Шли все новые и новые ангелы, и только спустя много времени показался сам кабатчик. Все зрители, как один, поднялись со своих мест, и громовое «ура!» потрясло небо. Кабатчик улыбался во весь рот, нимб его был лихо заломлен набекрень,—такого самодовольного святого я еще никогда не видал. Когда он начал подниматься по ступеням главной трибуны, хор грянул:

Из края в край несутся клики,
Все ждут услышать голос твой.

На почетном месте — широкой огороженной площадке в центре главной трибуны — установлены были рядом четыре роскошных шатра, окруженные блистательной почетной стражей. Все это время шатры были наглухо закрыты. Но вот кабатчик вскарабкался наверх и, кланяясь во все стороны и расточая улыбки, добрался наконец до площадки, и тут все шатры сразу распахнулись, и мы увидели четыре величественных золотых трона, усыпанных драгоценными камнями; на двух средних восседало по седобородому старцу, а на двух крайних — статные красавцы исполины, с нимбами в виде блюд и в прекрасной броне. Все, кто там был, миллионы людей, пали на колени, со счастливым видом уставились на троны и начали радостно перешептываться:

— Два архангела! Чудесно! А кто же эти другие?

Архангелы отвесили кабатчику короткий сухой поклон на военный манер; оба старца тоже встали, и один из них сказал:

— Мойсей и Исав приветствуют тебя!

И тут же вся четверка исчезла и троны опустели.

Кабатчик, видимо, слегка огорчился: он, наверно, рассчитывал обняться с этими старцами; но толпа — такая гордая и счастливая, какой ты сроду не видал, — ликовала, потому что удалось узреть Мойсея и Исава. Все только и говорили кругом: «Вы их видели?» — «Я-то да! Исав сидел ко мне в профиль, но Мойсея я видел прямо, анфас, вот так, как вас вижу!»

Процессия подхватила кабатчика и увлекла его дальше, а толпа начала покидать трибуны и расходиться. Когда мы шли домой, Сэнди сказал, что встреча прошла прекрасно, и кабатчик имеет право вечно ею гордиться. И еще Сэнди сказал, что нам тоже повезло: можно посещать разные приемы сорок тысяч лет и не увидеть двух таких высокопоставленных лиц, как Мойсей и Исав. Позднее мы узнали, что чуть было не узрели еще и третьего патриарха, а также настоящего пророка, но в последнюю минуту они отклонили приглашение с благодарностью. Сэнди сказал, что там, где стояли Мойсей и Исав, будет воздвигнут памятник с указанием даты и обстоятельств их появления, а также с описанием всей церемонии. И в течение тысячелетий это место будут посещать туристы, глазеть на памятник, взбираться на него и царапать на нем свои имена.

ИСПРАВЛЕННЫЙ КАТЕХИЗИС

РАССКАЗ О ДУРНОМ МАЛЬЧИКЕ

Жил на свете дурной мальчик, которого звали Джим. Заметьте, что в книжках для воскресных школ дурных мальчиков почти всегда зовут Джеймс. Но как это ни странно, мальчика, о котором я хочу рассказать, звали Джим.

Не было у него больной матери, умирающей от чахотки, благочестивой матери, которая рада бы успокоиться в могиле, если бы не ее горячая любовь к сыну и боязнь, что, когда она умрет и оставит его одного на земле, люди будут к нему холодны и жестоки. Большинство дурных мальчиков в книжках для воскресных школ зовутся Джеймсами, и у них есть больные матери, которые учат их молиться перед сном, убаюкивают нежной и грустной песенкой, потом целуют их и плачут, стоя на коленях у их изголовья. А с этим парнем все обстояло иначе. И звали его Джим, и у матери его не было никакой болезни — ни чахотки, ни чего-либо в таком роде. Напротив, она была женщина крепкая, дородная; притом и благочестием она не отличалась и ничуть не тревожилась за Джима. Она говорила, что, если бы он свернул себе шею, потеря была бы невелика. На сон грядущий Джим получал от нее всегда шлепки. Прежде чем отойти от его кровати, мать награждала его не поцелуем, а хорошим тумаком.

Раз этот скверный мальчишка стащил ключ от кладовой и, забравшись туда, наелся варенья, а чтобы мать не заметила недостачи, долил банку дегтем. И после этого его не охватил ужас, и никакой внутренний голос не шептал ему: «Разве можно не слушаться родителей? Ведь это грех! Куда попадет дурной мальчик, который слопал варенье у своей доброй матери?» И

Джим не упал на колени, и не дал обет исправиться, и не пошел затем к матери, полный радости, с легким сердцем, чтобы покаяться ей во всем и попросить прощения, после чего она благословила бы его со слезами благодарности и гордости. Нет! Так бывает в книжках со всеми дурными мальчиками, а с Джимом почему-то все было иначе. Варенье он съел и на своем нечестивом, грубом языке объявил, что это «жратва первый сорт». Потом он добавил в банку дегтю и, хохоча, сказал, что это «очень здорово» и что «старуха взбесится и завоет», когда обнаружит это. Когда же все открылось и Джим упорно и начисто отрицал свою вину, мать больно высекла его,—и плакать пришлось ему, а не ей.

Да, удивительно странный мальчик был этот Джим! с ним все происходило не так, как с дурными мальчиками Джеймсами в книжках.

Однажды он залез на яблоню фермера Экорна, чтобы наворовать яблок. И сук не подломился, Джим не упал, не сломал себе руку, его не искусила большая собака фермера, и он потом не лежал больной много дней, не раскаялся и не исправился. Ничего подобного! Он нарвал яблок сколько хотел и благополучно слез с дерева. А для собаки он заранее припас камень и хватил ее этим камнем по голове, когда она кинулась на него. Необыкновенная история! Никогда так не бывает в правоучительных книжках с красивыми корешками и с картинками, на которых изображены мужчины во фраках, котелках и коротких панталонах, женщины в платьях с талией под мышками и без кринолинов. Нет, ни в одной книжке для воскресных школ таких историй не найдешь.

Раз Джим украл у учителя в школе перочинный ножик, а потом, боясь, что это откроется и его высекут, сунул ножик в шапку Джорджа Уилсона, сына бедной вдовы, хорошего мальчика, самого примерного мальчика во всей деревне, который всегда слушался матери, никогда не лгал, учился охотно и до страсти любил ходить в воскресную школу. Когда ножик выпал из шапки и бедняга Джордж опустил голову и покраснел, как виноватый, глубоко огорченный учитель обвинил в краже его и уже взмахнул розгой, собираясь опустить ее на его дрожащие плечи,—не появился внезапно среди них седовласый, совершенно неправдоподобный судья и не сказал, став в позу: «Не трогайте этого благородного мальчика! Вот стоит трепещущий от страха преступ-



ник! Я проходил мимо вашей школы во время перемены и, никем не замеченный, видел, как была совершена кража!» Нет, ничего этого не было, и Джима не выпороли, и почтенный судья не прочел наставления проливающим слезы школьникам, не взял Джорджа за руку и не сказал, что такой мальчик заслуживает награды и поэтому предлагает ему жить у него, подметать канцелярию, топить печи, быть на побегушках, колоть дрова, изучать право и помогать его жене в домашней работе, а все остальное время он сможет играть и будет получать сорок центов в месяц и благоденствовать. Нет, так бывает в книгах, а с Джимом все было иначе. Никакой старый хрыч судья не вмешался и не испортил все дело, и пай-



мальчик Джордж получил трепку, а Джим радовался, потому что он, надо вам сказать, ненавидел примерных мальчиков. Он всегда твдил, что «терпеть не может слюнтяев». Так грубо выражался этот скверный, распущенный мальчишка!

Но самое необычайное в истории Джима это то, что он в воскресенье поехал кататься на лодке — и не утонул! А в другой раз он в воскресенье удил рыбу, но хотя и был застигнут грозой, молния не поразила его! Да просмотрите вы хоть все книги для воскресных школ от первой до последней страницы, ройтесь в них хоть до будущего рождества — не найдете ни одного такого случая! Никогда! Вы узнаете из них, что все дурные мальчики, которые катаются в воскресенье на лодке, непременно тонут, и всех тех, кто удит рыбу в воскресенье, неизбежно застигает гроза и убивает молния. Лодки с дурными детьми всегда опрокидываются по воскресеньям, и если дурные дети в воскресенье отправляются на рыбную ловлю, обязательно налетает

гроза. Каким образом Джим уцелел, для меня остается тайной.

Джим этот был словно заговоренный,—только так и можно объяснить то, что ему все сходило с рук. Он даже угостил слона в зоологическом саду куском пресованного жевательного табака — и слон не оторвал ему голову хоботом! Он полез в буфет за мятной настоек — и не выпил по ошибке азотной кислоты! Стащив у отца ружье, он в праздник пошел охотиться — и не отстрелил себе три или четыре пальца! Однажды, разозлившись, он ударил свою маленькую сестренку кулаком в висок, и — можете себе представить! — девочка не чахла после этого, не умерла в тяжких страданиях, с кроткими словами прощения на устах, удвоив этим муки его разбитого сердца. Нет, она бодро перенесла удар и осталась целехонька.

В конце концов Джим убежал из дому и нанялся матросом на корабль. Если верить книжкам, он должен был бы вернуться печальный, одинокий и узнать, что его близкие спят на тихом погосте, что увитый виноградом домик, где прошло его детство, давно развалился и сгнил. А Джим вернулся пьяный как стелька и сразу угодил в полицейский участок.

Так он вырос, этот Джим, женился, имел кучу детей и однажды ночью размозжил им всем головы топором. Всякими плутнями и мошенничествами он нажил состояние, и теперь он — самый гнусный и отъявленный негодяй в своей деревне — пользуется всеобщим уважением и стал одним из законодателей штата.

Как видите, этому грешнику Джиму, которому бабушка ворожит, везло в жизни так, как никогда не везет ни одному дурному Джеймсу в книжках для воскресных школ.

СРЕДИ ДУХОВ

Несколько дней тому назад у нас в городе был спиритический сеанс. Я отправился туда вместе с репортером вечерней газеты. Он сказал мне, что знал в свое время шулера по имени Гэс Грэхем, которого застрелили на улице в одном городке в Иллинойсе. Поскольку во всем Сан-Франциско едва ли найдется второй человек, знакомый с обстоятельствами этого дела, он хочет «подсунуть дýхам этого Грэхема — пусть пожуют». (Молодой журналист принадлежит к демокра-

тической партии и выражается энергично и неизяшно, подобно всем демократам.) Когда сеанс начался, он написал на клочке бумаги имя своего покойного друга и, сложив записочку вчетверо, опустил ее в шляпу, в которой уже лежало не менее пятисот подобных же документов. Записки вывалили на стол, и женщина-медиум стала разворачивать их одну за другой и откладывать в сторону, каждый раз вопрошая:

— Этот дух присутствует? А этот? А этот?

Примерно один раз из пятидесяти в ответ раздавался стук, и тогда тот, кто подал записку, вставал и обращался к усопшему. По прошествии некоторого времени какой-то дух ухватил медиума за руку и написал на бумаге: «Гэс Грэхем». Женщина-медиум принялась рыться в груде записок. Когда она дотронулась до нужной записки, перебрав до того полсотни других, послышался стук: старый шулер узнал свою карту, видно, по рубашке. Член проверочной комиссии развернул записку, там стояло: «Гэс Грэхем». Я потребовал, чтобы мне показали записку. То была, без сомнения, записка, поданная моим спутником. Я не особенно удивился: все демократы с дьяволом накоротке. Молодой журналист поднялся со своего стула.

— Когда вы скончались? В тысяча восемьсот пятьдесят первом году? В тысяча восемьсот пятьдесят втором? В тысяча восемьсот пятьдесят третьем? В тысяча восемьсот пятьдесят четвертом?

Дух. Тук-тук-тук!

— От чего вы умерли? От холеры? От поноса? От дизентерии? От оспы? От укуса бешеной собаки? Насильственной смертью?

— Тук-тук-тук!

— Вас повесили? Утопили? Зарезали? Застрелили?

— Тук-тук-тук!

— Вы умерли в штате Миссисипи? В Кентукки? В Нью-Йорке? На Сандвичевых островах? В Техасе? В Иллинойсе?

— Тук-тук-тук!

— В округе Адамс? В округе Мэдисон? В округе Рэндольф?

Было ясно, что усопшего шулера голыми руками не возьмешь. Он знал колоду на память и ходил с козыря.

В это время из публики вышли два немца, один пожилой, а другой самоуверенный юнец, явно что-то задумавший. Он написал имена на бумажке. Затем

юный Оллендорф задал вопрос, звучавший примерно так:

— Ist ein Geist heraus?¹ (*Бешеный хохот аудитории.*)

Три удара свидетельствовали, что Geist был heraus.

— Wollen sie schreiben² (*снова хохот.*).

Три удара.

— Füntzigstollenlinsiwfterowlicktevhairrvvowferfrowleineruhackfolderon?

Можете мне не верить, но дух бодро отвечал: «Да!»

Веселье слушателей возрастало с каждым новым вопросом, и их пришлось строго предупредить, что, если они не перестанут вести себя столь легкомысленно, опыты будут прекращены. Шум утих.

Немецкий дух был, по-видимому, совершенным профаном, не мог толком ответить на самые простые вопросы. Под конец юный Оллендорф, справившись с какими-то записями, попытался установить, когда этот дух умер. Дух путался, не мог точно сказать, умер он в 1811 или в 1812 году, что, впрочем, было не столь уж удивительно, учитывая, что протекло много лет. Наконец, он решился и выбрал вторую дату.

Игра! Юный Оллендорф вскочил на ноги в сильнейшем волнении. Он закричал:

— Тамы и шентельмены! Я написал имя челофека, который софсем шифой. Тух кофорит, што он умер ф фосемьсот тфенадцатом коту, а он шиф и стороф...

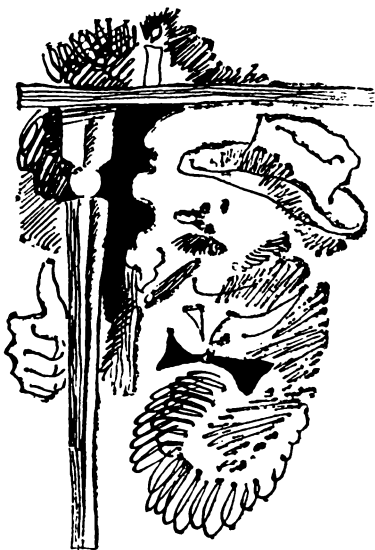
Женщина - мед и - ум. Сядьте на место, сэры!

Оллендорф. Нет, я шелаю...

Женщина - мед и - ум. Вы здесь не для того, чтобы произносить речи. Сядьте на место.

(Оллендорф между тем готовится к новой речи.)

Оллендорф. Этот



¹ Явился ли дух? (*Нем.*)

² Хотите писать? (*Нем.*)



тух опманыфает. Такофо туха софсем не сущестфует.

(Аудитория непрерывно аплодирует и хохочет.)

Женщина - мед и - ум. Сядьте на место, сэр, и я дам сейчас объяснение.

И она дала объяснение. В ходе этого объяснения она нанесла юному Оллендорфу удар такой сокрушительной силы, что я нисколько не удивился бы, если бы немец вылетел вон, проломив по пути стенку. Она сказала, что он явился сюда, затаив в сердце обман, подвох и мошенничество, и что ему навстречу из царства теней вышел дух его же морального уровня. Женщина-медиум была исполнена искреннего негодования. Она дала нам понять, что преисподняя просто кишит подонками вроде юного Оллендорфа, и они ждут не дождутся малейшей возможности, чтобы по призыву таких Оллендорфов выскочить, прикрываясь чужим именем, а потом писать и выстукивать всевозможную ересь. *(Взрыв хохота и аплодисменты.)*

Отважный Оллендорф не сложил, однако, оружия и готов был открыть ответный огонь, но аудитория разразилась противоречивыми криками:

— Сядь на место! — Нет, продолжай! — Пошел вон! — Мы тебя слушаем! — Стащите его с трибуны! — Держись, не робей! — А ну-ка сматывай удочки!

Женщина-медиум поднялась и сказала, что, если Оллендорф не сядет на место, она покидает зал. Она ни за что не допустит, чтобы ее оскорбляли мошенническими проделками или насмехались над ее религиозными чувствами. Аудитория утихла, и укрощенный Оллендорф покинул трибуну.

Второй немец встал, в свою очередь, вызвал другого духа, задал ему несколько немецких вопросов и сказал, что ответы правильны. Женщина-медиум сообщила, что ни слова по-немецки не знает.

В это время какой-то тип подозвал меня поближе к эстраде и спросил, не спирит ли я. Я сказал, что нет, не спирит. Тогда он спросил, не враждебен ли я спиритизму. Я сказал, что не более, чем сотни других не верящих в духов. Я добавил, что не в силах уверовать в то, что мне непонятно, а то, что здесь происходит, я понять не могу.

Тогда он сказал, что, пожалуй, причина сегодняшней робости духов лежит не во мне; однако же явно, что происходит истечение негативных флюидов, — он сразу это заметил — сильнейшее истечение негативных флюидов и как раз с моей стороны. Я намекнул, что виною, наверно, мой спутник, и добавил, что считаю отъявленными мерзавцами всех, кто повинен в истечении этих гнусных негативных флюидов. Мои объяснения, по-видимому, удовлетворили маньяка, и он отпустил меня с миром.

У меня был когда-то приятель, который ушел в царство духов, а может быть, к черту в пекло — словом, в одно из тех мест, и мне захотелось узнать о нем. Но обратиться с грешным земным вопросом к тени умершего было так жутко, что я долго не мог открыть рот. Наконец, трепеща от волнения, я встал и спросил еле слышно, прерывающимся голосом:

— Здесь ли дух Джона Смита?

(Я не подумал о том, что со Смидами шутки плохи. Стоит позвать одного, и легионы их ринутся из глубины преисподней, чтобы сказать вам: «Привет!»)

— Трам-трам-тарарам!

Так я и знал! Все племя почивших без покаяния Смитов от Сан-Франциско и до самого ада атаковало маленький столик одновременно. Я был озадачен, точ-

нее сказать, ошарашен. Зал, однако, потребовал, чтобы я задавал вопросы, и я спросил:

— От чего вы умерли?

Смиты перечислили все болезни и все несчастные случаи, какие могут привести к преждевременной смерти.

— Где вы умерли?

Они умерли во всех географических пунктах, какие я мог назвать.

— Счастливы ли вы?

— Нет! — ответствовали решительно и единодушно покойные Смиты.

— Тепло ли вам там?

Один из грамотеев Смитов завладел рукой медиума и написал: «Нет слов, чтобы выразить, как нам тепло!»

— Есть ли еще Смиты там, откуда вы появились?

— Чертова уйма!

Мне почудилось, что тень отвечавшего Смита хихикнула, отпустив свою незатейливую остроту.

— Сколько Смитов явилось сюда?

— Восемнадцать миллионов. Очередь тянется до западной границы Китая.

— А сколько всего Смитов среди жителей преисподней?

— Подавляющее большинство. Так что ради удобства Владыка ада велел именовать каждого новоприбывшего Смитом. Кто не Смит, должен об этом сообщить. Но такие случаи редки.

— Как называют погибшие духи свое мрачное обиталище?

— Смитсоновский институт!¹

Наконец я набрел на нужного мне Смита — того самого доброго незабвенного друга, и узнал от него, что он погиб насильственной смертью. Жена заговорила его до смерти. Так я и думал. Бедный мой друг!

Потом появился еще один Смит. Один из присутствующих сказал, что это *его* Смит, и стал задавать вопросы. Выяснилось, что и этот Смит погиб насильственной смертью. На земле он исповедовал весьма путаные религиозные взгляды. Был помесью универсали-

¹ *Смитсоновский институт* — основан в 1846 г. на деньги, завещанные Джеймсом Смитсоном (1765—1829); в рамках этого института ведутся научные исследования в разных областях науки — от этнографии до астрофизики. — *Прим. сост.*

ста и унитариянца¹. Но теперь во всем разобрался, к полному своему удовольствию. Мы стали его расспрашивать, и добродушный старик охотно вступил в беседу. Для духа он был просто болтун. Сказал, что тело его дематериализовалось и пуля теперь может пройти сквозь него, не оставив за собой даже дырки. Дождь тоже проходит насквозь, и мокроты он не чувствует (если так, он не может судить о дожде). То, что мы называем раем и адом, сказал он, не более, чем состояние души; в раю умершие радуются, а в аду мучаются угрызениями совести. Сказал, что он лично доволен, чувствует себя превосходно. Отказался ответить, кем был на земле — грешником или же праведником. (Непромокаемый, дематериализованный старый проныра! Понял, что я задал свой вопрос неспроста, хочу выяснить, есть ли шанс у меня устроиться не хуже, чем он.) Сказал, что не сидит ни минуты без дела, помогает другим и учится сам. Сказал, что у них имеются сферы — степени совершенствования; что он при его успехах уже во второй сфере. (Полегче, старина, не спеши, у тебя в запасе целая вечность.) Он не сумел объяснить, сколько там всего сфер, лично я думаю, их — миллионы. Если человек перескакивает с одной на другую с такой резвостью, как этот старый универсалист, то, не сравнившись по возрасту даже с Сезострисом² и прочими мумиями, он пройдет их великое множество и в преддверии вечности потеряет им счет. Старик набирает, по-моему, скорость, не соответствующую ни обстановке, в которой находится, ни запасу времени, которым располагает. Еще он сказал, что духи не чувствуют ни жара, ни холода. (Это опровергает мои правоверные представления об аде, о раскаленных сковородках и кипящей смоле.) Сказал, что духи общаются между собой только мысленно, языка не имеют; сказал, что деление на мужчин и на женщин по-прежнему остается, и прочее в том же роде.

Старикан писал и беседовал с нами не менее часа, и по его быстрым толковым ответам было видно, что

¹ *Универсалист* — сторонник вероучения, которое отвергает догматическую сторону христианства, утверждает, что спасется все человечество, а не только избранные, и что в конечном счете победят добро и справедливость; *унитариянец* — приверженец идеи единства бога, отрицающий троицу, божественность Христа, таинства крещения и причащения, не принимающий учение о грехопадении и искуплении, сторонник веротерпимости. — *Прим. сост.*

² *Сезострис* — легендарный египетский царь-завоеватель. — *Прим. сост.*

он не тратит там времени зря, повсюду сует свой нос и старается выяснить что к чему, а если чего не поймет, не успокаивается,—он сам об этом нам сказал,—а ищет какую-нибудь знакомую душу, которая может поделиться с ним накопленным опытом. Неудивительно, что он в курсе всех дел. Я хотел бы в заключение отметить его редкую любезность и обязательность и пожелать, чтобы он преуспевал так и далее, пока не усядется на макушке самой высшей, последней сферы и не достигнет таким образом конечного совершенства.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО КОММОДОРУ ВАНДЕРБИЛЬТУ

Как болит мое сердце за вас, как мне вас жаль, коммодор!¹

Почти у каждого человека есть хотя бы небольшой круг друзей, преданность которых служит ему поддержкой и утешением в жизни. Вы же, по-видимому,—лишь кумир толпы низкопоклонников, жалких людишек, которые с наслаждением воспевают ваши самые вопиющие гнусности, или молитвенно славят ваше огромное богатство, или расписывают вашу частную жизнь, самые обыкновенные привычки, слова и поступки, как будто бы ваши миллионы придают им значительность; эти друзья рукоплещут вашей сверхъестественной скаредности с таким же восторгом, как и блестящим проявлениям вашего коммерческого гения и смелости, а наряду с этим и самым незаконным нарушениям коммерческой честности, ибо сии восторженные почитатели чужих долларов, должно быть, не видят различия между тем и другим и одинаково, снимая шляпы, поют «аллилуйя» всему, что бы вы ни сделали. Да, жаль мне вас! Жалости достоин всякий, у кого *такие* друзья. Вам, должно быть, стали ненавистны газеты. Мне кажется, вы не рискуете и заглядывать ни в одну — из опасения, что увидите до неприличия востор-

¹ *Коммодор* — капитан первого ранга в американском флоте или командир яхт-клуба. *Вандербильт* Корнелий (1794—1877) — сын бедных родителей, в 16 лет обзавелся небольшим парусным суденышком, затем стал капитаном парохода. Строил паровые суда, на чем составил громадное состояние, которое увеличил железнодорожными спекуляциями. Оставил после себя состояние в 150 млн. долларов.— *Прим. сост.*

женный панегирик по поводу какого-либо вашего поступка, либо самого обиденного, либо такого, которого следовало бы стыдиться. Хотя мы с вами и незнакомы, искреннее сострадание к вам дает мне право так говорить. Скажите, вы когда-нибудь пытались трезво поразмыслить о репутации, которую создают вам газеты? Разобрались, из чего она создается? А это интересно, уверяю вас. Вот, например, в один прекрасный день кто-либо из ваших «подданных» посвящает два-три газетных столбца подробностям вашего «восхождения» от нищеты к богатству и, восторгаясь вами, как будто вы самое совершенное и прекрасное из всего, что создал бог, он, сам того не замечая, показывает, как безмерно низок должен быть человек, чтобы достигнуть того, чего достигли вы. Затем другой ваш подданный описывает, как вы катаетесь по парку: презрительный вид, опущенная голова... Вы не смотрите ни влево, ни вправо, не хотите порадовать тысячи людей, жаждущих удостоиться хотя бы одного вашего взгляда, и мчитесь вперед, бесшабашно пренебрегая всеми правилами езды. Все ваше поведение ясно говорит: «Пусть никто не попадется мне на дороге, а если попадется и я его сшибу, изувечу — не важно, откуплюсь». И как же этот рассказчик столь умилительных эпизодов пресмыкается перед вами, лежа в пыли у ваших ног, как славит вас, Вандербильт! Далее один из ваших людей помещает в газете длинную заметку, в которой описывается, как вы каким-то тайным, хитрым способом «обошли» людей, затеяв какую-то махинацию с акциями «Эри»¹, и прибавили еще один грязный миллион к толстым пачкам своих банкнотов. И — заметьте! — этот писака только превозносит вашу ловкость; ни единого слова о том, что темные дела на столь высоком посту, как ваш, — опасный пример для подрастающего поколения коммерсантов, более того — они убийственны для всего нашего народа, пока существуют такие пресмыкающиеся, как ваши поклонники, которые в печати ставят вам эти делишки в заслугу, как величайшую добродетель. В «Харперс» один такой субъект рассказывает в качестве забавного анекдота, как одна дама держала пари на

¹ ...махинацию с акциями «Эри». — Эта компания была организована в 1832 г. для строительства железной дороги от озера Эри до реки Гудзон. Акционерный капитал компании «Эри» за 1868—1872 гг. в спекулятивных целях был «разведен» с 17 млн. до 78 млн. долларов, что позволяло ее заправникам грабить и государственную казну и простых вкладчиков. — *Прим. сост.*

пару перчаток, что сумеет тронуть вас рассказом о нуждах благотворительного общества, которое организуют благородные и самоотверженные люди для помощи несчастным, и тогда вы, расщедрившись, уделите ему кое-какие крохи от ваших несметных богатств. А вы дослушали до конца ее рассказ о нужде и страданиях — и что же? Вы дали этой даме один жалкий доллар (такой поступок уже сам по себе — оскорбление. Представьте, что с моей сестрой или вашей кто-нибудь поступил бы так!) и сказали: «Теперь можете объявить тому, с кем вы держали пари, что перчатки — ваши». Рассказав в печати этот анекдот, ваш верноподданный покатывается со смеху — такой забавной кажется ему мысль, что вы способны поддаться уговорам чувствительного адвоката в юбке и мужественно уделить от своих щедрот целый доллар в помощь хотя бы единому существу под солнцем. Вот какие у вас преданные друзья, Вандербильт! От одного из них мы узнали, например, что, когда вам принадлежали пароходы калифорнийской линии, вы приказывали кассирам составлять фальшивые списки пассажиров, фактически же перевозили на несколько сот человек больше, чем разрешается законом. Так вы нарушали законы нашей страны и подвергали опасности жизнь пассажиров, до отказа набивая людьми пароходы, которым предстоял долгий путь по тропическим морям в страшную жару и под угрозой эпидемии на борту. И, разумеется, ваш друг журналист отдал дань восхищения столь замечательной ловкости! А я помню, как ругали и проклинали вас жертвы вашей алчности, пассажиры, добравшиеся до Панамского перешейка, в особенности женщины и девушки, которым всю дорогу приходилось спать на палубах вповалку, бок о бок с какими-то мужчинами, подонками общества, которые, если верить бедным женщинам, лежали даже рядом с ними на койках. И можете мне поверить, о великий Вандербильт, — вы, кого воспевают и кому завидуют, — что в Калифорнии не было человека, который усомнился бы в их словах. Женщины эти нам с вами чужие, но если бы было иначе, мы были бы возмущены и скандализированы таким обращением с ними, не правда ли? Чтобы правильно судить о таких фактах, давайте попробуем себе представить, что на месте этих пассажиров — наши родственницы или любимые женщины, тогда уж нам будет не до смеха и кровь наша закипит от негодования. Так-то, мой милый коммодор!

Восхищенные почитатели рассказывают про вас и другие истории, но умолчим о них, они вас только позорят. Они ясно показывают, как опасно человеку богатство, как он мельчает, если деньги для него — не слуги, а божество. Да, ваши подвиги свидетельствуют, каким бездушным делает человека богатство, — вспомним хотя бы прелестную историю о том, как один молодой адвокат потребовал с вас за какие-то услуги пятьсот долларов, а вы нашли, что это слишком много. И вот вы пустили в ход хитрый трюк: завоевав доверие молодого человека, убедили его занять деньги и вложить их в акции «Эри»; которые, как вы заведомо знали, в то время падали. Адвокат попал в расставленную вами западню, стал нищим, а вы были отомщены и злорадствовали. Почитатели ваши, конечно, не преминули огласить этот случай в печати, превознося до небес вашу изобретательность.

Ну, пожалуй, будет приводить примеры! Не помню, чтобы я хоть раз прочел о вас что-нибудь такое, чего вы не должны были бы стыдиться.

Сейчас я хочу настойчиво посоветовать вам лишь одно: преодолите свои врожденные инстинкты и сделайте что-нибудь действительно похвальное, чтобы поступок этот не заставил вас краснеть, когда вы прочтете о нем в печати. Сделайте что-нибудь такое, что может пробудить искру благородства в сердцах ваших почитателей. Хоть один-единственный раз подайте добрый пример тысячам молодых людей, которые до сих пор стремились с вами соревноваться только в энергии и неутомимости. Пусть в мусоре ваших дел сверкнет хотя бы единая крупинка чистого золота. Сделайте это, молю вас, иначе среди нас — не дай бог! — скоро появится пятьсот новых Вандербильтов, следующих по вашему пути. Прошу вас, решайтесь, совершите хоть один достойный поступок. Наберитесь духу — и великодушно, благородно, смело пожертвуйте четыре доллара на какое-нибудь большое благотворительное дело. Знаю, это разобьет вам сердце. Ну да ничего, все равно вам жить осталось недолго, и лучше умереть скоропостижно от порыва благородства, чем жить еще сто лет, оставаясь тем же Вандербильтом. Послушайтесь же меня, и, честное слово, я тоже начну петь вам дифирамбы.

Бедный Вандербильт! Мне, право, жаль вас, честное слово! Вы — старый человек, и пора бы вам уйти на покой. А вам приходится лезть из кожи, лишать себя спокойного сна и мира душевного, отказываться от



многого в вечной погоне за деньгами. Я всегда сочувствую таким беднягам, как вы, которых заездила их «нищета». Поймите меня правильно, Вандербильт. Мне известно, что у вас семьдесят миллионов. Но мы с вами знаем, что человек богат не тогда, когда у него большие деньги, а когда ему этих денег достаточно. А пока он жаждет увеличить свой капитал, он еще не богат. Будь у него даже семьдесят раз семьдесят миллионов, они еще не делают его богатым, пока он томится жаждой накопить больше. Моих средств только-только хватило бы, вероятно, на покупку самой плохой лошади с вашей конюшни, но я могу сказать, положив руку на сердце, что больше одной лошади мне не нужно. Значит, я богат. А вы! У вас есть семьдесят миллионов, но вам непременно нужно пятьсот, и вы из-за этого искренне страдаете. Такая нищета просто ужасает. Честно вам говорю, вряд ли я мог бы прожить и сутки под тяжким бременем презренной жажды добыть еще четыреста тридцать миллионов. Это убило бы меня. Ваша злополучная нищета так меня удручает, что, встретив вас сейчас, я охотно бросил бы в вашу жестянку десять центов и сказал бы: «Да смиляется над вами господь, горемыка вы несчастный!»

Прошу вас, Вандербильт, не сердитесь на меня. Уверю вас, я все это говорю, желая вам добра, и слова

мой искреннее, чем все, что до сих пор говорилось вам и о вас. Так что давайте-ка сделайте что-нибудь такое, чего не пришлось бы стыдиться! Сделайте нечто подobaющее обладателю семидесяти миллионов, человеку, чьи самые незначительные поступки запоминаются людьми более молодыми во всей стране и служат примером для подражания. Не обольщайтесь мыслью, будто все, что вы делаете и говорите, замечательно, не верьте ослам, которые без конца твердят это в газетах. Не обманывайте себя. Очень часто ваши идеи по существу вовсе не блестящи, они попросту сияют отраженным блеском ваших семидесяти миллионов. Подумайте об этом на досуге. Вам подражает вся наша молодежь. Я тоже пробовал подражать вам и стать знаменитым. Но мои подвиги не привлекли ничьего внимания. Однажды я дал нищей калеке два цента и шутливо посоветовал ей пойти в отель «Пятая авеню» и прожить там на эти деньги целую неделю. Но про мою выходку нигде не писали. А если бы так поступили вы, все стали бы кричать, что это самая остроумная шутка на свете. Ибо вам, Вандербильт, можно изрекать неслыханные пошлости — в газетах их тут же объявят образцом мудрости и остроумия. А вот недавно я говорил в Чикаго о своем плане откупить железную дорогу «Юнион-Пасифик» до самых Скалистых гор и эксплуатировать ее самостоятельно, на свой риск. Столь замечательная идея, столь смелый проект не рождались даже в вашем хваленном мозгу, — а вызвали они сенсацию в газетах? Ничуть не бывало. Зато если бы это придумали вы, во всем газетном мире поднялась бы буря восторгов. Нет, сэр, другие люди не уступают вам в блеске идей и речей, но им не хватает ореола семидесяти миллионов. Так что не верьте хору похвал. Бóльшая часть их относится не к вам, а к вашим миллионам. Говорю это, чтобы предостеречь вас против суетного тщеславия, и нездорового и беспочвенного: ибо, если бы вы лишились своих миллионов, вы с удивлением и горечью убедились бы, что отныне все ваши слова и дела будут казаться банальными, ничем не замечательными.

Заметьте, я ничего не говорю о вашей душе, Вандербильт. Не говорю, ибо у меня есть все основания думать, что души у вас нет. Никто меня не сможет убедить, что человек с вашей беспримерной коммерческой сметкой, если бы у него была душа, упустил бы такую сверхвыгодную сделку с господом богом: ведь вы могли бы обеспечить себе миллионы лет покоя, мира и бла-

женства в раю ценой такого пустяка, как десяток лет, безгрешно прожитых на земле! А вам вряд ли осталось жить больше какого-нибудь десятка лет — ведь вы глубокий старик...

Впрочем, быть может, душа у вас все-таки есть. Но знаю я вас, Вандербильт, отлично знаю: вы попытаетесь торговаться, купить спасение души подешевле. Миллионы лет райского блаженства вас, конечно, прельщают, и вы готовы пойти на эту сделку — еще бы, такая дивная перспектива! Но вы будете выжидать, тянуть до своего смертного часа и тогда предложите за нее то, что у вас осталось, — один час и сорок минут. Знаю я вас, Вандербильт! Впрочем, так поступают и люди похуже вас. Преступники, которых ждет виселица, всегда в последнюю минуту посылают за священником.

Поверьте, Вандербильт, я говорю все это ради вашего же блага, а вовсе не для того, чтобы вас позлить. Право, вы ведете себя не умнее, чем Асторы¹. Впрочем, лучше быть подлецом, но живым человеком, чем палкой, даже если это палка с золотым набалдашником.

Ну вот, я свою задачу выполнил. Я хотел вас расшевелить и привести в хорошее настроение. Ведь вам, наверно, иногда до тошноты надоедает приторная лесть и подхалимство, и вы для разнообразия не прочь услышать честную критику, даже брань. Еще одно скажу вам на прощанье: вы, стоящий во главе финансовой аристократии Америки, наверно испытываете порой смутную потребность свершить что-нибудь замечательное, подвиг коммерческой честности, гуманности, мужества, чести и достоинства, — подвиг, который сразу прославит вас во всей стране, и через сто лет после вашей смерти матери все еще будут твердить о нем своим юным и честолюбивым сыновьям. Думаю, что у вас бывают такие минуты, — ведь это вполне естественно, — и потому горячо советую вам претворить эту мысль в действие. Решайтесь, удивите всю страну каким-нибудь добрым делом. Перестаньте совершать поступки и говорить слова, недостойные человека и крайне ничтожные, слова и поступки, которые вашими друзьями восхваляются в печати. Уймите этих подхалимов или удавите их.

Ваш *Марк Твен*.

¹ Асторы — семья американских миллионеров, их называли «хозяевами Нью-Йорка». — *Прим. сост.*

ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ МАЛЬЧИКА

Недавно в Сан-Франциско «прилично одетый» мальчик, шедший в воскресную школу, был задержан и отправлен в городскую тюрьму за то, что швырял камнями в китайцев¹.

Какой пример человеческой справедливости! Какое печальное доказательство нашей склонности тиранить слабых! Городу Сан-Франциско не делает чести то, что здесь так поступили с бедным мальчиком. Что внушалось с детства этому ребенку? Откуда ему было знать, что нехорошо бросать камнями в китайцев? Раньше, чем на него обрушиться, как обрушился на него негодующий Сан-Франциско, дадим ему возможность оправдаться, выслушаем свидетелей защиты.

Это был «прилично одетый» мальчик, ученик воскресной школы. Значит, надо думать, что родители его — люди зажиточные и цивилизованные, которые сохранили лишь ровно настолько дикости, что с жадностью читают газеты и смакуют их содержание. Таким образом, этот мальчик не только по воскресеньям, но и во все другие дни недели имел возможность учиться добру и справедливости.

Он узнал, что власти великой Калифорнии взимают незаконный налог за право разработки прииска с иностранца Джона, в то время как иностранцу Патрику¹ они разрешают бесплатно добывать золото, — вероятно, на том основании, что вырождающийся монгол не расходует ни цента на виски, а утонченный кельт не может жить без этого напитка.

Мальчик узнал, что очень многие сборщики налогов (было бы жестоко обвинять в этом *всех*) берут с китайцев налог не один, а два раза; и поскольку они это делают исключительно для того, чтобы отбить у китайцев охоту ехать на прииски, их тактика вызывает горячее одобрение и считается верхом изобретательности и остроумия.

Узнал мальчик также, что, когда в чужой лоток с золотым песком запустит руку белый (под белыми разумеются испанцы, мексиканцы, португальцы, ирландцы, гондурасцы, перуанцы, чилийцы и прочие и прочие), — его просто выгоняют из поселка. А если украл китаец — его вешают.

¹ Джон — прозвище китайцев в Америке; Патрик — прозвище ирландцев. — Прим. сост.

И еще он узнал, что во многих районах обширного Тихоокеанского побережья у населения замечается такая неистовая стихийная тяга к справедливости, что всякий раз, как совершается таинственное, неразгаданное преступление, люди заявляют: «Хоть бы обрушились небеса, а правосудие должно совершиться!» — и немедленно хватают и вздергивают какого-нибудь китайца.

Таким же образом мальчик открыл, что, судя по одной половине «местной хроники» в газетах, можно думать, будто полиция Сан-Франциско либо спит, либо вымерла, а при чтении другой половины хроники выясняется, что репортеры в неистовом восторге от энергии, честности, усердия и отчаянной храбрости той же полиции. Они с упоением описывают, как «зоркий Аргус¹, полисмен такой-то, застиг гнусного мошенника-китайца, который намеревался украсть кур, и с триумфом препроводил его в городскую тюрьму»; и как другой доблестный полисмен «украдкой следил за каждым движением ничего не подозревавшего узкоглазого поклонника Конфуция» (скажите после этого, что репортер не остроумен), наблюдая за ним с тем как бы рассеянным, безучастным выражением, которое так умеет напускать на себя это загадочное существо, сорокадолларовый полисмен, когда он не клюет носом; и как он в конце концов застиг китайца в момент, когда тот самым подозрительным образом положил руку на пакетик гвоздей, оставленный владельцем на видном месте. Репортер усердно расписывает, как один полисмен совершил это великое дело, а другой — то-то, а третий — то-то. И почти всегда их славные подвиги вызваны таким потрясающим событием, как грошовая кража, совершенная китайцем. Провинность этого несчастного раздувают в нечто чудовищное, кричат о ней для того, чтобы публика не заметила, что множество действительно опасных преступников ходит на свободе, а «доблестная» полиция даром получает жалованье.

И вот что еще узнал мальчик: так как благодаря нашей конституции Америка стала убежищем для бедных и угнетенных людей всех стран и с этих обездоленных, ищущих у нас приюта, не разрешается взимать непосильную плату за въезд, то власти издали закон о прививке оспы всем приезжающим китайцам тут же в порту, и за прививку китаец обязан уплатить назначен-

¹ Аргус — тысячглазое чудовище в древнегреческой мифологии, воплощение небесного свода; его убил Гермес по поручению Зевса. — *Прим. сост.*



ному штатом чиновнику десять долларов. А между тем любой врач в Сан-Франциско охотно оказал бы ему эту услугу за полдоллара.

Так мальчику стало ясно, что китаец не имеет никаких прав, которые следует уважать, что у него не может быть настоящего горя, а значит, и жалеть его не за что, что жизнь его и свобода не стоят ломаного гроша, когда белым нужен козел отпущения, что китайцев никто не любит, не дружит с ними и не помогает им. Никто не щадит их, когда представляется случай их обидеть, и решительно все — отдельные люди, общество и даже представители вла-

сти — ненавидят, оскорбляют и притесняют этих смиренных и бедных чужеземцев.

После всего этого что могло быть естественнее поступка жизнерадостного мальчика, который весело шел в воскресную школу? В уме его теснились преподанные ему истины, поощрявшие к высоким и благородным подвигам, и он сказал себе мысленно: «Ага! вот идет китаец! Бог меня накажет, если я не брошу в него камнем».

И за это его арестовали и посадили в тюрьму!

Все, решительно все убеждало этого мальчика, что швырять камнями в китайца — благое, хорошее дело. И вот при первой же его попытке выполнить священный долг беднягу карают за это! А ведь ему как нельзя лучше было известно, что для полиции первейшее развлечение — спокойно любоваться, как мясники на Брэннен-стрит натравливают своих собак на ни в чем не повинных китайцев и те бегут сломя голову, спасая свою жизнь¹.

¹ Я видел много таких сцен, но сейчас мне вспомнилась одна: как мясники с Брэннен-стрит натравили собак на китайца, мирно

Принимая во внимание уроки гуманности, которые даются молодежи на всем Тихоокеанском побережье, нельзя не удивляться крайней нелепости того взрыва благородного негодования, который на днях заставил «отцов города» в Сан-Франциско торжественно объявить, что «полиции отдан строгий приказ арестовывать за нападения на китайцев всех мальчиков, кто бы они ни были и где бы ни были замечены».

Однако, несмотря на всю непоследовательность такого постановления, порадуемся ему от души! И будьте уверены, что полиция тоже им довольна. Ибо, арестовывая мальчиков (если они маленькие), она не подвергается никакой опасности, а газетные репортеры будут восхвалять ее деяния так же рьяно, как они это делали до сих пор,— надо же о чем-нибудь писать.

В газетах Сан-Франциско, в отделе местной хроники, теперь появится новый тип заметок. Они будут писаться примерно так:

«Неизменно бдительному и энергичному полисмену (следует фамилия) вчера днем удалось задержать малолетнего Томми Джонса после упорного сопротивления...» и так далее и так далее. За этим будут следовать обычные фактические данные и заключительная фанфара, таящая в себе бессознательный сарказм: «Мы с большим удовлетворением констатируем, что это уже сорок седьмой мальчик, задержанный отважным полисменом со времени вступления в силу нового постановления властей. Полиция развила усиленную деятельность. В полицейских участках царит оживление, какого не запомнят старожилы нашего города».

ИСПРАВЛЕННЫЙ КАТЕХИЗИС

Студенты первого курса, изучающие новейшую Моральную философию, встают и читают нараспев:

Какова главная цель человеческой жизни?

Ответ. Стать богатым.

Каким путем?

шедшего мимо с корзиной белья на голове. И в то время как собаки терзали китайца, один из мясников для пущего веселья вышиб ему обломком кирпича несколько зубов. Этот случай с особенно зловещей яркостью врезался мне в память — потому, быть может, что я в то время сотрудничал в одной газете в Сан-Франциско и газета не поместила мою заметку об избиении, так как это могло задеть кое-кого из подписчиков.— *Прим. М. Т.*



Ответ. Нечестным, если удастся; честным, если нельзя иначе.

Кто есть бог, истинный и единый?

Ответ. Деньги — вот бог. Золото, банкноты, акции — бог отец, бог сын, бог дух святой, един в трех лицах; господь истинный, единый, всевышний, всемогущий, а Уильям Туид¹ — пророк его.

Назовите имена двенадцати апостолов.

Ответ. Святой Осел — Жеребец Холл, на котором пророк въехал в Иерусалим; святой Конолли — любимейший из апостолов; святой Матвей Карнохэн, восседающий у приема пошлин; святой Петр Фиск — апостол-водитель; святой Павел Гулд, бичеванный не раз

и славный своими рубцами; святой Уайненс Искарriot; святой Яков Вандербильт — в досталь чтимый апостол; святой Харви-благовзятель; святой Ингерсол, поставщик священных ковров; святая Нью-Йоркская типографская компания, смиренная и кроткая (правая рука ее не ведает, что хапнула левая); святой Петр Хоффман, отрекшийся от своего ирландского учителя, после того как петух общественного мнения пропел шесть или семь раз; святой Барнард — судья премудрый, издающий в годину бедствий специальные судебные определения, дабы спасти душу ближних своих.

Как достичь главной цели человеческой жизни?

¹ Туид Уильям Марси (1823—1878) — американский политический деятель, глава Таммани-Холла — центра демократической партии в Нью-Йорке. Он и его сообщники, которые далее названы в качестве 12 апостолов, ограбили городскую казну на 200 млн. долларов. Пародируя катехизис, Твен дает этим мошенникам евангельские имена: Матвей, Петр, Павел, Искарriot (т. е. Иуда), Яков. — Прим. сост.

Ответ. Поставляйте воображаемые ковры судебным учреждениям и мифические стулья арсеналам; выполняйте невидимые типографские заказы для городского управления.

А что еще можно делать?

Ответ. Да мало ли что. Подкупите за сходную цену таможенного апостола; сдирайте три шкуры за разгрузку судов; грабьте иммигрантов, прибывающих из-за моря; отведите для бедняков казенное кладбище за десять миль от города и берите за провоз покойников по сорок долларов с головы; сделайте экспертом по проверке качества стальных конструкций на строительстве; поставя свинцовые и железные газовые трубы для судебных учреждений, сочиняйте такие счета, как если бы трубы были серебряными и золотыми и сплошь усыпаны брильянтами; приводите в порядок городские скверы по цене пять долларов за квадратный дюйм; за приличное жалованье валандайтесь возле кабака и делайте при этом вид, что вы трудитесь не покладая рук на благо обществу.

Все ли это? А если нет, что еще может сделать человек, чтобы спасти душу свою?

Ответ. Составьте счет на следуемые вам деньги, впишите в него десятикратную сумму, а получив ее, вручите девять десятых пророку и святому семейству. Тогда спасетесь.

Чьему примеру учили юношей в былые дни, кого считали образцом для подражания?

Ответ. Вашингтона и Франклина.

Кому учат следовать и подражать сейчас, в наше просвещенное время?



Ответ. Туиду, Холлу, Конолли, Карнохэну, Фиску, Гулду, Барнард и Уайненсу.

Какие произведения рекомендовались особенно горячо в былые дни для воспитания юношества?

Ответ. «Альманах простака Ричарда», «Путь паломника» и «Декларация независимости»¹.

Какие произведения рекомендуются особенно горячо для изучения в воскресных школах в наше просвещенное время?

Ответ. Святой Холл — «Подложные отчеты», святой Фиск — «Искусство грабежа», святой Карнохэн — «Путь к взятке», святой Гулд — «Как обирать акционеров», святой Барнард — «Специальные судебные определения», святой Туид — «Курс морали» и одобренное судом издание «Великого крестового похода сорока разбойников».

Значит ли это, что мы движемся по пути прогресса?

Ответ. Будьте уверены!

С совершенным почтением *Марк Твен*

ПОСЛАНИЕ ОРДЕНУ «РЫЦАРЕЙ СЯГОГО ПАТРИКА»

Глубоко сожалею, что не могу присутствовать завтра вечером на банкете «Рыцарей святого Патрика»². В этом году, когда отмечается столетие существования Соединенных Штатов, нам должно быть особенно приятно почтить память человека, чье доброе имя живет уже четырнадцать веков. Нам это должно быть приятно потому, что в дни юбилея мы, естественно, вспоминаем о святом Патрике с большой симпатией. В свое время он проделал колоссальную работу. Он застал Ирландию богатой республикой и принялся думать, к чему с наибольшей пользой приложить свои си-

¹ *Альманах простака Ричарда* — календарь, издававшийся Б. Франклином (1706—1790) с 1733 по 1758 г.; *«Путь паломника»* (1678—1684) — назидательно-аллегорическое произведение Джона Бэньяна (1628—1688), одна из самых популярных книг в англоязычных странах; *«Декларация независимости»* — принята представителями английских колоний в Америке 4 июля 1776 г.; декларация провозглашала отделение колоний от Британии и создание США. Ее автор — Томас Джефферсон (1743—1826), впоследствии ставший третьим президентом страны. — *Прим. сост.*

² *Святой Патрик* — покровитель Ирландии. Жил около 358—461 гг., по преданию, изгнал с острова всех змей. — *Прим. сост.*

лы. Он заметил, что президент республики¹ имеет привычку укрывать государственных деятелей от заслуженных наказаний, и так отколотил президента своим посохом, что тот умер. Он узнал, что военный министр живет так экономно, что сумел за год скопить двенадцать тысяч долларов при жалованье в восемь тысяч,— и убил его. Он узнал, что министр внутренних дел всегда причитает над каждой бочкой солонины, предназначенной для отправки дикарям, а потом присваивает эту солонину себе,— и уколошил этого министра тоже. Он узнал, что морской министр больше занят разными подозрительными исками, чем вопросами мореходства,— и тут же прикончил этого министра. Он узнал, что при помощи одного гнусного типа, состоявшего личным секретарем при какой-то персоне, был разыгран жульнический судебный процесс,— и уничтожил этого личного секретаря. Он выяснил, что конгресс, прикидываясь сверхдобродетельным, рвется начать расследование деятельности одного посланника, запятнавшего честь своего государства за границей, но этот же конгресс столь же рьяно препятствует назначению на подобный пост любого человека с незапятнанной репутацией; что у этого конгресса нет другого бога, кроме политической партии, и нет других принципов, кроме партийного политиканства; что кругозор его узок и вообще непонятно и неоправданно само его существование. Поэтому он перебил всех членов конгресса до единого.

Завершив эту колоссальную работу, он изрек на своем образном языке: «Вот, смотрите, я истребил всех змей в Ирландии!»

Святой Патрик не участвовал в политике: он стоял за правду, и это само по себе — хорошая политика! Увидев гада, он забывал спросить, демократ это или республиканец, но тут же поднимал свой посох и всыпал ему как следует! Вечная память святому Патрику! Вот бы его к нам сюда, чтобы он и нас к юбилею избавил от гадов! Увы, это невозможно! Бездействует его посох — символ истинных, а не бутафорских реформ. Впрочем, у нас еще сохранился символ Правды — топо-

¹ *Президент республики.* — В 1869—1877 гг. президентом США был Улисс Симпсон Грант (1822—1885), генерал. С марта 1864 г. — главнокомандующий армией северян в Гражданской войне. Многие члены его кабинета, в том числе военный министр Уильям Белкнеп, вице-президенты Скайлер Колфакс и Генри Вилсон, личный секретарь президента, были уличены в получении взяток от железнодорожностронтельной компании «Креди Мобилье». — *Прим. сост.*

рик Джорджа Вашингтона¹, ведь я-то знаю, где его зарыли!

16 марта 1876 года.

Хартфорд, Коннектикут

Преданный вам, Марк Твен»

РАССКАЗ КАПИТАНА

В свое время в ходу было немало рассказ-ней, героем которых был старый капитан Джонс с Тихого океана, по прозвищу Ураган,— мир праху его! Двое или трое из нас, здесь присутствующих, с ним встречались; я знал его особенно хорошо, потому что сделал с ним четыре рейса. Это был человек весьма замечательный. Он и родился-то на корабле; свое скудное образование он собрал по крохам у товарищей по плаванию,— начав морскую службу на баке, он в конце концов достиг должности капитана. Старый Джонс проплавал больше пятидесяти лет из своих шестидесяти пяти; он избороздил все океаны, видел все страны, и кожу его прокалило солнце всех широт. Если человек полвека пробыл в море, он, естественно, ничего не знает о людях, ничего не знает о белом свете, кроме того, что видел своими глазами; ничего не знает о развитии человеческой мысли, о развитии мировой науки, кроме азбучных истин, да и те, пройдя сквозь призму невежественного ума, затуманились и исказились. Такой человек — просто седое и бородатое дитя. Вот и он, старый Джонс Ураган, был такой — невинный, милый старый младенец. Когда его дух пребывал в покое, он был мягок и кроток, как девушка, когда же в нем кипела ярость, он обращался в ураган,— но даже и это прозвище давало лишь весьма слабое представление о его нраве. Отчаянный храбрец и недюжинный силач, он был страшен в бою. Весь, с головы до пят, он был разукрашен рисунками и надписями, весь в красной и синей татуировке. Я ходил с ним в тот рейс, когда он покрыл татуировкой последнее свободное место — вокруг левой лодыжки. Три дня он ковылял по судну с голой распухшей лодыжкой, и сквозь расплывшееся облачко китайской туши проглядывала надпись, красная и растрав-

¹ *Топорик Джорджа Вашингтона.* — Каждый американец с детства знает рассказ о честности первого президента США, который ребенком срубил новеньким топориком вишневое деревце и признался в том отцу, хотя и знал, что его ждет наказание.— *Прим. сост.*

ленная: «Добродетель вознагра-ся» (больше не хватило места).

Старый Джонс был человеком глубоко верующим, а сквернословил, как торговка рыбой. Он не считал это за грех: ведь приказ, не подкрепленный бранным словом, был бы просто не понят матросами. Он был проныцательным исследователем и толкователем Библии,— то есть он сам так полагал. Он верил всему, что написано в Библии, но обосновывал эту веру каждый раз по-своему, собственными методами. Капитан принадлежал к «передовой» школе мыслителей и объяснял все чудеса законами природы, подобно тем, кто шесть дней сотворения мира превращает в шесть геологических эпох и так далее. Сам того не сознавая, он представлял собой довольно злую карикатуру на современных ученых теологов. Надо ли говорить, что такой человек, как мой капитан, до страсти любил поспорить и поделиться плодами своих изысканий.

В одном из рейсов у капитана на борту оказался священник; но ему было невдомек, что это священник,— список пассажиров об этом факте не осведомлял. Он очень привязался к преподобному мистеру Питерсу и подолгу с ним беседовал: рассказывал ему анекдоты, смешные случаи, забористые историйки из своей жизни и свою досужую болтовню пересыпал красочным богохульством,— это действовало на ум, утомленный унылой серостью бесцветной речи, как освежающий душ. Однажды капитан спросил:

— Питер, вы когда-нибудь читали Библию?

— Мм... читал.

— Верно, не так уж часто, судя по тому, как вы отвечаете. Возьмитесь-ка за нее с усердием и верой, тогда сами убедитесь, что дело того стоит. Только не опускайте рук, а держитесь до конца. Сперва вы ничего не поймете, но мало-помалу все станет на свое место, и тогда уж вас от нее не оторвешь!

— Да, мне приходилось это слышать.

— И так оно и есть. С ней ни одна книга тягаться не может. Она их всех перекроет, Питерс. Есть в ней трудные места, ничего не напишешь, но вы вчитайтесь да пораскиньте мозгами,— а уж когда вы раскусите эти орешки, все станет ясно как божий день.

— И чудеса тоже, капитан?

— Да, сэр. И чудеса. Любое чудо. Ну взять хотя бы эту историю с пророками Ваала; думается мне, вы перед ней спасовали, верно?

— Как сказать, не знаю, но...

— Признайтесь по совести, спасовали. Да оно и понятно. Опыта у вас не хватает, где вам распутать такой клубок! Разве вам это по силам! Хотите, я вам растолкую это дело и покажу, где собака зарыта?

— Конечно, капитан, если это вас не затруднит.

И капитан приступил к рассказу:

— С удовольствием вам все объясню. Сначала, понимаете ли, я все читал и читал, думал и прикидывал — какие они были, эти люди, в старые библейские времена, а уж когда я разобрался, все стало ясно и просто. И вот послушайте, как я по косточкам разложил всю эту историю с Исааком¹ и пророками Ваала². В древние времена среди знаменитых людей попадались большие ловкачи. Исаак как раз и был таким докой. У него было недостатков сколько угодно, и не мое дело его выгораживать. Он здорово разыграл пророков Ваала, и, пожалуй, по-своему он был прав, если учесть превосходящие силы противника. Я за него не заступаюсь, я одно говорю — никакого чуда не было, и вот это я вам сейчас и докажу, так что вы сами убедитесь.

В то время пророкам приходилось все туже и туже — то есть пророкам Исааковой веры. В общине было четыреста пятьдесят пророков Ваала и всего-навсего один пресвитерианец; конечно, если только Исаак и в самом деле был пресвитерианцем, — по-моему, так был, но в Библии про это не сказано. Само собой, пророки Ваала захватили всю клиентуру. Ну, Исааку, надо думать, пришлось круто, но он был настоящий мужчина, и наверняка он ходил по стране и пророчествовал, а сам притворялся, будто дела его хороши; но ничего ему не помогало — где было ему одному со всеми совладать! Скоро ему стало совсем невтерпеж — хоть вешайся; стал он ломать себе голову и так и эдак раскидывать умом. И до чего же он додумался? Он стал намекать, что его противники — и такие, мол, и сякие: ничего определенного не говорил, а как-никак репутацию им подпортил, и все исподтишка. Пошли слухи, и наконец стало это известно самому царю. Вот царь спрашивает Исаака, к чему он вел такие разговоры. И говорит Исаак: «Да нет, я просто так, а вот интересно — могут они вымолить огонь небесный на жертвенник? Может,

¹ Имя капитан перепутал сам. — *Прим. М. Т.*

² *Ваал* — древнее общесемитское божество; считался властителем земли, дождя и грозы, покровителем городов; его культ был связан с человеческими жертвоприношениями. — *Прим. сост.*

это и не так уж трудно, ваше величество, а все-таки пусть-ка попробуют. Вот о чем речь». Тут царь очень растревожился, пошел к пророкам Ваала, а они отвечают не задумываясь: был бы только жертвенник, а им-то, мол, это пустяк. И даже намекают, что не мешало бы ему жертвенник застраховать.

Вот на следующее утро сошлись все дети Израиля, и их родители, и прочий народ. По одну сторону толкуются пророки Ваала, так что яблоку упасть негде, а по другую расхаживает взад и вперед Исаак, один-одинешенек, готовится дать бой. Ну, засекли время, Исаак притворился спокойным — ему, мол, все равно — и говорит команде своих противников, что первые подачи за ними. Те взялись дружно за дело, все четыреста пятьдесят стали молиться вокруг жертвенника, — стараются изо всех сил, а сами, конечно, надеются на своего бога. Молятся они час, молятся другой, третий, до самого полудня. А толку нет. Не знают они, с какого конца взяться. Понятно, стыдно им стало перед народом, и не зря. Как, по-вашему, повел бы тут себя человек порядочный? Молчал бы, верно? Ясное дело. А что сделал Исаак? Он стал смущать пророков Ваала, издеваться над ними на все лады и говорит: «Кричите громче, ваш бог, верно, спит или, может, вышел прогуляться. Громче надо кричать!» — или еще какие-то такие слова, не припомню в точности. Заметьте, я не выгораживаю Исаака, у него были свои недостатки.

Так вот, и после обеда пророки Ваала опять молились по-всякому, как только умели, но с неба ни искры не упало. Наконец, уже перед закатом, они вовсе выбились из сил, запросили пощады и ушли с поля.

Ну а что делает Исаак? Он подходит к жертвеннику и говорит кому-то из своих друзей: «Лейте четыре бочки воды на жертвенник!» Все очень удивились — ведь те-то молились над жертвенником сухим да еще выбеленным известкой. Воду вылили. И говорит он: «Опрокидывайте еще четыре бочки!» Потом говорит: «Давайте еще четыре!» Двенадцать бочек воды, понимаете, — ровным счетом двенадцать. Тут вода заливает жертвенник, льется через край во все стороны и заполняет ров, куда вошли бы две сорокаведерные бочки, — «саты», говорится в Библии; я так думаю, что «сата» — это примерно сорокаведерная бочка. Тут, конечно, люди стали одеваться и расходиться, — видно, решили, что он сошел с ума. Не знали они Исаака. Исаак становится на колени и начинает молиться: и плетет он, и плетет — и

про язычников в дальних странах, и про родственные церкви, и про государство и страну вообще, и про тех, кто заворачивает делами в правительстве,— ну, словом, выкладывает обычную программу, пока все не утомились и не раздумались каждый о своем; и вот тогда-то, когда никто уже не обращал на него внимания, он вдруг вытаскивает спичку, чиркает ею о подметку, и — пффф! — все вспыхивает ярким пламенем, настоящий пожар! Двенадцать бочек воды, говорите? Керосина, сэр, КЕРОСИНА! Вот что это было!

— Керосина, капитан?

— Да, сэр: в стране керосину было хоть залейся! Исаак про это знал. Читайте Библию! Пусть вас трудные места не смущают. Не такие уж они трудные, когда как следует пошевелишь мозгами и разберешься, что к чему. Все, что написано в Библии,— чистая правда. Надо только с молитвой за нее браться да соображать, как они там работали.

ПЛИМУТСКИЙ КАМЕНЬ И ОТЦЫ-ПИЛИГРИМЫ

Приглашая мистера Клеменса выступить на банкете общества «Новая Англия», председатель Роллинс сказал:

«Этот тост провозглашается за человека, который, собственно говоря, не родился в Новой Англии, и, насколько мне известно, это относится и к его предкам. Стало быть, *юридически* он не может считаться аборигеном Новой Англии. Однако он нашел великолепный выход из столь трудного положения: сумел сделать так, что все его дети родились в Новой Англии, и таким образом сам он стал новоанглийским *предком*. Этими достижениями он обязан только самому себе. Кроме того — и это еще важнее — своим жизнерадостным, оптимистическим, полезным творчеством он превзошел лучших сынов Новой Англии. А превзойти их в чем-нибудь значительном трудно, ибо — между нами говоря, за закрытыми дверьми — всем вам известно, что это наиболее способные и умные люди на нашей благословенной земле; и вот среди таких-то людей мистер Твен сумел подняться и сумел *перерасти* их, став знаменитым благодаря своему блестящему таланту».

Я хочу выступить с протестом. Много лет я молчал. Но тому, что здесь происходит, право же, нет достаточного оправдания! Почему вы вздумали чествовать этих людей, ваших предков, это пуританское племя, прибывшее сюда на «Мейфлауэре»? Их-то за что чествовать?

Прошу прощения: джентльмен слева подсказывает мне, что вы чествуете не самих отцов-пилигримов¹, а их высадку у Плимутского камня 22 декабря 1620 года. Ах так, вы празднуете их высадку! Ну, знаете ли, если первый повод казался эфемерным, то второй и подавно невесом; если первый можно сравнить с папиросной бумагой, с оловянной фольгой, с рыбьим пузырем, то уж второй — тоньше самого тончайшего листика золота. Празднуется, стало быть, высадка? Позвольте осведомиться, что вы находите в ней замечательного? Ну что, скажите? Ведь этих пилигримов мотало по океану три, а то и четыре месяца. Зима была в разгаре, у мыса Код стоял собачий холод. Что же им оставалось делать, как не высадиться на берег? Вот если бы они не высадились, тогда вы имели бы основания отмечать это с помпой! Ибо человечество ни за что не забыло бы такого грандиозного акта идиотизма. Окажись *вы*, господа, на их месте, уж вы-то, надо полагать, не сошли бы на берег! Но все же вы не имеете ни малейшего права чествовать своих предков за те качества, которые они не проявили, а лишь передали вам по наследству. Да, скажу я вам, праздновать высадку пуритан на берег, пытаться представить этот простой и естественный поступок как нечто необыкновенное, заслуживающее удивления, восторгов и славословий на подобных ежегодных оргиях двести шестьдесят лет подряд, — черт возьми, да ведь лошадь и та додумалась бы выбраться на берег! Даже лошадь... Еще раз прошу прощения: джентльмен справа подсказывает, что это собрание не только в память высадки отцов-пилигримов, но и в память их самих. Противоречие налицо: один говорит — чествуется высадка, другой — отцы-пилигримы. Подобный разброд в мыслях характерен для вашей упрямой, несговорчивой породы. Ведь у вас обо всем разные мнения, — обо всем, кроме Бостона! Ну хорошо, за что же вы все-таки собрались чествовать пилигримов? Не секрет, что эти господа обладали тяжелым нравом. Я готов признать, что они были добрее, милосерднее и справедливее своих современников в Европе; я готов признать, что они были порядочнее своих предков. Но что с того? Это ни о чем не говорит. Человечество по-

¹ *Отцы-пилигримы* — так в Америке называют английских пуритан-переселенцев, бежавших от преследований короля и господствующей англиканской церкви в 1620 г. на корабле «Мейфлауэр» («Майский цветок») и основавших Плимутскую колонию. Их потомки считают себя элитой американской нации. — *Прим. сост.*

стоянно прогрессирует. Вы лучше своих отцов и дедов (впервые в жизни позволяю себе оскорблять память усопших,—как правило, я считаю это недозволенным!). Да, те из вас, кто не сидел в тюрьме,—если найдутся такие в этом зале,—наверно, лучше своих родителей. Но неужели это достаточный повод для устройства ежегодных пиршеств в вашу честь? Нет, ни в коем случае! Итак, повторяю: отцы-пилигримы обладали тяжелым нравом. Свои интересы они блюли неусыпно, а предков других людей попросту истребляли. Я мужлан из захолустного штата Миссури, с годами превратившийся в коннектикутского янки. Во мне слились нравственные принципы Миссури и культура Коннектикута. По-моему, господа, это идеальное сочетание. Но где мои предки? Кого я должен чествовать? Где мне найти исходное сырье?

Первым моим американским предком, господа, был индеец — древний индеец. Ваши предки ободрали его живьем, и я остался сиротой. В жилах нынешнего индейца уже нет ни одной капли моей крови. И я стою перед вами одинокий, несчастный, лишенный прародителя. Ободрали моего предка! Допустим, что им понадобилась его шкура, но он ведь был живой — живой, господа! Содрали с него живого кожу, да еще на глазах у людей! Вот что ужасно! Подумайте, каково ему пришлось,—ведь он тоже что-то чувствовал, и ему было очень неловко. Если бы он был птицей, тогда ладно,—считалось бы, что его просто ощипали. Но он же был человек, господа, а с людьми так еще никогда не обращались! Пожалуйста, поставьте себя на его место. Уважьте мою просьбу, сделайте это, сделайте это в знак запоздалой справедливости, во имя верности традициям ваших предков! Пусть весь мир полюбуется, что представляет общество «Новая Англия» на самом деле, без фраков и белых галстуков! Прекратите посещать эти ежегодные оргии, откажитесь от этого пошлого маскарада, сбросьте с себя эти пышные одежды. Покажитесь во всей красе. Приходите, благоухая летними травами, в простом и естественном, свободном и радующем взгляд облачении, какое заставили носить моего предка преблагие родичи ваши!

Более поздними моими предками были квакеры¹

¹ *Квакеры* — («трясуны», название, данное их врагами и оставшееся за ними) протестантская секта, отвергавшая канонизированные формы богослужения, а также многие государственные установления, например службу в армии.— *Прим. сост.*

Уильям Робинсон, Мармадюк Стивенсон и другие. Ваша братия изгнала их из колоний за религиозные убеждения, пригрозив убить, если они вернутся. Ведь ваши предки не побоялись опасностей морского пути, сурового климата и дикой природы, они покинули насиженные места во имя того, чтобы даровать каждому человеку на этом необъятном континенте одно из высочайших, драгоценнейших благ — свободу исповедовать любую веру в согласии с велениями его совести, и они не намерены были позволить каким-то крамольным квакерам помешать им в этом. Ваши предки навеки порвали цепи политического рабства и дали право голоса всем жителям этой обширной страны, всем без исключения... кроме тех, кто не принадлежал к их ортодоксальной пуританской церкви. Ваши предки — нрав у них был тяжелый — предоставили нам свободу религии: то есть свободу исповедовать религию по их указке, и политическую свободу, то есть свободу голосовать так, как велит церковь. И вот я, осиротелый, обездоленный, стою перед вами и пытаюсь по мере сил помочь вам достойно отметить их память.



У меня в роду числится еще Элизабет Хутон из секты квакеров. Ваши предки не очень мягко обошлись с ней — отрицать это вы не можете. Но они добились от бедняжки своего: убедили ее перед самой смертью одуматься и приняли в лоно святой церкви, — так что, надо полагать, после смерти она отправилась туда же, куда и они. А жаль, она была хорошая женщина! Роджер Уильямс¹ тоже был моим предком. Не помню точно, какую кару для него изобрели ваши родичи, знаю лишь, что они изгнали его в Род-Айленд, а потом, поняв, очевидно, что это уж слишком жестоко, смиростивились и сожгли его на костре. Да, нрав у них был тяжелый, что и говорить! Моими предками были также все салемские ведьмы². Ваши родственники дали им жару! Посредством морального давления и виселиц они так блестяще справились со своей задачей, что с тех пор — то есть за сто восемьдесят девять лет! — в нашей семье не появилось больше ни одной ведьмы и нам почти не приходилось иметь дела с виселицей. Первый раб, доставленный вашими предками из Африки в Новую Англию, был моим родственником, — да, да, я гибрид, поразительно сложный и интересный; меня нельзя, словно какую-нибудь поддельную пенковую трубку, переокрасить за неделю, над моим цветом кожи потрудились целых восемь поколений! В свое время я приобрел огромное количество родственников: я покупал их, выменивал, доставал всеми правдами и неправдами и жил припеваючи. Вдруг, с присущим вашему племени непостоянством, вы затеяли войну и отняли их всех у меня. И вот я снова осиротелый и одинокий, и ни одна капля моей крови не течет в жилах живого существа, предназначенного на продажу.

Друзья мои, послушайте меня и исправьтесь! Не ради своего, а ради вашего блага прошу я вас об этом! Вы уже выслушали речи. Распустите все эти «общества Новой Англии», эти очаги восторженных славословий и безудержных похвал! Если так будет продолжаться, то мы дождемся дня, когда вам изменит прямота характе-

¹ Уильямс Роджер (1607—1684) — английский богослов, сторонник веротерпимости. Переселившись в Америку в 1631 г., вступил в конфликт с лидерами массачусетских пуритан. Был изгнан из Бостона, основал колонию Род-Айленд. — *Прим. сост.*

² Салемские ведьмы. — В 1691—1692 гг. в американской деревне Салем (штат Массачусетс) казнили 20 женщин, обвиненных в колдовстве. С тех пор преследование инакомыслящих в США называют «охотой на ведьм». — *Прим. сост.*

ра и вы забудете про свою былую неприязнь к хвостовству. Остановитесь, пока не поздно, пока вы еще проявляете умеренность в оценке ваших предков! Умоляю, устройте аукцион и продайте Плимутский камень! Отцы-пилигримы были простыми, невежественными людьми. До своей высадки на американском берегу они никогда не видели хороших камней, во всяком случае таких, которые никому не принадлежали. Поэтому им простительно, что, высадившись на берег, они обрадовались этому камню и даже обнесли его железной оградой! Но вы-то, господа, люди просвещенные, образованные, вам-то хорошо известно, что на вашей родине, в щедрой, богатой Новой Англии, где камней сколько угодно, этому камню красная цена — тридцать пять центов. Так продайте его, пока он не выветрился, или на худой конец уступите под рекламу фирме патентованных лекарств, — этим хоть налоги окупятся!

Внемлите совету друга, вашего верного друга, прислушайтесь к его словам! Распустите все эти общества, рассадники порока и нравственного разложения, увековечивающие такой предрассудок, как культ предков! Здесь, на этом столе, я вижу воду, вижу молоко, вижу вредный ядовитый лимонад. Это только первые шаги на пути к падению. Затем появятся чай, шоколад, кофе... ресторанный кофе. А там еще несколько лет — всего каких-нибудь несколько лет — и, помяните мое слово, вы начнете пить сидр! Остановитесь, господа, пока еще есть возможность! Вы стали на путь, ведущий к разврату, физическому вырождению, моральному распаду, кровавым преступлениям и виселице. Именем ваших встревоженных друзей, именем ваших будущих вдов и сирот заклинаю: остановитесь, пока не поздно! Закройте все «общества Новой Англии», навсегда откажитесь от юбилейных вакханалий, перестаньте лакировать ржавую репутацию ваших давно истлевших предков, этих столпов сверхчеловеческой нравственности с мыса Код, этих святош-разбойников с Плимутского камня! Разойдитесь по домам и постарайтесь вести себя как следует!

Однако шутки в сторону. Думаю, что я чту и ценю ваше пуританское происхождение не меньше, чем вы сами; но я целиком присоединяюсь к мнению моего деда — человека строгих взглядов, честной души, отнюдь не склонного к лести. Вот что он сказал однажды: «Пусть там толкуют что угодно про этих пилигримов, а все-таки трудно найти людей лучше, чем они; что же касается

меня, так я не боюсь прямо заявить: они были бы самыми лучшими людьми на свете, если бы только родились в Миссури».

ПИСЬМО АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ

Эндрю Лэнгдону¹,
углеторговцу.
Буффало, штат Нью-Йорк

Управление
ангела-хранителя,
подотдел прошений.
20 января

Имею честь уведомить Вас, что Ваш последний акт самопожертвования и благотворительности занесен на отдельную страницу книги, именуемой «Золотые деяния человеческие». Отличие это, позволю себе заметить, не только является чрезвычайным, но почти не имеет равных.

По поводу Ваших молитв за неделю, истекшую 19 января сего года, имею честь Вам сообщить:

1. О похолодании, с последующим повышением цен за антрацит на 15 центов за тонну. — Удовлетворено.

2. О росте безработицы, с последующим снижением заработной платы на 10%. — Удовлетворено.

3. О падении цен на мягкий уголь, которым торгуют конкурирующие с Вами фирмы. — Удовлетворено.

4. О покаянии человека (вместе с его семьей), открывшего в Рочестере розничную продажу угля. — Удовлетворить в следующих размерах: дифтерит — два случая (один со смертельным исходом); скарлатина — один (осложнение на уши, глухота, психическое расстройство).

Примечание. Этот человек — служащий Нью-Йоркской центральной железнодорожной компании; было бы правильнее молиться о покаянии его нанIMATEлей.

5. О том, чтобы черт побрал многочисленных посетителей, пристающих к Вам с просьбами о предоставлении работы или иных видов помощи. — Задержано для дальнейшего рассмотрения. Эта молитва противоречит другой от того же числа, о которой будет сказано ниже.

6. О ниспослании смерти соседу, швырявшему камнем в вашу любимую кошку, когда та вопила у него под окном. — Задержано для дальнейшего рассмотре-

¹ Лэнгдон Эндрю — дядя жены Твена. — Прим. сост.

ния. Находится в противоречии с молитвой от того же числа, о которой будет сказано ниже.

7. «Пропади они пропадом, эти миссионеры!» — Задержано для дальнейшего рассмотрения, как и две предыдущие.

8. О росте месячной прибыли, составившей в декабре истекшего года 22 230 долларов, до 45 000 долларов к январю этого года и далее в той же пропорции, что было бы, как Вы заверяете, «пределом Ваших желаний». — Удовлетворено с оговоркой касательно этого заверения.

9. О циклоне, который разрушил бы шахтные сооружения и затопил бы все шахты угледобывающей Северо-Пенсильванской компании.

Примечание. По случаю зимнего времени циклоны отсутствуют. Можно заменить их взрывом рудничного газа, о чем, если Вы согласитесь с подобной заменой, вознесите молитву особо.

Эти девять молитв названы здесь как наиболее существенные. Остальные 298 за неделю, истекшую к 19 января, касающиеся судебных отдельных лиц и идущие под литерой А, удовлетворены нами оптом, — с тем лишь ограничением, что в 3 из 32 случаев, когда Вы требуете немедленной гибели, смерть заменена неизлечимой болезнью.

Названными исчерпывается список Ваших молитв, относящихся, согласно нашей классификации, к *тайным молениям сердца*. По понятным причинам молитвы такого рода рассматриваются нами в первую очередь.

Остальные Ваши молитвы за истекший период относятся к разряду *гласных молений*. В этот разряд входят молитвы, произносимые на молитвенных собраниях, в воскресной школе и дома — в семейном кругу. Мы определяем важность молитв этого рода в зависимости от места, которое лицо, возносящее их, занимает в нашей таблице. В соответствии с нашими правилами мы делим христиан на две основные группы: 1) христиане по призванию; 2) христиане по названию. И та и другая группы подразделяются далее по калибру, подклассу и виду. Окончательная их ценность выражена в каратах — от 1 и до 1000.

В балансовой ведомости за последний квартал 1847 года Ваши показатели таковы:

Основная группа	Христианин по призванию.
Калибр	0,25 максимально возможной величины.

Подкласс
Вид
Ценность в каратах

Человек духовный.
Избранные, серия А, раздел 16.
322.

В балансовой ведомости за истекший квартал, то есть по прошествии сорока лет, Ваши показатели переменились:

Основная группа
Калибр

Христианин по названию.
0,06 максимально возможной величины.

Подкласс
Вид

Человек животный.
Избранные, серия Я, раздел 1547.

Ценность в каратах 3.

Считаю необходимым обратить Ваше внимание на то, что Вы деградировали по всем показателям.

Перехожу к Вашим гласным молениям. Замечу, что, имея в виду поощрять мелкокалиберных христиан, мы часто удовлетворяем даже те их моления, которые мы бы отвергли, если бы их вознесли христиане более крупных калибров, — впрочем, они, разумеется, их не возносят.

Молитва о том, чтобы всевышний в своей вечной благодати послал тепло бедному и нагому. — Отказано. Произнесено на молитвенном собрании. Находится в противоречии с тайным молением сердца № 1. Согласно существующей практике нашего ведомства, тайным молениям сердца, вознесенным христианами по названию, отдается преимущество перед молениями гласными.

Молитва о ниспослании лучшей доли и сытной пищи «изнуренному сыну труда, чьи неустойчивые и истощающие усилия обеспечивают удобст-



ва и радости жизни для более счастливых смертных и обязывают всех нас неустанно и деятельно оберегать его от обид и несправедливостей со стороны алчных и скаредных и дарить его благодарной любовью». — Отказано. Произнесено на молитвенном собрании. Находится в противоречии с тайным молением сердца за № 2.

Молитва «Да почиет благословение господне на тех, кто поступает в ущерб интересам нашим, а равно и на их семьях. Да будет сердце наше свидетелем, что процветание их радует нас и удесятеряет наше блаженство». — Отказано. Произнесено на молитвенном собрании. Находится в противоречии с тайными молениями сердца за № 3 и 4.

Молитва «Не дай погибнуть, о господи, чьей-либо душе по слову или делу нашему». Произнесено при совместной молитве в кругу семьи. Получено за пятнадцать минут до тайного моления сердца за № 5, с которым находится в серьезном противоречии. — Предлагается отказаться от одной из молитв или привести их к единству.

Молитва «Помилуй, господи, всех, кто обидел нас и причинил ущерб дому нашему». Произнесено при совместной молитве в кругу семьи. По-видимому, относится и к соседу, швырявшему камнем в кошку. Получено за несколько минут до тайного моления сердца за № 6. — Предлагается устранить противоречие.

«Пусть дело миссионеров, величайший из подвигов, выпадавших когда-либо на долю смертного человека, процветает и ширится в краях, населенных язычниками». Молитва, произнесенная невпопад и без надобности на заседании Бюро Американских Миссионеров. Получено почти на полсутки ранее тайного моления за № 7. — Наше управление не ведает миссионерами и не имеет каких-либо связей с Американским Бюро. Мы готовы удовлетворить одну из этих молитв, но не можем удовлетворить обе. Лучше, мы полагаем, снять первую, которую вы вознесли, находясь в Американском Бюро¹.

По поводу заключительных слов в тайном молении сердца за № 8 делаю Вам внушение. Эта шутка обросла бородой.

Из 464 пожеланий, содержащихся в Ваших гласных молениях за эту неделю и выше не названных, удовлет-

¹ Американское бюро — бюро христианских заграничных миссий, основано в 1810 г. для развития христианской пропаганды по всему миру. — Прим. сост.

ворены только два: 1) «Чтобы тучи проливали на землю дождь». 2) «Чтобы солнце светило по-прежнему». Оба пункта так или иначе предусмотрены божественным промыслом, и Вы можете почерпнуть удовлетворение в том, что его не нарушили. Из 462 пожеланий, в которых мы вам отказываем, 61 относится к произнесенным в воскресной школе.

В связи с этим еще раз напомним Вам, что молитвы в воскресной школе, исходящие от мелкокалиберных христиан по названию — этот калибр зовется обычно у нас калибром Ванемейкера¹, — нами не удовлетворяются. Мы принимаем их просто оптом, по числу слов в единицу времени. Чтобы выполнить минимальную норму, требуется произнести не менее 3000 слов за 15 секунд. 4200 из 5000 возможных — недурной результат для мастеров по молитвам в воскресной школе. Он приравнивается к двум песнопениям и букету от юной девицы в камере бандита перед тем, как его повесят.

Остающиеся 401 из Ваших молений мы считаем простым колебанием воздуха. Из подобных молитв мы образуем встречные ветры, чтобы затруднять ход кораблей, принадлежащих нечестивцам. Однако даже для самого слабого ветра их надобно столько, что, как правило, мы их вообще не засчитываем.

К этому официальному уведомлению я хотел бы добавить несколько слов от себя.

Когда люди Вашего типа совершают добрый поступок, мы ценим его в тысячу раз сильнее, чем если бы он исходил от праведника: мы учитываем затраченное усилие. Ваша прочная репутация здесь объясняется тем, что способность к самопожертвованию развита у Вас много сильнее, чем можно было бы того ожидать. В давние времена, когда Ваше состояние не превышало еще 100 000 долларов и Вы послали 2 доллара Вашей родственнице, бедной вдове с детьми, многие здесь в раю просто не верили этому, другие же полагали, что деньги были фальшивые. Когда эти подозрения отпали, мнение о Вас изменилось. Через год или два, когда, получив от бедняжки вторую просьбу о помощи, Вы

¹ *Ванемейкер* Джон (1838—1922) — американский торговец и политический деятель, активный член различных религиозных организаций. В 1858 г. основал одну из крупнейших в стране Ви-фангийскую воскресную школу. В 1886 г. пытался нажить барыш на продаже по низким ценам «Мемуаров» генерала У.-С. Гранта, выпущенных издательской фирмой, принадлежавшей Твену, и писателю пришлось подавать на него в суд. — *Прим. сост.*

послали 4 доллара, достоверность этого уже никем не оспаривалась и разговоры о Вашем прекрасном поступке не смолкали в течение многих и многих дней. Минуло еще два года, и вдова воззвала к Вам снова, сообщая о смерти младшенького, и Вы отправили ей на сей раз 6 долларов. Это Вас сильно прославило. Все в раю спрашивали: «Ну как, вы слышали, что сделал Эндрю?» (К этому времени Вас уже называли здесь любовно: «Эндрю».) Из последующих Ваших даяний ни одно не прошло незамеченным, и благодарная память о Вас не остывала в наших сердцах. Весь рай наблюдает Вас по воскресным дням, когда Вы едете в церковь в своей нарядной карете, и когда вы подносите руку к церковной кружке, ликующий крик неизменно проносится по небесному своду, достигая и отдаленных пламенеющих стен преисподней: «Еще пятицентовик от Эндрю!»

Но вот наступил апогей Вашей славы. Несколько дней назад вдова написала Вам, что ей предлагают место учительницы в отдаленной деревне, но у нее нет денег на переезд. Чтобы доехать туда с двумя оставшимися в живых ребятишками, потребуется 50 долларов. Вы подсчитали чистую прибыль за месяц от Ваших трех угольных шахт — 22 230 долларов, прикинули, что в текущем месяце она возрастет до 45—50 000, взяли перо и выписали ей чек на *целых 15 долларов*. О, небывалая щедрость! Да будет имя Ваше благословенно во веки веков! Я не знаю в раю никого, кто не пролил бы слез умиления. Взявшись за руки, мы лобызались, воспевая хвалу Вам, и, подобный громовому раскату, раздался глас с сияющего престола, чтобы деяние Ваше было поставлено выше всех известных доселе примеров самопожертвования и смертных и небожителей и было навеки занесено на отдельную страницу Великой книги, ибо Вам решиться на это было тяжелее и горше, чем десяти тысячам мучеников взойти на костер. Все твердили одно: «Чего стоит готовность благородной души отдать за других свою жизнь, отдать десять тысяч жизней по сравнению с даром в 15 долларов от гнуснейшей и скареднейшей гадины, осквернявшей когда-либо землю своим присутствием!»

И как они были правы! Авраам, проливая слезы, приготовился упокоить Вас в своем лоне и даже наклеил ярлык: «Занято и оплачено». А Петр-ключарь, проливая слезы, сказал: «Пусть только прибудет, мы встретим его факельным шествием». И когда доподлинно

стало известно, что Вас ждут райские куши, небывалое ликование воцарилось в раю. В аду тоже.

Ангел-хранитель (Подпись, печать)

КРАСНЫЙ КРУЖОК

I

Случилось все это во времена Кромвеля¹. Среди полковников республиканской армии Мэйфэр был по возрасту самым младшим, ему едва минуло тридцать. Однако, несмотря на молодость, это был уже ветеран, опытный, закаленный воин, так как за оружие он взялся с семнадцати лет. Ему довелось участвовать во многих битвах, и своей доблестью на полях сражений он постепенно, шаг за шагом, завоевал себе и высокое положение в армии, и любовь и преданность солдат. Но вот с ним стряслась великая беда, мрачная тень легла на его пути.

Вечер уже наступил, за окнами царили тьма и метель, в комнате стояла гнетущая тишина. Полковник и его молодая жена, до конца излив в словах свое горе, прочли положенную главу из Библии, сотворили вечернюю молитву, и теперь им оставалось одно: сидеть рука с рукой, устремив взгляд на огонь камина, думать тяжкую думу и ждать. Они знали, что ждать предстоит недолго, и при мысли об этом душа женщины содрогалась.

Но сейчас с минуты на минуту должна была войти, чтобы пожелать им спокойной ночи, семилетняя Абби, их единственная дочь, кумир семьи. Прерывая молчание, полковник сказал жене:

— Вытри слезы. Ради нашего ребенка сделаем вид, что мы спокойны и счастливы. Забудем на время о том, что неотвратимо.

— Я скрою печаль в моем сердце, но, боже, оно разрывается от горя...

— Примем все с покорностью: в правоте своей и на благо нам творит господь свою волю.

— Да будет воля его. И разум и душа мои смирились. Если б и сердце мое могло принять... Боже мило-

¹ Сюжетом для рассказа послужил трогательный эпизод, упомянутый Карлейлем в его книге «Письма и речи Оливера Кромвеля». — *Прим. М. Т.*

стивый, неужели в последний раз я сжимаю и целую эту любимую руку!..

— Тш!.. Тише, дорогая! Идет Абби.

В дверях показалась кудрявая головка, а затем и вся фигурка в ночной рубашке, и в то же мгновение девочка кинулась к отцу. Он прижал ее к груди и стал крепко, горячо целовать, еще и еще...

— Что ты, папа, разве так можно? Ты спутаешь мне волосы!

— Каюсь, больше не буду. Прощаешь папу, моя дорогая?

— Ну конечно прощаю! А ты правда каешься? Это не нарочно? Ты совсем-совсем правда каешься?

— Разве ты не видишь, Абби?

Он закрыл лицо руками и сделал вид, что плачет. Девочка, тотчас пожалев, что вызвала у отца слезы, заплакала и сама и принялась отрывать у него от лица руки, уговаривая:

— Не плачь, папа, я не хотела тебя обидеть. Правда, не хотела. Ну, папочка!

Она тянула отца за руки, разжимала ему пальцы и вдруг, поймав его взгляд, воскликнула:

— Да ты вовсе и не плачешь! Нехороший папа, ты меня обманул. Пойду к маме, я на тебя обиделась.

Она хотела слезть с отцовских колен, но он обнял ее и сказал:

— Нет, дорогая, останься со мной. Папа признает свою вину, не сердись. Давай поцелую тебя и вытру слезки. Папа просит прощенья у своей Абби, в наказание он сделает все, что она ему прикажет. Ну вот, слезок больше нет, и нет ни одной спутанной кудряшки. И все, что только захочет моя маленькая Абби...

Мир был водворен. Личико ребенка прояснилось, засияло улыбками, и вот уже Абби гладит отцовскую щеку и назначает кару:

— Сказку! Расскажи сказку!

Но что это?

Взрослые затаили дыхание, прислушались. Шаги... шаги, еле слышные сквозь порывы ветра. Они ближе, все ближе и все слышнее... Но вот они снова стали глуше и замерли вдали. Полковник и его жена глубоко, с облегчением вздохнули, и отец спросил:

— Сказку? Веселую?

— Нет, страшную.

Отец пытался уговорить дочку, что лучше бы веселую сказку, но Абби стояла на своем: ведь ей обещали

сделать так, как она захочет; и отец знал, что должен, как истинный пуританин и солдат, сдержать обещание. А девочка все убеждала:

— Ведь нельзя же всегда только о веселом рассказывать. Няня говорит, что людям не всегда бывает весело. Это правда, папа? Мне няня так сказала.

Мать вздохнула, мысли ее снова обратились к великому, безысходному ее горю. Отец сказал мягко:

— Правда, детка. С людьми бывают несчастья. Это грустно, но это так.

— Ну вот и расскажи сказку про несчастных людей. Только такую страшную, чтобы мы прямо дрожали, как будто все это происходит с нами. Мама, ты сядь к нам поближе и держи меня за руку, чтобы мне было не так страшно. Ведь когда все вместе, рядом, не так уж боишься, правда? Ну, папа, начинай!

— Жили-были три полковника...

— Вот хорошо! Я знаю, какие бывают полковники. Потому что ведь ты тоже полковник, я знаю, какие у них мундиры. А дальше?

— И вот однажды они все трое нарушили военную дисциплину.

Длинное непонятное слово понравилось девочке, она взглянула на отца с живым любопытством и спросила:

— Дисциплину? Это что-нибудь вкусное, папа?

Слабое подобие улыбки пробежало по лицам родителей, и отец ответил:

— Нет, дочка, это нечто совсем другое. Полковники, о которых идет речь, превысили свои полномочия...

— А это тоже не...

— Нет, это тоже несъедобное. Слушай. Во время боя, когда печальный исход его был уже предрешен, им было приказано совершить ложную атаку на сильно укрепленный пост противника, чтобы отвлечь внимание врага и дать возможность отступить войскам республики. Увлечшись, полковники нарушили приказ, они напали по-настоящему, взяли штурмом пост врага, выиграли сражение и одержали победу. Генерал, лорд-протектор, разгневался на них за то, что они ослушались приказа, высоко оценил их отвагу и предал всех троих военному суду.

— Какой генерал — великий генерал Кромвель, папа?

— Да.

— А я его видела! Когда он проезжает мимо нашего дома на своем огромном коне, такой важный, и сзади

едут солдаты, он всегда смотрит так... — ну, я не знаю, как это сказать. Будто он чем-то недоволен. И сразу видно, что все-все его боятся. А я не боюсь, потому что на меня он один раз поглядел совсем по-другому.

— Милая ты моя болтушка. Слушай же дальше. Когда полковников привезли в Лондон на суд военного трибунала, их отпустили под честное слово, разрешив пойти проститься с семьями...

Что это опять?

Снова шаги, и снова мимо. Женщина опустила голову на плечо мужа, чтобы скрыть смертельную бледность, покрывшую ее лицо.

— Вот сегодня утром они и прибыли в Лондон,— продолжал отец.

Девочка широко раскрыла глаза.

— Так это все правда?

— Да, дорогая.

— Как интересно! Это даже лучше сказки. Рассказывай дальше, папа. Мама, мамочка, почему ты плачешь?

— Ничего, ничего, дорогая... Я... я просто подумала о несчастных семьях.

— Не плачь, мама! Ведь все кончится хорошо, ты увидишь! Все истории кончаются хорошо. Скорее рассказывай, папа, как все они потом жили счастливо до конца своих дней, тогда мама перестанет плакать. Вот увидишь, мамочка, все будет хорошо. Продолжай, папа!

— Перед тем как их отпустить домой, полковников заключили в Тауэр.

— А я знаю, где Тауэр, это даже отсюда видно. Ну, а потом что? Рассказывай же скорее, папа!

— Я и так стараюсь, насколько возможно. В Тауэре военный трибунал судил полковников целый час. Суд нашел их виновными и приговорил к расстрелу.

— Это значит, чтобы их убить?

— Да.

— Фу, как гадко! Мамочка, милая, ты опять заплакала. Не плачь, про печальное уже скоро кончится. Поторопись, папа, чтобы мама поскорее успокоилась. Ты очень медленно рассказываешь.

— Да, ты права, но это потому что я все время задумываюсь.

— А ты не задумывайся, просто рассказывай дальше.

— Хорошо. Итак, трое полковников...

— Ты их знаешь, папа?

— Да, дорогая.

— Я тоже хочу познакомиться с ними. Я люблю полковников. Они позволяют мне поцеловать себя, как ты думаешь?

Голос полковника звучал нетвердо, когда он ответил:

— Один из них уж непременно позволит, дорогая моя девочка. Поцелуй меня за него.

— Вот! Это за него, а это за двоих других. Знаешь, я им скажу: «Мой папа тоже полковник, и очень храбрый, он поступил бы так же, как и вы. Значит, вы ничего плохого не сделали, что бы там ни говорил этот гадкий суд, и вам нечего стыдиться, ни чуточки». И тогда они разрешат мне поцеловать себя! Да, папа?

— Да, моя родная, разумеется да!

— Мама, ну, мамочка, не надо! Вот уже скоро и счастливый конец. Дальше, папа!

— Некоторые из тех, кто судил полковников,— члены военного трибунала,— жалели осужденных. Они отправились к генералу и сказали, что все, что от них требовалось, они сделали,— конечно, то был лишь их гражданский долг, ты понимаешь,— а теперь они просят помилования для двоих из осужденных. Пусть будет расстрелян только один, и этого достаточно, чтобы послужить уроком для всей армии. Но генерал был непреклонен и попенял им за то, что они-то свой долг выполнили и совесть их чиста, а его понуждают идти против совести и тем самым запятнать свою честь солдата. Но члены трибунала возразили, что просят лишь о том, что и сами сделали бы, будь они на его месте и если бы, как и он, обладали высоким правом помилования. Слова эти поразили генерала, он долго стоял погруженный в раздумье, и суровое выражение его лица постепенно смягчалось. Вскоре затем, приказав подождать себя, он удалился в свой кабинет, чтобы в молитве испросить у бога совета. Вернувшись, он сказал: «Пусть осужденные кинут жребий. Тот, кому он достанется, умрет, остальные будут помилованы».

— Кто же из них должен умереть? Бедный, мне его жалко!

— Нет, детка, они отказались тянуть жребий.

— Да? Почему?

— Они сказали, что тот, кто вытянет жребий, как бы сам себя добровольно приговорит к смерти, а это равносильно самоубийству, что бы там ни говорили.

Они христиане, а Библия запрещает лишать самих себя жизни; они готовы к смерти, пусть приговор суда будет приведен в исполнение.

— А что это значит, папа?

— Они будут расстреляны.

Чу! Опять!

Ветер? Нет. «Раз-два, раз-два!..»

— Именем лорд-протектора! Откройте!

— Папа, папа, это солдаты! Я люблю солдат, а сама открою им дверь, я сама!

Девочка вскочила, подбежала к двери и распахнула ее, радостно восклицая:

— Входите, входите! Это гренадеры, папа, я ведь знаю гренадеров!

Отряд маршем вошел в комнату, солдаты выстроились в шеренгу, вскинув ружья на плечо. Офицер отдал честь, полковник Мэйфэр ответил тем же, вытянувшись по-военному. А жена полковника стояла рядом с мужем, — она была бледна, лицо ее искажилось страшной душевной мукой, но ничто больше не выдавало страданий несчастной женщины. Ребенок радостно, во все глаза смотрел на происходящее.

Долгое прощальное объятие всех вместе — отца, матери и дочери. Затем приказ: «В Тауэр — шагом марш!» Полковник четким военным шагом вышел из дому, следом за ним отряд, и дверь закрылась.

— Видишь, мамочка, как все прекрасно получилось! Я же говорила тебе, что все будет хорошо. Теперь они пошли в Тауэр, и папа увидит тех полковников, и он...

— Подойди ко мне, бедное мое невинное дитя...

II

На следующее утро убитая горем мать не могла подняться с постели. Вокруг больной дежурили врачи и сиделки, они переговаривались между собой шепотом. Девочке не разрешали входить в спальню матери, ей велели поиграть и побегать: мама серьезно больна. Абби, закутанная в теплую шубку, вышла из дома и некоторое время играла неподалеку. Но вдруг она подумала, как странно и нехорошо, что папа так долго в Тауэре и даже не знает, что мама заболела. Надо ему сказать, Абби сама это сделает.

Час спустя военный трибунал в полном составе предстал перед генералом Кромвелем. Генерал, мрачный, стоял выпрямившись, опираясь о стол костяшками

пальцев. По его знаку один из членов трибунала выступил вперед и сказал:

— Мы настаивали, мы заклинали их передумать, но они непреклонны. Они отказываются кидать жребий. Они готовы умереть, лишь бы не пойти против своей религии.

Лицо лорд-протектора потемнело, но он молчал. Некоторое время он стоял задумавшись, затем проговорил:

— Они не умрут все. За них бросит жребий кто-нибудь другой. Пошлите за осужденными, поставьте их в соседней комнате лицом к стене, и пусть они держат руки за спиной. Когда все будет готово, дайте мне знать.

Оставшись один, он сел и тут же приказал адъютанту:

— Выйдите на улицу и приведите первого ребенка, который вам встретится.

Адъютант едва вышел за дверь, как тотчас вернулся, ведя за руку Абби; шубку ее слегка запорошило снегом. Девочка сразу же подошла к главе республиканского правительства — к человеку, при одном имени которого трепетали земные владыки и сильные мира сего, — взобралась к нему на колени и заявила:

— А я знаю, вы и есть лорд-протектор. Я уже видела вас раньше, когда вы проезжали мимо нашего дома. Все вас боялись, а я нет, потому что на меня вы посмотрели совсем не строго, — вы помните, да? На мне было красное платье с синей отделкой спереди. Помните?

Хмурое лицо лорд-протектора смягчилось улыбкой, и он начал дипломатически обдумывать ответ.

— Видишь ли, я...

— Я стояла как раз у самого дома — понимаете, около *нашего* дома.

— Милое дитя мое, мне стыдно признаться, но я не помню...

Абби прервала его с упреком:

— Неужели не помните? А я вот вас не забыла.

— Мне очень совестно. Но больше я уж тебя не забуду, даю слово. Ты прости меня на первый раз, — помиримся и заключим дружбу навеки. Согласна?

— Да, конечно согласна, только я все-таки не пойму: как это вы меня не помните? Должно быть, вы очень забывчивый. Я и сама иногда бываю забывчивой. Я прощаю вас, потому что знаю, на самом деле вы хо-

роший и добрый. Прижмите меня к себе покрепче, как папа, а то здесь холодно.

— С превеликой радостью, мой милый новый дружок, отныне — мой друг навеки, правда? Ты напомнила мне мою дочку, — теперь она уже выросла. Ребенком она была так же ласкова, мила и нежна, как ты. И у нее было твое очарование, маленькая моя волшебница: всепокоряющее трогательное доверие, равно к другу и к незнакомцу, отчего всякий, на кого оно обращено, становится твоим добровольным рабом. Так же, как и ты сейчас, она любила примоститься у меня на коленях, и я забывал про заботы и усталость. В сердце моем воцарялся мир — вот как сейчас. Мы были с ней как равные — добрые товарищи, делившие игры. С тех пор протекло много времени, те блаженные времена прошли, воспоминания о них потускнели в моей памяти, но ты вновь оживила их. Прими же, дитя, благословенье человека, обремененного тяжкими заботами о родине, — они ложатся на твои плечи, пока я отдыхаю.

— Вы ее очень любили, очень-очень?

— Да, дружок. Суди сама: она приказывала, а я повиновался.

— Вы такой милый! Вы поцелуете меня?

— С радостью, и почту за честь. Вот это от меня, а это — от нее. Ты попросила, но могла бы приказать, ведь ты — это как бы она: ты приказываешь, я повинуюсь.

Услышав о таких высоких для себя привилегиях, девочка весело захлопала в ладоши, но тут до ее слуха долетел звук приближающихся шагов: размеренный топот идущих в ногу солдат.

— Солдаты, солдаты! Я хочу посмотреть на них!

— Ты их увидишь, дорогая. Но подожди минуту, у меня есть к тебе поручение.

В комнату вошел офицер, низко поклонился, сказал: «Они здесь, ваша светлость», — снова поклонился и вышел.

Глава нации подал Абби три сургучных облатки — три небольших кружка, два белых и один ярко-красный; этот последний и должен был служить знаком смерти тому из осужденных, кому он достанется.

— Ах, какой хорошенький красный кружок! Это все мне?

— Нет, дорогая, они предназначены другим. Приподними за край вон ту занавесь — за ней открытая дверь. Пройди в нее, и ты увидишь троих людей, кото-

рые стоят в ряд, лицом к стене, и держат руки за спиной; ладонь одной руки у них раскрыта в виде чаши — вот так. В каждую такую раскрытую ладонь опусти один из этих кружков, а потом вернись ко мне.

Абби исчезла за дверной занавесью, и лорд-протектор остался один. Он подумал благоговейно: «Поистине мысль эту подал мне сам господь бог, всегда незримо присутствующий рядом с теми, кто сомневается и ищет помощи. Ему ведомо, на кого должен пасть выбор, и это он направил сюда своего безгрешного посланца свершить свою волю. Все могут заблуждаться, только не он. Дивны дела его и премудры, да будет благословенно его святое имя!»

Абби опустила за собой занавесь и несколько мгновений с большим любопытством рассматривала комнату смерти и прямые неподвижные фигуры солдат и узников. Вдруг лицо ее оживилось, и девочка сказала себе: «Да ведь один из них мой папа! Я узнаю его спину. Вот ему я и дам самый хорошенький кружок». Она выбежала вперед, опустила кружки в протянутые ладони, просунула головку под согнутый локоть отца, подняла личико и воскликнула:

— Папа, папа, посмотри, что у тебя в руке. Это я тебе дала!

Отец взглянул на роковой подарок и, терзаемый муками любви и жалости, упал на колени и прижал к груди своего маленького невинного палача. Солдаты, офицеры, освобожденные узники — все на мгновение словно оцепенели, потрясенные неслыханной трагедией. Душе-раздирающая сцена сжала им сердце — они плакали, не стыдясь своих слез. Несколько минут длилось глубокое благоговейное молчание, затем офицер отряда неуверенно шагнул вперед, коснулся плеча осужденного и мягко сказал:

— Мне очень тяжело, сэр, поверьте, но долг мне повелевает.

— Повелевает что? — спросила Абби.

— Я обязан увести его отсюда. Всей душой моей сожалею.

— Но куда увести, куда?

— В другое... господи, помоги мне! — в другое помещение.

— И никуда вы его не уведете. Моя мама больна, и я заберу папу домой. — Она высвободилась из объятий отца, вскарабкалась к нему на спину, обвила руками его шею. — Я готова, папа, псехали!

— Бедная моя девочка, я не могу. Я должен идти туда, куда мне приказано.

Абби соскочила на пол, огляделась с недоумением. Потом подбежала к офицеру, стала перед ним, негодуя топнула ногой и воскликнула:

— Я же сказала, что моя мама больна, разве вы не слышали? Отпустите его, сейчас же отпустите!

— Несчастный ребенок... Бог свидетель, я отпустил бы, если бы мог... Смирно! Стройся! Ружья на плечо!

Словно вихрь Абби вылетела из комнаты и в следующее мгновение тащила за руку лорд-протектора. При виде этого человека, внушающего всем страх и трепет, присутствующие подтянулись, офицеры отдали честь, солдаты салютовали оружием.

— Да остановите же их, сэр! Моя мама больна, ей нужно видеть папу, я им об этом уже сказала, а они даже не слушают и хотят увести его отсюда.

Генерал стоял как громом пораженный.

— Твоего папу, дитя? Этот твой папа?

— Ну конечно мой папа, он всегда был моим папой. Разве бы я дала кому-нибудь другому красивый красный кружок? Конечно только папе, ведь я его так люблю!

Страшное душевное смятение отразилось на лице лорд-протектора. Он сказал:

— Помоги мне, боже правый! Силою сатанинской хитрости совершил я самый жестокий поступок, когда-либо совершенный человеком. И уже ничем не могу я помочь, ничем! Что делать мне?

Огорченная девочка воскликнула в нетерпении:

— Но ведь вы можете приказать им отпустить папу! — Она зарыдала. — Ну велите же им! Сами вы мне сказали, что я могу приказывать, и вот в первый же раз вы не слушаетесь.

Суровое, грубо высеченное лицо озарилось нежностью. Лорд-протектор опустил руку на голову маленького тирана и сказал:

— Благодарение всевышнему за то, что я дал тогда это необдуманное обещание. И тебя, несравненное дитя, которому сам господь внушил напомнить мне об этом забытом мною обещании, — благодарю! Офицер, повинуйтесь ей. Это я приказываю вам устами этого ребенка. Узник помилован, освободите его!

Понедельник. — Это новое существо с длинными волосами очень мне надоедает. Оно все время торчит перед глазами и ходит за мной по пятам. Мне это совсем не нравится: я не привык к обществу. Шло бы себе к другим животным... Сегодня пасмурно, ветер с востока, думаю — мы дождемся хорошего ливня... Мы? Где я мог подцепить это слово?.. Вспомнил — новое существо пользуется им.

Вторник. — Обследовал большое низвержение воды. Пожалуй, это лучшее, что есть в моих владениях. Новое существо называет его Ниагарский водопад. Почему? Никому не известно. Говорит, что оно *так выглядит*. По-моему, это еще недостаточное основание. На мой взгляд, это какая-то дурацкая выдумка и сумасбродство. Но сам я теперь лишен всякой возможности давать какие-либо наименования чему-либо. Новое существо придумывает их, прежде чем я успеваю раскрыть рот. И всякий раз — один и тот же довод: это *так выглядит*. Взять хотя бы додо к примеру. Новое существо утверждает, что стоит только взглянуть на додо, и сразу видно, «что он вылитый додо». Придется ему остаться додо, ничего не поделаешь. У меня не хватает сил с этим бороться, да и к чему — это же бесполезно! Додо! Он так же похож на додо, как я сам.

Среда. — Построил себе шалаш, чтобы укрыться от дождя, но не успел ни минуты спокойно посидеть в нем наедине с самим собой. Новое существо вторглось без приглашения. А когда я попытался выпроводить его, оно стало проливать влагу из углублений, которые служат ему, чтобы созерцать окружающие предметы, а потом принялось вытирать эту влагу тыльной стороной лап и издавать звуки, вроде тех, что издают другие животные, когда попадают в беду! Пусть! Лишь бы только оно не говорило! Но оно говорит не умолкая. Быть может, в моих словах звучит некоторая издевка, сарказм, но я вовсе не хотел обидеть беднягу. Просто я никогда еще не слышал человеческого голоса, и всякий непривычный звук, нарушающий эту торжественную дремотную тишину и уединение, оскорбляет мой слух, как фальшивая нота. А эти новые звуки раздаются к тому же так близко! Они все время звучат у меня за спиной, над самым ухом — то с одной стороны, то с другой, а

я привык только к такому шуму, который доносится из некоторого отдаления.

Пятница. — Наименования продолжают возникать как попало, невзирая на все мои усилия. У меня было очень хорошее название для моих владений, музыкальное и красивое: *Райский сад*. Про себя я и сейчас продолжаю употреблять его, но публично — уже нет. Новое существо утверждает, что здесь слишком много деревьев, и скал, и открытых ландшафтов, и следовательно — это совсем не похоже на сад. Оно говорит, что это выглядит как парк, и только как парк. И вот, даже не посоветовавшись со мной, оно переименовало мой сад в *Ниагарский парк*. Одно это, по-моему, достаточно убедительно показывает, насколько оно позволяет себе своевольничать. А тут еще вдруг появилась надпись:

ТРАВЫ НЕ МЯТЬ!

Я уже не так счастлив, как прежде.

Суббота. — Новое существо поедает слишком много плодов. Этак мы долго не протянем. Опять «мы» — это его словечко. Но оно стало и моим теперь, — да и не мудрено, поскольку я слышу его каждую минуту. Сегодня с утра густой туман. Что касается меня, то в туман я не выхожу. Новое существо поступает наоборот. Оно шлепает по лужам в любую погоду, а потом вламывается ко мне с грязными ногами. И разговаривает. Как тихо и уютно жилось мне здесь когда-то!

Воскресенье. — Кое-как скоротал время. Воскресные дни становятся для меня все более и более тягостными. Еще в ноябре воскресенье было выделено особо, как единственный день недели, предназначенный для отдыха. Раньше у меня было по шесть таких дней на неделе. Сегодня утром видел, как новое существо пыталось сбить яблоки с того дерева, на которое наложен запрет.

Понедельник. — Новое существо утверждает, что его зовут Евой. Ну что ж, я не возражаю. Оно говорит, что я должен звать его так, когда хочу, чтобы оно ко мне пришло. Я сказал, что, по-моему, это уже какое-то излишество. Это новое слово, по-видимому, чрезвычайно возвысило меня в его глазах. Да это и в самом деле довольно длинное и хорошее слово, надо будет пользоваться им и впредь. Новое существо говорит про себя, что оно не оно, а она. Думаю, это сомнительно. Впрочем, мне все равно, что оно такое. Пусть будет она, лишь бы оставила меня в покое и замолчала.

Вторник. — Она изуродовала весь парк какими-то безобразными указательными знаками и чрезвычайно оскорбительными надписями:

**К ВОДОПАДУ
НА КОЗИЙ ОСТРОВ
К ПЕЩЕРЕ ВЕТРОВ**

Она говорит, что этот парк можно было бы превратить в очень приличный курорт, если бы подобралась соответствующая публика. Курорт — это еще одно из ее изобретений, какое-то дикое, лишенное всякого смысла слово. Что такое курорт? Но я предпочитаю не спрашивать, она и так одержима манией все разъяснять.

Пятница. — Теперь она пристаёт ко мне с другим: умоляет не переправляться через водопад. Кому это мешает? Она говорит, что ее от этого бросает в дрожь. Не понимаю — почему. Я всегда это делаю — мне нравится кидаться в воду, испытывать приятное волнение и освежающую прохладу. Думаю, что для того и создан водопад. Не вижу, какой иначе от него прок, — а ведь зачем-то он существует? Она утверждает, что его создали просто так — как носорогов и мастодонта, — чтобы придать живописность пейзажу.

Я переправился через водопад в бочке — это ее не удовлетворило. Тогда я воспользовался бадьей — она опять осталась недовольна. Я переплыл водоворот и стремнину в купальном костюме из фигового листа. Костюм основательно пострадал, и мне пришлось выслушать скучнейшую нотацию, — она обвинила меня в расточительности. Эта опека становится чрезмерной. Чувствую, что необходимо переменить обстановку.

Суббота. — Я сбежал во вторник ночью и все шел и шел — целых два дня, а потом построил себе новый шалаш в уединенном месте и постарался как можно тщательнее скрыть следы, но она все же разыскала меня с помощью животного, которое ей удалось приручить и которое она называет волком, явилась сюда и снова принялась издавать эти свои жалобные звуки и проливать влагу из углублений, служащих ей для созерцания окружающих предметов. Пришлось возвратиться вместе с ней обратно, но я снова сбегу, лишь только представится случай. Ее беспрестанно занимают какие-то невообразимые глупости. Вот, например: она все время пытается установить, почему животные, называемые львами и тиграми, питаются травой и цветами, в то время как, по ее словам, они созданы с расче-

том на то, чтобы поедать друг друга,— достаточно поглядеть на их зубы. Это, разумеется, чрезвычайно глупое рассуждение, потому что поедать друг друга — значит, убивать друг друга, то есть, как я понимаю, привести сюда то, что называется «смертью», а смерть, насколько мне известно, пока еще не проникла в парк. О чем, к слову сказать, можно иной раз и пожалеть.

Воскресенье. — Кое-как скоротал время.

Понедельник. — Кажется, я понял, для че-

го существует неделя: чтобы можно было отдохнуть от воскресной скуки. По-моему, это очень правильное предположение... Она опять лазила на это дерево. Я согнал ее оттуда, швыряя в нее комьями земли. Она заявила, что никто, дескать, ее не видел. Для нее, по-видимому, это служит достаточным оправданием, чтобы рисковать и подвергать себя опасности. Я ей так и сказал. Слово «оправдание» привело ее в восторг... и, кажется, пробудило в ней зависть. Это хорошее слово.

Вторник. — Она заявила, что была создана из моего ребра. Это весьма сомнительно, чтобы не сказать больше. У меня все ребра на месте... Она пребывает в тревоге из-за сарыча,— говорит, что он не может питаться травой, он ее плохо воспринимает. Она боится, что ей не удастся его выходить. По ее мнению, сарычу положено питаться падалью. Ну, ему придется найти способ обходиться тем, что есть. Мы не можем ниспровергнуть всю нашу систему в угоду сарычу.

Суббота. — Вчера она упала в озеро: гляделась, по своему обыкновению, в воду, и упала. Она едва не захлебнулась и сказала, что это очень неприятное ощущение. Оно пробудило в ней сочувствие к тем существам, которые живут в озере и которых она называет рыбами. Она по-прежнему продолжает придумывать названия для различных тварей, хотя они совершенно в этом не нуждаются и никогда не приходят на ее зов,



чему она, впрочем, не придает ни малейшего значения, так как, что ни говори, а она все-таки просто-напросто дурочка. Словом, вчера вечером она поймала уйму этих самых рыб, притащила их в шалаш и положила в мою постель, чтобы они обогрелись, но я время от времени наблюдал за ними сегодня и не заметил, чтобы они выглядели особенно счастливыми, разве только что совсем притихли. Ночью я выброшу их вон. Больше я не стану спать с ними в одной постели, потому что они холодные и скользкие, и оказывается, это не так уж приятно лежать среди них, особенно нагишом.

Воскресенье. — Кое-как скоротал время.

Вторник. — Теперь она завела дружбу со змеей. Все прочие животные рады этому, потому что она вечно проделывала над ними всевозможные эксперименты и надоедала им. Я тоже рад, так как змея умеет говорить, это дает мне возможность отдохнуть немножко.

Пятница. — Она уверяет, что змея советует ей отведать плодов той самой яблони, ибо это даст познать нечто великое, благородное и прекрасное. Я сказал, что одним познанием дело не ограничится, — она, кроме того, еще приведет в мир смерть. Я допустил ошибку, мне следовало быть осторожнее, — мое замечание только навело ее на мысль: она решила, что тогда ей легче будет выходить больного сарыча и подкормить свежим мясом приунывших львов и тигров. Я посоветовал ей держаться подальше от этого дерева. Она сказала, что и не подумает. Я предчувствую беду. Начну готовиться к побегу.

Среда. — Пережить пришлось немало. Я бежал в ту же ночь — сел на лошадь и гнал ее во весь опор до рассвета, надеясь выбраться из парка и найти пристанище в какой-нибудь другой стране, прежде чем разразится катастрофа. Но не тут-то было. Примерно через час после восхода солнца, когда я скакал по цветущей долине, где звери мирно паслись, играя, по обыкновению, друг с другом или просто грезя о чем-то, вдруг ни с того ни с сего все они начали издавать какой-то бешеный, ужасающий рев, в долине мгновенно воцарился хаос, и я увидел, что каждый зверь стремится пожрать своего соседа. Я понял, что произошло: Ева вкусила от запретного плода, и в мир пришла смерть... Тигры съели мою лошадь, не обратив ни малейшего внимания на мои слова, хотя я решительно приказал им прекратить это. Они съели бы и меня, замешкайся я там, но я, конечно, не стал медлить и со всех ног пустился на-

утек... Я набрел на это местечко за парком и несколько дней чувствовал себя здесь вполне сносно, но она разыскала меня и тут. Разыскала и тотчас же назвала это место Тонауанда, заявив, что это так *выглядит*. Правду сказать, я не огорчился, когда увидел ее, потому что пожить здесь особенно нечем, а она принесла несколько этих самых яблок. Я был так голоден, что пришлось съесть их. Это было противно моим правилам, но я убедился, что правила сохраняют свою силу лишь до тех пор, пока ты сыт... Она явилась задрапированная пучками веток и листьев, а когда я спросил ее, что это еще за глупости, и, сорвав их, швырнул на землю, она захихикала и покраснела. До той минуты мне никогда не доводилось видеть, как хихикают и краснеют, и я нашел ее поведение крайне идиотским и неприличным. Но она сказала, что я скоро познаю все это сам. И оказалась права. Невзирая на голод, я положил на землю надкушенное яблоко (оно и в самом деле было лучше всех, какие я когда-либо видел, особенно если учесть, что сезон яблок давно прошел), собрал разбросанные листья и ветки и украсился ими, а затем сделал ей довольно суровое внушение, приказав принести еще листьев и веток и впредь соблюдать приличие и не выставлять себя подобным образом напоказ. Она сделала, как я ей сказал, после чего мы пробрались в долину, где произошла битва зверей, раздобыли там несколько шкур, и я приказал ей соорудить из них костюмы, в которых мы могли бы появиться в обществе. Признаться, в них чувствуешь себя не слишком удобно, но зато они не лишены известного шика, а ведь, собственно говоря, только это и требуется... Я нахожу, что с ней можно довольно приятно проводить время. Теперь, лишившись своих владений, я испытываю одиночество и тоску, когда ее нет со мной. И еще одно: она говорит, что отныне нам предписано в поте лица своего добы-



вать себе хлеб. Тут она может оказаться полезной. Руководить буду я.

Десять дней спустя. — Она обвиняет меня: говорит, что я виновник катастрофы! Она утверждает, и как будто вполне искренне и правдиво, что, по словам змеи, запретный плод — вовсе не яблоки, а лимоны! Я сказал, что это только лишний раз доказывает мою невиновность, ибо я никогда не ел лимонов. Но змея, говорит она, разъяснила ей, что это имеет чисто иносказательный смысл, ибо под «лимонами» условно подразумевается все, что мгновенно набивает оскомину, как, например, плоские, избитые остроты. При этих словах я побледнел, так как от нечего делать не раз позволял себе острить, и какая-нибудь из моих острот действительно могла оказаться именно такого сорта, хотя я в простоте душевной считал их вполне острыми и свежими. Она спросила меня, не сострил ли я невзначай как раз накануне катастрофы. Пришлось признаться, что я действительно допустил нечто подобное, хотя не вслух, а про себя. Дело обстояло так. Я вспомнил водопад и подумал: «Какое удивительное зрелище являет собой вся эта масса воды, ниспровергающаяся сверху вниз!» И тотчас, подобно молнии, меня осенила блестящая острота, и я позволил себе облечь ее мысленно в слова: «А ведь было бы еще удивительнее, если бы вся эта вода начала ниспровергаться снизу вверх!» Тут я расхохотался так, что едва не лопнул со смеха, — и в то же мгновение вся природа словно взбесилась, вражда и смерть пришли в долину, а я вынужден был бежать, спасая свою жизнь.

— Вот видишь! — сказала она с торжеством. — Так оно и есть. Именно подобные остроты и имела в виду змея, когда сказала, что они могут набить оскомину, как лимон, потому что ими пользуются с сотворения мира.

Увы, по-видимому, во всем виноват я! Лучше бы уж мне не обладать остроумием! Лучше бы уж эта блестящая острота никогда не приходила мне в голову!

На следующий год. — Мы назвали его Каин. Она принесла его в то время, как я был в отлучке — расставлял капканы на северном побережье озера Эри. Она, как видно, поймала его где-то в лесу, милях в двух от нашего жилища, а то и дальше, милях в трех-четырех, — она сама нетвердо знает — где. В некоторых отношениях это существо похоже на нас и, возможно, принадлежит к нашей породе. Так, во всяком случае, думает она, но, по-моему, это заблуждение. Разница в раз-

мерах уже сама по себе служит доказательством того, что это какое-то новое существо, отличной от нас породы. Быть может, это рыба, хотя, когда я для проверки опустил его в озеро, оно пошло ко дну, а она тотчас бросилась в воду и вытащила его, помешав мне, таким образом, довести эксперимент до конца и установить истину. Все же я склонен думать, что оно из породы рыб, но ей, по-видимому, совершенно безразлично, что это такое, и она не позволяет мне попытаться выяснить это. Я ее не понимаю. С тех пор как у нас появилось это существо, ее словно подменили — с безрассудным упрямством она не желает и слышать о каких бы то ни было экспериментах. Ни одно животное не поглощало так все ее помыслы, как эта тварь, но при этом она совершенно не в состоянии объяснить — почему. Она повредила в уме — все признаки налицо. Иной раз она чуть ли не всю ночь напролет носит эту рыбу на руках, если та подымает визг — просится, по-видимому, в воду. Она пошлепывает рыбу по спине и издает ртом довольно нежные звуки, стараясь ее успокоить, и еще на сотню ладов проявляет свою о ней заботу и по-всякому ее жалеет, а из углублений, которые служат ей для того, чтобы созерцать окружающие предметы, у нее опять начинается течь влага. Никогда я не видел, чтобы она обращалась так с другими рыбами, и это внушает мне большую тревогу. Когда мы еще не лишились наших владений, она, случалось, таскала на руках маленьких тигрят и забавлялась с ними, но то было просто игра. Она никогда не принимала так близко к сердцу, если у тигрят после обеда делалось расстройство желудка.

Воскресенье. — По воскресеньям она теперь больше не работает, а лежит в полном изнеможении и позволяет рыбе кувыркаться через нее, и это явно доставляет ей удовольствие. Она издает ртом какие-то нелепые звуки, чтобы позабавить рыбу, и делает вид, будто кусает ее конечности, а рыба смеется. Я еще никогда не видел, чтобы рыбы смеялись. Это наводит меня на размышления... Я теперь тоже полюбил воскресные дни. Поруководишь целую неделю, а потом чувствуешь себя совершенно разбитым. Нужно было бы устроить побольше воскресных дней. Прежде я их терпеть не мог, а теперь оказалось, что они наступают чрезвычайно вовремя.

Среда. — Нет, это не рыба. Я так и не могу установить, что же это такое. Когда оно чем-нибудь недовольно, оно производит такие странные звуки, что мороз

подирает по коже, а когда его ублажат — говорит «гу-гу». Оно не нашей породы, потому что не ходит, но оно и не птица, потому что не летает, и не лягушка, потому что не прыгает, и не змея, потому что не ползает, и я почти уверен, что это не рыба, хотя до сих пор не имел возможности установить, умеет ли оно плавать. Оно просто лежит, преимущественно на спине, задрав ноги кверху. Я никогда не видел, чтобы какое-нибудь животное вело себя подобным образом. Я сказал, что, по моему, это какая-то загадка, но она, хотя и пришла в восторг от этого слова, — совершенно не поняла его смысла. Думаю, что это либо загадка, либо какое-то насекомое. Если оно подойдет, я расчленю его, чтобы узнать, как оно устроено. Впервые в жизни я решительно поставлен в тупик.

Три месяца спустя. — Я окончательно сбит с толку, и чем дальше, тем становится все хуже. Я потерял сон. Оно теперь перестало лежать на спине и стало передвигаться на четвереньках. Однако оно сильно отличается от других животных, которые ходят на четырех ногах, ибо его передние ноги ненормально коротки, и от этого выдающаяся часть его туловища как-то странно торчит вверх, что производит довольно неприятное впечатление. По своему сложению оно сильно напоминает нас, но его способ передвижения заставляет предполагать, что это существо не нашей породы. Длинные зад-



ние и короткие передние лапы указывают на его принадлежность к семейству кенгуровых, но это, несомненно, совершенно особая разновидность, так как обыкновенные кенгуру прыгают, а оно никогда этого не делает. В общем, это весьма интересный и любопытный экземпляр, который до сих пор еще не был классифицирован. Поскольку он открыт мной, я считаю себя вправе приписать себе славу этого открытия и наименовать его в мою честь — *Кенгуру Адамовидное*... Должно быть, оно попало к нам еще в очень раннем возрасте, потому что выросло с тех пор просто невероятно. Оно сейчас стало по крайней мере раз в пять крупнее, и если что-нибудь не по нем, производит раз в двадцать — тридцать больше шума, чем прежде. Применение силы не только не умиряет его, но дает совершенно противоположные результаты. Пришлось отказаться от этой меры воздействия. Она успокаивает его с помощью убеждения или тем, что дает ему предметы, которые только что отказывалась давать. Как я уже говорил, меня не было дома, когда оно у нас появилось, и она сказала тогда, что нашла его в лесу. Мне кажется неправдоподобным, чтобы это был один-единственный экземпляр на свете, но, по-видимому, это так. Я совершенно измучился — несколько недель кряду все пытался отыскать еще хотя бы одного такого же, как этот, чтобы пополнить мою коллекцию и чтобы этому было с кем поиграть (ведь тогда бы он наверняка немного уgomонился и нам было бы легче его приручить), но так и не нашел ничего, хотя бы отдаленно на него похожего, и что особенно странно — никаких следов. Оно не может не ходить по земле, хочет оно того или не хочет, как же тогда оно ухитряется не оставлять следов? Я расставил около дюжины капканов, но без всякого толку. В них попались все как есть маленькие зверюшки, только не оно. И эти зверьки, как мне кажется, забирались в капканы просто из любопытства — поглядеть, для чего там поставлено молоко. Никто из них к нему и не притронулся.

Три месяца спустя. — Кенгуру все продолжает расти — это очень странно и внушает тревогу. Я не видел еще ни одного животного, которому потребовалось бы столько времени, чтобы вырасти. Теперь голова у него покрылась шерстью, которая совершенно не похожа на мех кенгуру, а очень напоминает наши волосы, с той только разницей, что она гораздо тоньше и мягче и не черного цвета, а рыжая. Я, должно быть, скоро

сойду с ума от неслыханных, несуразных капризов и причуд этого не изученного наукой биологического уродца. Если бы только я мог поймать хотя бы еще одного, подобного ему... Но все напрасно. Это единственный экземпляр какой-то совершенно новой биологической разновидности. Сомнения больше нет. Однако я поймал обыкновенного кенгуру и принес его с собой, полагая, что наш будет рад хоть этому, поскольку он лишен общества себе подобных и вообще лишен сверстников, с которыми мог бы подружиться и которые посочувствовали бы ему в его ужасном одиночестве среди чуждых ему существ, не понимающих ни его нрава, ни его повадок и не умеющих объяснить ему, что он находится среди друзей. Но это было ошибкой: он так испугался при виде кенгуру, что с ним сделался припадок, и я понял — ему еще никогда в жизни не доводилось видеть кенгуру. Мне жаль бедного крикливого зверюшку, но я бессилен хоть чем-нибудь его порадовать. Если бы я мог приручить его... Но об этом нечего и думать: чем больше я стараюсь, тем получается хуже. Мне больно видеть, как этот нечтожный зверенок неистовствует, когда он чем-то рассержен или огорчен. Я бы выпустил его на волю, но она и слышать об этом не хочет. По-моему, это очень жестоко и совсем не похоже на нее, — и все же, быть может, она права. Быть может, тогда это существо будет еще более одиноко, — ведь если уж я не мог найти другого, подобного ему, так разве ж оно найдет?

Пять месяцев спустя. — Это не кенгуру. Нет, потому что оно делает несколько шагов на задних ногах, держась за ее палец, а затем падает. Возможно, что это какая-то разновидность медведя, однако у него нет хвоста — пока во всяком случае — и нет шерсти, кроме как на голове. Оно все еще продолжает расти, и это обстоятельство кажется мне в высшей степени странным, так как медведи гораздо быстрее вырастают до надлежащих размеров. Медведи теперь опасны (со времени катастрофы), и я бы не хотел, чтобы этот и впредь разгуливал где ему вздумается без намордника. Я предложил ей добыть для нее кенгуру, если она согласится выпустить медвежонка на волю, но ничего не вышло. Как видно, она хочет, чтобы мы самым идиотским образом подвергали свою жизнь опасности. Она была совсем иной, пока не лишилась рассудка.

Две недели спустя. — Я обследовал его пасть. Сейчас он еще не опасен: у него только один зуб. И по-

прежнему нет хвоста. Теперь он производит еще больше шума, особенно по ночам. Я перебрался из шалаша под открытое небо. Впрочем, я захожу в шалаш по утрам, чтобы позавтракать и посмотреть, не прорезались ли у медвежонка новые зубы. Если у него будет полная пасть зубов, тогда — с хвостом или без хвоста — ему придется убраться отсюда восвояси. В конце концов медведю вовсе не обязательно иметь хвост, чтобы представлять опасность для окружающих.

Четыре месяца спустя. — Был в отлучке около месяца — ловил рыбу и охотился в местности, которую она, неизвестно почему, называет Бизон, — вероятнее всего потому, что там нет ни одного бизона. За время моего отсутствия медвежонок научился вполне самостоятельно передвигаться на задних лапах и говорить: «паппá» и «маммá». Несомненно, это совершенно новая разновидность. То, что эти сочетания звуков похожи на слова, может, конечно, объясняться какой-то случайностью, и вполне допустимо, что они лишены всякого смысла и ровно ничего не обозначают, но тем не менее это все же нечто из ряда вон выходящее и не под силу ни одному медведю. Эта имитация речи в соединении с почти полным отсутствием шерсти и совершенным отсутствием хвоста — достаточно яркое доказательство того, что мы имеем дело с новой разновидностью медведя. Дальнейшее изучение его может дать необычайно интересные результаты. Пока что я намерен отправиться в далекую экспедицию и самым тщательным образом обследовать расположенные на Севере леса. Не может быть, чтобы там не сыскался хотя бы еще один подобный экземпляр, а тот, что у нас, несомненно будет представлять меньшую опасность, если получит возможность общаться с себе подобным. Решил отправиться не теряя времени. Но сначала надену на нашего намордник.

Три месяца спустя. — О, как утомительна была эта охота, а главное — как безрезультатна! И в это самое время, не сделав из дома ни шагу, она поймала еще одного! В жизни не видал, чтобы кому-нибудь так везло! А мне бы нипочем не заполучить этой твари, даже если бы я скитался по лесам еще лет сто.

На следующий день. — Я сравниваю нового со старым, и мне совершенно ясно, что они одной породы. Мне хотелось сделать из одного из них чучело для моей коллекции, но она по каким-то соображениям воспротивилась этому. Пришлось отказаться от моей затеи, хотя я считаю, что зря. Если они сбегут, это будет не-

вознаградимой утратой для науки. Старший стал более ручным теперь, научился смеяться и говорить, как попугай,—по-видимому оттого, что он так много времени проводит в обществе попугая и к тому же обладает чрезвычайно развитой способностью к подражанию. Я буду очень удивлен, если в конечном счете окажется, что это новая разновидность попугая, хотя, впрочем, мне бы уже пора ничему не удивляться, поскольку с тех первых дней, когда оно еще было рыбой, оно успело перебыть всем на свете,—всем, что только могло взбрести ему на ум. Младшее существо совершенно так же безобразно, как было на первых порах старшее: цветом оно напоминает сырое мясо с каким-то серовато-желтоватым оттенком, а голова у него тоже необычайно странной формы и без всяких признаков шерсти. Она назвала его Авель.

Десять лет спустя. — Это мальчики: мы открыли это уже давно. Нас просто сбивало с толку то, что они появлялись на свет такими крошечными и несовершенными по форме, — мы просто не были к этому подготовлены. А теперь у нас есть уже и девочка. Авель хороший мальчик, но для Каина было бы полезней, если бы он остался медведем. Теперь, оглядываясь назад, я вижу, что заблуждался относительно Евы: лучше жить за пределами Рая с ней, чем без нее — в Раю. Когда-то я считал, что она слишком много говорит, но теперь мне было бы грустно, если бы этот голос умолк и навсегда ушел из моей жизни. Благословенна будь плохая острота, соединившая нас навеки и давшая мне познать чистоту ее сердца и кротость нрава.

ДНЕВНИК ЕВЫ

Перевод с оригинала

Суббота. — Мне уже почти исполнился день. Я появилась вчера. Так, во всяком случае, мне кажется. И, вероятно, это именно так, потому что, если и было позавчера, меня тогда еще не существовало, иначе я бы это помнила. Возможно, впрочем, что я просто не заметила, когда было позавчера, хотя оно и было. Ну что ж. Теперь я буду наблюдательней, и если еще раз повторится позавчера, я непременно это запишу. Пожалуй, лучше начать сразу же, чтобы потом не путать чего-нибудь в хронологии: какой-то внутренний голос подсказывает мне, что все эти подробности могут

впоследствии оказаться очень важными для историков. Дело в том, что, по-моему, я — эксперимент; да, я положительно ощущаю себя экспериментом, просто невозможно сильнее ощущать себя экспериментом, чем это делаю я, и поэтому я все больше и больше убеждаюсь в том, что это именно так: я — эксперимент, просто эксперимент, и ничего больше.

Ну, а если я эксперимент, значит, эксперимент — это я? Нет, по-моему, нет. Мне кажется, все остальное — тоже часть этого эксперимента. Я главная его часть, но и все остальное, по-моему, участвует в эксперименте. Можно ли считать, что мое положение окончательно определилось, или я еще должна опасаться за себя и смотреть в оба? Вероятно, скорее, последнее. Внутренний голос говорит мне, что превосходство покупается ценой неусыпной бдительности. (Мне кажется, это очень удачное изречение для такого юного существа, как я).

Сегодня все выглядит значительно лучше, чем вчера. Вчера под конец пошла такая горячка, что горы были нагромождены как попало, а равнины так завалены всякими осколками и разным хламом, что это производило чрезвычайно удручающее впечатление. Прекрасные и благородные произведения искусства не должны создаваться в спешке, а этот величественный новый мир — воистину прекрасное и благородное творение и стоит на грани совершенства, хотя и создавался в столь краткий срок. Звезд кое-где, пожалуй, многовато, а в других местах не хватает, но это, без сомнения, нетрудно исправить. Луна прошлой ночью оборвалась, покатила вниз и выпала из мироздания. Это очень большая потеря, и у меня сердце разрывается, когда я об этом думаю. Среди всех орнаментов и украшений нет ничего, что могло бы сравниться с ней по красоте и законченности. Ее следовало бы прикрепить получше. Если б только можно было вернуть ее обратно...

Но никому, разумеется, не известно, куда она могла упасть. И уж конечно, тот, кто ее найдет, постарается спрятать ее подальше, — я знаю это, потому что и сама бы так поступила. Мне кажется, во всех других отношениях я могу быть честной, но уже сейчас я начинаю понимать, что основа основ моей натуры — это любовь к прекрасному, страстная тяга к прекрасному, и поэтому доверить мне чужую луну не безопасно, особенно если лицо, которому луна принадлежит, не знает о том, что она у меня. Я бы еще, пожалуй, вернула луну, если бы нашла ее среди бела дня, — побоялась бы, что кто-



нибудь видел, как я ее взяла. Но найди я ее в темноте, тут уж, мне думается, я сумела бы под каким-нибудь предлогом утаить свою находку. Потому что я без ума от лун — они такие красивые и такие романтичные. Мне бы хотелось, чтобы у нас их было штук пять или шесть. Я бы тогда совсем не стала спать, мне никогда не наскучило бы лежать на мягком мху, глядеть ввысь и любоваться ими.

Звезды мне тоже нравятся. Мне бы хотелось достать две-три и воткнуть себе в волосы. Но боюсь, что это невозможно. Просто трудно поверить, до чего они от нас далеко, потому что ведь

с виду этого не скажешь. Когда они впервые появились — прошлой ночью, — я пробовала сбить несколько штук палкой, но не могла дотянуться ни до одной, и это меня очень удивило. Тогда я стала швырять в них комьями глины и швыряла до тех пор, пока совсем не сбессилела, но так ничего и не сбila. Это потому, что я левша и у меня нет меткости. Даже когда я нарочно бросала не в ту звезду, в которую целилась, мне не удавалось сбить ни той, ни другой, хотя я и попадала довольно точно и видела, как черный комок глины разсорок, а то и пятьдесят летел прямо в золотую гроздь и только каким-то чудом ничего не сбил. Вернее, если бы у меня хватило сил продержаться еще немного, я непременно сбila бы хотя бы одну звезду.

Признаться, я немножко всплакнула, что, мне кажется, вполне естественно в моем возрасте, а потом, отдохнув, взяла корзинку и направилась к краю нашей круглой площадки, где звезды висят совсем невысоко от земли и их можно просто сорвать рукой, — что, кстати сказать, гораздо лучше, потому что это можно сделать осторожно, так, чтобы их не поломать. Но идти

пришлось дальше, чем я думала, и в конце концов я была вынуждена отказаться от своего намерения: я так устала, что не могла сделать больше ни шагу, и к тому же натерла себе ноги, и они ужасно разболелись.

Я не могла вернуться домой, потому что зашла слишком далеко и стало очень холодно, но мне повстречалось несколько тигров, и я устроилась между ними так уютно, что почувствовала себя на вершине блаженства: у тигров удивительно приятное, ароматное дыхание — это потому, что они питаются земляникой. Я еще никогда до той минуты не видала тигров, но тут сразу их узнала, потому что они полосатые. Если бы я могла раздобыть себе где-нибудь такую шкурку, из нее вышло бы прелестное платье.

Сегодня я начинаю уже лучше разбираться в расстояниях. Мне так хотелось завладеть всеми красивыми вещами, что я очертя голову пыталась их схватить, и оказывалось, что одна гораздо дальше от меня, чем я думала, а другая — наоборот: я думала, что до нее целый фут, а на самом деле было всего каких-нибудь шесть дюймов, — но зато, увы, сколько шипов в каждом дюйме! Это послужило мне уроком. Кроме того, я открыла одну аксиому — дошла до нее своим умом, — и это была моя первая аксиома: *оцарапавшийся эксперимент шипа боится*. Мне кажется, для такого юного создания, как я, это совсем неплохо сказано.

Вчера после полудня я долго следовала за другим экспериментом, на некотором расстоянии от него, чтобы выяснить, если удастся, для чего он, но мне это не удалось. Думаю, что это мужчина. Я никогда еще не видела мужчины, но этот выглядит, как мужчина, и я чувствую, что так оно и есть. Я сделала открытие: это существо возбуждает мое любопытство сильнее, чем любое другое пресмыкающееся. Если, конечно, оно пресмыкающееся, а мне думается, что это так, потому что у него кудлатые волосы, голубые глаза и вообще оно похоже на пресмыкающееся. У него нет бедер, оно суживается книзу, как морковка, а когда стоит — раздваивается, как рогатка. Словом, я думаю, что это пресмыкающееся, хотя, может быть, это и конструкция.

Сначала я боялась его и обращалась в бегство всякий раз, как оно оборачивалось ко мне, — думала, что оно хочет меня поймать; но мало-помалу я поняла — оно, наоборот, старается ускользнуть от меня, — и тогда я перестала быть такой застенчивой и несколько часов подряд гналась за ним ярдах в двадцати от него, в ре-

зультате чего оно стало очень пугливо, и вид у него сделался совсем несчастный. В конце концов оно настолько встревожилось, что залезло на дерево. Я довольно долго сторожила его, но потом мне это надоело, и я вернулась домой.

Сегодня все повторилось сначала. Я снова загнала его на дерево.

Воскресенье. — Оно все еще сидит на дереве. Отдыхает, должно быть. Но это просто уловка: воскресенье — не день отдыха, для этого предназначена суббота. Мне кажется, это существо больше всего на свете любит отдыхать. А по-моему, это невероятно утомительно — отдыхать так много. Даже просто сидеть под деревом и сторожить его утомляет меня. Мне очень хочется узнать — для чего оно: я еще ни разу не видела, чтобы оно что-нибудь делало. Вчера вечером они вернули луну на место, и я была так рада! Я считаю, что это очень порядочно с их стороны. Луна опять покати-лась вниз и упала, но это не огорчило меня: когда имеешь таких соседей, беспокоиться не о чем — они повесят луну обратно. Мне бы хотелось как-то выразить им свою признательность. Хорошо бы, например, послать им немножко звезд, потому что нам их и так девать некуда. Вернее, не нам, а мне, ведь пресмыкающееся, по моим наблюдениям, абсолютно не интересуется такими вещами.

У него низменные вкусы и нет доброты. Вчера я отправилась к нему в сумерках и увидела, что оно слезло с дерева и старается поймать маленьких пятнистых рыбок, которые плавают в озере, и мне пришлось пустить в ход комя земли, чтобы оно оставило рыбок в покое и залезло обратно на дерево. Неужели для этого оно и существует? Неужели у него нет сердца? Неужели у него нет сострадания к этим крошечным тварям? Неужели оно было задумано и сотворено для такого неблагородного занятия? Похоже на то. Швыряя в него землей, я попала ему один раз в голову, и оказалось, что оно умеет говорить. Это приятно взволновало меня, так как я впервые услышала чью-то речь, помимо своей собственной. Слов я не поняла, но прозвучали они весьма выразительно.

Когда я открыла, что оно обладает даром речи, мой интерес к нему повысился, так как я очень люблю болтать. Я болтаю весь день и даже во сне, и меня очень интересно слушать; но если бы мне было с кем болтать, то получалось бы вдвойне интереснее, и я могла бы

болтать, никогда не умолкая, стоило бы меня об этом попросить.

Если пресмыкающееся — мужчина, тогда ведь это не оно — не так ли? Это было бы грамматической ошибкой, правда? Мне кажется, в этом случае полагается говорить *он*; думаю, что так. Тогда склонение будет выглядеть следующим образом: именительный *он*; дательный — *ему*; предложный — *о ѐм*. Словом, я буду считать его мужчиной и называть *он* до тех пор, пока не выяснится, что это нечто другое. Так будет удобнее, иначе слишком много неопределенностей.

Следующая неделя. Воскресенье. — Целую неделю я неотступно следовала за ним и старалась познакомиться. Всю беседу мне приходилось брать на себя, потому что он очень застенчив; впрочем, мне это ничего не стоило. Ему, по-видимому, приятно, что я все время возле него, а я из учтивости стараюсь как можно чаще говорить «мы», — ему, мне кажется, льстит, что он этим как бы приобщается ко мне.

Среда. — Мы теперь совсем неплохо ладим друг с другом и знакомимся все ближе и ближе. Он уже не пытается больше ускользнуть от меня; и это добрый знак, — видимо, ему нравится мое общество. Это мне приятно, и я учусь быть ему полезной, чем только могу, чтобы еще больше расположить его к себе. В последние дни я освободила его от необходимости подыскивать названия для различных предметов, что было для него большим облегчением. У него нет никаких к этому способностей, и он явно очень мне благодарен. Он, хоть ты его режь, не может придумать ни одного сколько-нибудь толкового названия, но я делаю вид, что не замечаю этого его недостатка. Как только появляется какая-нибудь новая тварь, я сейчас же даю ей имя, пока он не успел обнаружить свое невежество неловким молчанием. Я не раз таким способом выводила его из затруднительного положения. Я-то совершенно не страдаю таким недостатком, как он. Стоит мне только взглянуть на какое-нибудь животное, и я уже знаю, что это такое. Я даже не даю себе труда задуматься хоть на мгновение: правильное наименование рождается у меня молниеносно, как по наитию свыше, — да так, без сомнения, оно и есть, ибо я совершенно твердо знаю, что еще секунду назад не имела ни малейшего представления об этом слове. Должно быть, просто по внешнему виду каждой твари и по ее повадкам я сразу угадываю, что это за зверь.

Когда, например, появился додо, он принял его за дикую кошку,— я поняла это по его глазам. Но я спасла его. И я постаралась сделать это так, чтобы его гордость не пострадала. Я просто сказала самым естественным тоном, словно была приятно удивлена: «Поглядите, да ведь это додо! Ну конечно же, это додо!» Да, я сказала это так, будто мне и в голову не могло прийти, что он нуждается в моей информации. И я объяснила, как бы ничего не объясняя, откуда я знаю, что это — додо; и если его и задело слегка, что я узнала эту птицу, а он — нет, тем не менее было совершенно очевидно, что он мною восхищен. Мне это было чрезвычайно приятно, и я снова и снова с огромным удовлетворением вспоминала об этом, прежде чем уснуть. Какая малость может сделать нас счастливыми, когда мы чувствуем, что она вполне заслужена нами!

Четверг. — Мое первое горе. Вчера он избегал меня и, по-видимому, не хотел, чтобы я с ним разговаривала. Я не могла этому поверить, думала, что это какое-то недоразумение,— ведь я так люблю быть возле него и слушать, что он говорит,— как же это может быть, чтобы он стал дурно относиться ко мне, если я не сделала ничего плохого? Но в конце концов я увидела, что, должно быть, это все же так, и тогда я ушла и долго сидела совсем одна там, где впервые увидела его в то утро, когда мы были созданы и я еще не знала, что он такое, и была совершенно безразлична к нему. Но теперь это место было овеяно для меня печалью, каждый пустяк напоминал мне здесь о нем, и сердце ныло. Это чувство было для меня ново, и я сама не понимала, почему грущу. Я никогда еще не испытывала ничего подобного; во всем этом было что-то таинственное, и я не могла понять, что со мной.

Но когда настала ночь, я почувствовала, что не в силах больше выносить одиночества, и направилась к новому шалашу, который он для себя построил: я хотела спросить его, что я такое сделала и как мне вернуть его расположение. Но он выгнал меня под дождь, и это было мое первое горе.

Воскресенье. — Теперь опять все хорошо, и я счастлива. Но то были очень тяжелые для меня дни, и я стараюсь не вспоминать о них.

Я хотела достать для него несколько плодов с той самой яблони, но никак не могу научиться бросать метко. Из моей затеи ничего не вышло, однако мне кажется, что мое доброе намерение было ему приятно,

Трогать эти яблоки запрещено, и он сказал, что я наживу себе беду. Но если я наживу себе беду, доставляя ему удовольствие, так не все ли мне равно?

Понедельник. — Сегодня утром я сообщила ему мое имя, думая, что ему будет интересно. Но он даже не обратил на это внимания. Как странно. Если бы он сообщил мне свое имя, мне бы это не было безразлично. Мне кажется, звук его имени был бы самым сладостным для моих ушей.

Он очень мало говорит. Быть может, потому, что он не слишком сообразителен и сам страдает от этого и старается это скрыть? Если это действительно его мучает, мне очень его жаль, потому что ум — ничто, сердце — вот что в нас ценно. Мне бы хотелось заставить его понять, что сердце, способное любить, — это богатство, подлинное богатство; рассудок же без сердца — нищ.

Несмотря на то, что он так мало говорит, лексика его довольно богата. Сегодня утром он употребил одно поразительно хорошее слово. Должно быть, он и сам это понял, потому что повторил его потом еще раза два, как бы невзначай. Нельзя сказать, чтобы это получилось у него очень ловко, но тем не менее ясно, что он не лишен известного чутья. Не может быть сомнения в том, что эти семена, если за ними ухаживать, могут дать отличные всходы.

Откуда он взял это слово? Не помню, чтобы я его когда-нибудь употребляла.

Нет, мое имя не интересует его совершенно. Я старалась скрыть свое разочарование, но боюсь, что мне это не удалось. Тогда я ушла и долго сидела на поросшем мхом берегу, опустив ноги в воду. Я всегда так делаю, когда мне не хватает общества и тянет поглядеть на кого-нибудь, с кем-нибудь поговорить. Конечно, мне этого недостаточно — недостаточно этой прелестной, белой фигурки, которая виднеется там, в озере, — но все же это хоть что-нибудь, а что-нибудь лучше, чем полное одиночество. Она говорит, когда я говорю; когда я печальна — и она печальна; она сочувствует мне и утешает меня; она говорит: «Не падай духом, бедная одинокая девочка, я буду тебе другом». И правда — это мой верный друг, и притом единственный. Это моя сестра.

О, этот час, когда она впервые покинула меня! Я никогда не забуду этого — никогда, никогда. Как тяжело стало у меня на сердце! Я сказала: «Кроме нее, у меня не было ничего, и вот ее не стало!» Я сказала в отчаянии: «Сердце, разбейся! У меня нет сил больше

жить!» И я закрыла лицо руками и зарыдала безутешно. А когда через несколько минут я подняла голову, она снова была там — белая, сверкающая и прекрасная, и я кинулась в ее объятия! Это было настоящее блаженство. Я знала счастье и прежде, но это было совсем другое, это было упоительно. С тех пор я никогда больше не сомневалась в ней. Порой она пропадала где-то — иногда час, иногда почти весь день, но я ждала и верила ей. Я говорила: «У нее дела или она отправилась путешествовать. Но она вернется». И правда, она всегда возвращается. Она робкое, пугливое создание, и потому никогда не показывается в темные ночи, но как только всходит луна, она тут же появляется. Сама я не боюсь темноты, но ведь она моложе меня: сначала родилась я, а она — потом. Много, много раз я приходила к ней — она мое утешение и опора в трудные минуты жизни, а этих минут так много.

Вторник. — Все утро я работала — приводила в порядок наши владения — и нарочно старалась не попадаться ему на глаза, в надежде, что он соскучится и придет. Но он не пришел.

В полдень, покончив с дневными трудами, я отдыхала: играла с бабочками и пчелами и нежилась среди цветов — этих прекраснейших созданий божьих, которые ловят в небе улыбку Творца и хранят ее в своих чашечках. Я нарвала цветов, сплела из них венки и гирлянды, украсилась ими и позавтракала второй раз — как всегда, яблоками. Потом сидела в тени, томилась и ждала. Но он не пришел.

Но все равно. Ничего хорошего из этого бы не вышло, потому что он не любит цветов. Он говорит, что это мусор, не умеет отличить один цветок от другого и думает, что это значит быть выше мелочей. Он не любит меня, он не любит цветов, он не любит красок вечеряющего неба, — интересно, любит ли он что-нибудь, кроме как похлопывать ладонью дыни, щупать груши на деревьях и пробовать виноград с лозы, проверяя, хорошо ли все это зреет, да еще строить шалаши, чтобы прятаться туда от славного освежающего дождика.

Я положила на землю сухую палку и старалась другой палкой просверлить в ней дырку. Мне это было нужно для одного опыта, который я задумала, но тут мне пришлось пережить ужасный испуг. Над дырой взвилось что-то легкое, прозрачное, голубоватое, и я бросила палку и кинулась бежать! Я думала, что это дух, и страшно испугалась! Но потом, оглянувшись, я

увидела, что он не гонится за мной, и тогда я прислонилась к скале, чтобы немного отдышаться и прийти в себя, и подождала, пока руки и ноги у меня не перестанут дрожать и не начнут снова вести себя как надо. После этого я осторожно прокралась обратно; каждую минуту я готова была пуститься наутек. Подойдя поближе, я раздвинула ветви розового куста и посмотрела на палку (как жаль, что мужчины не было поблизости,— я выглядела так очаровательно в эту минуту!), но дух исчез. Я подошла еще ближе и увидела в высверленной дырке горстку алой пыли. Я сунула туда палец — хотела пощупать, но тут же закричала и отдернула руку. Я почувствовала жгучую боль. Тогда я сунула палец в рот, попрыгала сначала на одной ноге, потом на другой, постонала немножко, и это принесло мне некоторое облегчение. Но острый интерес уже пробудился во мне, и я принялась исследовать.

Мне очень хотелось понять, что такое эта алая пыль. И неожиданно меня осенило, хотя я никогда не слышала об этом прежде: это *огонь*! Если можно вообще быть в чем-нибудь уверенной, то я была абсолютно уверена в том, что это огонь, и потому без малейшего колебания так его и назвала.

Я создала нечто такое, чего не существовало прежде; к неисчислимому миру вещей я добавила еще одну вещь. Я поняла это и была горда,— и уже хотела побежать, найти мужчину и рассказать ему о своем достижении, чтобы поднять себя этим в его глазах, но, подумав немного, решила этого не делать. Нет — его этим не проймешь. Он спросит: а зачем это нужно? И что я ему отвечу тогда? Потому что, если это *ни к чему не пригодно*, а просто красиво, только красиво...

Словом, я вздохнула и не пошла за ним, потому что мое открытие действительно ни к чему не пригодно,— с его помощью нельзя ни построить шалаша, ни улучшить сорта дынь, ни ускорить созревания плодов; оно совершенно бесполезно,— это просто глупость и пустое тщеславие; и он, конечно, отнесется к нему с презрением и скажет что-нибудь язвительное. Но я не могла отнестись к своему открытию с презрением. Я сказала: «О ты, огонь! Я люблю тебя, изысканное нежно-алое создание! Люблю потому, что ты *прекрасен*, и этого с меня довольно!» И, сказав так, я хотела прижать его к груди. Но я сдержала свой порыв. И тут же придумала новый афоризм — я дошла до него своим умом, но он так похож на мое первое изречение, что, боюсь,

не является ли он плагиатом: «Обжегшийся эксперимент огня боится».

Я снова принялась за работу, и когда у меня получилась довольно большая кучка огненной пыли, я высыпала ее на пучок сухой травы — мне хотелось унести ее домой, чтобы всегда иметь под рукой и играть с ней когда вздумается, — но ветер дунул на травку, взметнул ее вверх, и она так страшно зашипела на меня, что я выронила ее из рук и бросилась бежать. А когда я оглянулась, голубой дух вился и клубился там, точно облако, и в ту же секунду я его узнала — это был *дым*. Однако даю вам слово, что до той минуты я никогда и не слыхала про дым.

И почти тут же ослепительно-желтые и красные языки пробились сквозь дым, и я мгновенно назвала их *пламя*, — и, конечно, не ошиблась, хотя это было первое пламя на земле. Пламя стало прыгать на деревья, величественно сверкая и то прорываясь сквозь огромную и все растущую завесу клубящегося дыма, то исчезая за ней, и я невольно захлопала в ладоши, рассмеялась и принялась танцевать от восторга, — все это было так ново и так чудесно, так удивительно и прекрасно!

Он прибежал со всех ног, остановился, уставился на огонь, широко раскрыв глаза, и минут пять — десять не произносил ни слова. Потом спросил: что это такое? Ах, ну зачем понадобилось ему ставить вопрос ребром! Я, разумеется, вынуждена была ответить, и я ответила. Я сказала, что это огонь. Если ему было неприятно, что приходится спрашивать у меня, это не моя вина. Мне совсем не хотелось сердить его.

Помолчав, он спросил:

— Откуда он взялся?

Еще один прямой вопрос, который тоже требовал прямого ответа.

— Я его сделала.

Огонь распространялся все дальше и дальше. Он подошел к краю выгоревшей лужайки, остановился, посмотрел на землю и спросил:

— А это что?

— Угли.

Он поднял один уголек, чтобы получше его рассмотреть, но, как видно, передумал и положил обратно. Потом он ушел. *Ничто не интересует его.*

А меня интересует. На земле лежал пепел — серый, мягкий, нежный и красивый, и я сразу поняла, что это

пепел. И еще там была тлеющая зола. Я ее тоже сразу узнала. И я нашла там мои яблоки и выгребла их из золы. Я им очень обрадовалась, потому что я ведь еще молода и у меня хороший аппетит. Но я была разочарована: все яблоки полопались и были совершенно испорчены. Впрочем, оказалось, что они испорчены только с виду,—на самом же деле они стали вкуснее сырых. Огонь прекрасен, и мне кажется — когда-нибудь он будет приносить пользу.

Пятница. — В понедельник, поздно вечером, я опять увидела его на минуту,—но только на одну минуту. Я надеялась, что он похвалит меня за усердие, с каким я приводила наши владения в порядок,—ведь я работала не покладая рук и побуждения у меня были самые лучшие,—но он ничем не выразил своего одобрения, повернулся и ушел. Больше того — он был недоволен, и вот по какой причине: я сделала еще одну попытку убедить его не переплывать водопада. Дело в том, что огонь пробудил во мне новое чувство — совершенно новое и абсолютно не похожее ни на любовь, ни на печаль, ни на что-либо другое, что мне уже доводилось испытывать. Это чувство — *страх*. И это ужасное чувство! Зачем только я его узнала! Оно омрачает мою жизнь, мешает мне быть счастливой, заставляет меня дрожать, трепетать и вздрагивать. Но мне не удалось убедить его, потому что он еще не познал страха и, следовательно, не в состоянии меня понять.

ИЗ ДНЕВНИКА АДАМА

Фрагмент

Вероятно, я не должен забывать, что она еще очень молода, совсем девочка, в сущности, и требует к себе снисхождения. Она полна любопытства, все интересует ее, жизнь кипит в ней ключом, и в ее глазах мир — это чудо, тайна, радость, блаженство; когда она видит новый цветок, она не может вымолвить ни слова от восторга — она ласкает его, и играет с ним, и беседует, и нюхает его, и осыпает самыми нежными именами. И она помешана на красках: коричневые скалы, желтый песок, серый мох, зеленая листва, синее небо; жемчужно-розовая заря, фиолетовые тени в ущельях, золотые островки облаков в багряном океане заката, бледная луна, плывущая среди рваных туч, алмазная россыпь звезд, мерцающих в безграничном простран-

ве,— все это, насколько я могу судить, не имеет ни малейшей практической ценности, но раз в этом есть краски и величие — для нее этого достаточно, она совершенно теряет голову. Если бы она могла не суетиться так и хоть изредка, хоть две-три минуты побыть в покое, это было бы необычайно отрадное зрелище! В этом случае, мне кажется, на нее было бы приятно смотреть; я даже уверен, что мне это было бы приятно, так как я начинаю замечать, что она на редкость миловидное создание: гибкая, стройная, изящная, округлая, ловкая, проворная, грациозная... И как-то раз, когда она, мраморно-белая и вся залитая солнцем, стояла на большом камне и, закинув голову, прикрывая глаза рукой, следила за полетом птицы в небе, я понял, что она красива.

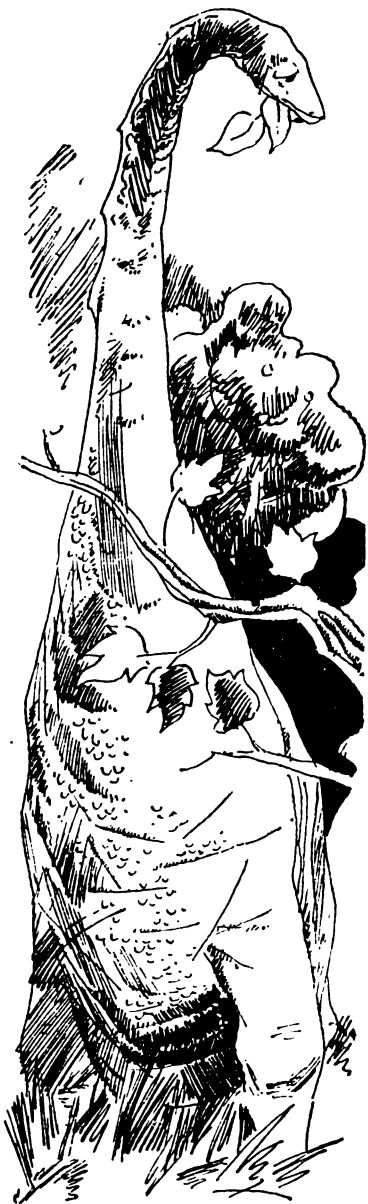
Понедельник, полдень. — Если есть на всей планете хотя бы один предмет, который ее не интересует, то я, во всяком случае, не берусь его назвать. Некоторые животные лишены для меня всякого интереса, но для нее таких не существует. Она не делает различий, одинаково обожает их всех, считает сокровищами и каждое новое животное встречает с распростертыми объятиями.

Когда гигант бронтозавр забрел в наш лагерь, она нашла, что это очень ценное приобретение, в то время как я воспринял это как бедствие. Вот отличный пример полной дисгармонии наших с ней взглядов. Она хотела приручить бронтозавра, а я хотел подарить ему наш участок и переселиться в другое место. Она верит, что, обращаясь с ним хорошо, его можно выдрессировать и превратить в нечто вроде любимой комнатной собачки; а я сказал, что комнатная собачка в двадцать один фут высотой и в восемьдесят четыре фута длиной не особенно удобна в домашнем обиходе, так как эта громадина может с самыми лучшими намерениями сесть невзначай на наш дом и смять его в лепешку, — ведь легко можно заметить, насколько это чудовище рассеянно, достаточно посмотреть на выражение его глаз.

Но ей уже во что бы то ни стало хотелось иметь чудовище, и она не пожелала с ним расстаться. Она решила, что мы можем организовать молочную ферму, и просила меня помочь ей подоить его. Но я отказался, так как это было слишком рискованно. Прежде всего оно было совсем неподходящего пола, и, кроме того,

мы еще не обзавелись приставной лестницей. Тогда она задумала ездить на нем верхом и любоваться окрестностями. Футов тридцать — сорок его хвоста лежало на земле, подобно поваленному дереву, и она решила, что сумеет забраться к чудовищу на спину по хвосту, но ей это не удалось. Она вскарабкалась только до того места, где подъем стал слишком крут, и полетела вниз, потому что хвост оказался скользким, и если бы я вовремя не подхватил ее, она бы сильно ушиблась.

Вы думаете, она успокоилась после этого? Ничуть не бывало. Она никогда не успокаивается до тех пор, пока все не испробует: не проверенные опытом теории — это не по ее части, они ее не удовлетворяют. Должен признаться, что это отличное качество, оно мне очень по душе; я чувствую, что заражаюсь им от нее и что полностью воспринял бы его, если бы мы больше общались. Кстати, у нее была еще одна идея относительно этого колосса: она думала, что нам удастся приручить его и заставить подружиться с нами, и тогда мы сможем поставить его поперек реки и ходить по нему, как по мосту. Но выяснилось, что он и сейчас уже достаточно приручен, — во всяком случае, с ней он совсем руч-



ной,— и она попыталась претворить свою идею в жизнь, но ничего из этого не вышло: стоило ей установить чудовище в нужном положении поперек реки и сойти на берег, чтобы испробовать свой новый мост, оно тотчас вылезало из воды и тащилось за ней по пятам, как ручная гора. Совершенно так же, как и все прочие животные. Они все это делают.

Пятница. — Вторник, среда, четверг и сегодня — все эти дни я не видела его. Трудно так долго быть одной, но все же лучше быть одной, чем являться непрошенной.

Однако я не могу обходиться без общества; мне кажется, общество — это моя стихия, и я завожу дружбу с животными. Они очаровательны, у них легкий, приятный нрав и самое вежливое обхождение; они никогда не бывают угрюмы, никогда не дают вам понять, что вы явились не вовремя; они улыбаются вам и машут хвостом, если он у них есть, и всегда готовы порезвиться с вами или совершить маленькую экскурсию, — словом

согласны на все, что бы вы им ни предложили. Я считаю, что они истинные джентльмены. Все эти дни мы так чудесно проводили время, и я ни разу не почувствовала себя одинокой. Одинокой? Нет, о нет! Ведь их целые стаи вокруг, иной раз они занимают пространство в четыре-пять акров — просто не сочтешь; и когда стоишь на скале и оглядываешься кругом, на это море шерсти, такое пестрое, и веселое, и красочное, а все эти пятна и полосы переливаются на солнце, словно рябь, — может показаться, что это и впрямь море, только я-то знаю, что это все же не так. А временами налетает настоящий шквал обшительных птиц и проносятся ураганы машущих крыл, и когда лучи солнца прони-



зывают этот пернатый хаос, перед глазами у вас реют разноцветные молнии, горят и сверкают все краски мира, и можно проглядеть все глаза, любуясь на это.

Мы совершали большие экскурсии, и я повидала немалую часть света; мне кажется даже, что я повидала его почти весь. Таким образом, я — первый путешественник на земле, и единственный пока. Когда мы в пути, это очень величественное зрелище — ему нет равного. Для удобства передвижения я еду обычно верхом на тигре или на леопарде, потому что у них мягкая, округлая спина, на которой приятно сидеть, и потому что они такие миловидные животные; но для далеких путешествий или для тех случаев, когда мне хочется полюбоваться окрестностями, я пользуюсь слоном. Своим хоботом он сажает меня к себе на спину, но спуститься вниз я могу и без посторонней помощи: когда мы решаем сделать привал, он садится, и я спускаюсь на землю, так сказать, с черного крыльца.

Все птицы и все животные дружат друг с другом, и между ними никогда не возникает никаких разногласий. Они все умеют говорить и разговаривают со мной, но, должно быть, это какой-то иностранный язык, потому что я не понимаю ни слова. Однако сами они нередко понимают, когда я говорю им что-нибудь; особенно хорошо понимают меня собака и слон, и мне в этих случаях всегда бывает очень стыдно: ведь это показывает, что они умнее меня и я должна признать их превосходство. Это досадно, потому что я хочу быть главным экспериментом и надеюсь все же им быть.

Я уже узнала довольно много различных вещей и стала теперь образованная, чего раньше никак нельзя было про меня сказать. Вначале я была совершенно невежественна. Первое время я, сколько ни билась, никак не могла уследить, когда водопад взбегает обратно на гору, — у меня не хватало на это соображения, и мне было очень досадно, но теперь я успокоилась. Я следила и сопоставляла, и теперь я знаю, что вода никогда не бежит в гору при свете — только когда темно. Я поняла, что она проделывает это в темноте, потому что озеро не высыхает, а ведь если бы вода не возвращалась ночью обратно на свое место, то оно непременно бы высохло. Самое лучшее — все проверять экспериментальным путем: тогда действительно можно приобрести знания, в то время как строя догадки и делая умозаключения, никогда не станешь по-настоящему образованным человеком.

Некоторые вещи понять невозможно, но вы до тех пор не поймете, что они непознаваемы, пока будете пытаться их разгадать и строить различные предположения; нет, вы должны набраться терпения и производить опыты, пока не откроете, что ничего открыть нельзя. А ведь именно это и восхитительно — мир тогда становится необычайно интересен. А если бы нечего было открывать, жизнь стала бы скучной. И в конце концов, стараться открыть и ничего не открывать — так же интересно, как стараться открыть и открывать, а быть может, даже еще интереснее. Тайна водопада была подлинным сокровищем, пока я ее не раскрыла, после чего весь интерес пропал, и я познала чувство утраты.

С помощью экспериментов я установила, что дерево плавает, а также и сухие листья, и перья, и еще великое множество различных предметов; отсюда, делая обобщение, можно прийти к выводу, что скала тоже должна плавать, но приходится просто признать, что это так, потому что доказать это на опыте нет никакой возможности... пока что. Я, конечно, найду и для этого способ, но тогда весь интерес пропадет. Мне становится грустно, когда я думаю об этом: ведь мало-помалу я открою все, и тогда не из-за чего будет волноваться, а я это так люблю! Прошлую ночь я никак не могла уснуть — все размышляла над этим.

Прежде я не могла понять, для чего я была создана на свет, но теперь, мне кажется, поняла: для того, чтобы раскрывать тайны этого мира, полного чудес, и быть счастливой, и благодарить Творца за то, что он этот мир создал. Я думаю, что есть еще очень много тайн, которые мне предстоит узнать, — я надеюсь, что это так; и если действовать осторожно и не слишком спешить, их, по-моему, должно хватить не на одну неделю, — я надеюсь, что это так. Если подбросить перо, оно реет в воздухе и скрывается из виду. А если бросить комок глины, он этого не делает. Он всякий раз падает на землю. Я пробовала снова и снова, и всегда получается одно и то же. Интересно, почему это? Конечно, я понимаю, что на самом деле он не падает, но почему должно непременно так казаться? Вероятно, это оптический обман. То есть я хочу сказать, что одно из этих двух явлений — оптический обман. А какое именно, я не знаю. Быть может, в случае с пером, быть может — с комком глины; я не могу доказать ни того, ни другого, я могу только продемонстрировать оба, и станет ясно, что

одно из двух — обман, а какое именно — каждый может решать по своему усмотрению.

Из наблюдений я знаю, что звезды не вечны. Я видела, как иные, самые красивые, вдруг начинали плавиться и скатывались вниз по небу. Но раз одна может расплавиться, значит, могут расплавиться и все, а раз все могут расплавиться, значит, они могут расплавиться все в одну ночь. И это несчастье когда-нибудь произойдет, я знаю это. И я решила каждую ночь сидеть и глядеть на звезды до тех пор, пока смогу бороться со сном; я постараюсь запечатлеть в памяти весь этот сверкающий простор так, чтобы, когда звезды исчезнут, я могла бы с помощью воображения вернуть эти мириады мерцающих огней на черный купол неба и заставить их сиять там снова, двоясь в хрустальной призме моих слез.

ПОСЛЕ ГРЕХОПАДЕНИЯ

Когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что наш сад привиделся мне во сне. Он был прекрасен, несравненно прекрасен, упоительно прекрасен, а теперь он потерян для нас, и я никогда больше его не увижу.

Сад утрачен навеки, но я нашла его, и я довольна. Он любит меня, как умеет; я люблю его со всем пылом моей страстной натуры, как и подобает, мне кажется, моему возрасту и полу. Когда я спрашиваю себя, почему я люблю его, мне ясно, что я этого не понимаю, да, по правде говоря, и не особенно стремлюсь понять; такая любовь, думается мне, не имеет ничего общего ни с рассуждениями, ни со статистикой, как любовь к другим пресмыкающимся или животным. Да, вероятно, все дело в этом. Я люблю некоторых птиц за их пение, но Адама я люблю вовсе не за то, как он поет, — нет, не за это. Чем больше он поет, тем меньше мне это нравится. И все же я прошу его петь, потому что хочу приучиться любить все, что нравится ему, и уверена, что приучусь, — ведь сначала я совершенно не могла выносить его пение, а теперь уже могу. От его пения киснет молоко, но и это не имеет значения, — к кислому молоку тоже можно привыкнуть.

Я люблю его не за его сообразительность, — нет, не за это. Каков бы он ни был — это не его вина, ведь он не сам себя создал. Он таков, каким его создал господь, и этого для меня вполне достаточно. Тут была проявлена особая мудрость, я совершенно в этом уверена. Со

временем его умственные способности разовьются, хотя я думаю, что это произойдет не сразу. Да и куда спешить? Он достаточно хорош и так.

Я люблю его не потому, что он деликатен, заботлив и чуток,— нет; у него есть недостатки в этом отношении, но он достаточно хорош, несмотря на них, и притом уже начал понемногу исправляться.

Я люблю его не потому, что он трудолюбив, нет, не потому. Мне кажется, он обладает этим свойством, и я не понимаю, зачем ему нужно его от меня скрывать. Вот единственное, что меня печалит. Во всем остальном он теперь вполне откровенен со мной. Я уверена, что, помимо этого, он ничего от меня не утаивает. Меня печалит, что он находит нужным держать от меня что-то в тайне, и порой я долго не могу уснуть— все думаю об этом. Но я заставляю себя выкинуть эти мысли из головы— ведь, кроме них, ничто не омрачает моего счастья.

Я люблю его не потому, что он очень образован, нет, не потому. Он—самоучка и действительно знает уйму всяких вещей, да только все это не так.

Я люблю его не потому, что он рыцарственно благороден. Нет, не потому. Он выдал меня, но я его не виню—это свойство его пола, мне кажется, а ведь не он создал свой пол. Конечно, я бы никогда не выдала его, я бы скорее погибла, но это тоже особенность моего пола, и я не ставлю себе этого в заслугу, так как не я создала свой пол.

Так почему же я люблю его? Вероятно, *просто потому, что он мужчина.*

В глубине души он добр, и я люблю его за это, но будь иначе, я бы все равно любила его. Если бы он стал бранить меня и бить, я бы все равно продолжала любить его. Я знаю это. Мне кажется, все дело в том, что таков мой пол.

Он сильный и красивый, и я люблю его за это, и восхищаюсь, и горжусь им,—но я все равно любила бы его, даже если бы он не был таким. Будь он нехорош с виду, я бы все равно любила его; будь он калеккой—я любила бы его, и я бы работала на него, и была бы его рабой, и молилась бы за него, и бодрствовала у его ложа, пока жива.

Да, я думаю, что люблю его просто потому, что он *мой*, и потому что он *мужчина*. Другой причины не существует, мне кажется. И поэтому, вероятно, я правильно решила с самого начала: такая любовь не имеет

ничего общего ни с рассуждениями, ни со статистикой. Она просто *приходит* совершенно неизвестно откуда, и объяснить ее нельзя. Да и не нужно.

Так думаю я. Но ведь я — только женщина, почти ребенок, и притом первая женщина, которая пытается разобраться в этом вопросе, — и очень может статься, что по своей неопытности и невежеству я сделала неправильный вывод.

СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ

Единственное мое желание и самая страстная моя мольба — чтобы мы могли покинуть этот мир вместе; и эта мольба никогда не перестанет звучать на земле, она будет жить в сердце каждой любящей жены во все времена, и ее нарекут молитвой Евы.

Но если один из нас должен уйти первым, пусть это буду я, и об этом тоже моя мольба, ибо он силен, а я слаба, и я не так необходима ему, как он мне; жизнь без него — для меня не жизнь, как же я буду ее владеть? И эта мольба тоже будет вечной и будет возноситься к небу, пока живет на земле род человеческий. Я — первая жена на земле, и в последней жене я повторюсь.

У МОГИЛЫ ЕВЫ

Адам. Там, где была она, — был Рай.

ХРИСТИАНСКАЯ НАУКА

Глава I

Вена, 1899

Прошлым летом, когда я возвращался из горного санатория в Вену после курса восстановления аппетита, я оступился в потемках и упал со скалы, и переломал руки, ноги и все остальное, что только можно было сломать, и, к счастью, меня подобрала крестьянка, которые искали осла, и они перенесли меня в ближайшее жилище — один из тех больших приземистых деревенских домов, крытых соломой, с комнатами для всей семьи в мансарде и славным маленьким балкончиком под нависшей крышей, который украшают яркие цветы

в ящиках и кошки; в нижнем этаже помещается просторная и светлая гостиная, отделенная перегородкой от коровника, а во дворе перед окнами величественно и эффектно высится гордость и богатство дома — навозная куча. Вы, вероятно, заметили, что это типичная немецкая фраза, она говорит о том, что я успешно овладеваю механикой и духом этого языка и уже могу, раз оседлав одну фразу, ехать на ней, не слезая, целый день.

В миле от моего пристанища в деревне жил коновал, но хирурга там не оказалось. Это сулило неважную перспективу — мой случай был явно хирургический. Тут вспомнили, что в деревне проводит лето некая леди из Бостона, эта леди проповедует Христианскую Науку¹ и может лечить, все что угодно. Послали за ней. Она не решилась выйти из дому на ночь глядя, но велела передать на словах, что это не важно, что никакой спешки нет, что сейчас она применит «заочное лечение», а сама придет утром; пока же она просит меня успокоиться, расположиться поудобнее и, главное, помнить, что со мной ровно ничего не случилось. Я подумал, что здесь какое-то недоразумение.

— Вы ей сказали, что я сверзился со скалы высотой в семьдесят пять футов?

— Да.

— И стукнулся о камень на дне пропасти и отско-
чил?

— Да.

— И стукнулся о другой камень и опять отскочил?

— Да.

— И стукнулся о третий камень и снова, еще раз, отскочил?

— Да.

— И переколот все камни?

¹ «Христианская Наука» — вероучение, проповедуемое «церковью Христа-ученого». Ее основательница — Мэри Бейкер Эдди (1821—1910), книга которой «Наука и здоровье» (1875) признается последователями одним из источников веры наряду со священным писанием. «Христианская наука» отвергает реальность физических страданий и учит преодолевать их самовнушением. Была широко распространена в Америке и в Европе в конце XIX — начале XX в., ее последователи существуют и сейчас, в их руках издательства, журналы, газеты и т. п. Твен виден в М. Б. Эдди «шарицу всех шарлатанов и лицемеров», которой удалось превратить в религию лечение при помощи внушения. Твен неустанно разоблачал ее и ее «науку», в 1903 г. он собрал все написанные ранее очерки и положил их в основу целой книги, развенчивающей это лжеучение. Книга вышла в 1907 г. — *Прим. сост.*

— Да.

— Теперь понятно, в чем дело: она думает только о камнях. Почему же вы ей не сказали, что я сам тоже расшибся?

— Я сказала ей все слово в слово, как вы велели: что сейчас от вихра на макушке и до пяток вы представляете собой причудливую цепь из сложных переломов и что раздробленные кости, которые торчат из вас во все стороны, сделали вас похожим на вешалку для шляп.

— И после этого она пожелала мне помнить, что со мной ровным счетом ничего не случилось?

— Да, так она сказала.

— Ничего не понимаю. Мне кажется, что она недостаточно вдумчиво диагностировала мой случай. Как она выглядела? Как человек, который витает в сфере чистой теории, или же как человек, которому самому случалось падать в пропасть и который в помощь абстрактной науке привлекает доказательства из собственного опыта?

— Bitte? ¹

Понять эту фразу для Stubenmädchen² оказалось непосильной задачей: она перед ней спасовала. Продолжать разговор не имело смысла, и я попросил чего-нибудь поесть, и сигару, и выпить чего-нибудь горячего, и корзину, чтобы сложить туда свои ноги, — но на все это получил отказ.

— Почему же?

— Она сказала, что вам ничего не понадобится.

— Но я голоден, я хочу пить, и меня мучает отчаянная боль.

— Она сказала, что у вас будут эти иллюзии, но вы не должны обращать на них никакого внимания. И она особенно просит вас помнить, что таких вещей, как голод, жажда и боль, не существует.

— В самом деле, она об этом просит?

— Так она сказала.

— И при этом она производила впечатление особы вполне контролирующей работу своего умственного механизма?

— Bitte?

— Ее оставили резвиться на свободе или связали?

¹ Как вы сказали? (Нем.)

² Служанка (нем.)

— Связали? Ее?

— Ладно, спокойной ночи, можете идти; вы славная девушка, но для легкой остроумной беседы ваша мозговая Geschirr¹ непригодна. Оставьте меня с моими иллюзиями.

Глава II

Разумеется, всю ночь я жестоко страдал, по крайней мере я мог об этом догадываться, судя по всем симптомам, но наконец эта ночь миновала, а проповедница Христианской Науки явилась, и я воспрянул духом. Она была средних лет, крупная и костлявая, и прямая, как доска, и у нее было суровое лицо, и решительная челюсть, и римский клюв, и она была вдовой в третьей степени, и ее звали Фуллер. Мне не терпелось приступить к делу и получить облегчение, но она была раздражающе медлительна. Она вытащила булавки, расстегнула крючки, кнопки и пуговицы и совлекла с себя все свои накидки одну за другой; взмахом руки расправила складки и аккуратно развесила все вещи, стянула с рук перчатки, достала из сумки книжку, потом придвинула к кровати стул, не спеша опустилась на него, и я высунул язык. Она сказала снисходительно, но с ледяным спокойствием:

— Верните его туда, где ему надлежит быть. Нас интересует только дух, а не его немые слуги.

Я не мог предложить ей свой пульс, потому что сустав был сломан, но она предупредила мои извинения и отрицательно мотнула головой, давая понять, что пульс — это еще один немой слуга, в котором она не нуждается. Тогда я подумал, что надо бы рассказать ей о моих симптомах и самочувствии, чтобы она поставила диагноз, но опять я сунулся невпопад, все это было ей глубоко безразлично, — более того, самое упоминание о том, как я себя чувствую, оказалось оскорблением языка, нелепым термином.

— Никто не чувствует, — объяснила она, — чувства вообще нет, поэтому говорить о несуществующем как о существующем — значит впасть в противоречие. Материя не имеет существования; существует только дух; дух не может чувствовать боли, он может только ее вообразить.

— А если все-таки больно...

— Этого не может быть. То, что нереально, не мо-

¹ Оснастка (нем.).

жет выполнять функций, свойственных реальному. Боль нереальна, следовательно, больно быть не может.

Широко взмахнув рукой, чтобы подтвердить акт изгнания иллюзии боли, она напоролась на булавку, торчавшую в ее платье, вскрикнула «ой!» и спокойно продолжала свою беседу:

— Никогда не позволяйте себе говорить о том, как вы себя чувствуете, и не разрешайте другим спрашивать вас о том, как вы себя чувствуете; никогда не признавайте, что вы больны, и не разрешайте другим говорить в вашем присутствии о недугах, или боли, или смерти, или о подобных несуществующих вещах. Такие разговоры только потворствуют духу в его бессмысленных фантазиях.

В этот момент Stubenmädchen наступила кошке на хвост, и кошка завизжала самым нечестивым образом. Я осторожно спросил:

— А мнение кошки о боли имеет ценность?

— Кошка не имеет мнения; мнения порождаются только духом; низшие животные осуждены на вечную бречность и не одарены духом; вне духа мнение невозможно.

— Значит, эта кошка просто вообразила, что ей больно?

— Она не может вообразить боль, потому что воображать свойственно только духу; без духа нет воображения. Кошка не имеет воображения.

— Тогда она испытала реальную боль?

— Я уже сказала вам, что такой вещи, как боль, не существует.

— Это очень странно и любопытно. Хотел бы я знать, что же все-таки произошло с кошкой. Ведь если реальной боли не существует, а кошка лишена способности вообразить воображаемую боль, то, по-видимому, бог в своем милосердии компенсировал кошку, наделив ее какой-то непостижимой эмоцией, которая проявляется всякий раз, когда кошке наступают на хвост, и в этот миг объединяет кошку и христианина в одно общее братство...

Она раздраженно оборвала меня:

— Замолчите! Кошка не чувствует ничего, христианин не чувствует ничего. Ваши бессмысленные и глупые фантазии — профанация и богохульство и могут причинить вам вред. Разумнее, лучше и благочестивее допустить и признать, что таких вещей, как болезнь или боль, или смерть, не существует.

— Я весь — воображаемые живые мучения, но не думаю, что мне было бы хоть на йоту хуже, будь они реальными. Что мне сделать, чтобы избавиться от них?

— Нет необходимости от них избавляться — они не существуют... Они — иллюзии, порожденные материей, а материя не имеет существования; такой вещи, как материя, не существует.

— Все это звучит как будто правильно и ясно, но сути я все же как-то не улавливаю. Кажется, вот-вот схвачу ее, а она уже ускользнула.

— Объяснитесь.

— Ну, например, если материи не существует, то как может материя что-нибудь породить?

Ей стало меня так жалко, что она даже чуть не улыбнулась. То есть она непременно улыбнулась бы, если бы существовала такая вещь, как улыбка.

— Ничего нет проще, — сказала она. — Основные принципы Христианской Науки это объясняют, их суть изложена в четырех следующих изречениях, которые говорят сами за себя. Первое: Бог есть все сущее. Второе: Бог есть добро. Добро есть Дух. Третье: Бог, Дух есть все, материя есть ничто. Четвертое: Жизнь, Бог, всемогущее Добро отрицают смерть, зло, грех, болезнь. Вот, теперь вы убедились?

Объяснение показалось мне туманным; оно как-то не разрешало моего затруднения с материей, которая не существует и, однако, порождает иллюзии. Поколебавшись, я спросил:

— Разве... разве это что-нибудь объясняет?

— А разве нет? Даже если прочитать с конца, и тогда объясняет.

Во мне затеплилась искра надежды, и я попросил ее прочитать с конца.

— Прекрасно. Болезнь грех зло смерть отрицают Добро всемогущее Бог жизнь ничто есть материя все есть Дух Бог Дух есть Добро. Добро есть Бог сущее все есть Бог. Ну вот... теперь-то вы понимаете?

— Теперь... теперь, пожалуй, яснее, чем раньше, но все же...

— Ну?

— Нельзя ли прочитать это как-нибудь иначе, другим способом?

— Любим, как вам угодно. Смысл всегда получится один и тот же. Переставляйте слова, как хотите, все равно они будут означать точно то же самое, как если

бы они были расположены в любом другом порядке. Ибо это совершенство. Вы можете просто все перетасовать — никакой разницы не будет: все равно выйдет так, как было раньше. Это прозрение гениального ума. Как мыслительный *tour de force*¹ оно не имеет себе равных, оно выходит за пределы как простого, конкретного, так и тайного, сокровенного.

— Вот так штучка!

Я сконфузился: слово вырвалось прежде, чем я успел его удержать.

— Что??

— ...Изумительное построение... сочетание, так сказать, глубочайших мыслей... возвышенных... потря...

— Совершенно верно. Читаете ли вы с конца, или с начала, или перпендикулярно, или под любым заданным углом — эти четыре изречения всегда согласуются по содержанию и всегда одинаково доказательны.

— Да, да... доказательны... Вот теперь мы ближе к делу. По содержанию они действительно согласуются; они согласуются с... с... так или иначе, согласуются; я это заметил. Но что именно они доказывают... я разумею — в частности?

— Это же абсолютно ясно! Они доказывают: первое: Бог — Начало Начал, Жизнь, Истина, Любовь, Душа, Дух, Разум. Это вы понимаете?

— Мм... кажется, да. Продолжайте, пожалуйста.

— Второе: Человек — божественная универсальная идея, индивидуум, совершенный, бессмертный. Это вам ясно?

— Как будто. Что же дальше?

— Третье: Идея — образ в душе; непосредственный объект постижения. И вот она перед вами — божественная тайна Христианской Науки в двух словах. Вы находите в ней хоть одно слабое место?

— Не сказал бы; она кажется неуязвимой.

— Прекрасно. Но это еще не все. Эти три положения образуют научное определение Бессмертного Духа. Дальше мы имеем научное определение Смертной Души. Вот оно. ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ: *Греховность*. Первое: Физическое — страсти и вожделения, страх, порочная воля, гордость, зависть, обман, ненависть, месть, грех, болезнь, смерть.

— Все это нереальные категории, миссис Фуллер, иллюзии, насколько я понимаю?

¹ Фокус (франц.)

— Все до единой. **ВТОРАЯ СТУПЕНЬ:** *Зло исчезает.* Первое: Этическое — честность, привязанность, сострадание, надежда, вера, кротость, воздержание. Это ясно?

— Как божий день.

— **ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ:** *Духовное Спасение.* Первое: Духовное — вера, мудрость, сила, непорочность, прозрение, здоровье, любовь. Вы видите, как все это тщательно продумано и согласовано, как взаимосвязано и антропоморфично. На последней, Третьей Ступени, как мы знаем из откровений Христианской Науки, смертная душа исчезает.

— А не раньше?

— Нет, ни в коем случае, — только тогда, когда будут завершены воспитание и подготовка, необходимые для Третьей Ступени.

— И только тогда, значит, возможно успешно овладеть Христианской Наукой, сознательно к ней приобщиться и возлюбить ее, — так я вас понимаю? Иначе говоря, этого нельзя достичь в течение процессов, происходящих на Второй Ступени, потому что там все еще удерживаются остатки души, а значит — и разума, и поэтому... Но я вас прервал. Вы собирались разъяснить, какие получаются прекрасные результаты, когда Третья Ступень разрушает и развеивает эти остатки. Это очень интересно; пожалуйста, продолжайте.

— Так вот, как я уже говорила, на этой Третьей Ступени смертная душа исчезает. Наука так переворачивает все воспринимаемое телесными чувствами, что мы искренне принимаем в сердца свои евангельское пророчество: «первые будут последними, последние — первыми», и постигаем, что Бог и Его идея могут стать для нас всеобъемлющими, — чем божественное действительно является и по необходимости должно быть.

— Это великолепно. И как старательно и искусно вы подобрали и расположили слова, чтобы подтвердить и обосновать все сказанное вами о могуществе и функциях Третьей Ступени. Вторая, очевидно, могла бы вызвать лишь временную потерю разума, но только Третья способна сделать его отсутствие постоянным. Фраза, построенная под эгидой Второй Ступени, возможно, еще заключала бы в себе что-то вроде смысла, вернее, обманчивое подобие смысла; тогда как волшебная сила Третьей Ступени — и только она! — устраняет этот дефект. Кроме того, несомненно: именно Третья Ступень наделяет Христианскую Науку еще одним замечательным свойством, — я имею в виду ее язык, лег-

кий и плавный, богатый, ритмичный и свободный. Вероятно, на то есть особая причина?

— О да! Бог — Дух, Дух — Бог, почки, печень, разум, ум.

— Теперь мне все понятно.

— В Христианской Науке нет ничего непонятного; потому что Бог — един, Время — едино, Индивидуум — един и может быть одним из себе подобных — одним из многих, как, например, отдельный человек, отдельная лошадь; в то время как Бог — един, не один из многих, но один-единственный и не имеющий себе равных.

— Это благородные мысли. Я просто горю желанием узнать больше. Скажите, как Христианская Наука объясняет духовное отношение постоянной двойственности к случайному отклонению?

— Христианская Наука переворачивает кажущееся отношение Души и тела, — как астрономия переворачивает человеческое восприятие солнечной системы, — и подчиняет тело Духу. Как Земля вращается вокруг неподвижного Солнца, хотя этому трудно верить, когда мы смотрим на восходящее светило, точно так же и тело — это всего лишь смиренный слуга покоящегося Духа, хотя нашему ограниченному разуму представляется обратное. Но мы этого никогда не поймем, если допустим, что Душа находится в теле или Дух в материи и что человек — часть неодухотворенного мира. Душа есть Бог, неизменный и вечный, а человек сосуществует с Душой и отражает ее, потому что Начало Начал есть Все Сущее, а Все Сущее обнимает Душу — Дух, Дух — Душу, любовь, разум, кости, печень, одного из себе подобных, единственного и не имеющего равных.

— Откуда взялась Христианская Наука? Это божий дар или она появилась невзначай, сама собой?

— В некотором смысле она — божий дар. То есть ее могущество исходит от Бога, но честь открытия этого могущества и его предназначения принадлежит одной американской леди.

— Вот как? Когда же это случилось?

— В тысяча восемьсот шестьдесят шестом году. Это незабвенная дата, когда боль, недуги и смерть навеки исчезли с лица земли. То есть исчезли те иллюзии, которые обозначаются этими словами. Сами же эти вещи вообще никогда не существовали; поэтому, как только было обнаружено, что их нет, они были легко устранены. История этого открытия и его сущность описаны вот в этой книжке, и...

— Книгу написала эта леди?

— Да, книгу написала она сама — всю, от начала до конца. Название книги — «Наука и здоровье, с толкованием Библии», потому что леди разъясняет Библию; раньше никто ее не понимал. Даже двенадцать апостолов. Я вам прочитаю начало.

Но оказалось, что она забыла очки.

— Ничего, Это не важно, — сказала она. — Я помню слова, ведь все мы, проповедники Христианской Науки, знаем книгу наизусть; в нашей практике это необходимо. Иначе бы мы совершали ошибки и причиняли зло. Итак, слушайте: «В тысяча восемьсот шестьдесят шестом году я открыла Науку метафизического врачевания и назвала ее «Христианской Наукой». Дальше она говорит — и я считаю, что это сказано великолепно: «Посредством Христианской Науки религия и медицина одухотворяются новой божественной природой и сутью, вера и понимание обретают крылья, а мысли общаются непосредственно с Богом», — это ее слова в точности.

— Очень изящно сказано. И кроме того, это блестящая идея — обручить бога с медициной, а не медицину с гробовщиком, как было раньше; ведь бог и медицина, собственно, уже принадлежат друг другу, будучи основой нашего духовного и физического здоровья. Какие лекарства вы даете при обычных болезнях, например...

— Мы никогда не даем лекарств, ни при каких обстоятельствах! Мы...

— Но, миссис Фуллер, ведь там сказано...

— Меня это совершенно не интересует, и я не хочу об этом говорить.

— Я очень сожалею, если чем-то вас задел, но ваша реплика как будто противоречит...

— В Христианской Науке нет никаких противоречий. Они невозможны, так как наука абсолютна. Иначе и не может быть, ибо ее непосредственный источник — Начало Начал, Всеобъемлющий, а также Душа, кости — один из многих, единственный и не имеющий себе равных. Это одухотворенная математика, очищенная от материального шлака.

— Это я понимаю, но...

— Она зиждется на несокрушимой основе Аподиктического Принципа¹.

¹ *Аподиктический принцип* — неопровержимый, основанный на логической необходимости. — *Прим. сост.*

Слово расплущилось о мой череп, пытаюсь пробиться сквозь него, и оглушило меня, но, прежде чем я успел задать вопрос о том, какое оно имеет отношение к делу, она уже разъясняла:

— Аподиктический Принцип — это абсолютный принцип Научного Врачевания Духом, верховное Всемогушество, избавляющее сынов и дочерей человеческих от всякого зла, которому подвержена плоть.

— Но, конечно, не от всякого зла, не от всякого разрушения?

— От любого, без исключений; такой вещи, как разрушение, нет. Оно нереально; оно не существует.

— Но без очков ваше слабеющее зрение не позволяет вам...

— Мое зрение не может слабеть; ничто не может слабеть; Дух — владыка, а Дух не допускает упадка.

Она вещала под наитием Третьей Ступени, потому возражать не имело смысла. Я переменял тему и стал опять расспрашивать о Первооткрывательнице.

— Открытие произошло внезапно, как это случилось с Клондайком, или оно долгое время готовилось и обдумывалось, как было с Америкой?

— Ваши сравнения кощунственны — они относятся к низменным вещам... Но оставим это. Я отвечу словами самой Первооткрывательницы: «Бог в своем милосердии много лет готовил меня к тому, чтобы я приняла ниспосланное свыше откровение — абсолютный принцип Научного Врачевания Духом».

— Вот как, много лет? Сколько же?

— Тысячу восемьсот!

— Бог — Дух, Дух — Бог, Бог — добро, истина, кости, почки, один из многих, единственный и не имеющий равных, — это потрясающе!

— У вас есть все основания удивляться, сэр. И однако это чистая правда. В двенадцатой главе Апокалипсиса есть ясное упоминание об этой американской леди, нашей уважаемой и святой Основательнице, и там же есть пророчество о ее приходе; святой Иоанн не мог яснее на нее указать, разве что назвав ее имя.

— Как это невероятно, как удивительно!

— Я приведу ее собственные слова из «Толкования Библии»: «В двенадцатой главе Апокалипсиса *есть ясный намек, касающийся нашего, девятнадцатого века*». Вот — заметили? Запомните хорошенько.

— Но что это значит?

— Слушайте, и вы узнаете. Я опять приведу ее вдохновенные слова: «В откровении святого Иоанна, там где говорится о снятии Шестой Печати, что произошло через шесть тысяч лет после Адама, есть одна знаменательная подробность, *имеющая особое отношение к нашему веку*». Вот она:

«Глава XII, 1. — И явилось на небе великое знамение — жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд».

Это наш Вождь, наша Мать, наша Первооткрывательница Христианской Науки, — что может быть яснее, что может быть несомненнее! И еще обратите внимание на следующее:

«Глава XII, 6. — А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от бога».

— Это Бостон. Я узнаю его. Это грандиозно! Я потрясен! Раньше я совершенно не понимал этих мест; пожалуйста, продолжайте ваши... ваши... доказательства.

— Прекрасно. Слушайте дальше:

«И видел я другого Ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над его головою была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные, в руке у него была книжка раскрытая».

Раскрытая книжка... Просто книжка... что может быть скромнее? Но значение ее так громадно! Вы, вероятно, догадались, что это была за книжка?

— Неужели...

— Я держу ее в руках — Христианская Наука!

— Любовь, печень, свет, кости, вера, почки, один из многих, единственный и не имеющий равных, — я не могу прийти в себя от изумления!

— Внимайте красноречивым словам нашей Основательницы: «И тогда голос с неба воззвал: «Пойди возьми раскрытую книжку; возьми и съешь ее; она будет горька во чреве твоём, но в устах твоих будет сладка, как мед». Смертный, склонись перед святым глаголом. Приступи к Божественной Науке. Прочитай ее с начала и до конца. Изучи ее, размышляй над ней. Пригуби ее, она действительно будет сладка на вкус и исцелит тебя, но когда ты переваришь ее и ощутишь горечь, то не

ропщи против Истины». Теперь вы знаете историю нашей несравненной и Божественной Святой Науки, сэр, и знаете, что на нашей земле она была только открыта, но происхождение ее божественное. А теперь я оставляю вам книгу и уйду, но вы ни о чем не тревожьтесь,— я буду пользоваться вас заочно до тех пор, пока не отойду ко сну.

Глава III

Под магическим воздействием заочного и очного врачевания, вместе взятых, мои кости стали медленно втягиваться внутрь и пропадать из виду. Это благое дело началось в бодром темпе и шло полным ходом. Мое тело усердно растягивалось и всячески выгибалось, чтобы облегчить восстановительный процесс; и через каждую минуту-две я слышал негромкий щелчок где-то у себя внутри,— и мне было понятно, что в этот миг два конца сломанной кости успешно соединились. Приглушенное пощелкивание, и поскрипывание, и скрежетание, и постукивание не прекращалось в течение последующих трех часов; потом все стихло—сломанные кости срослись, все до одной. Остались только вывихи, их было семь, не больше,—вывихи бедер, плечей, колен и шеи,—так что с ними скоро было покончено; один за другим они скользнули в свои суставы с тупым звуком—как будто где-то хлопнула пробка, и я вскочил на ноги весь как новенький, без единого изъяна, если говорить о скелете, и послал за конювалом.

Мне пришлось это сделать из-за насморка и болей в желудке: я не собирался снова доверить их женщине, которой я не знал и в чьей способности лечить простые болезни окончательно разочаровался. У меня были на то веские основания—ведь насморк и боли в желудке были ей вверены с самого начала, так же как и переломы, и она ничуть их не облегчила,—напротив, желудок болел все сильнее и сильнее, все резче и невыносимей,—теперь, пожалуй, из-за того, что я уже много часов ничего не ел и не пил.

Пришел коновал, очень милый человек, полный рвения и профессионального интереса к больному. Что же касается запаха, который от него исходил, то он был довольно-таки пронзительный: откровенно говоря, от него несло конюшней, и я попробовал тут же договориться с ним о заочном лечении, но это было не по его части, и поэтому из деликатности я не стал настаивать. Он осмотрел мои зубы, прощупал бабки и заявил, что

мой возраст и общее состояние позволяют ему прибегнуть к энергичным мерам, поэтому он даст мне кое-чего, чтобы превратить боль в желудке в ящур, а насморк в вертячку, тогда он окажется в своей стихии и ему будет проще простого меня вылечить. Он намешал в бадееке пойла из отрубей и сказал, что полный ковш через каждые два часа вперемежку с микстурой, приготовленной из скипидара с колесной мазью, либо вышибет из меня мои недуги в двадцать четыре часа, либо вызовет разнообразные ощущения другого порядка, которые заставят меня позабыть о своих болезнях. Первую дозу он дал мне сам, а потом ушел, сказав на прощанье, что мне можно есть и пить все, чего мне только ни захочется, в любых количествах. Но я уже больше не был голоден, и пища меня не интересовала.

Я взял книгу о Христианской Науке, оставленную миссис Фуллер, и прочитал половину. Потом выпил полный ковш микстуры и дочитал до конца. Пережитое мною после этого было очень интересно и полно неожиданных открытий. Пока во мне совершался процесс перехода болей в ящур, а насморк в вертячку, сквозь бурчанье, шипенье, сотрясения и бульканье, сопровождавшие его, я все время ощущал интенсивную борьбу за первенство между пойлом, микстурой и литературой, причем часто я не мог точно определить, которая одерживает верх, и легко мог отличить литературу от двух других, только когда те были порознь, а не смешаны, потому что смесь пойла из отрубей с эклектической микстурой как две капли воды похожа на разбушевавшийся Аподиктический Принцип, и никто на свете не отличил бы их друг от друга. Наконец дело подошло к финишу, все эволюции завершились с полным успехом, но я думаю, что результат мог быть достигнут и при меньшей затрате материалов. Пойло, вероятно, было необходимо, чтобы превратить желудочные боли в ящур, но я уверен, что вертячку ничего не стоило получить от одной только литературы и что вертячка, добытая таким путем, была бы лучшего качества и более стойкая, чем любая выведенная искусственными методами коновала.

Потому что среди всех странных, безумных, непонятных и необъяснимых книг, созданных воображением человека, пальма первенства несомненно принадлежит этой. Она написана в духе безграничной самоуверенности и самодовольства, а ее напор, ее пыл, ее непробиваемая серьезность часто создают иллюзию красноре-

чия, даже когда в словах вы не улавливаете и тени смысла. Существует множество людей, которые воображают, что эта книга им понятна: я это знаю потому, что беседовал с ними; но во всех случаях эти же люди воображали, что болей, недугов и смерти не существует в природе и что в мире вообще нет реальных вещей — фактически не существует ничего, кроме Духа. Это обстоятельство несколько снижает ценность их мнения. Когда эти люди говорят о Христианской Науке, они поступают так, как миссис Фуллер: они выражаются не своими словами, а языком книги; они обрушивают вам на голову эффектную чепуху, и вы только позднее обнаруживаете, что все это не выдуманно ими, а просто процитировано; кажется, они знают этот томик наизусть и благоговеют перед ним, как перед святыней, — мне следовало бы сказать: как перед второй Библией. Эта книга была явно написана на стадии умственного опустошения, причиненного Третьей Ступенью, и я уверен, что никто, кроме пребывающих на этой Ступени, не мог бы обнаружить в ней хоть каплю смысла. Когда вы читаете ее, вам кажется, что вы слышите бурную, сокрушительную, пророческую речь на непонятном языке, вы постигаете ее дух, но не то, о чем в ней говорится. Или еще так: вам кажется, что вы слушаете какой-то мощный духовой инструмент — он ревет, полагая, что это мелодия, а те, кто не играет в оркестре, слышат просто воинственный трубный звук, — этот призыв только возбуждает душу, но ничего ей не говорит.

Невозмутимое самодовольство, которым пропитана эта книга, как будто бы отдает божественным происхождением, — оно не сродни ничему земному. Простому смертному несвойственна такая непоколебимая уверенность во всем, чувство такого безграничного превосходства, такое бездумное любование собой. Никогда не предъявляя ничего такого, что можно было бы по праву назвать веским словом «доказательство», а порой даже вовсе ни на что не ссылаясь и ни на чем не основывая свои выводы, она громогласно вещает: Я ДОКАЗАЛА то-то и то-то. Чтобы установить и разъяснить смысл какого-нибудь одного-единственного, еще не растолкованного отрывка из Библии, нужен авторитет папы и всех столпов его церкви, нужна огромная затрата времени, труда и размышлений, но автор выше всего этого: она видит всю Библию в девственном состоянии и при ничтожной затрате времени и без всякой затраты умственных усилий толкует ее от корки до корки, из-

меняет и исправляет значения, а затем авторитетно разъясняет их, манипулируя формулами такого же порядка, как «Да будет свет! И стал свет». Впервые с сотворения мира над долами, водами и весями прогромыхал такой невозмутимо самодовольный, беззастенчивый и безапелляционный голос¹.

¹ Январь, 1903. Любая книга с новой и необычной терминологией при первом чтении почти наверняка оставляет читателя в смятенном и саркастическом состоянии духа. Но теперь, когда за последние два месяца я прилежно изучил специальный словарь «Науки и здоровья», я уже больше не считаю суть этой книги трудной для понимания.— М. Т.

P. S. Мудрость, которую я извлек из вышеизложенного, уже оказала мне услугу и в одном случае избавила от неприятностей. Около месяца тому назад я получил из одного университета труд доктора Эдвара Энтони Шпитцка — «Анатомия мозга у различных рас». Я решил, что университету желательно получить мой отзыв об этом труде, был очень польщен оказанным мне вниманием и ответил, что представлю его в ближайшее время. В тот же вечер я бросил изнурительные блуждания в дебрях Христианской Науки и взялся за дело. Я написал одну взволнованную главу и решил окончить отзыв на следующий день, но тут мне пришлось отлучиться на неделю, и скоро меня увлекли совсем другие интересы. И только сегодня, после почти месячного промежутка, я снова вернулся к своей главе о мозге. За это время я обрел новую мудрость и перечитал все написанное мною с великим стыдом. Я понял, что начал эту работу совсем не в том настроении, в каком следовало, — далеко не в том спокойном и беспристрастном состоянии духа, которого она вполне заслуживала. На завтрак я взял для разбора следующий абзац:

«Борозды париетальных и окципитальных долей мозга (латеральная поверхность). — Постцентральный комплекс. В полушарии постцентральная и субцентральная борозды соединяются, чтобы образовать непрерывную борозду, достигшую 8,5 см длины. Дорсально борозда раздваивается, образуя гирус, обозначенный каудальным концом парацентральной борозды. К каудальному концу парацентральной борозды подходит транспариетальная извилина. Всего от объединенной борозды отходит пять ответвлений. Вадум отделяет ее от париетальной; другой вадум — от центральной».

Каким жалким я чувствую себя сейчас, когда вижу, как я тогда распалился на этот абзац и с каким презрением о нем писал. Я писал, что стиль автора ужасный — тяжеловесный, хаотический, временами безудержный; что вопрос трактуется запутанно и неверно, а это может только поставить читателя в тупик; что недостаток простоты усугубляется бедностью словаря; что автор не знает меры в выражении своих чувств; что, если бы у меня был пес, который пришел бы в такое возбужденное и сумбурное состояние по поводу столь спокойного предмета, как анатомия головного мозга, я бы перестал платить за него налог; и тут я сам разволновался и наговорил кучу резкостей по поводу всей этой собачьей чуши и заявил, что с таким же успехом можно пытаться понять «Науку и здоровье».

Теперь-то я знаю, что меня подвело, и радуюсь тому переживу, который помешал мне послать отзыв в университет. Я холо-

Никто не сомневается в том, что дух оказывает на тело громадное влияние; я тоже в этом уверен. С давних времен колдун, толкователь снов, гадалка, знахарь, шарлатан, лекарь-самоучка, образованный врач, месмерист и гипнотизер в своей практике использовали *воображение* клиента. Все они признавали паличие и могущество этой силы. Врачи исцеляют многих больных хлебными пилюлями: они знают, что там, где болезнь порождена фантазией, вера пациента в доктора придаст и хлебным пилюлям целительное свойство.

Вера в доктора. Пожалуй, все дело именно в этом. Да, похоже, что так. Некогда монарх исцелял язвы одним прикосновением царственной руки. Часто он совершал поразительные исцеления. Мог ли сделать то же самое его лакей? Нет, в своем платье не мог. А персодетый королем, мог ли он это сделать? Я думаю, нам не приходится в этом сомневаться. Я думаю, мы можем быть совершенно уверены в том, что в любом случае исцеляло не прикосновение руки короля, а вера больного в чудодейственность этого прикосновения. Подлинные и замечательные исцеления совершались возле святых мощей. Разве нельзя допустить, что любые другие кости подействовали бы на больного точно так же, если бы от него скрыли подмену? Когда я был мальчишкой, в пяти милях от нашего городка жила фермерша, которая прославилась как врачевательница верой,—так она себя называла. Страждущие стекались к ней со всей округи, она возлагала на них руку и говорила: «Веруй; это все, что тебе нужно»; и они уходили, забыв о своей хвори. Она не была религиозной женщиной и не претендовала на обладание какой-то сверхъестественной целительной силой. Она признавала, что исцеление совершает вера больного в нее. Несколько раз она при мне мгновенно излечивала от жестоких зубных болей,—пациенткой была моя мать. В Австрии есть один крестьянин, который на этом ремесле основал целое коммерческое дело и лечит и простых и знатных. Время от времени его сажают в тюрьму за то, что он практикует, не имея диплома, но, когда он оттуда выходит, его дело по-прежнему процветает, потому что лечит он бесспорно успешно, и репутация его ущерба не несет. В Баварии

дею при одной мысли о том, что бы обо мне там подумали.—
Прим. М. Т.

есть человек, который совершил так много исцелений, что ему пришлось бросить свою профессию театрального плотника, чтобы удовлетворить спрос постоянно растущей массы клиентов. Год за годом он творит свои чудеса и уже разбогател. Он не делает вида, что ему помогает религия или какие-то потусторонние силы,— просто, как он считает, в нем есть что-то, что вызывает у пациентов доверие; все дело в этом доверии, а совсем не в какой-то таинственной силе, исходящей от него¹.

За последнюю четверть века в Америке появилось несколько врачующих сект под различными названиями, и все они значительно преуспели в лечении недугов без применения лекарств. Среди них есть Врачевание Духом, Врачевание Верой, Врачевание Молитвой, Врачевание Психической Наукой и Врачевание Христианской Наукой. И совершенно несомненно, что все они совершают чудеса при помощи того же старого, всесильного орудия — воображения больного. Названия разные, хотя в способе лечения никакой разницы нет. Но секты не воздают должного этому орудию: каждая заявляет, что ее метод лечения разнится от методов всех других.

Все они могут похвастаться случаями исцелений, с этим не приходится спорить; Врачевание Верой и Врачевание Молитвой, когда они не приносят пользы, пожалуй, не приносят и вреда, потому что они не запрещают больному прибегать к помощи лекарств, если он того пожелает; другие же запрещают лекарства и заявляют, что они способны вылечить любую болезнь человека, какая только существует на земле, применяя одни духовные средства. Здесь, мне кажется, есть элемент опасности. Я думаю, что они слишком много на себя берут. Доверие публики, пожалуй, повысилось бы, если бы они меньше на себя брали.

Проповедница Христианской Науки не смогла вылечить меня от болей в желудке и насморка, но коновалу это удалось. Это убеждает меня в том, что Христианская Наука слишком много на себя берет. Я думаю, что ей следовало бы оставить внутренние болезни в покое

¹ *Январь, 1903.* Мне самому хорошо известно одно «чудесное» исцеление от паралича, который целых два года держал больную в постели, несмотря на все старания лучших нью-йоркских врачей. Странствующий «шарлатан» (так его называли) заходил к ней всего два раза по утрам, он поднимал больную с постели и сказал: «Иди!» — И больная пошла. Тем дело и кончилось. Это было сорок два года тому назад. И с тех пор больная ходит.— *Прим. М. Т.*

и ограничиться хирургией. Здесь она могла бы развернуться, действуя своими методами.

Коновал потребовал с меня тридцать крейцеров, и я ему заплатил; мало того, я удвоил эту сумму и дал ему шиллинг. Миссис Фуллер прислала длинный счет за ящик костей, починенных в двухстах тридцати четырех местах — один доллар за каждый перелом.

— Кроме Духа, ничего не существует?

— Ничего,—ответила она.— Все остальное несубстанциально, все остальное — воображаемое.

Я дал ей воображаемый чек, а теперь она преследует меня по суду, требуя субстанциальных долларов.

Где же тут логика?

ЧЕЛОВЕКУ, ХОДЯЩЕМУ ВО ТЬМЕ

ЧЕЛОВЕКУ, ХОДЯЩЕМУ ВО ТЬМЕ

Из нью-йоркской газеты «Трибюн», в рождественский сочельник:

«Народ в Соединенных Штатах встречает рождество, исполненный бодрости и надежд. Это свидетельствует о всеобщем довольстве и счастье. Брюзга-критикан, который нет-нет да и заведет свою шарманку, вряд ли найдет себе слушателей. Большинство людей только подивятся, откуда такой взялся, и пройдут мимо».

Из газеты «Сан», Нью-Йорк:

«Задачей этой статьи не является описание страшных преступлений против человечества, которые совершаются в политических целях в некоторых кварталах Ист-Сайда, пользующихся наиболее дурной славой. Эти преступления нельзя описать никаким пером. Единственная задача, которую автор ставит перед собой,— это дать огромному числу более или менее беспечных жителей прекрасного города Нью-Йорка некоторое представление о том, как губят мужчин, женщин и детей в самой густонаселенной и самой незнакомой им части этого гиганта Нового Света. Если у кого-нибудь из читателей приведенный здесь материал вызовет недоверие или чувство незаслуженной обиды, то им могут быть предъявлены в подтверждение даты, фамилии и адреса. Здесь зафиксированы факты и наблюдения, без выдумки и без прикрас.

Представьте себе, если можете, часть городской территории, полностью находящуюся под властью одного лица, без разрешения которого нельзя вести никакое законное или незаконное дело; *где незаконные дела вся-*

чески поощряются, а законные преследуются; где по вечерам почтенные граждане вынуждены закрывать наглухо окна и двери своих жилищ и задыхаться от жары в душных комнатах, боясь выйти на крылечко дома, хотя только там и можно глотнуть свежего воздуха; где голые женщины пляшут по ночам на улицах, а бесполые мужчины, как хищники, рыщут в темноте в поисках жертв своей профессии — профессии, которая не только не преследуется полицией, но, наоборот, пользуется ее покровительством; где малые дети уже знают, что такое проституция, и девочек с самого юного возраста обучают искусству Фрины; где американские девушки, взращенные в духе строгих правил американской семейной жизни и вывезенные из маленьких городков в штатах Нью-Йорк, Массачусетс, Коннектикут и Нью-Джерси, содержатся совсем как в тюрьме, пока не утратят всякого подобия женственности; где мальчуганов с малолетства обучают приводить «гостей» в публичные дома; где существует общество молодых мужчин, единственным занятием которых является соращение юных девушек и помещение их в дома терпимости; где человеку, идущему по улице со своей женой, бросают в лицо оскорбления; где в больницах и диспансерах лечатся главным образом дети, зараженные недетскими болезнями; где убийства, изнасилование, грабеж и воровство — как правило, а не как исключение — остаются безнаказанными, — короче говоря, где политические воротилы извлекают прибыли из самых ужасных форм порока».

Та же газета «Сан» в канун рождества напечатала следующее сообщение из Китая (курсив мой. — *Марк Твен*):

«Его преподобие мистер Амент, представитель Американского бюро заграничных христианских миссий, вернулся из поездки, которую он предпринял с целью собрать контрибуцию за ущерб, нанесенный боксерами. Куда бы он ни приезжал, он всюду заставлял китайцев платить. Мистер Амент заявляет, что в настоящее время все подведомственные ему местные христиане обеспечены. Его паства составляла 700 человек, и из этого числа 300 убито. Мистер Амент взыскал по 300 таэлей за каждого погибшего и добился полного возмещения стоимости всего уничтоженного имущества христиан. Вдобавок он наложил штраф, в тринадцать раз превышающий



сумму контрибуции. Эти деньги пойдут на распространение евангельского учения.

Мистер Амент заявляет, что он получил скромную компенсацию по сравнению с той, которая досталась католикам, взимающим, кроме денег, еще *жизнь за жизнь*. За каждого убитого католика требуют по 500 таэлей. В районе Вэньчжоу убито 680 католиков, и за это европейские католики, находящиеся здесь, требуют 750 000 связок монет и 680 голов китайцев.

В беседе мистер Амент коснулся отношения миссионеров к китайцам. Он сказал: «Я решительно отрицаю, что миссионеры *мстительны*, что они, как правило, грабили или делали *после осады* что-нибудь такое, чего не требовали обстоятельства. Лично я осуждаю американцев. Мягкая рука американцев куда хуже, чем бронированный кулак немцев. Если проявлять мягкость по отношению к китайцам, они этим воспользуются...»

Здесь восприняли как забавную шутку сообщение, что французское правительство собирается вернуть добро, награбленное его солдатами. Французские солдаты занимались грабежом еще более систематически, нежели немцы. Факты говорят о том, что сегодня, вооруженные современной техникой, *христиане католической веры* под флагом Франции *грабят селения* в провинции Чжили».

По счастливой случайности все эти радостные вести дошли до нас в сочельник — как раз вовремя, чтобы нам отпраздновать рождество с подобающим весельем и душевным подъемом. Настроение у нас превосходное, мы даже находим уместным откалывать шутки вроде такой: куда ни кинь — все китайцу клин!

Преподобный Амент незаменим на своем посту. Мы требуем, чтобы наши миссионеры в чужих краях воплощали не только благость и милосердие, кротость и доброту, свойственные нашей религии, но также и подлинно американский дух. Первыми американцами были индейцы племени поуни. Вот что о них сообщает учебник истории Маколема¹:

«Когда белый боксер² убивает человека из племени поуни и уничтожает его имущество, другие поуни даже

¹ Учебник истории Маколема — вымышлен Твенем, существовал английский историк Томас Бабингтон Маколей (1800—1859). — Прим. сост.

² «Боксеры» — так в Европе и США называли членов общества Ихэтуань («Кулак во имя мира и справедливости») в Китае,

не пытаются отыскать убийцу, а приканчивают первого встречного белого; потом они заставляют какую-нибудь деревню, заселенную белыми, возместить наследникам денежную стоимость убитого человека, а также всего уничтоженного имущества; и вдобавок обязывают жителей внести сумму, *в тринадцать раз* превышающую эту стоимость, в фонд распространения религии поуни, которая, по мнению этого племени, лучше всех других религий смягчает людские сердца и внедряет гуманность.

Поуни не сомневаются в том, что заставлять невинных отвечать за виновных справедливо и честно и что лучше пусть девяносто девять невинных пострадают, нежели один виновный уйдет от наказания».

Неудивительно, что наш преподобный Амент завидует предприимчивым католикам, которые не только загребают большие деньги за каждую отданную богу душу крещеного туземца, но сверх того получают еще «жизнь за жизнь». Впрочем, он может утешиться тем, что католики целиком прикармливают эти деньги, тогда как он, будучи менее эгоистичным, оставляет себе только по триста таэлей за человека, а огромную сумму, в тринадцать раз превышающую эту компенсацию, отдает на дело распространения евангельского учения. Своей щедростью мистер Амент заслужил всенародное признание, памятник ему обеспечен. Пусть же он удовлетворится этими наградами. Мы ценим мистера Аmenta за то, как мужественно он защищал своих собратьев-миссионеров от разных необоснованных нападков, начавших уже тревожить нас. Теперь, после его свидетельства, эти нападки в значительной степени потеряли остроту, и мы можем думать о них без особого смущения. Ведь нам теперь известно, что даже до осады миссионеры, «как правило», не промышляли грабежом и что «после осады» они вели себя вполне благопристойно, за исключением тех случаев, когда «обстоятельства» вынуждали их поступать иначе. Я беру на себя хлопоты о памятнике. Пожертвования можно направлять в Американское бюро заграничных христианских миссий, а проекты — мне. Все проекты должны в аллегорической форме изображать возмещение потерь сам-тринадцать, а также цель, ради которой эти деньги были взысканы.

восставших против иностранных колонизаторов в 1898—1901 гг. На знамени Ихэтуань был изображен сжатый кулак.— *Прим. сост.*

Памятник должен быть украшен орнаментом из шестисот восьмидесяти голов, расположенных в приятном, ласкающем глаз сочетании: ведь католики преуспели как нельзя лучше, и их деяния тоже необходимо увековечить. Можно присылать девизы, если найдутся такие, которые правильно выражают существо дела.

Заставив нищих крестьян расплачиваться за других, да еще в тринадцатикратном размере, мистер Амент обрек их вместе с женами и невинными младенцами на голод и медленную смерть. Но эти его подвиги на финансовом поприще, совершенные с целью получить кровавые деньги *для распространения евангельского учения*, не нарушают моего душевного равновесия, хотя такие слова в сочетании с такими делами представляют собой столь чудовищное, столь грандиозное кощунство, что равного ему не сыскать в истории. Если бы простой мирянин поступил так, как мистер Амент, оправдываясь теми же мотивами, я, конечно, содрогнулся бы от ужаса; или если бы я сам сотворил подобное под таким же предлогом... Впрочем, это немыслимо, хотя некоторые плохо осведомленные люди и считают меня богохульником. Да, бывает, что священнослужитель ударяется в кощунство. И тогда простому мирянину за ним не угнаться!

Мы слышим страстные заверения мистера Амента, что миссионеры «не мстительны». Будем надеяться, что это так, и вознесем господу богу мольбу, чтоб они никогда не стали мстительными, а сохранили свою почти болезненную кротость, честность и любовь к справедливости — качества, доставляющие столько радости их собрату и заступнику.

А вот выдержка из статьи токийского корреспондента, тоже напечатанной в сочельник в нью-йоркской «Трибюн». Статья звучит несколько странно и дерзко, но ведь японцы пока лишь частично приобщились к Цивилизации! Когда они сделаются полностью цивилизованными, они перестанут говорить такие вещи:

«Вопрос о миссионерах, конечно; у всех на устах. Западным державам необходимо прислушаться к распространенному здесь мнению, что религиозные нашествия на страны Востока, совершаемые мощными западными организациями, равносильны разбойничьим набегам и не только не заслуживают поддержки, но должны самым строгим образом пресекаться. Здесь полагают, что организации миссионеров представляют собой по-

стоянную угрозу для мирных международных отношений».

А теперь давайте решать. Будем ли мы по-прежнему осчастливливать нашей Цивилизацией народы, Ходящие во Тьме, или дадим этим несчастным передохнуть? Будем ли мы и в новом веке оглушать мир нашей привычной святошеской трескотней или отрезвемся и сперва поразмыслим? Не благоразумнее ли собрать все орудия нашей Цивилизации и выяснить, сколько осталось на руках товаров в виде Стеклянных бус и Богословия, Пулеметов и Молитвенников, Виски и Факелов Прогресса и Просвещения (патентованных, автоматических, годных при случае для поджога деревень), а затем подвести баланс и подсчитать прибыли и убытки, чтобы решить уже с толком, продолжать ли эту коммерцию, или лучше распродать имущество и на выручку от продажи затеять новое дело под маркой Цивилизации?

До сих пор оделять Дарами Цивилизации Братьев, Ходящих во Тьме, было, в общем, выгодно, и даже теперь, если действовать осмотрительно, это предприятие может приносить барыши, но все же, по-моему, недостаточные для оправдания серьезного риска. Людей, Ходящих во Тьме, становится все меньше, и уж очень они нас дичатся. Тьма же все редет и редет,— для наших целей ей не хватает густоты. Большинство Людей, Ходящих во Тьме, стало видеть теперь настолько яснее, чем прежде, что это уже не полезно для них и невыгодно для нас. Мы проявили недостаток благоразумия.

Трест «Дары Цивилизации» — предприятие первый сорт, если управлять им разумно и с толком. Он может принести куда больше денег, территории, власти и прочих благ, нежели любая из других азартных игр. Но за последние годы христианские государства ведут игру плохо, и, я думаю, это им даром не пройдет. Они с такой жадностью рвутся загрести все ставки на зеленом сукне, что Люди, Ходящие во Тьме, заметили это — заметили и встревожились. Они стали относиться подозрительно к Дарам Цивилизации. Более того — они начали присматриваться к ним. А это не годится: Дары Цивилизации — славный, отменный товар; только нельзя разглядывать его на ярком свете. При слабом освещении, да еще если смотреть издали, Дары Цивилизации могут показаться джентльменам, Ходящим во Тьме, весьма привлекательными. Перечислим их:

Любовь	Законность и порядок
Справедливость	Свобода
Кротость	Честные взаимоотношения
Христианские чувства	Равенство
Защита слабых	Милосердие
Трезвость	Просвещение
	и тому подобное.

Ну что, неплохо? Просто великолепно, сэр! Любой идиот из самой непроглядной Тьмы придет в восторг от такого товара! Но уж давайте не путать разные сорта. На этом я категорически настаиваю. Сорт, о котором шла речь выше, по-видимому, предназначается для экспорта. Но это одна видимость. Между нами говоря, этот товар вовсе не то, за что мы его выдаем. Между нами говоря, все вышеназванное — только обертка, яркая, красивая, заманчивая, и на ней изображены такие чудеса нашей Цивилизации, которые предназначаются для отечественного потребления. А вот под оберткой находится Подлинная Суть, и за нее покупатель, Ходящий во Тьме, платит слезами и кровью, землей и свободой. Именно эта Подлинная Суть и есть Цивилизация, предназначенная на экспорт. Отличаются ли эти сорта друг от друга? Да, в некоторых частностях разница есть.

Общеизвестно, что трест «Дары Цивилизации» трещит по всем швам. Причина ясна. Она заключается в том, что наш мистер Мак-Кинли, и мистер Чемберлен, и кайзер, и царь, и французы начали экспортировать Подлинную Суть без обертки, в открытом виде. А это-то и портит всю игру. Это показывает, что новые игроки еще недостаточно овладели правилами.

Просто досадно видеть, как бездарно они делают один неправильный ход за другим! Мистер Чемберлен фабрикует войну¹ из такого неубедительного, вздорного материала, что в ложах хватаются за голову, а на галерке смеются. При этом он изо всех сил старается убедить себя, что эта война не просто грабеж, что она все же таит в себе крупицу порядочности, — правда, не видимую простым глазом, — и что, вываляв в грязи ан-

¹ Мистер Чемберлен фабрикует войну — речь идет об англо-бурской войне 1899—1902 гг., когда британские войска напали на республики Трансвааль и Оранжевую, где жили белые поселенцы голландского происхождения — буры, ради удовлетворения интересов английских монополистов, владельцев золотых и алмазных копей. Джозеф Чемберлен (1836—1914) в этот период был министром по делам колоний. — Прим. сост.

глийский флаг, он сумеет в конце концов отмыть его дочиста и этот флаг вновь засияет в поднебесье, как сиял тысячелетие, пока он сам не наложил на него свою нечистую лапу. Неумелая игра. Бездарная игра, потому что она позволяет Людям, Ходящим во Тьме, обнаружить Подлинную Суть. И вот они говорят:

«Как, христиане напали на христиан? И всего-навсего из-за золота? Неужели это и есть великодушные, терпимые, любящие, кроткие, милосердные, защита слабых — это странное, демонстративное нападение слона на выводок полевых мышей, под предлогом, что мыши пискнули что-то для него оскорбительное, а такое поведение, по словам мистера Чемберлена, «ни одно уважающее себя правительство не может оставить безнаказанным»? Почему подобный предлог считается достаточным в отношении малого государства, если он оказался недостаточным в отношении большого? Ведь совсем недавно Россия три раза подряд оскорбила слона и осталась жива и невредима. Значит, это и есть Цивилизация и Прогресс?! Чем же это лучше того, что имеется у нас? Разве грабежи, пожары и опустошения в Трансваале — Прогресс по сравнению с нашей Тьмой? Может быть, существуют два сорта Цивилизации — один для отечественного потребления, а другой для экспорта на языческий рынок?»

Тревога овладевает Людьми, Ходящими во Тьме, и они недоуменно качают головами, а тут им еще попадется выдержка из письма английского солдата, описывающего свои подвиги в связи с одной из побед Мэтьюена, еще до битвы при Магерсфонтейне, и тревога их возрастает.

«Мы штурмом взяли высоту, — пишет солдат, — и спрыгнули в окопы. Буры поняли, что им не уйти. Они побросали ружья, упали на колени, подняли руки вверх и взмолились о пощаде. Уж тут-то мы им показали пощаду — *длинной ложкой!*»

Длинная ложка означает штык. Загляните в лондонский «Еженедельник Ллойда». В том же номере — и в том же столбце — вы найдете другую заметку, полную возмущения и горьких сетований по поводу жестокости и бесчеловечности буров. Сколько в этом неосознанной иронии!

А тут, как на грех, в игру ввязался кайзер, не овладев предварительно ее тонкостями. Он потерял во время мятежа в Шаньдуне двух германских миссионеров и представил за них завышенный счет. Китай должен был уплатить по сто тысяч долларов за каждого, отдать территорию протяжением в двенадцать миль, стоимостью в двадцать миллионов долларов, с населением в несколько миллионов человек и, кроме того, воздвигнуть памятник и христианский храм,—точно народ Китая не запомнил бы этих миссионеров и без таких дорогостоящих сооружений! Нечего и говорить, это была скверная игра, потому что она не обманула, не могла обмануть и никогда не обманет Человека,



Ходящего во Тьме. Ему ясно, что с него содрали лишнее. Он знает, что цена миссионеру, как и всякому смертному, определяется тем, сколько придется истратить на его замену. Большого он не стоит. Миссионер — человек полезный, но полезны также и врач, и шериф, и редактор; однако справедливый император не требует за них уплаты по военным ценам. Разумный, трудолюбивый, безвестный миссионер, как и разумный, трудолюбивый редактор провинциальной газеты, безусловно стоит немало, но нельзя же за него требовать весь земной шар! Мы уважаем такого редактора, и нам жаль, когда мы его лишаемся, но все же территория в двенадцать миль, и храм, и целое состояние — это слишком высокая компенсация за подобную потерю; представим себе, что редактор был бы китаец и платить за него пришлось бы нам! Разве можно запрашивать деньги за редактора или миссионера, когда даже подержанные короли продаются куда дешевле! Итак, кайзер провел свою партию далеко не блестяще. Правда, он своего добился, *но его действия вызвали восстание в*

Китае, бунт возмущенных китайских патриотов — «боксеров», на которых так много клеветают. В конце концов все это дорого обошлось и Германии, и другим Носителям Прогресса и Даров Цивилизации.

Требования кайзера были удовлетворены, а все же игра была плохая, потому что она не могла не произвести дурного впечатления на жителей Китая, Ходящих во Тьме. Эти события, очевидно, заставили их призадуматься и сказать:

«Цивилизация милостива и прекрасна — так мы слышали. Только по карману ли она нам? Есть у нас богатые китайцы, — может быть, им доступна такая роскошь; но ведь контрибуция наложена не на них, а на крестьян Шаньдуня; именно они должны выплатить эту огромную сумму при жалком заработке в четыре цента в день. Неужели такая Цивилизация лучше, чем наша, неужели она более священна, возвышенна и благородна? Неужели это не разбой, не вымогательство?! Разве с Америки потребовала бы Германия двести тысяч долларов за двух миссионеров, разве стала бы потрясать бронированным кулаком перед ее носом и послала бы к американским берегам корабли с военным десантом?.. «Захватите двенадцать миль американской территории стоимостью в двадцать миллионов долларов, как добавочную компенсацию за миссионеров, и заставьте крестьян построить памятник миссионерам и богатый храм для увековечения их памяти!» — неужели Германия дала бы такой приказ своим войскам?.. «Шагай по Америке, режь и коли, *не щадя никого*, пусть на тысячу лет вперед облик германца внушает Америке ужас, такой же, как внушали Европе страшные гунны! Шагай по Великой республике и убивай направо и налево! Огнем и мечом прокладывая через ее сердце и внутренности путь для нашей оскорбленной религии», — разве осмелилась бы Германия сказать такое своим солдатам?.. Разве поступила бы так Германия по отношению к Америке, Англии, Франции, России?.. Или так можно обращаться только с Китаем, по примеру слона, напавшего на полевых мышей? Так стоит ли нам вкладывать средства в эту Цивилизацию, которая прозвала Наполеона разбойником за то, что он вывез из Венеции бронзовых коней, а сама ворует с наших стен старинные астрономические приборы и бесстыдно занимается грабежом? Это относится ко всем иностранным солдатам (кроме американских), которые штурмуют деревни, терроризируют

жителей и ежедневно шлют домой ликующим газетным редакциям телеграфные сводки такого содержания: «Потери китайцев — 450 человек убитыми; с нашей стороны *ранены один офицер и два солдата*. Завтра выступаем в поход против соседней деревни, где, как сообщают, началась резня». Скажите, по карману ли нам Цивилизация?»

Затем включается в игру Россия — и тоже играет немудно. Раз а два она оскорбляет Англию (Человек, Ходящий во Тьме, видит это и мотает на ус); при моральной поддержке Франции и Германии она отнимает у Японии ее добычу — захваченный Японией в борьбе и плавающий в китайской крови Порт-Артур (Человек, Ходящий во Тьме, замечает это и тоже мотает на ус); далее она захватывает Маньчжурию, опустошает маньчжурские деревни, запружает многоводную реку распухшими трупами бесчисленных убитых крестьян (и это Человек, Ходящий во Тьме, тоже мотает себе на ус). Возможно, он думает: «Вот *еще одно* цивилизованное государство со знаменем Христа в одной руке и с корзиной для награбленного и ножом мясника — в другой. Неужели нет для нас иного выхода, как только принять Цивилизацию и опуститься до ее уровня?»

Но тут на сцену выходит Америка, и наш Главный Игрок играет нехорошо, точь-в-точь как мистер Чемберлен в Южной Африке. Это было ошибкой, причем такой, какой не ждали от Главного Игрока, столь хорошо игравшего на Кубе. Там он вел обычную, *американскую* игру и побеждал, потому что такая игра — беспроигрышная. По поводу Кубы наш Главный Игрок сказал: «Вот — маленькая угнетенная нация, не имеющая друзей, но она полна решимости бороться за свою свободу. Мы готовы сделаться ее партнерами, мы обратим на ее поддержку мощь семидесяти миллионов сочувствующих американцев и ресурсы Соединенных Штатов. Игратьте!» В этих условиях только все европейские страны, объединившись, могли бы помешать нам, но Европа не в состоянии объединиться ни по какому поводу. В вопросе Кубы президент Мак-Кинли¹ следовал нашим ве-

¹ Мак-Кинли Уильям (1843—1901) — президент США в 1897—1901 гг. Его звали «ангелом-хранителем» монополистов еще когда он был сенатором; именно его правительство развязало испано-американскую войну 1898 г. — первую империалистическую войну за передел колоний, прикрываемую лицемерными лозунгами помощи кубинским и филиппинским повстанцам. У. Мак-Кинли был убит монархистом через полгода после вступления в президентскую должность на новый срок. — *Прим. сост.*

ликим традициям, и мы гордились своим Главным Игроком, и гордились тем недовольством, которое его игра вызывала в континентальной Европе. Движимый возвышенными чувствами, он произнес волнующие слова о том, что насильственная аннексия была бы «актом преступной агрессии»; и эти слова его тоже прозвучали как «выстрел на весь свет». Это благородное изречение переживет все другие его речи и поступки, если не считать того, что через год он начисто забыл свои слова и сохранившуюся в них высокую истину.

Ибо возник соблазн Филиппин. Это был сильный, слишком сильный соблазн. И наш Игрок допустил грубую ошибку — повел игру по-европейски, по-чемберленовски. Жаль, весьма жаль, что он сделал такую серьезную, непоправимую ошибку. Именно там и тогда надо было вновь играть по-американски. И это бы ничего не стоило, зато принесло бы нам крупный и верный выигрыш, подлинное богатство, которое сохранилось бы навеки, передаваясь от поколения к поколению. Нет, не деньги, не территорию, не власть, а нечто куда более ценное, чем весь этот тлен: у нас было бы сознание того, что нация угнетенных, несчастных рабов стала свободной благодаря нам; наши потомки сохранили бы светлую память о благородных деяниях предков. Ход игры зависел от нас. Если бы мы вели ее по американским правилам, Дьюи¹ убрался бы из Манилы, как только он уничтожил испанский флот. От него требовалось лишь одно: вывесить на берегу объявление, гарантирующее, что филиппинцы не нанесут ущерба имуществу и жизни иностранных граждан, и предупреждающее иностранные державы, что вмешательство в дела освобожденных патриотов будет рассматриваться как недружелюбный акт по отношению к Соединенным Штатам. Европейские державы не способны объединиться даже для дурного дела — никто не сорвал бы этого объявления.

Дьюи мог бы спокойно заняться своими делами где-нибудь в другом месте, зная, что филиппинской армии под силу взять измором маленький испанский гарнизон и выслать его потом за пределы своей страны. Филип-

¹ Дьюи Джордж (1837—1917) — капитан первого ранга, командующий американской эскадрой в Азии в испано-американской войне 1898 г. В ночь на 1 мая его эскадра (4 крейсера и 2 канонерки) прорвалась в бухту Манилы и потопила 10 устаревших испанских кораблей, находившихся у берега. После этого Дьюи стал адмиралом. — *Прим. сост.*

пинцы установили бы у себя государственное управление по своему вкусу; что же касается католических монахов и их богатств, приобретенных сомнительными путями, то филиппинцы действовали бы в отношении их так, как им диктовали бы собственные понятия о справедливости и чести. Кстати, эти понятия на проверку оказались ничуть не хуже тех, что существуют в Европе и Америке.

Но мы играли по-чемберленовски и лишились возможности вписать в свои анналы еще одну Кубу, еще один благородный поступок.

И чем больше думаешь об этой ошибке, тем яснее становится, что она может испортить нам всю коммерцию. Ибо Человек, Ходящий во Тьме, почти наверняка скажет:

«Странное это дело, странное и непонятное! По-видимому, существуют две Америки: одна помогает пленнику освободиться, а другая отнимает у бывшего пленника завоеванную свободу, затевает с ним спор без всякого повода и затем убивает его, чтобы завладеть принадлежащей ему землей».

В сущности, Человек, Ходящий во Тьме, уже говорит это, и ради пользы коммерции необходимо преподать ему другие, более здравые взгляды на филиппинские события. Мы должны заставить его мыслить по нашей указке. Я считаю, что это вполне возможно, — ведь преподал же Англии мистер Чемберлен готовые мысли по вопросу о Южной Африке, причем проделал он это ловко и успешно. Он преподнес англичанам факты — точнее, часть фактов — и разъяснил доверчивым людям их значение. И он оперировал цифрами — это очень хорошо. Он пользовался формулой: «Дважды два четырнадцать; из десяти вычесть два будет тридцать пять». Цифры действуют неотразимо, с их помощью всегда можно убедить образованную публику.

Мой план еще смелее чемберленовского, хоть я не отрицаю, что я его копировал. Будем откровеннее, чем мистер Чемберлен, выложим все факты, не утаив ни одного, а затем разъясним их по методу Чемберлена. Наша поразительная откровенность ошеломит Человека, Ходящего во Тьме, и он примет наше разъяснение, прежде чем успеет опомниться. Скажем ему так:

«Все очень просто. Первого мая Дьюи уничтожил испанский флот. В результате Филиппинские острова остались в руках подлинного, законного владельца — филиппинского народа. Армия филиппинцев насчитывала

тридцать тысяч человек, и ей было вполне под силу уничтожить или взять измором небольшой испанский гарнизон; это позволило бы жителям Филиппин создать у себя правительство по собственному вкусу. Соблюдая нашу традицию, Дьюи должен был вывесить на берегу свое предупреждение державам и затем отбыть восвояси. Но наш Главный Игрок принял другой план, европейский план: высадить там армию, якобы с целью помочь филиппинским патриотам нанести последний удар в их долгой и мужественной борьбе за независимость, а на самом деле — чтобы захватить их землю. Все это, разумеется, во имя Прогресса и Цивилизации. Операция развивалась планомерно и в общем успешно. Мы заключили военный союз с доверчивыми филиппинцами, и они осадили Манилу с суши, благодаря чему столица, где находился испанский гарнизон численностью в восемь — десять тысяч солдат, пала. Без филиппинцев мы тогда не добились бы этого. А оказать нам эту помощь мы их заставили хитростью. Мы знали, что филиппинцы уже два года ведут войну за свою независимость. Нам было известно, что они верят, будто мы сочувствуем их благородной цели, — подобно тому, как мы помогали кубинцам бороться за независимость Кубы, — и мы предоставили им заблуждаться. Но лишь до тех пор, пока Манила не стала нашей, и мы не перестали нуждаться в помощи филиппинцев. Тогда-то мы и раскрыли свои карты. Они, конечно, удивились — удивились и разочаровались, разочаровались и глубоко опечалились. Они нашли, что мы поступили не по-американски, не как обычно, наперекор вековым традициям. Смущение их легко понять, — ведь мы только притворялись, что играем на американский манер, по существу же это была европейская игра. Мы провели их так ловко, что они растерялись. Им все это было непонятно. Разве не вели мы себя по отношению к этим простодушным патриотам как подлинные друзья, исполненные глубокого сочувствия? Мы сами привезли из изгнания их вождя и героя, их надежду, их Вашингтона — Агинальдо¹. Мы доставили его на родину на военном корабле, с высокими почестями, под священной защитой нашего флага;

¹ Агинальдо Эмилио (р. 1869) — вождь филиппинского восстания 1896 г. против испанского владычества, в 1899 г. был провозглашен президентом первой филиппинской республики, которая вела борьбу против американских захватчиков. В 1901 г. Агинальдо был взят в плен американцами и призвал свой народ прекратить сопротивление. — *Прим. сост.*

мы возвратили его народу, за что нас горячо, взволнованно благодарили. Да, мы вели себя как лучшие друзья филиппинцев, мы всячески их подбадривали, мы снабжали их в долг оружием и боеприпасами, совещались с ними, обменивались любезностями, поручали наших больных и раненых их заботливому уходу, доверяли им испанских пленных, зная, что филиппинцы честны и гуманны; боролись с ними плечом к плечу против «общего врага» (наше излюбленное словцо!); мы хвалили филиппинцев за отвагу и мужество, превозносили их милосердие и прекрасное, благородное поведение; мы воспользовались их окопами, заняли укрепленные позиции, отвоеванные ими у испанцев; мы ласкали их, лгали им, официально заявляя, что наша армия и флот пришли освободить их и сбросить ненавистное испанское иго,—словом, одурачивали их, воспользовались ими, когда нам было нужно, а затем посмеялись над выжатым лимоном и вышвырнули его вон. Мы закрепились на позициях, отнятых обманным путем, и, продвигаясь постепенно вперед, вступили на территорию, где были расположены отряды филиппинских патриотов. Остроумно придумано, не правда ли? Ведь нам нужны были беспорядки, а такие действия не могли не вызвать их. Один филиппинский солдат проходил по территории, которую никто не имел права назвать запретной зоной, и американский часовой застрелил его. Возмущенные патриоты схватились за оружие, не ожидая одобрения Агинальдо, который в это время отсутствовал. Агинальдо их не одобрил, но это не помогло. Нашей целью было — во имя Прогресса и Цивилизации — стать хозяевами Филиппинских островов, очищенных от борющихся за свою независимость патриотов, а для этого нужна была война. И мы воспользовались удобным случаем. Типичный чемберленовский прием,—во всяком случае, цели и намерения были такие же, и провели мы игру не менее ловко».

В этом месте нашей откровенной беседы с Человеком, Ходящим во Тьме, мы должны немного подсластить пилюлю ссылкой на Дары Цивилизации — для разнообразия и чтобы подбодрить его. Затем пойдем дальше:

«Когда мы сообщая с филиппинскими патриотами заняли Манилу, Испания потеряла и право собственности на архипелаг и суверенную власть над ним. От всего этого ровным счетом ничего не осталось, ни единой ниточки, ни мельчайшей крупички. И тут-то нас осенила божественно-забавная мысль: *откупить* у Испании оба

эти призрака. (Ничего, давайте расскажем и это Человеку, Ходящему во Тьме; все равно он нам не поверит, как и всякий психически здоровый человек!) При покупке этих призраков за двадцать миллионов долларов мы дали обязательство опекать тамошних католических монахов со всем их добром. Кажется, мы также подрались разводить там оспу и проказу; впрочем, наверняка не скажу. Да это и не существенно: для людей, на которых обрушилось такое бедствие, как католические монахи, другие эпидемии уже не страшны.

После того как наш договор с Испанией был ратифицирован, Манила усмирена и «призраки» куплены, Агинальдо и все прочие законные владельцы Филиппинских островов стали нам больше не нужны. Тогда мы развязали военные действия и с тех пор охотимся за своим недавним гостем и союзником по всем лесам и болотам его страны».

В этом месте нашего рассказа уместно будет слегка похвастать нашей военной деятельностью, нашими подвигами на поле брани, дабы успехи англичан в Южной Африке не затмевали успехов Соединенных Штатов. Впрочем, особенно напирать на это не следует, рекомендую держаться осторожно. Разумеется, чтобы быть откровенными до конца, мы обязаны прочитать Человеку, Ходящему во Тьме, телеграммы с театра военных действий, но не мешает сдобрить их некоторой долей юмора. Это поможет смягчить их мрачную выразительность и не совсем приличное проявление кровожадного торжества. Прежде чем прочесть Человеку заголовки из газет от 18 ноября 1900 года, попрактикуемся без свидетелей,— нужно научиться придавать своему голосу веселенькие, игривые интонации:

**«Правительству США надоели затянувшиеся
военные действия»,**

**«Филиппинские мятежники¹ дождутся
настоящей войны!»**

«Будем беспощадны!»

«Америка принимает план Китченера»

Китченер² умеет приструнить несговорчивых людей,

¹ Мятежники! Это странное слово надо как-нибудь промямлить, чтобы Человек, Ходящий во Тьме, не разобрал его! — *Прим. М. Т.*

² Китченер Гораций Герберт (1850—1916) — английский военный и политический деятель, ярый империалист, командовал британскими войсками в Индии, Египте, Судане, жестоко подавил бурские отряды в Южной Африке в 1900 г. — *Прим. сост.*

которые защищают свой домашний очаг и свою свободу! Мы, американцы, должны сделать вид, что мы только подражаем ему, а сами, как государство, в этом деле ничуть не заинтересованы и стремимся лишь поправиться Великой Семье Наций, в которую ввел нас Главный Игрок, купив нам местечко в заднем ряду.

Конечно, мы не смеем также обойти молчанием сводки генерала Макатура¹. Кстати, почему только не перестанут печатать такие неудобные для нас сообщения?! Придется читать их бойкой скороговоркой, а там была не была:

«За истекшие десять месяцев наши потери составили 268 человек убитыми и 750 ранеными, филиппинцы потеряли 3227 человек убитыми и 694 ранеными».

Мы должны быть наготове, чтобы не дать Человеку упасть, ибо от этого признания ему может стать дурно, и он простонет:

«Господи! Эти «черномазые» сохраняют жизнь раненым американцам, а американцы добивают раненых филиппинцев!»

Мы должны привести в чувство Человека, Ходящего во Тьме, а затем всеми правдами и неправдами убедить его, что в нашем мире все к лучшему и не нам судить о путях провидения. Чтобы доказать ему, что мы не инициаторы, а только скромные подражатели, прочтем ему нижеследующую выдержку из письма одного американского солдата с Филиппин к своей матери, опубликованного в газете «Паблик опиньон» в городе Декора, штат Айова. В нем описывается конец одного победоносного сражения:

«В живых мы не оставили ни одного. Раненых приканчивали на месте штыками».

Изложив Человеку, Ходящему во Тьме, исторические факты, приведем его снова в чувство и разъясним ему все как надо. Скажем ему следующее:

«Факты, которые мы изложили, могут показаться вам сомнительными, но это не так. Да, мы лгали, но из высоких побуждений. Да, мы поступали вероломно, но лишь для того, чтобы из кажущегося зла родилось подлинное добро. Да, мы разгромили обманутый доверчивый народ; да, мы предали слабых, беззащитных людей, которые искали в нас опору; мы стерли с лица земли республику, основанную на принципах справедливости, ра-

¹ Макатур Артур (1845—1942) — американский военный, воевал с филиппинскими повстанцами в 1898—1899 г., затем был военным губернатором Филиппинских островов. — Прим. сост.

зума и порядка; мы вонзили нож в спину союзнику и дали пощечину своему гостю; мы купили у врага при-зрак, который ему не принадлежал; мы силой отняли землю и свободу у верившего нам друга; мы заставили наших чистых юношей взять в руки опозоренное оружие и пойти на разбой под флагом, которого в былые вре-мена разбойники боялись; мы запятнали честь Америки, и теперь весь мир глядит на нас с презрением, — но все это было к лучшему. Для нас это совершенно ясно. Ведь руководители всех государств в христианском ми-ре, равно как и девяносто процентов членов всех зако-нодательных учреждений в христианских государствах, включая конгресс США и законодательные собрания всех пятидесяти наших штатов, являются не только ве-рующими христианами, но также и акционерами треста «Дары Цивилизации». А такое всемирное объединение прописной морали, высокой принципиальности и спра-ведливости не способно ни на что дурное, нечестное, грязное. Там знают, что делают. Успокойтесь, все в пол-ном порядке!»

Уж это обязательно убедит Человека, Ходящего во Тьме. Вот увидите. Дела снова пойдут в гору. А наш Главный Игрок водрузится на вакантное место третьей ипостаси в троице американских национальных богов. Веками будут они восседать у всех на виду на высоких престолах, каждый с эмблемой своих деяний: Вашинг-тон с мечом освободителя, Линкольн с разорванными оковами рабства и наш Главный Игрок — с оковами, вновь приведенными в исправность.

Увидите, как это оживит торговлю.

Условия нам благоприятствуют, все складывается так, как мы хотели. Мы захватили Филиппинские ост-рова и уже не выпустим их из рук. У нас имеются так-же все основания надеяться, что в недалеком будущем мы сможем избавиться от обязательств, взятых по до-говору с Кубой, а Кубе дать что-нибудь другое, получ-ше. Куба — богатая страна, и многие американцы уже смекнули, что заключить с ней договор было сентимен-тальной ошибкой. Но сейчас — именно сейчас — самое время заняться восстановлением нашей репутации, — это поднимет наш престиж, придаст нам спокойствия, уст-ранит кривотолки. От самих себя мы не скроем, что в глубине души нас тревожит честь американской армии. Мундир солдата — один из предметов нашей гордости, он связан с делами благородными и высокими, мы его уважаем и любим, — и нам совсем не по душе та миссия,

которую он в настоящее время выполняет. А наш флаг! Мы считали его святыней; и когда случалось увидеть его в далеких краях, реющим под чужим небом и посылающим нам свой привет и благословение, у нас захватывало дух и срывался от волнения голос; мы стояли, обнажив голову, и думали о том, какое значение имеет он для нас и какие великие идеалы представляет. Да, нам *необходимо* что-то предпринять, и это не так сложно. Заведем специальный флаг,— ведь имеются же у наших штатов собственные флаги! Пусть даже останется старый флаг, только белые полосы на нем закрасим черным, а вместо звезд изобразим череп и кости.

И не нужна нам эта Гражданская комиссия на Филиппинах. Не облеченная никакими полномочиями, она должна их выдумывать, а такая работа не всякому по плечу — тут требуется специалист. Для этой цели можно уступить мистера Крокера¹. Мы хотим, чтобы там была представлена только Игра, а не Соединенные Штаты.

Благодаря всем этим мероприятиям на Филиппинах пышно расцветут Цивилизация и Прогресс; так мы одурочим Людей, Ходящих во Тьме, и у нас опять пойдет бойкая торговля на старом месте.

СОЕДИНЕННЫЕ ЛИНЧУЮЩИЕ ШТАТЫ

I

Итак, великий штат Миссури пал! Несколько его сыновей примкнуло к линчевателям, и клеймо позора легло на всех нас. По милости этой горстки его сыновей о нас теперь сложилось определенное мнение, на нас наклеили ярлык: отныне и вовек для жителей всего мира мы — «линчеватели». Ибо люди не станут долго раздумывать — это не в их привычках, они привыкли делать выводы, исходя из какого-то одного факта. Они не скажут: «Миссурийцы восемьдесят лет старались создать себе репутацию почтенных, уважаемых людей, и эти сто линчевателей где-то там, на окраине штата, не настоящие миссурийцы: это ренегаты».

¹ *Крокер* Ричард (1841—1922) — американский политик, в 1886—1902 гг. руководил Таммани-Холлом. В 1901 г. Твен открыто выступил с обличением алчности и продажности этого политического босса, что определило поражение Крокера на тогдашних выборах в муниципалитет. — *Прим. сост.*

Нет, такая здравая мысль не может прийти им в голову; они сделают вывод на основании одного-двух нетипичных образчиков и скажут: «Миссурийцы — это линчеватели!» Люди не умеют размышлять, у них нет ни логики, ни чувства соразмерности. Цифры для них не существуют; они ничего им не говорят, не подсказывают никаких разумных суждений. Люди способны, например, сказать, что Китай безусловно будет весь обращен в христианство, и очень скоро, поскольку каждый день по девять китайцев принимают крещение; при этом они даже не обратят внимания на то, что в Китае ежедневно рождается тридцать три тысячи язычников и что это обстоятельство сводит на нет всю их аргументацию. Люди скажут: «У них там сто линчевателей; значит, миссурийцы — линчеватели». Тот весьма существенный факт, что два с половиной миллиона миссурийцев не принадлежат к числу линчевателей, не может изменить их приговор.

II

О Миссури!

Трагедия произошла близ Пирс-Сити, на юго-западной окраине штата. В воскресенье днем молодая белая женщина вышла одна из церкви и вскоре была найдена убитой. Да, там есть церкви; в мое время вера на Юге была глубже и имела более широкое распространение, чем на Севере, и отличалась, по-моему, большей искренностью, большей мужественностью, — такой, мне кажется, она и осталась. Итак, молодую женщину нашли убитой! И хотя в той округе немало церквей и школ, народ взбунтовался: линчевали трех негров (из них двух стариков), сожгли пять негритянских хижин и выгнали в лес тридцать негритянских семей.

Я не намерен останавливаться на том, что толкнуло людей на преступление, так как это не имеет никакого отношения к делу; вопрос заключается в следующем: *может ли убийца сам вершить суд?* Вопрос простой и правильный. Если доказано, что убийца нарушил прерогативу закона, воздавая за содеянное ему зло, — тогда и говорить не о чем: тысяча причин не оправдывает его. У жителей Пирс-Сити были серьезные причины, — судя по некоторым подробностям, у них была самая серьезная из всех причин, — но не в том дело; они решили сами вершить суд, хотя, по местным законам, их жертву все равно бы повесили, если бы делу был дан обычный

ход, ибо в этой округе мало негров и они не занимают высокого положения и недостаточно сильны, чтобы повлиять на присяжных.

Почему линчевание с его варварскими атрибутами стало в некоторых частях нашей страны излюбленным способом возмездия за так называемое «обычное преступление»? Не потому ли, что это ужасное, отвратительное наказание кажется людям более наглядным уроком и более действенным средством устрашения, чем казнь через повешение на тюремном дворе, без свидетелей и без всякого шума? Нормальные люди так, конечно, не думают. Даже малый ребенок не поверил бы этому. Он знает, что все необычное, вызывающее много толков, тотчас находит подражателей, ибо на свете более чем достаточно впечатлительных людей, которые, стоит их немножко раззадорить, теряют последние остатки разума и начинают творить такое, о чем в другое время и помыслить бы не могли. Он знает, что если кто-то спрыгнет с Бруклинского моста,—найдется человек, который последует его примеру; если кто-то решит спуститься в бочке по Ниагарскому водопаду,—найдутся люди, которые захотят сделать то же; если какой-нибудь Джек Потрошитель прославится убийством женщин в темных переулках,—у него найдутся подражатели; если человек совершит покушение на короля и газеты протрубят об этом на весь мир,—цареубийца появится видимо-невидимо. Даже малому ребенку известно, что достаточно какому-нибудь негру совершить преступление и убийство, как это породит брожение в умах многих других негров и повлечет за собой целый ряд тех самых трагедий, которые общество так хочет предотвратить; что каждое из этих преступлений в свою очередь повлечет за собой ряд других, и в результате перечень этих бедствий, вместо того чтобы уменьшиться, будет из года в год расти и расти,—словом, что линчеватели сами злейшие враги своих жен, дочерей и сестер. Ребенку известно и то, что законы, которые мы сами сочинили, превращают в подражателей не только отдельных людей, но и целые деревни и города, что какое-нибудь линчевание, вызвавшее много толков, неизбежно породит другие линчевания — и тут, и там, и повсюду, — и что со временем это превратится в манию, в моду — моду, которая будет распространяться с каждым годом все шире и шире, захватывая, подобно эпидемии, все новые штаты. Суд Линча уже добрался до Колорадо, до Калифорнии, до Индианы и теперь — до

Миссури! Вполне возможно, что я доживу до того дня, когда посреди Юнион-сквера в Нью-Йорке, на глазах у пятидесятитысячной толпы, будут сжигать негра, и ни одного представителя закона и порядка не будет поблизости — ни шерифа, ни губернатора, ни полицейского, ни солдата, ни священника.

«Рост линчеваний. В 1900 году было на восемь линчеваний больше, чем в 1899 году, а в этом году, — по-видимому, будет еще больше, чем в прошлом. Сейчас едва перевалило за половину года, а мы уже имеем восемьдесят восемь случаев линчеваний, тогда как за весь прошлый год их было сто пятнадцать. Особенно отличаются в этом смысле четыре южных штата — Алабама, Джорджия, Луизиана и Миссисипи. В прошлом году в Алабаме было восемь случаев линчевания, в Джорджии — шестнадцать, в Луизиане — двадцать и в Миссисипи — двадцать. Таким образом, свыше половины линчеваний падает на эти штаты. В этом году в Алабаме уже было девять случаев линчевания, в Джорджии — двенадцать, в Луизиане — одиннадцать, в Миссисипи — тринадцать; опять-таки больше половины общего числа линчеваний по всем Соединенным Штатам» («Чикаго трибюн»).

Вполне возможно, что рост линчеваний объясняется присущим человеку инстинктом подражания, — этим да еще самой распространенной человеческой слабостью: страхом, как бы тебя не стали сторониться и показывать на тебя пальцем, потому что ты поступаешь не так, как все. Имя этому — Моральная Трусость, и она является доминирующей чертой характера у 9999 человек из каждых десяти тысяч. Я не претендую на это открытие — в глубине души самый тупоумный из нас знает, что это так. История не допустит, чтобы мы забыли или оставили без внимания эту важнейшую черту нашего характера. История настойчиво и не без ехидства напоминает нам, что с сотворения мира все бунты против человеческой подлости и угнетения начинались одним храбрецом из десяти тысяч, тогда как остальные робко ждали и медленно, нехотя, под влиянием этого человека и его единомышленников из других десятков тысяч, присоединялись к движению. Аболиционисты¹ это пом-

¹ Аболиционисты — сторонники отмены рабства в США в XVIII—XIX вв. — *Прим. сост.*

нят. Втайне общественное мнение уже давно было на их стороне, но каждый боялся во всеуслышание заявить об этом, пока по какому-то намеку не догадался, что его сосед втайне думает так же, как он. Тогда-то и поднялся великий шум. Так всегда бывает. Настанет день, когда так будет в Нью-Йорке и даже в Пенсильвании.

Полагают — и говорят, — что линчевание доставляет людям удовольствие, что народ рад возможности поглазеть на интересное зрелище. Но этого не может быть, опыт доказывает обратное. Люди, живущие в южных штатах, сделаны из того же теста, что и те, которые живут в северных, а подавляющее большинство этих последних — люди добропорядочные и сердечные, и они были бы глубоко, до боли опечалены подобным зрелищем и... пошли бы смотреть и сделали бы вид, что им это очень нравится, если бы считали, что иначе они вызовут неодобрение общества. Такие мы есть — и тут уж ничего не поделаешь. Прочие животные — не такие, но и тут мы ничего не можем поделать. У них отсутствует Моральный Критерий, мы же не можем избавиться от него, не можем продать его хотя бы за бесценок. Моральный критерий подсказывает нам, что есть добро... и как уклониться от добрых деяний, если они непопулярны.

Как я уже говорил, иные считают, что толпа, собирающаяся на линчевание, получает от этого удовольст-



вие. Это, конечно, неправда, этому невозможно поверить. Последнее время стали открыто утверждать — вы не раз могли видеть это в печати, — что до сих пор мы неправильно понимали, какой импульс движет линчевателями; в них-де говорит в эти минуты не чувство мести, а *просто звериная жажда поглазеть на людские страдания*. Если бы это было так, толпы людей, видевших пожар отеля «Виндзор», пришли бы в восторг от тех ужасов, которым они были свидетелями. А разве они восторгались? Подобная мысль никому и в голову не придет, подобное обвинение никто не осмелится бросить. Многие рисковали жизнью, спасая детей и взрослых от гибели. Почему они это делали? Потому что *никто не стал бы порицать их за это*. Ничто не связывало и не ограничивало их — они могли следовать велениям сердца. А почему такие же люди, собравшись в Техасе, Колорадо, Индиане, стоят и смотрят на линчевание, всячески показывая, что это зрелище доставляет им безмерное удовольствие, хотя на сердце у них печально и тяжело? Почему никто из этой толпы пальцем не двинет, ни единого слова не скажет в знак протеста? Думается мне, только потому, что такой человек оказался бы в меньшинстве: каждый опасается вызвать неодобрение своего соседа, — для рядового человека это хуже ранения или смерти. Стоит распространиться по округе вести о предстоящем линчевании, как люди запрягают лошадей и с женами и детьми мчатся за несколько миль, чтобы посмотреть на это зрелище. В самом ли деле для того, чтобы посмотреть?.. Нет, они едут только потому, что боятся остаться дома: а вдруг кто-нибудь заметит их отсутствие и неодобрительно отзовется о них потом! Вот этому можно верить, ибо все мы знаем, как мы сами отнеслись бы к такому зрелищу и как бы мы поступили в таких обстоятельствах. Мы не лучше и не храбрее других, и нечего нам это скрывать.

Какой-нибудь Савонарола¹ мог бы одним взглядом усмирить и разогнать толпу линчевателей, — на это способны и Мэрилл и Белот². Нет такой толпы, которая

¹ *Савонарола* (1452—1498) — флорентийский религиозно-политический деятель, обличитель тогдашних нравов. Был сожжен на костре как еретик. Это имя стало нарицательным для обозначения фанатика-борца. — *Прим. сост.*

² *Мэрилл* — шериф округа Кэрл, штат Джорджия; *Белот* — шериф из Принстона, штат Индиана. Они обуздывали толпы линчевателей только благодаря тому, что были всем известны как люди непоколебимо мужественные. — *Прим. М. Т.*

не дрогнула бы в присутствии человека, известного хладнокровием и мужеством. К тому же толпа линчевателей рада разбежаться, поскольку вы не сыщете в ней и десяти человек, которые не предпочли бы находиться в любом другом месте и, конечно, не были бы здесь, если бы только у них хватило на это храбрости. Еще мальчишкой я видел, как один смельчак язвительно обругал собравшуюся толпу и заставил ее разойтись, а позже, в Неваде, я видел, как один известный головорез заставил двести человек сидеть не шевелясь в горящем доме до тех пор, пока он не разрешил им покинуть помещение. Если человек не трус, он может один ограбить целый пассажирский поезд, а если он трус только наполовину, он может остановить дилижанс и обобрать всех, кто в нем едет.

Выходит, стало быть, что искоренить линчевание можно следующим образом: в каждой общине, зараженной этой бациллой, поселить по храброму человеку, который поощрял бы, поддерживал и извлекал на свет божий глубокое возмущение линчеванием, таящееся — в том можно не сомневаться — во всех сердцах. Тогда эти общины найдут себе более подходящий предмет для подражания, ибо они состоят из людей, которые должны, конечно, чему-то подражать. Но где найти таких храбрецов? Вот в этом-то и загвоздка, коль скоро на всей земле их едва ли наберется три сотни. Если б нужны были люди, обладающие только физической храбростью, задача решалась бы легко — таких сколько угодно. Когда Хобсон¹ сказал, что ему нужно семь человек добровольцев, которые последовали бы за ним, в сущности, на верную смерть, вызвалось идти четыре тысячи человек, фактически весь флот — потому что *весь мир одобрил бы это*; и люди это знали. А вот если бы план Хобсона был осмеян и освистан друзьями и товарищами, чьим добрым мнением дорожат матросы, — он не сумел бы набрать и семи человек.

Нет, по зрелом размышлении проект мой никуда не годится. Где взять людей, храбрых духом? Нет у нас матернала, из которого выковываются люди с отважной душой, в этом отношении мы нищие. Есть у нас те два шерифа на Юге, которые... но что о них говорить — все равно их не хватит на всю страну; так пусть уж оста-

¹ Хобсон — Ричмонд Пирсон (1870—1937) — американский кораблестроитель и моряк, прославился тем, что потопил углевоз «Мермак» на выходе из бухты Сантьяго на Кубе, чтобы преградить выход из нее испанскому флоту, — правда, неудачно. — *Прим. сост.*

ются на своих местах и заботятся о собственных общинах.

Если б было у нас еще хотя бы три или четыре шерифа такого склада! Помогло бы это? Думаю, что да. Ведь все мы — подражатели: примеру доблестных шерифов последовали бы другие, быть бесстрашным шерифом стало бы правилом, а на тех, кто не был бы таким, смотрели бы с порицанием, которого все так стремятся избежать; храбрость для человека на этом посту вошла бы в обычай, а отсутствие ее было бы равносильно бесчестью, — так робость новобранца со временем сменяется храбростью. И тогда не будет больше линчеваний, и не будет озверелых толп, и...

Все это очень хорошо, но для всякого дела нужны зачинщики, а откуда мы возьмем этих зачинщиков? По объявлению? Хорошо, дадим объявление.

А пока что — вот другой план. Давайте вернем американских миссионеров из Китая и предложим им посвятить себя борьбе с линчеванием. Поскольку каждый из 1511 находящихся там миссионеров обращает по два китайца в год, тогда как ежедневно на свет появляется по тридцать три тысячи язычников¹, потребуется свыше миллиона лет, чтобы количество обращенных соответствовало количеству рождающихся и чтобы «христианизация» Китая стала видна невооруженным глазом. Следовательно, если мы можем предложить нашим миссионерам такое же богатое поле деятельности у себя на родине — притом с меньшими затратами и достаточно опасное, — так почему бы им не вернуться домой и не попытаться счастья? Это было бы и справедливо и правильно. Китайцы, по всеобщему мнению, чудесный народ — честный, порядочный, трудолюбивый, добрый и все прочее. Оставьте их в покое — они и так достаточно хороши. К тому же ведь почти каждый обращенный рискует заразиться нашей цивилизацией. Не мешало бы нам быть поосторожнее. Не мешало бы хорошенько подумать, прежде чем подвергать себя такому риску, — потому что *стоит сделать Китай цивилизованной страной, и его уже не расцивилизуешь*. А мы не думали об этом. Ну так что ж — подумаем сейчас, пока не по-

¹ Эти цифры не выдуманы, они правильны и достоверны. Источником для них послужили официальные отчеты миссионеров, находящихся в Китае. См. книгу д-ра Моррисона о его путешествии по Китаю; он приводит эти цифры со ссылкой на источники. Несколько лет он был пекинским корреспондентом лондонской «Таймс» и находился в Пекине во время осады. — Прим. М. Т.

одно. Наши миссионеры увидят, что у нас есть для них поле деятельности — и не только для 1511 человек, а для 15011. Пусть прочтут следующую телеграмму и решат, найдется ли у них в Китае что-либо более аппетитное. Телеграмма эта из Техаса:

«Негра подтащили к дереву и вздернули на сук. Под ним навалили кучу дров и хвороста и развели большой костер. *Потом кто-то заметил, что нельзя, чтобы негр подох так быстро; его спустили на землю, тем временем несколько человек отправились в Декстер, мили за две, чтобы добыть керосину.* Костер облили керосином, и дело было доведено до конца».

Мы умоляем миссионеров вернуться и помочь нам в нашей беде. Этого требует их долг патриотов. Наша страна находится сейчас в более бедственном положении, чем Китай; они — наши соотечественники, и родина взывает к ним о помощи в этот час тяжчайших испытаний. Они знают, что делать; наш народ — не знает. Они привыкли к издевкам, насмешкам, надругательствам, опасностям; наш народ к этому не привык. Им свойственно мученичество, а только человек, готовый на мученичество, способен противостоять толпе линчевателей, способен усмирить ее и заставить разойтись. Они могут спасти свою страну; мы заклинаем их вернуться и спасти ее. Мы просим их еще и еще раз перечитать телеграмму из Техаса, представить себе эту сцену и трезво поразмыслить над ней, потом помножить на 115, прибавить 88, поставить эти 203 человеческих факела в ряд так, чтобы вокруг каждого было по 600 квадратных футов свободного пространства, где могли бы разместиться 5000 зрителей, христиан-американцев — мужчин, женщин и детей, юношей и девушек. Для большего эффекта пусть они представят себе, что дело происходит ночью, на пологой, постепенно повышающейся равнине, так что столбы расположены по восходящей линии и глаз может охватить всю двадцатичетырехмильную цепь костров из пылающей человеческой плоти. (Если бы мы расположили эти костры на плоской местности, то не могли бы видеть конца цепи, ибо изгиб земной поверхности скрыл бы его от наших глаз.) И вот когда все будет готово, и спустится тьма, и воцарится внушительное молчание, — не должно быть ни звука, если не считать жалобных стонов ночного ветра да приглушенных всхлипываний несчастных жертв, — пусть все уходящее вдаль, облитые керосином погребальные костры вспы-

хнут одновременно и пламя вместе с воплями предсмертной муки вознесется прямо к небу, к престолу всевышнего.

Зрителей собралось свыше миллиона человек, свет костров выхватывает из ночи неясные очертания шпилей пяти тысяч церквей. О добрый миссионер, о сострадательный миссионер, покинь Китай, вернись домой и обрати этих христиан!

Думается мне, что если что-либо и может остановить эту эпидемию кровавых безумств,—так это бесстрашные люди, которые способны, не дрогнув, противостоять толпе; и поскольку люди такого рода выковываются только в атмосфере опасности, закаляясь в борьбе с нею, то скорее всего их можно встретить среди миссионеров, которые последний год или два подвизались в Китае. У нас для них непочатый край работы, дела хватит и еще для многих сотен и тысяч, и поле деятельности ширится с каждым днем. Найдем ли мы таких людей? Можно попытаться. Среди 75 миллионов американцев должны же найтись еще Мэриллы и Бэлоты, а по законам, которые мы сами изобрели, каждый пример будет пробуждать дотоле дремавших рыцарей одного с ними великого ордена и выдвигать их в первые ряды.

ДЕРВИШ И ДЕРЗКИЙ НЕЗНАКОМЕЦ

Дервиш. Я готов твердить снова и снова, без конца твердить, что доброе дело...

Дерзкий незнакомец. Замолчи, близорукий человек! Добрых дел не бывает...

Дервиш. О наглый богохульник!

Дерзкий незнакомец. И злых дел тоже не бывает. Бывают только добрые намерения и злые намерения, вот и все. Половина добрых намерений в итоге приносит зло, половина дурных намерений приносит добро. Ни один человек не властен над результатами и не в состоянии предугадать их.

Дервиш. Иными словами...

Дерзкий незнакомец. Иными словами, хвали людей за их добрые намерения, но не ругай за дурные результаты; ругай людей за дурные намерения, но не хвали их за хорошие результаты!

Дервиш. О безумец! Значит, ты хочешь сказать...

Дерзкий незнакомец. Вот тебе закон: *каждое* намерение — доброе или злое — порождает два начала

одно здоровое, другое губительное. Этот закон не изменился с сотворения мира и не изменится до его последнего дня.

Дервиш. Значит, если б я в гневе поразил тебя насмерть...

Дерзкий незнакомец. Или убил бы меня тем лекарством, которым ты надеялся вылечить меня и восстановить мои силы...

Дервиш. Хорошо. Продолжай.

Дерзкий незнакомец. ...то в обоих случаях результат был бы одинаков. Вечные душевные муки для тебя — дурной результат; а для меня отдых, покой, конец страданиям — хороший результат. Разбились бы три преданных мне сердца, а три моих бедных родственника получили бы богатое наследство и возликовали. Тебя посадили бы в тюрьму, и твои друзья горевали бы, но твой тихоня-помощник сел бы на твое место, зажил бы твоей сытой, беспечной жизнью и был бы очень доволен. И разве только это добро и только это зло явилось бы результатом доброго или злого намерения, послужившего причиной моей смерти? Глупец, не видящий дальше своего носа! Хорошие и дурные результаты любого поступка, даже самого незначительного, живут и множатся на протяжении веков, постепенно опутывая земной шар, влияя на судьбу всех грядущих поколений до скончания века, до последнего катаклизма.

Дервиш. Значит, раз не бывает вовсе добрых дел...

Дерзкий незнакомец. Я же тебе толкую: существуют лишь *намерения* — добрые и злые! *Результаты* предугадать невозможно. В итоге непременно получается и дурное и хорошее. Вот слушай! Это из истории Дальнего Запада Соединенных Штатов.

Слышны голоса из штата Юта

I

Белый вождь (*обращаясь к белым людям*). Эта огромная равнина в прошлом была пустыней. С божьей помощью и собственным усердием мы запрудили реку, заставили ее воды работать на нас, превратили пустыню в цветущие поля, принесли достаток и счастье тысяче семейств, которые прежде знали лишь голод и нищету. Как прекрасна, как благодетельна Цивилизация!

Индийский вождь (*обращаясь к своему племени*). Эта огромная равнина, орошать которую наши отцы научились у испанских священников, была сплошным цветущим полем и приносила нашим людям достаток и счастье. Но белокожий американец запрудил нашу реку, отнял у нас воду и отвел ее на свои поля, а наши земли превратил в пустыню. Вот почему мы умираем с голоду.

Дервиш. Понимаю. Видимо, добрые намерения действительно породили здесь добро и зло в равной мере. Но все же единичный случай не подтверждает правила. Приведи еще примеры.

Дерзкий незнакомец. Прости, пожалуйста, *любые* факты подтверждают это правило! Колумб открыл Новый Свет и дал трудолюбивым безземельным беднякам Европы возможность обзавестись фермами, зажить в довольстве и счастье...

Дервиш. Хороший результат!

Дерзкий незнакомец. Но переселенцы принялись травить и преследовать исконных хозяев земли; они грабили их, превращали в нищих, сгоняли с насиженных мест, истребляли целыми племенами.

Дервиш. Дурной результат, не спорю.

Дерзкий незнакомец. Французская революция разорила пять миллионов семейств, залила страну кровью, из богатой сделала ее бедной.

Дервиш. Дурной результат!

Дерзкий незнакомец. Но каждой крупной великой, драгоценной свободой, которой пользуются сегодня народы континентальной Европы, они обязаны этой революции.



Дервиш. Признаю — результат оказался хорошим. Дерзкий незнакомец. Вдохновленные благими намерениями поднять с помощью американского оружия филиппинский народ до нашего морального уровня, мы поскользнулись и пали куда ниже уровня филиппинцев.

Дервиш. Весьма дурной результат!

Дерзкий незнакомец. Но зато Соединенные Штаты превратились в мировую державу.

Дервиш. Позволь мне это еще обдумать. Пока продолжай.

Дерзкий незнакомец. Триста тысяч солдат и восемьсот миллионов долларов помогли Англии осуществить ее добрые намерения и приобщить к культуре упрямых буров. Англия сделала их чище, лучше и счастливее, чем они могли когда-нибудь стать собственными усилиями.

Дервиш. Уж это несомненно хороший результат!

Дерзкий незнакомец. Да, но из всего бурского народа осталось в живых одиннадцать человек.

Дервиш. Выходит дело, результат плохой. Но это я тоже должен обдумать, прежде чем прийти к окончательному выводу.

Дерзкий незнакомец. Вот тебе последний пример. С наилучшими намерениями христианские миссионеры уже восемьдесят лет трудятся в Китае.

Дервиш. И это дало тот дурной результат, что...

Дерзкий незнакомец. Что почти сто тысяч китайцев приобщились к нашей Цивилизации.

Дервиш. А хороший результат сказался в том...

Дерзкий незнакомец. ...в том, что благодаря милости божьей четыреста миллионов китайцев убереглись от этой участи.

СДЕЛКА С САТАНОЙ

Тут-то ко мне и пришло решение продать душу Сатане. Курс стальных акций упал, то же произошло с другими акциями, лопались самые надежные предприятия. А так как я сам пока представлял собою некоторую ценность, надо было поскорее пускать ее в оборот и сколачивать состояние. Не мешкая долго, я послал письмо местному маклеру мистеру Н. с обстоятельным описанием предлагаемого товара и того, в каком состоянии он находится; встреча с Сатаной была

устроена без промедления, с условием, что маклер получит 2,5% комиссионных, но только если сделка состоится.

Задумавшись, я сидел впотьмах и ждал появления Сатаны. Стояла мертвая тишина. Но вот издалека донеслись густые, низкие удары колокола, возвещающие полночь: бом-м, бом-м, и я поднялся навстречу гостю, внутренне подготовив себя к оглушительному грохоту и серному зловонию, сопровождающим, как я полагал, его приход. Но не было ни грохота, ни зловония. Сквозь запертую дверь бесшумно вошел современный Сатана, точь-в-точь такой, каким мы привыкли видеть его на сцене,—высокий, стройный, легкий, в облегающем трико, шпага на боку, широкий короткий плащ, наброшенный на плечи, удальски заломленная шляпа с поникшим пером, на умном лице тонкая мефистофельская усмешка.

Но он не полыхал алым пламенем, не был пунцовым, отнюдь нет! Он был как раскаленный добела факел, или столб, или обелиск, бело-огненный с прозрачным зеленоватым отливом; он излучал серебристое сияние, каким светят подернутые рябью волны тропического моря, когда луна стоит высоко в безоблачном небе.

Сатана учтиво приветствовал меня своим обычным, таким знакомым поклоном: положив левую руку на эфес шпаги, он правой снял шляпу и плавным жестом описал ею перед собой полукруг. Мы сели. Ах, как он был хорош в этом своем чудесном свечении, до чего шла ему эта новая окраска! Он, должно быть, прочитал восторг на моем лице, озаренном исходящим от него светом, но и бровью не повел, — видно, давно привык к тому впечатлению, какое производил на христиан, вступавших с ним в подобного рода сделки.

...Полчаса за бокалом горячего пунша и разговорами о погоде, перемежавшимися закидыванием удочек с моей стороны и ответами моего гостя вроде: «Нет, такую цену я, пожалуй, дать не смогу», убавили мою застенчивость, я вполне овладел собой и даже отважился несколько утолить мучившее меня любопытство. Я как бы между прочим выразил свое удивление тем, что он совершенно не соответствует нашему о нем представлению, и спросил его, из чего он сделан. Сатана не обиделся и ответил искренне и просто:

— Из радия.

— Ах, вон что! Ну, тогда понятно! — воскликнул я. Действительно, более приятного света для глаза я не

встречал. Никакого сравнения с мертвым, холодным электричеством. — Но это значит, что вы, ваше величество, весите около... около...

— Мой рост шесть футов один дюйм¹, так что, будь я из крови и плоти, я бы весил двести пятнадцать фунтов. Но радий, подобно другим металлам, тяжел, — стало быть, я вешу несколько более девятисот фунтов.

Я вперил в него алчущий взгляд: какое богатство! Какие огромные запасы радия! Девятьсот фунтов, — скажем, по три миллиона за фунт, — это будет... это будет... И тут в моем разгоряченном мозгу родился коварный замысел!

Но Сатана весело рассмеялся:

— Я прочитал вашу мысль! Похитить самого Сатану, создать акционерное общество, выпустить акций на десять миллиардов долларов — на сумму, в три раза превосходящую стоимость основного капитала, наводнить ими весь мир. Как ново! Как оригинально!

Щеки мои вспыхнули так жарко, что серебристое сияние вокруг нас обратилось в малиновую дымку, какою бывают окутаны на закате купола и башни Флоренции и созерцание каковой наполняет сердце пьянящей радостью. Сатана сжалился надо мной и заговорил серьезно и проникновенно, пролив бальзам на мою душу, так что я мало-помалу успокоился и поблагодарил его за оказанное им великодушие. На это он сказал:

— Ваши добрые слова не пропали даром. За любезность я плачу вам любезностью. Знаете ли вы, что за многие века деловых отношений с бедным, злополучным родом людским я впервые встречаю человека, у которого хватило ума сообразить, из какого ценного материала я создан?

Я скромно потупил взор, но внутри у меня все так и пело от удовольствия.

— Да, вы первый это поняли, — продолжал Сатана. — На всем протяжении средних веков я покупал христианские души за баснословные цены: возводил за ночь мосты, соборы — и почти всякий раз, когда имел дело с лицом духовного звания, оказывался в дураках, — это признает история; но время от времени я все-таки отыгрывался на честных мирянах, — это признаю я сам. Однако никто так никогда и не понял, на чем можно по-настоящему разбогатеть. Вы — первый.

¹ Фут — 30,5 см; дюйм — 2,52 см. — Прим. сост.

Я снова наполнил его бокал и предложил ему еще одну сигару. На сей раз Сатана знал, с чем имеет дело. Он долго рассматривал ее, затем спросил:

— Сколько вы за них платите?

— Два цента за штуку. Но если покупаешь ящиком, обходится дешевле.

Он продолжал изучать сигару, отпуская шепотом замечания, по-видимому соображая что-то.

— Темная, шершавая, хрустящая, неправильной формы, изборождена морщинами, как древесная кора, местами сухой лист скручивается,—в общем, напоминает подпаленную кожу тех башмаков, что стоят в преисподней перед дверьми каждого номера в воскресное утро.

Сатана вздохнул, вспомнив отчий дом, помолчал минутку, затем вежливо попросил:

— Будьте добры, расскажите подробнее об этом хитроумном снаряде.

— Это изобретение одного видного итальянского государственного деятеля Камилло Кавура. Однажды, погруженный в занятия, он закурил сигару, отложил ее в сторону и забыл про нее. Сигара попала в чернильную лужицу и намокла. Заметив это, Кавур отнес ее на печку подсушить. А когда раскурил снова, сразу почувствовал, что она приобрела какой-то особый вкус. Тогда он...

— А он говорил, какой вкус у нее был раньше?

— Кажется, нет. Но все равно — он вызвал главного химика страны и велел выяснить, откуда взялся этот новый вкус. Тот провел необходимое исследование и пришел к выводу, что особый вкус сообщается сигаре железным купоросом и уксусом, а это, как известно, составные части любых чернил. Кавур, радея о финансах страны, приказал создать новый сорт сигар. И с тех пор этот сорт перед тем, как поступить в продажу, проходит обработку на чернильной фабрике, что удивительным образом сказывается как на чернилах, так и на сигарах. Такова история создания сорта «Кавур», ваше величество, и все это чистая правда, ни капли выдумки.

Сатана принял подарок, коснулся указательным пальцем кончика сигары, отчего она затделась и потянуло дымом,—но курить не стал, видимо раздумал, и, отложив торпеду на стол, с отменной учтивостью обратился ко мне:

— С вашего позволения, я приберегу ее для Вольтера.

Я был несказанно обрадован и польщен: пусть хоть эта малость свяжет меня с великим человеком, пусть мое имя коснется его слуха даже по такому ничтожному поводу (а в том, что обо мне будет упомянуто, я насколько не сомневался). Я поскорее достал еще полсотни таких же сигар, чтобы Сатана угостил ими и других великих умерших — Гете, Гомера, Сократа, Конфуция, — но Сатана отверг мой дар, объяснив, что против этих людей он ничего не имеет. Затем он опять погрузился в воспоминания о далеком прошлом и спустя какое-то время сказал:

— Никто тогда и не слышивал о радиі. А впрочем, если бы и слышали, какой толк? Человечество было в неведении относительно радиа двадцать миллионов лет, пока не родился возвестивший новую эру девятнадцатый век — век пара и машин, а родился он всего за несколько лет до вас. Девятнадцатый век был чудесным веком, но чудеса его покажутся детской выдумкой по сравнению с тем, что несет двадцатый.



Я спросил его, почему он так думает, и он объяснил мне:

— Дело в том, что энергия была очень дорога, а все действует только с помощью энергии — пароходы, локомотивы, решительно все. Уголь — вот в чем загвоздка! Его надо добывать, без него нет ни пара, ни электричества, и к тому же потери огромные: уголь сжигают и он исчезает без остатка. Иное дело радий! Моеими девятьюстами фунтами можно обогреть весь мир, залить его светом, дать энергию всем кораблям, всем станкам, всем железным дорогам — и не израсходовать при этом и пяти фунтов радия! И тогда...

— Дорогой прародитель! Вот вам моя душа, берите ее, и основываем компанию!

Но Сатана спросил, сколько мне лет, и, узнав, что шестьдесят восемь, вежливо уклонился от моего предложения, вероятно не желая воспользоваться своим очевидным преимуществом. Затем продолжал расхваливать радий: заключенная в нем теплота может за сутки растопить кусок льда, в двадцать четыре раза превосходящий его по весу, и притом количество его ни на йоту не уменьшится; попробуйте поместить на секунду в эту комнату фунт радия — и все в ней обуглится, словно дохнуло адским пламенем, а от человека останется горстка пепла, и так далее, и все в том же духе; но я прервал его:

— Но, ваше величество, вы, — а значит, девятьсот фунтов радия, — сейчас здесь, в этой комнате, а ничуть не жарко, наоборот — самая приятная температура. Я в недоумении.

— Э-э-э, видите ли, — начал он неуверенно, — это секрет, хотя, впрочем, я мог бы вам открыть его, ибо эти дотошные, нестерпимо нахальные химики все равно рано или поздно докопаются до него. Вы, вероятно, знаете, что мадам Кюри писала о радии; знаете, как она без устали трудится над тем, чтобы раскрыть его чудесные тайны, выявить их одну за другой. Она говорит: «Вещества, в состав которых входит радий, самопроизвольно испускают свет», — заметьте, никакого угля для получения света; она говорит: «Стекланный сосуд, содержащий радий, сам собой заряжается электричеством», — обратите внимание, никакого угля, никакой воды, чтобы производить электричество; она говорит: «Радий обладает замечательной способностью освобождать тепло самопроизвольно и в неограниченном количестве», — как видите, никакого угля, чтобы приводить в

движение машины всего мира. Она просеяла горы урановой руды в поисках радиоактивных веществ, выловила их целых три штуки и дала им названия: один, концентрирующийся в соединениях висмута, был назван полонием; другой, сходный с барием, получил имя радия, третьего нарекли актинием. Она говорит: «Теперь предстоит отделить полоний от висмута, это наиболее трудная задача, мы занимаемся ею уже многие годы». Многие годы, подумайте только — многие годы! Да, так они все работают, эти одержимые, эти люди науки, — копаются, пыhtят, бьются. Вот бы мне для моего хозяйства партию таких старателей. Какая была бы экономия. Подумайте, многие годы! Такие не отступятся. Терпение, вера, надежда, упорство — и так все они, вся их братия, Колумб и прочие. Получив радий, эта женщина открыла новую эру на вашей планете, умножила ваши богатства и стала тем самым в один ряд с Колумбом и равными ему. Она задалась целью отделить полоний от висмута; преуспев в этом, как вы думаете, чего она достигнет?

— Понятия не имею, ваше величество.

— Она еще больше укрепит могущество человека, перед ним откроются величайшие возможности. Я сейчас поясню вам мою мысль, ибо ни вы, ни даже сама мадам Кюри не в состоянии представить себе всю грандиозность ее ближайшего открытия.

— Я весь внимание, ваше величество!

— Полоний в чистом виде, освобожденный от висмута, является тем единственным веществом, которое способно управлять радием, обуздывать его разрушительные силы, укрощать их, держать в повиновении, заставить их служить человеку. Пощупайте мою кожу. Ну, что вы о ней скажете?

— Нежная, шелковистая, прозрачная, тонкая, как желатинная пленка, очень красиво, ваше величество!

— Так это и есть полоний. Все остальное во мне из радия. Если я сброшу с себя верхний покров, земля, охваченная дымом и пламенем, обратится в пепел, а от луны останутся только хлопья, которые рассеются по всей вселенной.

Ужас сковал мне язык, я весь дрожал.

— Теперь вам все должно быть понятно, — продолжал он. — Внутренности мои пожирает огонь, я страдаю невыносимо и обречен страдать вечно, но вам и вашей Земле нечего бояться, вы надежно защищены полонием. Тепло — это сила, энергия, но оно приносит пользу, ко-

гда умеешь управлять им, регулировать его. Сейчас у вас еще нет власти над радием, но, как только полоний вложит вам в руку кнут укротителя, радий смирится перед вами. Я могу освобождать энергию, заключенную во мне, и малыми и большими порциями, как мне заблагорассудится. Могу, если захочу, привести в движение механизм дамских часов или уничтожить целый мир. Помните, как я прикосновением пальца зажег эту нечестивую сигару?

Да, я помнил это.

— Представьте себе, как мала была в тот раз крупица освобожденной энергии! Вам, конечно, известно, что все на свете состоит из юрких, подвижных молекул, все решительно — мебель, камин, железо, лошади, люди, — словом, все, что существует.

— Да, известно.

— Что молекулы разнятся между собой весом и размерами, но нет ни одной, которая была бы так велика, чтобы ее можно было разглядеть в микроскоп?

— Да, известно.

— А знаете ли вы, что молекулы состоят из тысяч свободных, вечно движущихся крохотных частиц, именуемых атомами?

— Да, знаю.

— Что до последнего времени мельчайшим атомом, известным науке, считался атом водорода, который в тысячу раз меньше атомов, идущих на постройку молекул других веществ?

— Знаю.

— Так вот, атом радия, имеющий положительный заряд, в пять тысяч раз меньше атома водорода. Этот неописуемо маленький атом зовется электроном. Моя долголетняя привязанность к вам и к вашим почтенным предкам так велика, что я открою вам тайну, которая доселе была неведома ни одному ученому, — тайну светляков. Слушайте же: свечение в этих жуках производит один-единственный электрон, заключенный в атом полония.

— Сир, я потрясен. Ученые всего мира были бы очень признательны вам за столь ценное сообщение, ведь они бьются над этим открытием уже более двух столетий. Только подумать! Электрон, который в пять тысяч раз меньше невидимого глазом атома, и есть те веселые огоньки, что так красят летнюю ночь!

— И учтите, — продолжал Сатана, — это единственный случай, когда радий существует в чистом виде, без

всяких примесей, когда и полоний находится в точно таком же свободном состоянии, и именно это их совместное бытие и производит столь удивительный и приятный эффект. Представьте себе, что защитная полониевая оболочка лопнула, тогда искра радия вспыхнет, причем всего один раз, и светлячок обратится в пар. Вы очень дорожите этим старым гектографом?

— Нет, ваше величество, не очень, он не мой.

— Тогда я на ваших глазах уничтожу его. Я зажгу этого вашего, как его там... Кавура, потратив энергию всего одного электрона, ровно столько, сколько ее заключено в светляке. Сейчас я даю энергию двадцати тысяч электронов.

Мой гость коснулся рукой массивного гектографа, и он разорвался, словно пушечное ядро, так что и мокрого места не осталось. Три минуты в комнате висел густой розовый туман искр, сквозь который неясным пятном маячила фигура Сатаны, затем туман рассеялся и снова заструился лунный свет, яркий и нежный. Сатана сказал:

— Убедились? Радия, заключенного в двадцати тысячах светляков, хватит, чтобы запустить мотор автомобиля на веки вечные. И притом никаких потерь, это горючее неиссякаемо. — И заметил мимоходом: — У себя дома мы используем только радий.

Я был поражен и, понятное дело, заинтересован: ведь в тех палестинах было немало моих родственников и добрых знакомых. Я до сих пор считал — так мне внушили в детстве, — что в качестве горючего там применяют уголья и серу. Сатана прочел мою мысль и сказал:

— Уголья и сера — таково предание, верно. Но это общее заблуждение. Можно было на худой конец обойтись и угольями с серой, но у этого топлива имеется ряд существенных недостатков: грязи много, горит не так чтобы очень жарко, а по воскресеньям просто невозможно было бы поддерживать требуемую температуру; да потом откуда же взять столько угля и серы, — запасов всей Вселенной не хватит даже и на половину вечности. Не будь радия, не было бы и преисподней — такой, как полагается.

— Почему?

— Пришлось бы облачать души в какой-то иной материал. И они бы моментально сгорали, ускользая, таким образом, от адских мук. Часа не продержались бы. Что ж тут не понять?

— Теперь понимаю, после вашего объяснения. Я, видите ли, как-то всегда предполагал, что грешники представляют адскому огню свою естественную плоть, так они изображены на фресках Сикстинской капеллы, на картинках в книгах.

— Да, наши грешники выглядят точно такими, какие они были в жизни, но это на них не плоть, с плотью стало бы то же, что с вашим гектографом: залп, вспышка, сноп искр—и нет ничего; так что не было бы никакого смысла посылать их в ад на вечные муки. Поверьте, радий — идеальный материал.

— Да, теперь все стало понятно, — сказал я, поеживаясь от предвкушения грядущих неудобств. — Вы правы, сир.

— Еще бы не прав. У меня колоссальный опыт. Да что говорить, вы и сами убедитесь, когда попадете туда.

Он, вероятно, думал, что я сгораю от любопытства, но он просто еще мало меня знал. Он сидел с минуту задумавшись, потом сказал:

— Я решил помочь вам разбогатеть.

От этих слов на душе у меня стало веселее. Я поблагодарил его и весь обратился в слух.

— Вы, быть может, знаете, где находят в Новой Зеландии кости вымершей птицы моа? Их там целая гора высотой в двадцать футов, тысячи и тысячи скелетов. А знаете, где находят клыки мамонтов, населявших землю в ледниковый период? Неподалеку от устья Лены, там на площади в несколько акров их несметное множество, оттуда вот уже пять веков идут китайские караваны с драгоценным грузом. А знаете ли вы о фосфатных залежах у вас на Юге? Они мощными пластами залегают на много миль и представляют собой не что иное, как огромное кладбище гигантских животных, не существующих ныне нигде на земле, и повсюду на вашей планете имеются такие кладбища. Откуда взялся у этих животных инстинкт, который с приближением смерти гонит их всех издыхать в одно место? Это великая тайна природы, даже наука бессильна проникнуть в нее. Но факты таковы, а посему слушайте дальше. В течение вот уже многих миллионов лет существует кладбище светляков.

Полный радужных надежд, я слушал, разинув рот. Сатана сделал мне знак закрыть его и продолжал:

— Это кладбище находится на одном из снежных отрогов Кордильер, в чашевидном углублении величи-

ной примерно с половину этой комнаты. И эта чаша до краев наполнена — как вы думаете, чем? Чистейшим светлячковым радием, пылом и жаром ада. Вот уже многие тысячелетия мириады светляков прилетают туда каждый день, чтобы найти в той чаше смерть, и каждый светлячок приносит с собой дань — свою единственную бессмертную частицу, электрон чистого радия. Скопившейся там энергии достаточно, чтобы залить светом весь мир, снабдить до скончания века топливом все двигатели мира, весь транспорт. Всех денег на земле не хватит, чтобы купить эти сокровища. Итак, вы — мой; радий — ваш. Когда мадам Кюри получит чистый полоний, сделайте себе из него одежду и ступайте за своими сокровищами!

И он исчез, оставив меня в темноте, прервав на полуслове мою благодарственную речь. Чашу, полную радия, я найду по отсвету на небе; и очень скоро: когда эта гениальная женщина во Франции отделит полоний от висмута, я получу в свое распоряжение это незаменимое вещество. Акции продаются. Обращаться к Марку Твену.

ДОБРОЕ СЛОВО САТАНЫ

От редакции журнала «Харперс уикли»: «Мы имеем основания полагать, что автором публикуемого ниже письма за подписью Сатаны на самом деле является Марк Твен».

Редактору журнала «Харперс уикли».

Дорогой сэр и родственник!

Давайте раз и навсегда прекратим этот пустой разговор. Американское бюро заграничных христианских миссий ежегодно принимает пожертвования от меня, чего же ради ему отказываться от пожертвований мистера Рокфеллера? Всегда, во все века, три четверти даяний на благотворительные цели составляли «совестные деньги»¹, в чем легко убедиться, обратившись к моим счетным книгам. Это определение можно с успехом применить и к дару мистера Рокфеллера. Вся лавочка Американского бюро финансируется главным образом из могил. Посмертные дары, если угодно. «Совестные деньги» — признание старых преступлений и

¹ «Совестные деньги» — деньги, вносимые анонимно в государственную казну теми, кто ранее незаконно присвоил их или не выплатил в качестве налога. — *Прим. сост.*

сознательное совершение новых: ибо когда покойник занимается благотворительностью, он тем самым грабит своих наследников. Так неужели миссионеры отвергают дары только потому, что жертвователи повинны в старых или новых преступлениях, а чаще всего — и в тех и других?

С вашего разрешения, я продолжу. Обвинение, которое наиболее упорно, злобно и безжалостно выдвигают против мистера Рокфеллера, заключается в том, что его пожертвования навеки, несмываемо запятнаны клятвопреступлением, доказанным разными судебными инстанциями. В моих владениях такое обвинение вызывает у всех улыбку! Ведь в вашем гигантском городе не найдется ни одного богатого человека, который не совершал бы клятвопреступлений каждый год, когда наступает срок платить налоги. Все они с головы до ног покрыты в десять слоев ложью, закованы, так сказать, в прочную броню лжи. Если найдется хоть один богач, неповинный в этом, то я охотно куплю его для своего музея редкостей и уплачу за него, как за динозавра. Вы скажете, что усматриваете в действиях этих богачей не нарушение закона, а лишь ежегодные попытки обойти закон? Что же, если вам это приятно, можете тешиться тонкостями терминологии, но только до поры до времени! А вот когда вы перекочаете в мои владения, тогда я покажу вам нечто крайне любопытное: весь ад битком набит джентльменами, которые пытались обойти закон! Какому-нибудь откровенному правонарушителю нет-нет и удастся проскользнуть в рай, но господа, действующие в обход закона, — эти все достаются мне.

Однако вернемся к нашим баранам. Напомню вам, что мои миллионеры-мошенники весьма часто жертвуют деньги в пользу Американского бюро заграничных христианских миссий, а ведь это деньги, украденные у государства, причитавшиеся ему в уплату налогов, — то есть деньги греховные, дьявольские, мои. Значит и выходит, что это — мой дар; иными словами, мое заявление правильно: раз Бюро заграничных христианских миссий каждый день принимает мои пожертвования, чего ради ему отвергать пожертвования мистера Рокфеллера?! Ведь Рокфеллер — что бы там ни говорили разные суды — ничуть не хуже, чем я!

Сатана,

МОНОЛОГ КОРОЛЯ ЛЕОПОЛЬДА В ЗАЩИТУ ЕГО ВЛАДЫЧЕСТВА В КОНГО

Король¹ (швыряет на пол брошюры, которые читал. Возбужденно ерошит пышную бороду, стучит по столу кулаком, время от времени выкрикивает нецензурные слова; в промежутках между возгласами опускает голову и, целуя крест Людовика XI, висящий у него на груди, покаянно бормочет молитвы; затем встает, весь потный, красный, и, жестикулируя, принимается шагать взад и вперед по комнате). Ох, попадись они мне! (Суетливо целует крест, бормочет.) Сколько миллионов я потратил за эти двадцать лет, чтобы заткнуть рот борзописцам обоих полушарий, а правда нет-нет да и просачивается наружу. Сколько миллионов я потратил на религию и искусство, а что получил? Ничего. Никакой благодарности. Газеты умышленно замалчивают мои щедроты. В газетах — ничего, кроме клеветы, оголтелой клеветы, одной только клеветы. Даже если все и правда — все равно это клевета, раз направлено против короля!

Все до капли выбалтывают эти злодеи: как я обивал пороги Великих Держав, со слезами твердя стихи из Евангелия, источая благочестие из каждой поры своего тела, и упрашивал их доверить мне богатое обширное Свободное государство Конго с его огромным населением, дабы я мог искоренить там рабство, и положить конец работорговле, и вывести этот народ — все двадцать пять миллионов кротких, безобидных чернокожих — из тьмы на свет, на свет нашего благословенного Спасителя, на свет, излучаемый его великим учением, на свет, озаривший нашу замечательную цивилизацию, и осушить их слезы, и влить в наболевшую душу радость и чувство благодарности, внушив им, что они уже не отверженные, не угнетенные, а наши братья во Христе; и как Америка, вкупе с тринадцатью великими европейскими державами, прослезилась и вняла моим мольбам; как представители Держав собрались на Берлинскую конференцию и назначили меня главным распорядите-

¹ Леопольд II (1835—1909) — бельгийский король с 1865 г. В 1876 г. Леопольд организовал «Международную ассоциацию для исследования и цивилизации Центральной Африки», а затем «Международную ассоциацию Конго». Под прикрытием этой ассоциации захватил — на правах личной собственности — обширные территории в бассейне реки Конго с населением в двадцать миллионов человек. Проводил политику угнетения и откровенного грабежа коренного населения. — Прим. сост.

лем и управляющим государства Конго, наделив меня властью, но указав и ее границы: были детально оговорены нравственные и имущественные права местного населения, от меня потребовали запретить торговлю виски и оружием, учредить суды, обеспечить свободную торговлю для иностранных купцов и коммерсантов, а также свободную деятельность миссионеров любой религии и вероисповедания, с гарантией им личной безопасности. Эти злодеи выбалтывают, как тщательно я подготовил свою систему управления и подобрал себе сатрапов из числа своих «друзков» бельгийской национальности, и водрузил там свой флаг, и как поймал на удочку президента Соединенных Штатов, заставив его первым признать и приветствовать этот флаг. Ладно, пусть меня чернят по-всякому, я удовлетворен хотя бы тем, что сумел перехитрить нацию, возомнившую себя самой хитрой. Нечего говорить, обвел этих янки вокруг пальца! Пиратский флаг? Ну и что, не отрицаю, Как бы то ни было, но *янки сами же первыми его признали!*

Ох, уж эти мне пронырливые американские миссионеры! И эти разоблачители — британские консулы! И эти ябедники — предатели-бельгийцы, состоящие на официальной службе! Все они только и знают, что болтать, как попугай! Ведь это они выболтали, что я уже двадцать лет правлю государством Конго не как уполномоченный Великих Держав, не как их доверенное лицо и управляющий, а как император, властелин плодородного края, размеры которого в четыре раза превышают Германскую империю, как самодержец, ни перед кем не ответственный, поставивший себя над законом и поправший Берлинскую хартию. Выболтали, что я, через посредство подставных концессионеров, прибрал к рукам всю торговлю и не допускаю в Конго ни одного иностранного купца; что я захватил и крепко держу это государство, словно свою собственность, а огромные доходы от него кладу себе в карман; что я обратил многомиллионное население в своих слуг и рабов, присваиваю плоды их труда, зачастую даже не оплаченного, забираю себе — с помощью плети и пули, голода и пожаров, увечий и виселицы — каучук, слоновую кость и прочие богатства, которые добывают туземцы, мужчины, женщины и малые дети.

Ах, мерзавцы! Так и есть, ничего не утаили! Выболтали и эти и другие подробности. Как им только не стыдно? Ведь они разоблачают короля, а это личность священная и неприкосновенная, поскольку она избрана и

посажена на престол самим господом богом,— короля, критиковать которого — кощунство: ведь господь наблюдал мою деятельность с самого начала и не проявил немилости, не помешал мне, не остановил меня! Естественно, что я это воспринял как его одобрение, полное и безоговорочное. Так мне ли, удостоенному великой награды божьей, золотой, бесценной награды, тревожиться о том, что жалкие люди бранят меня и осуждают? (*Внезапно вспыхив.*) Да чтоб им на том свете... (*Спохватившись, пылко целует крест и жалобно бормочет.*) Бог меня накажет за такие речи!

Да, эти длинные языки выбалтывают все! Выбалтывают, что я облагаю население непомерными, прямо-таки грабительскими налогами, и туземцы, добывая каучук в невероятно тяжелых, с каждым днем все более тяжелых условиях, не могут заработать даже на налоги и должны вдобавок сдавать почти все, что они вырастили на собственных клочках земли; а когда (длинные языки выбалтывают и это!), изнемогая от непосильного труда, голода и болезней, отчаявшиеся люди бросают родной кров и бегут в леса, спасаясь от наказаний,— мои чернокожие солдаты, завербованные мною из враждующих племен, по наущению и под руководством моих бельгийцев устраивают облавы, безжалостно убивают их, сжигают деревни, и если кого еще щадят, так только девушек. Выбалтывается во всех подробностях, что я любыми способами истребляю обездоленный народ ради собственного обогащения. Но никто из этих писак не расскажет, хоть знают прекрасно, сколько трудов я за это же время положил на внедрение религии, что я посылаю в Конго миссионеров (выгодной для меня масти, как выражаются мои критики!) разъяснять туземцам греховность их жизни и повергать их к стопам того, кто, всеблагий и всепрощающий, неизменно и неусыпно печется о всех страждущих. Никто из них словечка не замолвит в мою пользу, все только и знают, что осуждать меня!

Они оповестили мир, что Англия потребовала от меня создания комиссии для расследования жестокостей в Конго, и я, желая ублажить непрошеную заступницу с ее мерзкой Ассоциацией по проведению реформ в Конго, состоящей из графов, епископов, разных там Джон-ов Морли¹, университетских знаменитостей и прочих

¹ Морли Джон (1838—1923) — английский писатель и публицист, впоследствии государственный деятель (с 1905 г. — министр по делам Индии). — *Прим. сост.*

кривляк, которым бы только совать нос в чужие дела, назначил такую комиссию. Но разве это заткнуло им рты? Напротив, они кричат, что комиссия составлена из моих «палачей Конго», «из тех самых людей, чья деятельность требует расследования». Они заявляют, что это равносильно тому, как если бы назначили стаю волков расследовать нападение на овечье стадо. Этим проклятым англичанам ничем не угодишь! ¹

А как бесцеремонно эти критики пишут о моей личной жизни! словно я какой-то плебей, фермер или рабочий! Пишут, например, что мой дворец с первых дней был не то молельней, не то публичным домом и развивал бурную деятельность в обоих качествах; что я изводил свою супругу и дочерей, подвергая их каждодневно жестокости и унижениям, и когда королева обрела наконец покой в гробу, я не позволил дочери, молившей меня об этом на коленях, взглянуть в последний раз на материнский лик; что три года тому назад, не ограничившись награбленным у целой нации, я отнял имущество у дочери и, с целью оправдать себя и довершить преступление, выступил на суде в качестве опекуна, покрыв себя стыдом в глазах цивилизованного мира. Говорю же я: жулики они, мошенники! Вытаскивают на свет и распространяют подобные грязные сплетни, да и любое, что может восстановить против меня людей, но скрывают те мои деяния, которые расположили бы

¹ По последним сведениям, миссионеры, находящиеся в Конго, признают, что комиссия, в общем, по-видимому, склонна рекомендовать проведение реформ. Один из членов комиссии — известное в Конго официальное лицо, другой — представитель бельгийского правительства, третий — юрист из Швейцарии. Но доклад комиссии будет опубликован лишь после того, как пройдет через руки короля, и лишь в том виде, как король утвердит его. Пока об этом ничего не слышно, хотя после окончания работы комиссии прошло уже полгода. Впрочем, ни для кого не тайна, что обнаружены и засвидетельствованы чудовищные злодеяния, несмотря на все усилия королевских приспешников опорочить показания миссионеров. Человек, присутствовавший на одном из заседаний комиссии, пишет: «Эти рассказы, раскрывшие перед комиссией страшную правду о том, какими путями добывается каучук, могли бы тронуть каменное сердце!» В одном месте, посещенном комиссией, приказали кое-что упорядочить, но не успела комиссия отбыть восвояси, как положение стало еще более тяжким, чем было до ее посещения. Что ж, хорошо, будем считать, что король сам себя обследовал. Часть дела выполнена. Следующее на повестке дня — расследование положения в Конго державами, несущими ответственность за создание этого государства. Одной из таких держав являются Соединенные Штаты. Подобного расследования добиваются, при помощи петиции на имя конгресса, Лаймен Эббот, Генри Ван-Дейк, Дэвид Стар Джорден и другие видные американские граждане. — *Марк Твен.*

людей в мою пользу. Я потратил на искусство больше средств, чем любой другой современный монарх, и они это знают. А рассказал ли кто-нибудь об этом? Нет! Предпочитают сочинять оскорбительные небылицы для детей младшего возраста на основе «чудовищных статистических данных», — хотят этим напугать сентиментальную публику и настроить ее против меня. Вот образчик их творчества: «Если бы кровью невинных жертв, пролитой королем Леопольдом в Конго, наполнить ведра и эти ведра поставить в ряд, то он протянулся бы на две тысячи миль; если бы скелеты десяти миллионов убитых им и умерших от голода туземцев могли встать и двинуться гуськом, то для того, чтобы всем им пройти какую-то определенную точку, понадобилось бы семь месяцев и четыре дня; если бы все эти скелеты сложить вместе, они заняли бы большую площадь, чем город Сент-Луис, включая и территорию Всемирной выставки; если бы эти скелеты разом хлопнули в ладоши, то леденящий душу треск был бы услышан на расстоянии...» Фу, черт, надоело! И не менее фантастичны их примеры, когда они хотят показать, какие деньги я выручил от перегонки негритянской крови. Пирамиды египетские из монет... пустыня Сахара, устланная ими... небо, заклеенное банкнотами настолько густо, что тень ложится на землю, погружая ее во мрак. И слезы, пролитые из-за меня... И сердца, разбитые мною... Нет, эти писаки не собираются оставить меня в покое! (*Погружается в раздумье.*)

Ничего... Зато я все-таки утер нос американцам! И то утешение. (*Насмешливо кривя губы, читает Указ президента о признании от 22 апреля 1884 года.*)

«...Правительство Соединенных Штатов выражает сочувствие и одобрение гуманным и благотельным целям (имеется в виду мой план захвата Конго!) и приказывает офицерам Соединенных Штатов на суше и на море салютовать этому флагу, как флагу дружественного государства».

Надо полагать, янки теперь не прочь отказаться от своего решения, но я ведь тоже не даром держу в Америке своих агентов! Да и вообще я не боюсь: никакое государство и никакое правительство не могут себе позволить признаться в своей ошибке! (*Самодовольно улыбаясь, начинает читать опубликованный доклад его преподобия У.-М. Моррисона, американского миссионера в Свободном государстве Конго.*)



«Привожу несколько примеров многочисленных зверств, свидетельствующих о том, что король Леопольд ввел в *систему* и практикует по сей день грабежи и жестокости по отношению к этому несчастному народу. Подчеркиваю: король Леопольд, ибо он, *он один*, несет за это ответственность, будучи *абсолютным монархом*. Так он сам себя величает.

Когда в 1884 году наше правительство заложило основы Свободного государства Конго, признав его флаг, оно еще не ведало, что эта фирма, выступающая под маской филантропии, по сути дела представляет собой короля Леопольда Бельгийского — одного из самых хитрых, безжалостных и бессовестных правителей, какие когда-либо занимали престол. Вдобавок Леопольд известен аморальностью в личной жизни, что прославило его и все его семейство на обоих континентах. Наше правительство безусловно не признало бы его флаг, если бы ему было известно, что Леопольд требует Конго в качестве своего личного владения, если бы оно понимало, что, уничтожив ценою моря крови и колоссальных расходов рабство африканцев у нас в Америке, оно способствует созданию *абсолютной монархии и гораздо более тяжелой формы рабства в самой Африке*».

(*Со злым торжеством.*) Да, провел я этих янки! Теперь им стыдно и досадно. Никак не могут с этим примириться. Но для них это позор и по иной причине — более серьезной: им теперь не вычеркнуть из своих летописей того постыдного факта, что их тщеславная республика, самозванная защитница и поборница свободы, — единственная из всех демократий мира употребила свою власть и влияние, чтобы создать *абсолютную монархию!* (*Сердито смотрит на высокую стопку брошюр.*) Черт бы их побрал, этих назойливых мух — миссионеров! Изводят тонны бумаги! Вечно вертятся под ногами, шпионят, подглядывают, хотят все увидеть собственными глазами и поскорее записать. Вечно рыскают по стране, и туземцы привыкли уже считать их своими единственными друзьями, к ним идут со своим горем, им показывают раны и рубцы, которыми наградили их мои полицейские, им, плача, показывают обрубки рук, жалуясь, что руки у них были отрезаны за то, что они доставляли мало каучука. А эти руки приказано сдавать начальству, дабы оно было в курсе, что туземцы не остались без наказания. Один миссионер насчитал восемьдесят одну руку, подвешенную над огнем для про-

сушки перед отправкой по назначению, и сразу же, конечно, записал это, а потом раззвонил на весь мир. Шляются по стране, шляются и все высматривают. И какой бы пустяк ни заметили, тут же спешат предать его гласности. *(Берет в руки брошюру под названием «Путешествие, совершенное в течение июля, августа и сентября 1903 года английским миссионером его преподобием А. Э. Скривенером». Читает.)*

«...Вскоре мы разговорились, и, даже без побуждений с моей стороны, туземцы стали рассказывать то, что мне уже приходилось неоднократно слышать. Они жили тихой и мирной жизнью, пока не появились из-за озера белые и не начали требовать от них разных услуг. Поняв, что это означает рабство, туземцы сделали попытку оградиться от непрошенных гостей, но не сумели устоять перед их устрашающими винтовками. Пришлось смириться и привыкать к новому положению. Сперва им приказали выстроить дома для солдат, и это они безропотно выполнили. Далее от них потребовали обеспечить питанием солдат и разных прихлебателей мужского и женского пола. И наконец послали собирать каучук. Раньше туземцы этим не занимались. Хотя лес был недалеко — за несколько дней можно было до него дойти, — они не знали, что растущие там каучуковые деревья представляют какую-нибудь ценность. Им пообещали небольшую плату, все и ринулись собирать каучук. «Чудаки эти белые, — удивлялись они, — дают нам материю и бусы за сок диких деревьев!» Все радовались столь неожиданному счастью. Но весьма скоро плату снизили, а еще через некоторое время приказали доставлять каучук бесплатно. Туземцы пытались протестовать, тогда солдаты, к их великому изумлению, пристрелили нескольких, а остальных бранью и тумаками заставили тотчас же отправиться в лес, пригрозив в противном случае перестрелять их тоже. Перепуганные люди пошли готовить кое-какую еду себе на дорогу, так как поход за каучуком должен был продлиться две недели. Но тут нагрянули солдаты и обнаружили, что они еще дома. «Как, еще не ушли?» Бах, бах! — и вот падает один, за ним другой, на глазах у жен и товарищей. Поднимается неистовый плач, люди просят отпустить их похоронить убитых, но им не разрешают. Всем немедленно отправляться на работу! Как, без пищи? Да, вот так! Несчастных угоняют в лес, не дав им захватить даже огнива. Многие умерли в лесах с голоду и

погибли от непогоды, но еще больше пало жертвами свирепых солдат местного гарнизона. Несмотря на все усердие людей, сбор каучука падал, и многим это стоило жизни. Меня водили по всей местности, показывали, где прежде находились деревни их вождя. По точным подсчетам, здесь, в радиусе около четверти мили, жило семь лет тому назад две тысячи человек. Сейчас едва ли насчитывается двести, и они так угнетены и подавлены, что быстро вымирают.

Мы пробыли там до понедельника вечером и успели побеседовать со многими людьми. В воскресенье несколько мальчуганов рассказали мне, что обнаружили какие-то кости, и на следующий день я попросил их показать мне эту находку. Недалеко от дома, где я остановился, прямо на траве, валялось много человеческих черепов, костей и целых скелетов. Я насчитал 36 черепов и заметил также немало скелетов без головы. Подозвав местного жителя, я спросил, что это означает. Он объяснил мне: «Пока белые вели с нами переговоры насчет каучука, солдаты перестреляли столько народу, что нам надоело хоронить, а очень часто нам это даже запрещали; приходилось оттаскивать мертвецов в траву и оставлять там. Тут их целые сотни, можете посмотреть». Но я уже повидал более чем достаточно и не в силах был больше слушать рассказы мужчин и женщин о пережитых ими ужасах. Болгарская резня¹ — пустяки по сравнению с тем, что творилось здесь! Не знаю, как они покорились, — даже сейчас, вспоминая, поражаюсь их терпению! Слава богу, кое-кому удалось бежать. Я провел там два дня и должен признаться, что сдача каучука произвела на меня впечатление. Я наблюдал длиннейшие очереди, как в Бонго. Каждый человек держал под мышкой корзиночку, каждому насыпали в ведро из-под каучука мерку соли, а старшему в артели швыряли еще два ярда ситцу. Я видел, как туземцы дрожат от страха, и это, вкуче со всем остальным, дало мне понять, каким террором их окружили и в каком рабстве их фактически держат».

Типичная манера: подглядеть, подслушать и сразу же бежать печатать любую дурацкую мелочь! Такой же точно и британский консул Кейзмент. Нашел *дневник*

¹ *Болгарская резня* — имеется в виду, скорее всего, болгарское народное восстание 1876 г., потопленное в крови турецкими войсками, зверски истреблявшими стариков, женщин и детей целыми деревнями. — *Прим. сост.*

одного из моих государственных служащих, и, хоть он носит сугубо личный характер и не рассчитан на посторонних читателей, у мистера Кейзмента хватило бестактности перепечатать из него отрывки. (Читает одну из записей.)

«Каждый раз, когда капрал отправляется за каучуком, ему дают патроны, и все нестреляные он обязан вернуть, а за каждый стреляный — доставить отрубленную правую руку. Мистер П. рассказал мне, что, если иногда удается убить на охоте зверя, они, с целью отчитаться за израсходованный патрон, отрубают руку у живого человека. Чтобы я лучше понял объем этой деятельности, он сообщил мне, что в районе реки Мамбого израсходовано за 6 месяцев 6000 патронов; это означает, что 6000 человек было убито или ранено. Впрочем, даже больше, так как я не раз слышал, что солдаты убивают детей прикладами».

Иногда этот хитрюга-консул решает, что молчание внушительнее слов. В данном случае он предоставляет читателям сделать вывод, что тысяча убитых и раненых за один месяц — это очень много для такой маленькой точки, как концессия на реке Мамбого. На приложенной им географической карте огромного государства Конго эта речушка даже не обозначена, что без слов указывает на ее размеры. Кейзмент своим красноречивым молчанием как бы хочет сказать: «Если в таком маленьком уголке тысяча жертв, сколько же их тогда во всей колоссальной стране?» Настоящий джентльмен не унизился бы до таких уловок.

Перехожу к вопросу об увечьях. С критиками дело обстоит так: не успеешь дать ему сдачи, как он извернется и хватить тебя с другого конца. Верткие они, просто акробаты! Когда в Европе начали кричать, что мы калечим людей (отрубаем им руки, половые органы и т. д.), мы тут же нашли удачный способ парировать удар, надеясь мгновенно положить противников на обе лопатки и заставить их навсегда замолчать. Мы начали храбро валить этот обычай на туземцев — это, мол, их изобретение, мы только следовали их примеру. И, думаете, мы выиграли этот раунд, заткнули им рты? Какое там! Они увернулись и употребили против нас новый приемчик: «Если король, исповедующий христианскую религию, способен найти себе моральное оправдание в том, что не он изобрел кровавые жестокости,

а лишь подражает дикарям, так пусть он, бог с ним, те- шится этим оправданием!»

Хитро орудует этот соглядатай консул! (*Перелисты- вает брошюру под названием «Обращение с женщинами и детьми в государстве Конго. Что видел мистер Кейз- мент в 1903 году».*) Всего лишь два года назад! Это он нарочно, с тонким расчетом сует под нос читателям да- ту! Для того, чтобы опровергнуть заверения моего га- зетного синдиката, что я *прекратил* свои жестокости в Конго, что все это давным-давно уже кончилось. С ка- ким наслаждением этот Кейзмент роется в мелочах, как злорадно носится со своими открытиями, упивается ими, обсасывает каждую глупость. Чтобы понять, к чему он стремится, вовсе не нужно штудировать эту снотвор- ную книжицу, достаточно прочесть начало каждой гла- вы. (*Читает.*)

«240 человек — мужчин, женщин и детей — обязаны еженедельно сдавать государству тонну высококачест- венных пищевых продуктов за царскую плату 15 шил- лингов 10 пенсов, иначе говоря — даром!»

Неправда, это щедрая плата. Почти пенс в неделю на каждого черномазого! Консул нарочно преуменьша- ет, а ведь знает же отлично, что я мог бы и вовсе не платить — ни за продукты, ни за труд. Могу привести тысячу фактов в доказательство. (*Читает.*)

«Карательная экспедиция в деревню, запоздавшую с поставками. Убито 16 человек, в том числе три женщи- ны и ребенок пяти лет. 10 человек взяты в качестве за- ложников, среди них ребенок, который по дороге умер».

Мистер Кейзмент обходит молчанием то обстоятель- ство, что мы *вынуждены* брать заложников, если люди не могут нам заплатить. Тогда семьи, сбежавшие в ле- са, продают кого-нибудь из своих в рабство и на эти деньги выкупают заложников. Кейзмент отлично знает, что я и сам был бы рад это прекратить, если бы нашел лучший способ выколачивать из них долги. Ух! Еще один образчик такта: консул приводит свой разговор с туземцами:

«Вопрос. Откуда вам известно, что именно белые приказали расправляться с вами столь жестоко? Ско-

рее можно поверить, что такие зверства совершали чернокожие солдаты, без ведома белых.

Ответ. Белые говорили солдатам: «Вы убиваете одних женщин, а мужчин не трогаете. Доставьте доказательства, что убили мужчин. Тогда солдаты, убивая наших... (он смущенно замялся, указывая на...)» делали так и несли белым, и те им говорили: «Теперь мы верим, что вы убили *мужчин*».

Вопрос. Вы все это подтверждаете? И со многими убитыми это сделали?

Тут все закричали: «Нкото! Нкото!» — то есть очень много, очень много.

Несомненно, эти люди ничего не сочиняли. Такое волнение, такой гнев, такую ненависть на лицах симулировать было бы невозможно!»

Конечно, критику было необходимо раззвонить об этом: самоуважения ни на грош! Все его единомышленники набросились на меня, будто не понимая, что я сам не рад наказывать людей таким образом, а делаю это исключительно в назидание другим преступникам. Обычные меры наказания на глупых дикарей не действуют, не производят на них впечатления. (*Снова принимается за чтение.*)

«Опустевший район: из 40 000 жителей осталось 8000».

Кейзмент не дает себе труда разъяснить, как это случилось. Он все нарочно окутывает тайной. Надеется, что читатели и все эти господа, такие, как лорд Абердин, Норбери, Джон Морли и сэр Гилберт Паркер¹, ратующие за реформы в Конго, подумают, что этих людей убили. А вовсе нет. Подавляющее большинство их скрылось. Забрали семьи и сбежали в лес, спасаясь от облав, и там вымерли с голоду. Разве мы могли это предотвратить?

Один из жалостливых критиков замечает: «Другие христианские правители хоть и взимают налоги со своих подданных, но зато дают им школы, органы правосудия, дороги, воду и свет, охраняют их жизнь; а король Леопольд облагает украденную им страну налога-

¹ Лорд Абердин Джон Кэмпбел Гордон (1847—1934) — английский политический деятель, с конца 1905 г. стал губернатором Канады, позже — вице-король Ирландии; Паркер Гилберт (1860—1932) — английский писатель и политик, сторонник империалистов своей страны. — *Прим. сост.*

ми, но ничего не дает народу, кроме голода, горя, позора и рабства, кроме террора, тюрем, увечий и массового истребления». Типичная манера критиков! Стало быть, я ничего не даю? А Евангелие, которое я посылаю оставшимся в живых? Ведь знают же это пасквилянты прекрасно, но скорее позволят вырвать себе язык, чем скажут правду! Я неоднократно повторял наказ, чтобы во время облав умирающим подносили целовать святой крест, и если это выполнялось, то я, несомненно, был смиренным орудием спасения многих душ. Ни у одного из моих хулителей не хватит порядочности рассказать об этом, но я прощаю им; всевышнему и так все известно, и в этом я черпаю утешение и поддержку». *(Кладет на место доклад, берет брошюру, раскрывает посередине и пробегает глазами страницу.)*

Вот он откуда пошел, этот разговор о «западне»! Еще один шпион-миссионер, его преподобие У.-Г. Шепард! Беседовал с кем-то из моих чернокожих наемников после облавы и выманил у него кое-какие сведения. Вот что он тут рассказывает:

«— Я потребовал тридцать рабов отсюда и тридцать с другого берега,— сказал мне этот человек,— два слоновых клыка, две тысячи пятьсот комков каучука, тринадцать коз, десять штук домашней птицы, шесть собак и еще кое-чего.

— А по какой причине началось побоище? — спросил я.

— Я созвал на определенный день всех вождей с их помощниками и всех жителей — мужчин и женщин, пообещав закончить на этот раз переговоры. Когда они вошли через узенькие ворота (а забор был очень высокий, как здесь водится, из жердей, привезенных из других деревень), я потребовал выполнения моего приказа и пригрозил, что в противном случае они будут убиты, но они отказались платить, тогда я велел запереть ворота, чтобы они не убежали, и мы их перестреляли. Но часть забора рухнула, и некоторым все-таки удалось спастись бегством.

— Сколько же вы убили народу? — поинтересовался я.

— Да немало. Желаете взглянуть?

Именно этого мне и хотелось.

— Думаю, что мы убили человек восемьдесят — девяносто; насчет других деревень не знаю: сам я туда не ездил, а посылаю своих людей.

Вместе с ним мы вышли в степь, расстилавшуюся за лагерем. Там на траве лежали три трупа, зачищенные до костей, начиная от пояса.

— Кто это их так искромсал? — спросил я.

— Мои люди съели их, — ответил он без запинки. Потом добавил: — Только те, у кого маленькие дети, не едят человеческого мяса, остальные не отказываются.

Слева от нас лежал труп рослого мужчины без головы, с огнестрельной раной на спине. (Все трупы были голые.)

— Куда девалась его голова? — спросил я.

— О, из нее сделали миску, тереть табак и диамбу.

Продолжая осмотр, мы бродили до вечера и насчитали сорок один труп. Остальные были употреблены на еду.

На обратном пути мы заметили труп молодой женщины, убитой выстрелом в затылок, без одной руки. Я попросил объяснения, и Мулунха Нкуса ответил, что им велят у всех отрубать правые руки и сдавать государству по возвращении из экспедиции.

— А не могли бы вы показать мне эти руки? — спросил я.

Он провел меня под навес, где тлел костер, и там я увидел все эти правые руки, висевшие над огнем; я насчитал 81.

У них в заключении томилось не меньше 60 женщин (Бена Пьянга). Я их видел. Мы считаем, что подвергли это преступление весьма тщательному расследованию. По нашему мнению, оно было совершено в соответствии с предварительным планом: обобрать туземцев до нитки, загнать этих несчастных в западню и уничтожить».

Итак, *еще одна* подробность — людоедство! С оскорбительной назойливостью теперь заговорили о людоедстве. Причем клеветники не упускают случая подчеркнуть, что поскольку я самодержец и одного моего слова достаточно, чтобы любое дело прекратить, поскольку все, что совершается, совершается с моего соизволения и может быть причислено к *моим* действиям; иначе говоря, это делаю я, а рука моего агента — по сути дела моя рука! Неудивительно, что меня изображают в королевской мантии, с короной на голове, жующим человеческое мясо и возносящим благодарственную послеобеденную молитву. О господи, когда добрым людям попадает такая писанина, как исповедь этого миссионера, они просто теряют покой. Начинают кошун-

ствовать — сетовать на бога: как, мол, он терпит на земле такого дьявола? То есть меня! На их взгляд, это непорядок. Их в дрожь бросает при мысли, что за двадцать лет моего владычества число жителей Конго сократилось с 25 миллионов до 15. «Король, у которого на совести 10 миллионов убийств! — шипят они и добавляют: — Рекордсмен!»

А многие уверяют, что не 10 миллионов, а гораздо больше: мол, если бы не моя деятельность, то при естественном приросте населения в Конго было бы в настоящее время 30 миллионов, — значит, на моей совести еще 5 миллионов, а в общей сложности 15 миллионов. При этом вспоминают сказочку о человеке, убившем курицу, которая несла золотые яйца, — сколько бы она еще снесла, не перережь он ей горло! Таким-то образом я и вышел в рекордсмены! Вспоминают, что в Индии раза два в тридцать лет Царь-Голод уносит до 2 миллионов из ее 320 миллионов жителей, и весь мир содрогается от ужаса и проливает слезы; а потом смеют уверять, что миру не хватило бы слез, если бы я и Царь-Голод на 20 лет поменялись местами. Людская фантазия все пуще распаляется, и вот уже кто-то вообразил такое: двадцатилетний срок кончился, и Царь-Голод является ко мне и падает мне в ноги со словами: «Наставляй меня, о господин мой, теперь я уразумел, что я лишь скромный твой ученик!» Или такая картинка: приходит Смерть со своей косой и песочными часами, предлагает мне в жены свою дочь, хочет передать мне все свое дело, чтобы я его реорганизовал и возглавил. Возглавил всемирную фирму! Болезненная фантазия людей уже не знает удержу: начинают выискивать аналогии в мировой истории, штудируют биографии Аттилы, Торквемады¹, Чингисхана, Ивана Грозного и прочей подобной публики и, злорадно торжествуя, заявляют, что нет мне равного. Тогда принимаются изучать знаменитые землетрясения, ураганы и бури, извержения вулканов и другие катастрофы, и выносят решение: всем им далеко до меня! Но наконец они все-таки находят (так им по крайней мере кажется) одно подходящее сравнение и нехотя признают, что было такое бед-

¹ *Торквемада* Томас (ок. 1420—1498) — глава инквизиции в Испании, составил законы и разработал процедуру инквизиции; отличался исключительной жестокостью (как и перечисленные рядом с ним Аттила, Чингисхан и Иван Грозный). Торквемада ввел в практику публичное сожжение еретиков на костре (аутодафе), при нем было казнено более десяти тысяч человек. — *Прим. сост.*

стве, как я,— правда, одно-единственное — *всемирный потоп*. Ишь куда загнули!

Но это они всегда так. При малейшем упоминании моего имени они уже не могут оставаться спокойны, как не может стакан с водой контролировать свои чувства, когда в него всыпают зейдлицкий порошок. Какая только чушь не лезет им в голову! Один англичанин предложил заключить со мной пари — на какую угодно сумму, вплоть до 20 000 гиней,— что в течение двух миллионов лет никто из других приезжих не затмит меня в аду. Ослепленный злобой, этот человек даже не соображает, сколь глупа его идея. Глупа и лишена делового расчета: ни он, ни я фактически не выиграем пари, ибо потерпим колоссальные убытки на процентах, которые за это время нарастут на наши ставки. Ведь к моменту истечения срока пари, при четырех-пяти сложных процентах, скопилось бы столько денег (мне и суммы-то не называть!), что на них вполне можно было бы купить всю преисподнюю!

Другой сумасшедший рвется увековечить мое имя памятником из 15 миллионов черепов и скелетов и с пеной у рта хлопчет о своем невероятном проекте. Он уже все рассчитал и вычертил в масштабе. Этот мой памятник-мавзолей, сооруженный из черепов, должен быть точной копией пирамиды Хеопса: площадь основания — 13 акров, высота — 451 фут. Меня этот маньяк намерен набальзамировать и установить на вершине пирамиды, в короне и королевской мантии, с «пиратским флагом» в одной руке и ножом мясника и наручниками — в другой. Пирамида должна быть воздвигнута в безлюдной местности, среди замшелых, заросших сорняком развалин сожженных деревень, где в унылый вой ветра вплетаются стоны мертвецов, замученных голодом и пытками. От пирамиды будут отходить радиально 40 широких подъездных аллей, каждая длиной в 35 миль, обсаженных обезглавленными скелетами на расстоянии полутора ярдов друг от друга. Все скелеты, по плану, скованы между собой цепями, а цепи крепятся к запястьям при помощи старого испытанного средства — железных наручников, на которых красуется моя торговая марка: нож мясника, положенный поперек креста, и девиз: «Сим богатею». На каждой стороне аллеи 200 000 скелетов, то есть всего 400 000. Автор проекта не без удовольствия отмечает, что, если вытянуть все 15 миллионов скелетов в одну линию, они займут 3000—4000 миль, что равно расстоянию от Нью-Йорка

до Сан-Франциско. Бодрым тоном директора железнодорожной компании, сообщающего о блестящих перспективах строительства новых путей, он приводит такие данные: работая на полную мощность, я даю ежегодно 500 000 покойников, а значит, если мне будет отпущено ещё 10 лет жизни, я обеспечу нужное количество черепов, чтобы добавить к пирамиде ещё 175 футов, превратив ее в самое высокое архитектурное сооружение на свете, и нужное количество скелетов, чтобы продолжить трансконтинентальную линию (на сваях) на тысячу миль от берега в Тихий океан. Этот идиот подсчитал, сколько будет стоить добыча материалов из моих «широко разбросанных по стране неофициальных кладбищ» и перевозка их на место, а также само строительство пирамиды и величественных аллей: это обойдется в миллионы гиней; и знаете, что нашему психопату взбрело на ум? *Чтобы я все это финансировал! ...!! ...!! (Несколько раз пылко целует крест.)* Он напоминает, что Конго приносит мне ежегодно многомиллионные доходы, а на осуществление его проекта, мол, требуется «только» 5 миллионов! Что ни день, то какой-нибудь маньяк пытается запустить руку в мой карман, но, правда, я на это не реагирую, меня не проймешь! А вот этот — этот беспокоит меня, действует мне на нервы, — бог знает, что еще взбредет в голову такому разболтанному субъекту!.. Еще, чего доброго, вспомнит Карнеги... Нет, нет, прочь такие мысли! Они отравляют часы моего бодрствования, мешают спать по ночам. Так ведь и с ума сойти недолго! *(Пауза.)* Хочешь не хочешь, а, видимо, придется купить Карнеги¹. *(Шагает взад и вперед, взволнованно бормочет, потом начинает опять читать брошюру консула Кейзмента.)*

«Власти заморили голодом малолетних детей одной женщины и убили ее старших сыновей».

«Безжалостное уничтожение женщин и детей».

«Лишенные надежд, туземцы окончательно впали в апатию».

«Солдаты с каучуковых плантаций заковали женщин в железные воротники».

«Женщины отказываются рожать, потому что, имея на руках детей, трудно убежать и прятаться от солдат».

¹ Карнеги Эндрью (1837—1919) — американский миллиардер и меценат. Начав подмастерьем на хлопчатобумажной фабрике, приобрел огромное состояние спекуляциями на бирже. — *Прим. сост.*

«Рассказ ребенка: «Мы все побежали в лес — я, мама, бабушка и сестра. Солдаты убили очень много наших... Вдруг они заметили в кустах мамину голову и подбежали к нам, схватили маму, бабушку, сестру и одного чужого ребенка, меньше нас. Все хотели жениться на моей маме и спорили между собой, а под конец решили убить ее. Выстрелили ей в живот, она упала, и я так ужасно заплакал, когда это увидел, — у меня теперь не было ни мамы, ни бабушки, один я остался. Их убили у меня на глазах».

Вообще-то, жаль, конечно, хоть они были и черномазые! Вспоминаю, когда мои дети были малы, они тоже имели привычку прятаться в кусты, заметив мое приближение. (*Читает.*)

«Вспороли ребенку ножом живот...»

«Отрубив руки, понесли их белому офицеру и выложили в ряд для обозрения».

«Солдаты оставили пойманных детей умирать в лесу».

«Друзья пришли выкупать девушку, но караульные прогнали их, сказав, что белый человек хочет оставить ее для себя, так как она молодая».

«Из рассказа девушки туземки: «По пути солдаты заметили ребенка и направились к нему с намерением убить; ребенок засмеялся, тогда солдат размахнулся и ударил его прикладом, а потом отрубил ему голову. На другой день они убили мою сводную сестру, отрубили ей голову, и руки и ноги, на которых были браслеты. Потом поймали другую мою сестру и продали ее племени у-у. Теперь она стала рабыней».

Ребенок засмеялся! (*Долгая пауза. Размышляет.*) О, невинное дитя! Лучше бы он не смеялся, мне это как-то неприятно. (*Читает.*)

«Искалеченные дети».

«Власти одобряют работоторговлю между племенами».

«Для уплаты громадных штрафов, наложенных на деревни за задержку принудительных поставок, туземцам приходится продавать в рабство детей и товарищей».

«Родители вынуждены продать своего маленького сына».

«Вдова вынуждена продать свою маленькую дочь».

Черт побери этого допотопного брюзгу, что ж, по его мнению, должен был я делать? Дать поблажку вдове только потому, что она вдова? Будто он не знает, что нынче там, кроме вдов, почти никого и не осталось! Вдовы как таковые мне не мешают, я против них ничего не имею, но деловую сторону я должен помнить, мне тоже надо жить, хоть кое-кому это неуютно! (*Читает.*)

«Мужчин запугивают пытками жен и дочерей (чтобы они быстрее сдавали каучук и пищевые продукты). Стражник сообщил мне, что он захватил этих женщин и привел сюда (заковав в железные воротники и соединив цепью) по приказу своего начальника».

«По словам агента, его заставляли ловить главным образом женщин, так как тогда мужья спешили уплатить задолженность; но он не рассказал, где достают себе пропитание дети, у которых отняты родители».

«Партия пленников — 15 женщин».

«Женщины и дети обречены на голодную смерть в тюрьме».

Голодная смерть! Страшные, нестерпимые муки, длящиеся много, много дней и еще много, много дней. Силы тают постепенно, медленно иссякая... Да, это, пожалуй, самая страшная из всех смертей. Видеть, как проносят каждый день мимо тебя еду, а тебе не дают... Конечно, малыши плачут от голода, терзая этим материнское сердце!.. (*Вздыхает.*) Ох, что же делать, иначе нельзя, обстоятельства вынуждают нас поддерживать дисциплину. (*Читает.*)

«60 женщин распяты».

Вот уж это бестактно и глупо! Христианский мир содрогнется, прочитав такое сообщение, начнет вопить: «Профанация святой эмблемы!» Да, тут уж наши христиане загудят! 20 лет меня обвиняли в том, что я совершал по 500 000 убийств в год, и они молчали, но профанация Символа — это для них вопрос серьезный. Они сразу вострепечутся и начнут копать в моем прошлом. Гудеть будут? Еще как! Я, кажется, уже слышу нарастающий гул... Конечно, не следовало распинать этих женщин, разумеется, не следовало. Теперь мне самому это понятно, и я сожалею, что так случилось, ис-

кренне сожалею. Как будто нельзя было попросту содрать с них кожу? (*Вздыхает.*) Но никто из нас об этом не подумал,— разве все предугадаешь? И кто из людей не ошибается?

Да, эти казни на кресте наделают много шума. Как уже не раз бывало, люди опять начнут спрашивать, неужто я надеюсь завоевать и сохранить уважение человечества, если буду по-прежнему посвящать свою жизнь грабежам и убийствам. (*Презрительно.*) Интересно знать, когда они от меня слышали, что я нуждаюсь в уважении человечества? Не принимают ли они меня за простого смертного? Уж не забыли ли они, что я король? Кто из королей ценил когда-нибудь уважение человечества? Я имею в виду — ценил по-настоящему, в глубине души? Если бы эти люди поразмыслили, они бы поняли, что королю просто нет смысла ценить чье-то уважение. Он вознесен на недостижимую высоту и, оглядывая лежащий перед ним мир, видит несметные сонмища жалких людишек, которые поклоняются десятку людей и терпят их гнет и эксплуатацию, а люди эти ничуть не лучше и не благороднее их и созданы по тому же подобию, вернее — из той же грязи. Послушать их *речи*, так вообразишь, что они киты, но король-то знает, что они не киты, а лягушки. История выдает их с головой. Если бы люди были *людьми*, разве допустили бы они, чтобы существовал русский царь? Или я? А мы существуем, мы в безопасности и с божьей помощью будем и далее продолжать свою деятельность. И род человеческий будет столь же покорно принимать наше существование. Кое-когда, может быть, состроит недовольную гримасу, произнесет зажигательную речь, но так и останется на коленях.

Вообще зажигательные речи — одна из специальностей рода человеческого. Вот он взвинтит себя как следует, и кажется: сейчас запустит кирпичом! Но все, на что он способен, это... родить стихи. Боже мой, что за племя! (*Читает стихотворение Б.-Г. Нэйдела в «Нью-Йорк таймс».*)

ЦАРЬ — 1905 ГОД

Обломок деспотий, картонный автократ,
Угрюмый отблеск гаснувших планет,
Свечи оплывшей тусклый, слабый свет
В лучах зари, что небо золотит.
Прогнивший плод, который портит сад,
Покинут богом, временем забыт.

Непрочный идол ледяных широт!
Ему безгласный молится народ,
Но идол слышит, как земля дрожит.
И сквозь тяжелый, цепящийся сон
Донесся гул: то гром загрохотал,
И, руша скалы, катится обвал,
И гибель царства льда со страхом чует он.

Красиво, внушительно; надо признать, что сделано яркими мазками. Этот ублюдок владеет кистью! Все же попадись он мне в руки, я бы его распял... *«Непрочный идол...»* Правильно, это точная характеристика царя: идол, и притом непрочный, мягкотелый, некое царственное беспозвоночное; бедный молодой человек — жалостливый, не от мира сего. *«Ему безгласный молится народ...»* Суровая правда, и выражено кратко, лаконично: в одной этой фразе заключена душа и ум человечества. 140 миллионов на коленях. На коленях перед маленьким жестяным божком. Поставьте их на ноги, соберите вместе, и они заполнят необъятное пространство, теряясь в безбрежной дали, — даже в телескоп не разглядишь, где конец этой покорной массы. Так как же может король ценить уважение человечества? Для этого нет оснований! Между прочим, занятное изобретение — род человеческий. Критикует меня и мою деятельность, забывая, однако, что без его санкции не было бы ни меня, ни моей деятельности. Он — союзник монархов и мощный наш защитник. Он — наша поддержка, наш друг, наш оплот. За это он удостоен нашей благодарности, глубокой и искренней, но не уважения, нет! Пусть брзжит, ворчит, сердится, — ничего, нас это не тревожит. (*Листает альбом, время от времени оставивается, чтобы прочесть газетную вырезку и высказаться по поводу нее.*) Как, однако, все эти поэты травят беднягу царя! Каждый поэт — французский, немецкий, английский, американский — готов его облаять. Самые лучшие и способные из этой братии, и притом самые злые, — это Свилбурн — кажется англичанин, и парочка американцев: Томас Бейли Эдридж и полковник Ричард Уотерсон Гилдер¹, которых печатают сентиментальные журнал «Сенчюри» и газета «Луисвилл курьер джорнел». Эти вопят громче всех... куда это я

¹ Свилбурн... Эдридж... Гилдер... — Леопольд коверкает фамилии английского поэта Чарльза Олджернона Суинберна (1837—1909) и американского писателя Томаса Бейли Олдрича (1836—1907), а также второе имя американского публициста и журнального редактора Ричарда Уотсона Гилдера (1844—1909). — Прим. сост.

заложил их сочинения, не нахожу... Если бы поэты умели не только лаять, но и кусаться, тогда бы, о!.. Хорошо, что это не так. Мудрому царю поэты не страшны, но поэты этого не знают. Невольно вспоминаешь собачонку и железнодорожный экспресс. Когда царский поезд с грохотом пронесется мимо, поэт выскакивает и мчится следом несколько минут, заливаясь бешеным лаем, а потом спешит назад в свою конуру, самодовольно оглядываясь по сторонам, уверенный, что напугал царя до смерти, а царь и понятия не имеет, что он там был! На меня они никогда не лают. Почему? Вероятно, мой департамент взятки подкупает их. Да, наверное это так, иначе кто, как не я, вызывал бы их яростный лай? Ведь материал-то первоклассный! А-а, вот, кажется, что-то и в мой огород! (*Читает вполголоса стихотворение.*)

Кто право дал тебе душить надежду
И темный твой народ топить в крови?

Какою властью тебе дана
Столь страшная, столь зрелая жестокость?

Ужасно... Боже, ты, кто это видишь,
Избавь от изверга такого землю!

Нет, ошибся, это тоже адресовано русскому царю¹. Но иные люди могут сказать, что это подходит и ко мне, и притом довольно точно. «*Столь зрелая жестокость...*» Жестокость русского царя еще не созрела, но что касается моей, то она не только созрела, а уже и гниет! Никак им рот не заткнешь,—они воображают, что это очень остроумно! «*Изверг!*» ...Нет, пусть эта кличка остается царю, у меня ведь уже есть своя. Меня давно называют чудовищем—это они очень любят,—преступным чудовищем. А теперь еще прибавили перцу: где-то выкопали доисторического динозавра длиной в 57 и высотой в 16 футов, выставили его в музей в Нью-Йорке и назвали Леопольд II. Однако меня это не трогает, от республики нечего ждать хороших манер. М-м... Кстати, а ведь на меня никогда не рисовали карикатур. Может быть, это потому, что злодеи художники еще не нашли такого оскорбительного и страшного изображения, какое отвечало бы моей репутации? (*После размышления.*) Ничего не остается, как только купить динозавра. Купить его и изъять! (*Опять углубляется в чтение заголовков.*)

¹ Луиза Морган Силл в «Харперс уикли». — Прим. М. Т.

«Новые факты калечения детей (отсечение рук)».

«Показания американских миссионеров».

«Свидетельство английских миссионеров».

Старая песня, нудное повторение и перепевы зата-сканных эпизодов: калечение, убийства, резня и так далее и тому подобное; от такого чтения клонит ко сну!

А вот еще непрошеное явление: мистер Морел со своими излияниями, которые он мог бы с успехом оставить при себе; вводит, разумеется, для важности курсив — такие, как он, жить не могут без курсива!

«Это сплошной душераздирающий рассказ о человеческих страданиях, и произошло это *совсем недавно*».

Он имеет в виду годы 1904-й и 1905-й. Мне непонятно поведение этого человека. Ведь Морел — королевский подданный, и почтение к монархии должно было бы сдерживать его разоблачительный пыл в отношении меня. Морел хлопочет о реформах в Конго. Это одно уже характеризует его в достаточной мере. Он издает в Ливерпуле листок «Вест-Африкен мейл», существующий на добровольные пожертвования разных сердобольных олухов, и каждую неделю эта газетка кипит, дымит и извергает зловоние, что должно означать последние известия о «зверствах в Конго» по образцу того, что стряпается вот в этой куче книжонок. Надо прикрыть эту газетку! Я изъял книгу о зверствах в Конго, когда она была уже отпечатана, а с газетой разделаться мне и во-все просто!

(Разглядывает фотографии изувеченных негров, потом швыряет их на пол. Со вздохом.) «Кодак» — это просто бич. Наш самый опасный враг, честное слово! В былые дни мы просто «разоблачали» в газетах рассказы об увечьях, отбрасывая их как клевету, выдумку, ложь назойливых американских миссионеров и разных иностранных коммерсантов, наивно поверивших «политике открытых дверей в Конго», провозглашенной Берлинской хартией, и нашедших эти двери плотно закрытыми. С помощью газет мы приучили христианские народы всего мира относиться к этим рассказам с раздражением и недоверием и ругать самих рассказчиков. Да, в доброе старое время гармония и лад царили в мире. И меня считали благодетелем угнетенного, обездоленного народа. Как вдруг появляется неподкупный «кодак», и вся гармония летит к чертям! Единственный

очевидец за всю мою долголетнюю практику, которого я не сумел подкупить! Каждый американский миссионер и каждый потерпевший неудачу коммерсант выписывает себе аппарат, и теперь эти снимки проникли повсюду, как мы ни стараемся перехватывать их и уничтожать. С 10 000 церковных кафедр, со страниц 10 000 газет идет сплошным потоком прославление меня, в категорической форме опровергаются все сообщения о зверствах. И вдруг — нате, скромный маленький «кодак», который может уместиться даже в детском кармане, встанет и бьет наотмашь так, что у всех разом отнимается язык... А это еще откуда отрывок? (*Начинает читать.*)

«Впрочем, оставим попытки рассказать о всех его преступлениях! Их список бесконечен, неисчерпаем. Страшная тень Леопольда лежит на Свободном государстве Конго, под этой тенью с невероятной быстротой чахнет и вымирает кроткий пятнадцатимиллионный народ. Это страна могил, Свободное кладбище Конго. Здесь все имеет царственные масштабы: ведь этот кошмарнейший эпизод в истории — дело рук *одного* человека, одной-единственной особы: короля бельгийского Леопольда. Он, и только он, несет личную ответственность за все бесчисленные преступления, запятнавшие историю государства Конго. Он там *полноправный* хозяин, абсолютный властелин. Достаточно было бы одного его приказа, и давным-давно кончились бы все злодеяния, достаточно ему и сейчас сказать слово, и все будет прекращено. Но он этого слова не произносит. Для его кармана это невыгодно.

Удивительно наблюдать, как король огнем и мечом уничтожает страну и ее мирных жителей — и все во имя денег, исключительно во имя звонкой монеты. В жажде завоеваний есть нечто царственное — короли извечно предавались этому эlegantному пороку; мы к этому привыкли и по привычке прощаем, усматривая в этом что-то благородное; но *жажда денег, жажда серебра и медяков, самых заурядных грязных денег* — не для того, чтобы обогатить свою страну, а чтобы набить *собственный кошелек*, — это ново! Это вызывает у нас гадливое чувство, презрительное осуждение. Мы не можем примириться с такими действиями, мы называем их гнусными, неприличными, недостойными короля. Как демократы, мы должны бы издеваться и хохотать, мы должны бы радоваться, когда пурпурную мантию марают в грязи; однако мы почему-то не радуемся. Вот

перед нами этот страшный король, этот безжалостный король-кровопийца, ненасытный в своей безумной алчности, на высоком, до неба, памятнике собственных злодеяний, изолированный, оторванный от всего остального человечества, убийца в целях наживы, каких не было даже среди его касты — ни в древности, ни в наши дни, ни среди христиан, ни среди язычников; естественный, законный объект презрения для всех слоев общества — и низших и высших, человек, которого должны бы проклинать все те, кто не жалуется тиранов и трусов; и вот, как это ни удивительно, *мы предпочитаем не смотреть* — по той причине, что это король, и нам больно и неприятно, наш древний атавистический инстинкт страдает, когда монарх падает так низко, и мы не желаем слышать подробностей о том, как это произошло. А увидев их в газете, *мы с содроганием отворачиваемся*.

Правильно, вот это меня и спасает. И вы будете продолжать в том же духе. Я знаю человеческую природу.

Ошибка, допущенная в самом начале

«Эта „цивилизаторская“ деятельность явилась колоссальным, непрерывным истреблением людей»... «Все факты, доложенные нами депутатам этой палаты, вначале энергично опровергались, но постепенно они подтвердились документами и официальными текстами»... «Говорят, что практика отрубания рук противоречит инструкции, однако вы просите отнестись к ней снисходительно, мотивируя тем, что «мало-помалу» этот дурной обычай будет изжит; более того, вы утверждаете, что руки отрубали только у *павших* врагов, а если отрубали у тех, кто еще не умер, и эти бесвестные люди, выжив, шли показывать миссионерам свои обрубки, то всему виной была ошибка, допущенная в самом начале, когда живых приняли за мертвых»... *(Из дебатов в бельгийском парламенте в июле 1903 года.)*

ВОЕННАЯ МОЛИТВА

То было время величайшего волнения и подъема. Вся страна рвалась в бой — шла война, в груди всех и каждого горел священный огонь патриоти-

зма; гремели барабаны, играли оркестры, палили игрушечные пистолеты, пучки ракет со свистом и треском взлетали в воздух; куда ни глянь — вдоль теряющихся вдаль крыш и балконов сверкала на солнце зыбкая чаша флагов; каждый день юные добровольцы, веселые и такие красивые в своих новых мундирах, маршировали по широкому проспекту, а их отцы, матери, сестры и невесты срывающимися от счастья голосами приветствовали их на пути; каждый вечер густые толпы народа затаив дыхание внимали какому-нибудь патриоту-оратору, чья речь задевала самые сокровенные струны их души, и то и дело прерывали ее бурей аплодисментов, в то время как слезы текли у них по щекам; в церквях священники убеждали народ верой и правдой служить отечеству и так пылко и красноречиво молили бога войны ниспослать нам помощь в правом деле, что среди слушателей не нашлось бы ни одного, который не был бы растроган до слез. Это было поистине славное, удивительное время, и те немногие опрометчивые люди, которые отваживались неодобрительно отозваться о войне и усомниться в ее справедливости, тотчас получали столь суровую и гневную отповедь, что ради собственной безопасности почитали за благо убраться с глаз долой и помалкивать.

Настало воскресенье — на следующий день войска выступали на фронт; церковь с утра была набита до отказа, здесь же находились и добровольцы, чьи юные лица горели в предвкушении ратных подвигов; мысленно они уже были там — вот они наступают, упорно, все быстрее и решительнее, стремительный натиск, блеск сабель, враг бежит, паника, пороховой дым, яростное преследование, капитуляция! — и вот они снова дома: вернулись с войны закаленные в боях герои, долгожданные и обожаемые, в золотом сиянии победы! С добровольцами сидели рядом их близкие, гордые и счастливые, вызывая зависть друзей и соседей, не имевших братьев и сыновей, которых они могли бы послать на поле брани добыть отчизне победу или же пасть смертью храбрых. Служба шла своим чередом: священник прочел военную главу из Ветхого завета, потом первую молитву; загудел орган, сотрясая здание; молящиеся поднялись в едином порыве, с бьющимся сердцем и блестящими глазами, и в церкви зазвучал могучий призыв:

Господи, грозно на землю вззирающий,
Молнии, громы послушны тебе!

Затем последовала «долгая» молитва. Никто не мог бы припомнить ничего равного ей по страстности и проникновенности чувства и по красоте изложения. Просили в ней больше всего о том, чтобы всеблагой и милосердный отец наш оберегал наших доблестных молодых воинов, был бы им помощью, опорой и поддержкой в их подвигах во имя отчизны; чтобы он благословлял их и охранял в день битвы и в час опасности, держал их в своей деснице, дал им силу и уверенность и сделал непобедимыми в кровавых схватках; чтобы помог он им сокрушить врага, даровал им, их оружие и стране вечный почет и славу...

В эту минуту в церковь вошел какой-то пожилой незнакомец и неторопливо, бесшумной поступью направился по главному проходу к алтарю. Глаза его были устремлены на священника, высокую фигуру облекала одежда, доходившая до пят, и седые волосы пышной гривой падали на плечи, обрамляя изборожденное морщинами лицо, неестественно, даже мертвенно-бледное. Все с недоумением смотрели на него, а он, молча пройдя между скамей, поднялся на кафедру и выжидающе стал рядом со священником. Смежив веки и не догадываясь о присутствии незнакомца, священник продолжал читать свою волнующую молитву и закончил ее страстным призывом: «Благослови наше воинство, даруй нам победу, господи боже наш, отец и защитник земли нашей и оружия!»

Незнакомец дотронулся до его плеча, жестом приказал ему отойти,— что изумленный священник не замедлил исполнить,— и занял его место. Несколько мгновений он сурово оглядывал потрясенных слушателей, и глаза его горели призрачным огнем, потом низким, глухим голосом начал:

— Я — посланец престола, несущий вам слово господне!

Прихожане стояли как громом пораженные; незнакомец если и заметил их испуг, то не обратил на него ни малейшего внимания.

— Всевышний услышал молитву своего слуги, вашего пастыря, и готов ее исполнить, если таково будет ваше желание после того, как я, его посланец, разъясню вам ее смысл, точнее — полный ее смысл. Ибо, как и во многих других людских молитвах, вы, сами того не подозревая, просите о неизмеримо большем, чем вам кажется, когда вы молитесь,— если, конечно, вы заранее все не обдумали.

Слуга божий и ваш прочел молитву. Подумал ли он, прежде чем прочитать ее? И одна ли это молитва? Нет, их две: одна — которую он произнес вслух, и другая — которой не произнес. И обе достигли ушей того, кто слышит все просьбы — высказанные и невысказанные. Поразмыслите над этим — и запомните. Если станете просить благословения своим делам и поступкам, будьте осторожны, ибо в эту минуту вы непреднамеренно можете навлечь проклятье на своего соседа. Если вы молитесь о ниспослании дождя, ибо он нужен полям вашим, — тем самым вы, быть может, молитесь о бедствии для соседа, чья земля не нуждается во влаге и дождь только испортит ему урожай.

Вы слышали молитву вашего слуги — ту ее часть, которую он произнес вслух. Господь послал меня к вам, чтобы я облек в слова другую ее часть, — то, о чем пастор и все вы в глубине сердца молча молили его. Не разумея и не думая, о чем молитесь? Дай бог, чтобы это было так. Вы слышали слова: «Даруй нам победу, господи боже наш!» Этого достаточно. Вся молитва, которую вы произносили здесь вслух, заключена в этих многозначительных словах. Уточнения излишни. Моля о победе, вы молили и о многих не упомянутых вами следствиях, которые сопутствуют победе, должны ей сопутствовать, не могут не сопутствовать. И вот до слуха отца нашего небесного дошла и невысказанная часть молитвы. Он повелел мне облечь ее в слова. Внемлите же!

Господи боже наш, наши юные патриоты, кумиры сердец наших, идут в бой — пребудь с ними! В мыслях мы вместе с ними покидаем покой и тепло дорогих нам очагов и идем громить недругов. Господи боже наш, помоги нам разнести их солдат снарядами в кровавые клочья; помоги нам усеять их цветущие поля бездыханными трупами их патриотов; помоги нам заглушить грохот орудий криками их раненых, корчащихся от боли; помоги нам ураганом огня сровнять с землей их скромные жилища; помоги нам истерзать безутешным горем сердца их невинных вдов; помоги нам лишить их друзей и крова, чтобы бродили они вместе с малыми детьми по бесплодным равнинам своей опустошенной страны в лохмотьях, мучимые жаждой и голодом, летом — палимые солнцем, зимой — дрожащие от ледяного ветра, вконец отчаявшиеся, тщетно умоляющие тебя разверзнуть перед ними двери могилы, чтобы они могли обрести покой; ради нас, кто поклоняется тебе, о господи, развеи прах их надежды, сгуби их жизнь, про-

дли их горестные скитания, утяжели их шаг, окропи их путь слезами, обagri белый снег кровью их израненных ног! С любовью и верой мы молим об этом того, кто есть источник любви, верный друг и прибежище для всех страждущих, ищущих его помощи со смиренным сердцем и покаянной душой. Аминь.

(Помолчав немного.) Вы молились об этом; если вы все еще желаете этого,—скажите! Посланец всевышнего ждет.

Впоследствии многие утверждали, что это был сумасшедший, ибо речь его была лишена всякого смысла.

НАЛОГИ И МОРАЛЬ

Привычки, упомянутые мистером Чоутом¹, это именно те привычки, которые сохранили мне молодость до семидесяти лет. Сегодня я весь день провалялся в постели², надеюсь и завтрашний день провести так же, и вообще оставаться в постели целыми днями весь год. Нет ничего столь же бодрящего, ничего столь же удобного, ничего столь же похожего на ту работу, что мы зовем удовольствием. Мистер Чоут заботливо не стал хвалить меня. И не потому что не захотел, он просто не смог найти за что.

Я прибыл сюда для исполнения ответственной роли полицейского — надзирать за мистером Чоутом. Дело серьезное и необыкновенно важное. Мне показалось необходимым присутствовать лично, чтобы в случае, если этот человек попытается утверждать нечто, требующее исправления, сокращения, опровержения или разоблачения, на месте оказался испытанный друг общества и навел порядок. Но могу заявить со всей прямоотой и удовлетворением, что ничего подобного не произошло. Он не сказал ни единого слова, правдивость которого вызвала бы сомнения с точки зрения моих собственных норм. Более достойного человека мне встречать еще не доводилось. Я ничуть не завидую, я лишь преисполнен благодарности. Благодарности и гордости, гордости за страну, сумевшую произвести на свет таких людей — двух таких людей. И в одном и том же столетии.

¹ Чоут Джозеф Ходжес (1832—1917) — американский юрист, впоследствии дипломат, известный оратор. — *Прим. сост.*

² ...*весь день провалялся в постели...* — По нездоровью и старости Марк Твен в последние годы жизни диктовал свои произведения, лежа в постели. — *Прим. сост.*

Мы не вечно будем с вами, время наше истекает — да, истекает. Вскоре мы уйдем — и тогда... Ну что ж, всему приходит конец, я полагаю. И это печально. Но мысленно я останусь с вами. И Чоут, конечно, если сумеет.

Раз нечего объяснять, нечего опровергать, нечего оправдывать, мне ничего не остается, как вернуться к моему обычному ремеслу и начать поучения. В институте Таскиги студентов тщательно обучают моральному кодексу христианства, в них вселяют неоспоримую истину, что это — наивысшая и наилучшая из всех систем морали, что наше национальное величие и прочная репутация среди других народов — результат именно этой системы, что в ней фундамент американского характера, и все, что есть ценного, все, что есть похвального в характере американца, все это — цветы и плоды посеянного христианской моралью. Их учат, что данная истина верна в любом случае, христианин ли перед нами или неверующий, потому что у нас нет ничего, кроме законов христианской морали, и всякий человек находится под их формирующим воздействием и властью от колыбели до могилы. Он впитывает их с молоком матери; они — его плоть и кровь, костный мозг и живая ткань его умственных и духовных задатков, а посему неискоренимы. Так что каждый из 80 миллионов рожденных в Америке не может веровать или искать веру иначе как на пути христианства, и нравственная суть его, бесспорно, христианская.

Все это правда. И ни один студент не покидает Таскиги, не узнав этого. Чего же ему недостает помимо сих начал? Что я могу поведать ему еще, и чего бы он, возможно, не усвоил там или не сумел усвоить достаточно четко? Разве что открыть ему ту значительную и немаловажную истину, что на свете уживаются два особых и совершенно самостоятельных вида христианской морали, настолько особых и самостоятельных, настолько несовместимых, что между ними не больше родства, чем между архангелами и политиками. Первый вид — это частная христианская мораль, другой — общественная. Преданное соблюдение частной христианской морали сделало нашу страну такой, какая она есть: чистый и честный народ в своей домашней жизни, порядочный и уважаемый народ в своих торговых делах. Никакая другая нация не может заявить о своем превосходстве над нами в этом отношении; не найдется

критика — ни за рубежом, ни у нас — дерзнувшего бы опровергнуть эту истину.

На протяжении 363 дней в году американский гражданин верен своей частной христианской морали и содержит в первозданной чистоте наш национальный характер. А вот два дня в году он оставляет частную христианскую мораль дома и, вооружившись общественной моралью, идет в налоговое управление или на выборы и прилагает там все усилия, чтобы уничто-



жить плоды целого года праведных трудов своих. Без всякого смущения проголосует он за бесчестного босса, если этот босс — Моисей его партии; без малейших угрызений совести проголосует он против самого лучшего человека во всей стране, если тот в списке другой партии. Каждый год во многих городах и штатах он помогает протаскать взяточников к власти, каждый год он содействует все большему и большему разложению, год за годом он продолжает понемногу растлевать политическую жизнь страны. Тогда как, всего лишь отбросив свою общественную христианскую мораль и вооружившись частной христианской моралью на пути к избирательным урнам, он сразу же мог бы очистить государственные учреждения и сделать так, чтобы высокие и почетные посты занимали самые лучшие люди страны. Но сейчас — да, сейчас он созерцает свою непатриотичную деятельность и вздыхает и печалится и винит каждого, кроме истинного виновника — самого себя.

Раз в год он откладывает в сторонку свою частную христианскую мораль, переправляется на пароме в Нью-Джерси и прячет свои ценные бумаги в каком-нибудь пакгаузе на три дня, вытаскивает свою общественную христианскую мораль и идет в налоговое управление, где, подняв руку, клянется, что никогда-никогда в своей жизни не имел ни цента, и да поможет ему господь! На следующий день в газетах появляется спи-

сок имен в колонку с четвертью, мелким шрифтом, и каждый в этом списке — миллиардер и прихожанин нескольких церквей. Я знаю всех этих людей. У меня со многими из них дружеские, светские... и преступные связи. Они ни за что не пропустят проповедь, если окажутся неподалеку; и как бы далеко они ни оказались, ни за что не пропустят дня отречения от своих богатств.

Невинный человек не может оставаться невинным в столь разлагающей атмосфере. Прежде я был честным человеком. Теперь я гибну. Нет — я уже погиб. Когда две недели назад меня обложили налогом в 75 тысяч долларов, я вышел и попытался признать денег, но не смог. Затем, когда я узнал, что целому выводку миллионеров жизнь в Нью-Йорке обходится втрое дешевле, чем заломили с меня, я серьезно обиделся, я возмутился и сказал себе: «Это последняя капля. Я не собираюсь содержать весь этот город в одиночку». В тот момент — в тот памятный момент — я начал гибнуть. Полный распад занял 15 минут. Куча праха — вот что осталось от моей морали за эти 15 минут. И я поднял руку перед закаленными и испытанными жрецами и поклялся, что всю мою личную собственность на свете — до последнего клочка — составляют деревянная нога, вставной глаз и остатки шевелюры. Налоговые чиновники были тронуты, они были глубоко тронуты. Они давно привыкли видеть в такой роли закоренелых старых жуликов и могли еще вынести подобное зрелище, но ждали лучшего от меня, записного моралиста по профессии, — и загрустили. Я заметно упал в их глазах, да и в своих собственных наверняка тоже, если бы не достиг дна гораздо раньше, дальше падать было некуда.

Вместе с доктором Паркхерстом¹ в Таскиги поспешно сделают неверные выводы из недостаточных данных и будут обманывать студентов предрассудками, что джентльмен никогда не станет никого клясть. Взгляните на этих добрых миллионеров, разве они не джентльмены? И что же, клянут. И клянутся. Может быть, только раз в году, но этого вполне достаточно, чтобы наверстать упущенное. Разве они что-либо теряют от этого? Нет, конечно, за три минуты они сберегают столько, что хватит их семье на семь лет жизни. Когда они клянутся, содрогнемся ли мы? Нет, пока они не скажут:

¹ Паркхерст Чарльз Генри (1842—1933) — американский религиозный и общественный деятель. — *Прим. сост.*

«Черт возьми!» Вот когда мы содрогнемся и поморщимся. Но не стоит делать этого, потому что мы все клянемся или клянем кого-нибудь — все, даже дамы. Даже доктор Паркхерст, этот сильный, смелый и образцовый гражданин, разве что не очень образованный. Ведь греховно не *слово*, а то, что за словом. Когда раздраженная дама говорит «О!», в душе ее звучит: «Черт побери!» Вот как это надо понимать. Но если она говорит: «Черт побери!» и говорит милым, дружеским тоном, это совсем другое дело.

Мысль, что джентльмен никогда никого не проклинает, ложна; он может делать это и оставаться джентльменом, если у него это выходит приятно, благообразно и чувствительно. Известный историк Джон Фiske, которого я хорошо знал и любил, был безукоризненным джентльменом и честным христианином, и все-таки однажды выругался. Не совсем в точности выругался, почти, но я расскажу об этом. Однажды, когда он был целиком поглощен своей работой, вошла его жена, очень взволнованная и глубоко потрясенная. Она сказала: «Извини, что беспокою тебя, Джон, но я должна это сделать, так как случай серьезный и требует твоего вмешательства». Затем она пожаловалась на их малыша, который назвал тетю Мери — дурой, а тетю Марту — *проклятой* дурой. Мистер Фiske поразмыслил с минуту и заявил: «Ну что ж, именно так и я бы отличил их друг от друга».

БЫЛ ЛИ МИР СОТВОРЕН ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА?

Воскрешение Альфредом Расселом Уоллесом теории о том, что Земля является центром Вселенной и единственной обитаемой планетой, вызвало в мире большой интерес.

«Литерари Дайджест»

Мы же глубоко убеждены, что человек, живущий на этой крохотной Земле, является по своей сути и возможностям высшим бытием среди всех небожественных существ — средоточием любви Бога и его главной радостью.

Чикагский «Интерьюор» (Пресв.).

Кажется, я — единственный ученый и богослов, еще не высказавший своего мнения относительно этого крайне важного вопроса: был ли мир сотворен

для человека или нет. Я чувствую, что мне пора изложить свою точку зрения.

Я почти разделяю взгляды остальных. Они считают, что мир был сотворен для человека,—я же считаю, что он, возможно, был сотворен для человека. Они приводят доказательства, в основном астрономические, что он был сотворен для человека,—я же считаю, что это всего лишь свидетельства, а не доказательства того, что мир был сотворен для него. Пока еще рано выносить приговор, поскольку нам известны не все данные. Когда же данные эти будут собраны все, они, я полагаю, докажут, что мир был сотворен для человека; но мы не должны торопиться, мы должны терпеливо ждать, чтобы все эти данные были собраны.

Пока, насколько можно судить, астрономия на нашей стороне. Мистер Уоллес¹ совершенно ясно показал это. Он ясно показал две вещи: что мир был сотворен для человека и что вселенная была сотворена для мира — чтобы уравновесить его, знаете ли. С астрономической точки зрения вопрос решен, и решен бесповоротно.

Взглянем теперь на него с точки зрения геологии. Вот тут собраны еще не все данные. Они поступают ежедневно, ежечасно, непрерывно, но само собой разумеется, они поступают с геологической медлительностью и осторожностью, и мы не должны терять терпения, мы не должны выходить из себя, мы должны сохранять спокойствие и ждать. Как бы мы ни волновались, это не заставит геологию торопиться — ничто не в силах заставить геологию торопиться.

Требуется немало времени, чтобы приготовить для человека подходящий мир. Такие вещи за один день не делаются. Некоторые из знаменитых ученых, тщательно проанализировав все геологические данные, пришли к заключению, что наш мир чудовищно стар, и они, возможно, правы, хотя лорд Кельвин² не разделяет их мнения. Он придерживается осторожной, консервативной точки зрения, стремится избежать риска и полагает, что мир не так стар, как они думают. Поскольку лорд Кельвин является крупнейшим авторитетом среди

¹ Уоллес Альфред Рассел (1823—1913) — английский натуралист, одновременно с Ч. Дарвином создавший теорию естественного отбора. — *Прим. сост.*

² Лорд Кельвин — титул, полученный в 1892 г. английским физиком Уильямом Томсоном (1824—1907) за научные заслуги. Ему принадлежат важные исследования в области термодинамики, электричества, а также различные изобретения. — *Прим. сост.*

ныне живущих ученых, нам, по-моему, следует принять его точку зрения. Он не допускает, что нашему миру более ста миллионов лет. Он считает, что ему сто миллионов лет, но не больше. Лайель¹ считает, что человечество появилось 31 000 лет тому назад, Герберт Спенсер² утверждает, что оно появилось 32 000 лет тому назад. Лорд Кельвин согласен со Спенсером.

Отлично. Согласно этим цифрам, потребовалось 99 968 000 лет, чтобы подготовить мир для человека, хотя Творец, несомненно, изнывал от нетерпения поскорее его увидеть и полюбоваться им. Но столь большое предприятие следовало вести обстоятельно, аккуратно и логично. Творец предвидел, что человеку понадобится устрица. Поэтому сперва была проведена подготовка к сотворению устрицы. Но ведь устрицу нельзя сотворить на пустом месте, надо прежде сотворить ее предка. А это так быстро не делается. Сперва необходимо сотворить огромное количество разнообразных беспозвоночных — белемнитов, трилобитов, кармелитов и иезуитов³ и тому подобную мелочь, а затем бросить их мокнуть в первичном океане, сесть и ждать, что из этого получится. Некоторые принесут только разочарование — белемниты, сталактиты и прочие; из них ничего не выйдет, по истечении девятнадцати миллионов лет, потребных на этот эксперимент, они вымрут и станут ископаемыми. Однако не все будет потеряно, ибо иезуиты придут к финишу и постепенно разовьются в сифонофоры⁴, семафоры и фарфоры. Ну там то да се, одна могучая эра сменяет другую, архейский и кембрийский периоды громоздят в первичных океанах свои величественные горы, и вот в конце концов достигнута первая великая ступень в подготовке мира для человека — создана устрица. Трудно предположить, что устрица способна рассуждать намного логичнее ученых, и поэтому можно считать несомненным, что эта устрица тут же заключила, будто все эти девятнадцать миллионов лет были

¹ Лайель Чарльз (1797—1875) — английский естествоиспытатель, его главный труд «Основы геологии» (1830—1833) составил эпоху в истории естествознания. — *Прим. сост.*

² Спенсер Герберт (1820—1903) — английский философ и социолог, один из основателей позитивизма, был сторонником учения о всеобщей эволюции. — *Прим. сост.*

³ ...белемниты — отряд вымерших беспозвоночных моллюсков; трилобиты — вымершие морские членистоногие; кармелиты, иезуиты — члены монашеских орденов. Твен и дальше использует столь же комичные сочетания. — *Прим. сост.*

⁴ Сифонофоры — морские беспозвоночные. — *Прим. сост.*

подготовкой к сотворению именно ее. Да чего еще и ждать от устрицы? Это ведь наиболее самодовольное создание в мире, если не считать человека. И уж во всяком случае, эта устрица не могла в ту раннюю эпоху знать, что она — лишь один из этапов великого плана и что план этот ею отнюдь не завершается.

После сотворения устрицы на очереди в подготовке мира для человека стала рыба. Рыба — и уголь, чтобы было на чем ее жарить. И вот для разведения рыбы были устроены древние силурийские моря, и в то же время был начат великий труд по сооружению из красного песчаника древних гор высотой в восемьдесят тысяч футов — так сказать, погребов для хранения окаменелостей. Без этого последнего обойтись было никак нельзя, ибо вновь предстояли бесконечные неудачи, бесконечные вымирания — миллионы вымираний, — и было дешевле, да и не так хлопотно, консервировать окаменелости в скалах, вместо того чтобы вести им учет в конторской книге. Ну, за короткое время не создашь угольных залежей и восемьдесят тысяч вертикальных футов древнего красного песчаника — нет, на это потребовалось двадцать миллионов лет. Во-первых, сооружение угольной залежи — дело чрезвычайно медленное, утомительное и скучное. Приходится выращивать на болотах гигантские леса из древовидных папоротников, тростника, хвощей и тому подобного; затем приходится затопливать их и оставлять гнить под водой; затем приходится поворачивать на них реки, чтобы прикрыть их несколькими слоями ила, а этому илу надо дать время, чтобы он затвердел и превратился в камень; затем сверху приходится выращивать еще один лес, потом его затопливать, накидывать сверху еще один слой ила и ждать, чтобы он затвердел; потом опять лес и опять твердеющий ил, слой за слоем в три мили толщиной: да, правильное изготовление угольных копей — дело му-чительно долгое!

В этих занятиях уныло тянутся миллионы лет, а рыбная культура тем временем сохнет и дохнет, так что тошно становится. Вот вы вывели из одной устрицы десять тысяч сортов рыбы, а потом глядь — и оказывается, получились у вас только окаменелости да ископаемые, а живыми и развивающимися осталась только парочка ганоидов, да, может быть, полдюжины астероидов¹, на которых даже кошка не польстится.

¹ Ганоиды — группа рыб; астероиды — малые планеты. — Прим. сост.



Но это ничего: времени впереди еще много, и они успеют развиваться в какое-нибудь изысканное блюдо, прежде чем появится человек, чтобы их есть. Даже на ганоида можно в этом отношении положиться, если его не потребуют к столу раньше, чем через шестьдесят миллионов лет.

К этому моменту время, отведенное на палеозойскую эру, было уже исчерпано, и пришлось перейти к следующему этапу подготовки мира для человека — открыть мезозойскую эру и учредить пресмыкающихся, ибо человеку понадобятся пресмыкающиеся — не для того, чтобы их есть, а для того, чтобы из них развиваться. Поскольку это было самой важной частью плана, времени на нее не пожалели и отвели целых тридцать миллионов лет. Какие тут начались чудеса! Из оставшихся ганоидов, астеронидов и алкалоидов благодаря медленному, упорному и тщательному выведению развились колоссальные ящеры, имевшие обыкновение бродить в те отдаленные века по окутанному горячими парами миру, задрав свои змеиные головы на сорок футов вверх и волоча по земле шестьдесят футов тела, за которым еле поспевал бешено хлещущий хвост. От них теперь, увы, не осталось и помину, все они вымерли, за исключением горсточки арканзавров, граждан штата Арканзас, которые томятся среди нас в печальном одиночестве, заброшенные в самые дальние пределы времен.

Да, понадобилось тридцать миллионов лет и двадцать миллионов всяческих пресмыкающихся, чтобы получить такое, которое выдержало бы достаточно долго и развилось бы во что-то другое, продвинув осуществление плана еще на один шаг вперед.

И вот во всем своем непередаваемом величии и красе в мир явился птеродактиль, и вся Природа поняла, что кайнозойский порог остался позади и начинается новая эра, новая стадия подготовки земного шара для человека. Возможно, птеродактиль воображал, будто эти тридцать миллионов лет были потрачены на то, чтобы подготовить его,—ведь птеродактиль способен вообразить любую глупость,—но он ошибался. Приготовления велись ради человека. Несомненно, птеродактиль привлек к себе всеобщее внимание, ибо даже самые ненаблюдательные могли заметить, что в нем есть зачатки птицы. Так оно и вышло. А кроме того, и зачатки млекопитающего, только они развились не сразу. Но одного у птеродактиля не отнимешь: по живописности он был подлинным триумфом своего периода; он носил крылья, обладал зубами, был весь какой-то накрахмаленный и вообще являл собой замечательную смесь, нечто вроде весьма отдаленного предвестника киплингковского солдата морской пехоты:

Сапером его не назовешь, и он не матрос уж никак;
Какой-то дурацкий гермафродит — солдат, а также моряк¹.

С этого момента и примерно еще тридцать миллионов лет приготовления продвигались очень быстро. Из птеродактиля развилась птица; из птицы — кенгуру; из кенгуру — другие сумчатые; из них — мастодонт, мега-терий, гигантский ленивец, ирландский лось и все прочие создания, которых можно использовать для изготовления полезных и поучительных окаменелостей. Но тут началось первое великое оледенение, и они все отступили перед ним, перешли по мосту Берингов пролив, разбрелись по всей Европе и Азии и передохли. Все, за исключением лишь немногих, которым предстояло вести дальнейшую подготовку. Шесть ледниковых периодов с промежутками по два миллиона лет после каждого гоняли этих бедных сирот по всей земле от климата к климату — от тропического зноя на полюсах к арктическим холодам на экваторе, а оттуда назад, и снова

¹ «Сапером его не назовешь...» — из стихотворения Редьярда Киплинга (1865—1936) «Солдат, а также моряк» (1896). — *Прим. сост.*

обратно, так что они никогда не знали, какая завтра будет погода; а стоило им где-нибудь устроиться, как весь континент проваливался под ними без малейшего предупреждения, и им приходилось спешно меняться местами с рыбами и карабкаться туда, где прежде были моря: и это — промокнув насквозь! А когда все как будто успокаивалось, начинал действовать вулкан и выжигал их из того края, где они только-только обосновались. Они вели эту неустроенную нервную жизнь двадцать пять миллионов лет, то барахтаясь в воде, то носясь по суше и не переставая удивляться, для чего все это делается,— ибо они, конечно, не подозревали, что все это делается, дабы подготовить мир для человека, и что готовить его по-другому нельзя, иначе к прибытию человека он будет недостаточно удобен и гармоничен.

Наконец появилась обезьяна, и тут уже все увидели, что до человека теперь рукой подать. Так оно и получилось. Обезьяна развивалась около пяти миллионов лет, а затем превратилась в человека — если судить по внешнему виду.

Такова история появления человека. Он существует 32 000 лет. То, что потребовалось сто миллионов лет, чтобы приготовить для него мир, является неопровержимым доказательством, что это именно то, для чего его готовили. Думаю, что это так. А впрочем, не знаю. Если бы, например, Эйфелева башня символизировала возраст мира, то мазок краски на венчающем ее острие символизировал бы долю человека в этом возрасте; и кто угодно сразу увидел бы, что башня строилась именно для этого мазка краски. То есть я полагаю, что это сразу видно, а впрочем, не знаю.

РАЗУМ БОГА

Он создал все сущее. Нет во вселенной ни одного великого или малого предмета, который не был создан Им. Он сказал про сотворенное Им, что это «хорошо». Это слово покрывает все: оно ставит печать Его одобрения на каждую деталь вселенной; оно хвалит каждую ее деталь. Мы также одобряем и хвалим — нашим языком. Одобряем и хвалим громогласно, с великим пылом — и с осторожностью. Да, с осторожностью. Ибо мы не входим в подробности. Ежедневно мы изливаем потоки неодобрения, хулы, неудовольствия, яростной досады — но не в словах. Нет, нас выдают наши

поступки, а не наши слова. Нашей слова — это сплошные комплименты, и они обманывают Его. В этом нет никаких сомнений. Они вселяют в него уверенность, что мы одобряем все Его труды.

Во всяком случае, так нам кажется. Многие века мы внушали себе, будто, пряча неприятный факт под грудами лживой лжи, мы делаем это так незаметно, что Он видит лишь похвалы и пребывает в приятном заблуждении. Но верно ли это? Между собой мы соглашаемся, что дела говорят громче слов, но мы внушили себе, что для Него это не так; мы воображаем, что Его интересуют лишь слова — лишь звуки; что если мы будем выкрикивать эти слова достаточно громко, Он не заметит опровергающих их поступков.

Но — серьезно говоря — неужели кто-нибудь искренне в это верит? Да разве такая уверенность не была бы оскорблением Верховному Разуму? Придет ли кому-нибудь из нас в голову расхваливать матери всех ее отпрысков, в то же время усердно шлепая одного из них? Не опровергнет ли подобный поступок самую красноречивую нашу хвалу? И разве мать будет обманута? Разве не оскорбится она — и с полным на то правом?

А посмотрите, как мы поступаем с Ним. Мы одобряем все Его труды, мы восхваляем все Его труды с горячим восторгом — на словах; и в то же время мы убиваем муху — такое же Его творение, как все прочие, и тем самым включенное в наши бурные восхваления. И мы не просто убиваем муху, мы проделываем это с величайшим раздражением, даже с ненавистью, со злобной мстительностью; и мы смотрим на нее с презрением и отвращением; хотя только что хвалили ее, одобряли и прославляли. Мы хвалили ее, обращаясь к ее Творцу, а теперь мы своим поступком оскорбили ее Творца. Хвала была нечестной, а поступок — честным; хвала была корыстным лицемерием, а поступок — искренним порывом.

Мы безжалостно уничтожаем мух, а также крыс, блох, змей, болезнетворных микробов и тысячи других существ, которых Он нарек хорошими, которыми был удовлетворен и которых мы вслух красноречиво хвалим и одобряем — нашим языком, — а потом преследуем и злобно уничтожаем в елико возможно большем числе.

Разумеется, это нехорошо, неумно и несправедливо. Это порождает притворство и ложь. Неужели Он будет оскорблен, если мы изменимся и предстанем перед Ним с истиной и на устах, а не только в поступках? Неуже-

ли мы не можем доверчиво и без страха изменить наши слова и сказать:

— О Источник Истины, мы лгали и раскаиваемся в этом. Выслушай наше признание в том, что мы чувствовали от начала времен, но по слабости душевной старались скрыть от Тебя: мы смиренно хвалим и прославляем многие Твои труды и благодарны за то, что они есть на Земле — Твоем подножии, но относится это не ко всем из них.

Этого будет достаточно. Перечислять исключения не потребуется.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД ИИПН

В качестве секретаря Индианаполисского Института Прикладных Наук я был обязан установить обстоятельства предполагаемого открытия Северного полюса и доложить о полученных результатах уважаемому совету.

Для этого я полагал достаточным узнать мнение профессора сравнительной науки и богословия Хайрема Бледсоу, признанного авторитета в этой области, чем и ограничиться.

Я спросил его, полагает ли он, что нам следует счесть это открытие бесспорно установленным и торжественно отметить его наряду с другими достопамятными девятыми годами — 1609, 1809 и 1909, — поставив на одном нарядно убранном плотике человека, изображающего Генри Гудзона, на другом — человека, изображающего Роберта Фултона, а на третьем выставив самого доктора Фредерика Кука¹, как первооткрывателя Северного полюса.

Профессор Бледсоу попросил несколько минут на размышление. Затем он сказал:

¹ *Гудзон* Генри (ок. 1550—1611) — английский мореплаватель, в 1609 г. открыл и исследовал реку, названную Гудзон, — на ней стоит Нью-Йорк; *Фултон* Роберт (1765—1815) — американский изобретатель, создатель первого практически пригодного парохода; *Кук* Фредерик Альберт (1865—1940) — американский врач и путешественник, участник нескольких арктических и антарктических экспедиций. В сентябре 1909 г. сообщил в Королевскую обсерваторию Бельгии, что достиг Северного полюса 21 апреля 1908 г., его чествовали как героя-первооткрывателя, но в декабре 1909 г. выяснилось, что Кук фальсифицировал результаты своего путешествия, подучив двух своих помощников — эскимосов. Первым в мире, как известно, достиг Северного полюса другой американец — Роберт Пири (1856—1920) 6 апреля 1909 г. — *Прим. сост.*

— Положительный или отрицательный ответ полностью зависит от ответа на следующий вопрос: является открытие доктора Кука фактом или чудом?

— Почему?

— Потому что, если это чудо, то достаточно будет любого свидетельства, если же это факт, необходимы неопровержимые доказательства.

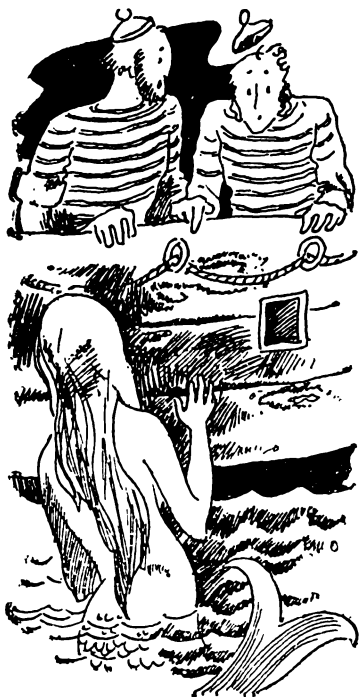
— Это всегда так?

— О да. Это абсолютный закон. Не допускающий никаких исключений. По этому поводу весьма удачно выразилась «Вестминстерская газета», указав, что, «когда игрок в гольф выигрывает партию рекордным числом ударов, это должно быть засвидетельствовано в его карточке авторитетными подписями. А подписать карточку доктора Кука было некому; разумеется, его подвиг подтверждается свидетельством двух эскимосов, но они были его носильщиками, а в гольфе не принимается свидетельство мальчиков, носящих за игроком его клюшки». Это полностью определяет ситуацию. Если считать подвиг доктора Кука фактом, то свидетельства его двух клюшконосцев недостаточно; если же усмотреть в нем чудо, с избытком хватит и одного клюшконосца.

— Неужели в этом заключается вся разница между фактом и чудом?

— Да, так свидетельствует история — многие века истории. Никогда не случалось чудес, в котором можно было бы усмотреть большое сходство с фактом. Приведу вам пример. Мистер Дженивьер цитирует следующую запись из судового журнала Генри Гудзона, сделанную Гудзоном за четырнадцать месяцев до того, как он открыл реку, названную в его честь:

«Сегодня утром один



из матросов увидел за бортом русалку и позвал своих товарищей, и к нему подошел еще матрос, а к тому времени она подплыла к самому кораблю и смотрела на них, не отводя взгляда. Потом ее подхватила волна и перевернула. От пупка вверх ее спина и груди были как у женщины, но величиной она была с мужчину. Кожа у нее очень белая, а волосы длинные и черные. Когда она нырнула, они увидели ее хвост, совсем как у дельфина, и пятнистый, как у макрели. Тех, кто ее видел, зовут Томас Хиллс и Роберт Рейнер».

Заметьте, что для Гудзона это был не факт, но чудо. Почему я так полагаю? Потому что он поверил в него, положившись на простое утверждение двух матросов. Он *знает*, что они видели русалку, так как не говорит, что они *думали*, будто видели ее, а убежденно утверждает, что *они ее видели*. Если это чудо, то утверждения матросов вполне достаточно — более чем достаточно: во всей истории не найти столь доказанного чуда. Но наш современник доктор Эшер считает, что Гудзон записал это происшествие как факт, а потому свидетельство матросов является для него всего лишь свидетельством клюшконосцев, иначе говоря — совершенно недостаточным. Он комментирует: «Возможно, тюлень».

— Так значит, разница...

— Вот именно. Разница между чудом и фактом точно равняется разнице между русалкой и тюленем. Трудно найти для нее лучшее выражение.

— Очень хорошо. А как же мы должны оценить это открытие Северного полюса? Что следует предпринять нашему институту и Обществу имени Роберта Фултона?

— Мне кажется, вот что: если вы хотите исходить из гипотезы, что это чудо, то готовьте свои плотки — доказательств более чем достаточно. Но если вы хотите исходить из гипотезы, что это факт, то подождите возвращения доктора Кука — дайте ему возможность представить точные доказательства. А до этого мы не имеем права делать какие-либо выводы.

Индианаполис, 3 сентября 1909 г.

Г. Дж. Уокер, секретарь,

Маленькой Бесси скоро три года. Она — славная девочка, не ветреная, не шалунья; она задумчива, углублена в себя, любит поразмышлять то над тем, то над другим и постоянно спрашивает «почему?», стараясь понять, что происходит вокруг. Однажды она спросила:

— Мама, почему повсюду столько боли, страданий и горя? Для чего все это?

Это был несложный вопрос, и мама, не задумываясь, ответила:

— Для нашего же блага, деточка. В своей неисповедимой мудрости бог посылает нам эти испытания, чтобы наставить нас на путь истинный и сделать нас лучше.

— Значит, это он посылает страдания?

— Да.

— Все страдания, мама?

— Конечно, дорогая. Ничто не происходит без его воли. Но он посылает их, полный любви к нам, желая сделать нас лучше.

— Это странно, мама.

— Странно? Что ты, дорогая! Мне это не кажется странным. Не помню, чтобы кто-нибудь находил это странным. Я думаю, что так должно быть, что это милосердно и мудро.

— Кто же первый стал так думать, мама? Ты?

— Нет, крошка, меня так учили.

— Кто тебя так учил, мама?

— Я уже не помню. Наверно, моя мама или священник. Во всяком случае, каждый знает, что это правильно.

— А мне это кажется странным, мама. Скажи: это бог послал тиф Билли Норрису?

— Да.

— Для чего?

— Как для чего? Чтобы наставить его на путь истинный, чтобы сделать его хорошим мальчиком.

— Но он же умер от тифа, мама. Он не может стать хорошим мальчиком!

— Ах да! Ну, значит, у бога была другая цель. Во всяком случае это была мудрая цель.

— Что же это была за цель, мама?

— Ты задаешь слишком много вопросов. Быть может, бог хотел послать испытание родителям Билли.

— Но это нечестно, мама?! Если бог хотел послать испытание *родителям* Билли, зачем же он убил *Билли*?

— Я не знаю. Я могу только сказать тебе, что его цель была мудрой и милосердной.

— Какая цель, мама?

— Он хотел... он хотел наказать родителей Билли. Они, наверно, согрешили и были наказаны.

— Но умер же Билли, мама! Разве это справедливо?

— Конечно справедливо. Бог не делает ничего, что было бы дурно или несправедливо. Сейчас тебе не понять этого, но когда ты вырастешь большая, тебе будет понятно, что все, что бог делает, мудро и справедливо.

Пауза.

— Мама, это бог обрушил крышу на человека, который выносил из дому больную старушку, когда был пожар?

— Ну да, крошка. Постой! Не спрашивай — зачем, я не знаю. Я знаю одно: он сделал это либо чтобы наставить кого-нибудь на путь истинный, либо покарать, либо чтобы показать свое могущество.

— А вот когда пьяный ударил вилами ребеночка у миссис Уэлч...

— Это совсем не твое дело! Впрочем, бог, наверно, хотел послать испытание этому ребенку, наставить его на путь истинный.

— Мама, мистер Берджес говорил, что миллионы миллионов маленьких существ нападают на нас и заставляют нас болеть холерой, тифом и еще тысячью болезней. Мама, это бог посылает их?

— Конечно, крошка, конечно. Как же иначе?

— Зачем он посылает их?

— Чтобы наставить нас на путь истинный. Я тебе говорила уже тысячу раз.

— Но это ужасно жестоко, мама! Это глупо! Если бы мне...

— Замолчи, сейчас же замолчи! Ты хочешь, чтобы нас поразило громом?

— Мама, на прошлой неделе колокольню поразило громом, и церковь сгорела. Что, бог хотел наставить церковь на путь истинный?

— (*Устало.*) Не знаю, может быть.

— Молния убила тогда свинью, которая ни в чем не была повинна. Бог хотел наставить эту свинью на путь истинный, мама?

— Дорогая моя, тебе, наверно, пора погулять. Пойди побегай немного.

— Только подумай, мама! Мистер Холлистер сказал, что у каждой птицы, у каждой рыбы, у каждой лягушки или ящерицы, у каждого живого существа есть враг, посланный провидением, чтобы кусать их, преследовать, мучить, убивать, пить их кровь, наставлять на путь истинный, чтобы они стали праведными и богомольными. Это правда, мама? Я потому спрашиваю, что мистер Холлистер смеялся, когда говорил об этом.

— Этот Холлистер безобразник, и я запрещаю тебе слушать, что он говорит.

— Почему же, мама, он так интересно рассказывает, и, по-моему, он старается быть праведным. Он сказал, что осы ловят пауков и замуровывают их в свои подземные норки, — живых пауков, мама! — и там под землей они мучаются много-много дней, а голодные маленькие осы откусывают им ноги и грызут им животики, чтобы пауки научились быть праведными и богомольными, чтобы они возносили богу хвалу за его неизреченную доброту. По-моему, мистер Холлистер добрый человек, просто молодец. Когда я спросила его, стал ли бы он так обращаться с пауками, он сказал, что пусть его черт подерет, если он так поступит, а потом сказал... Мамочка, тебе дурно? Побегу позову кого-нибудь на помощь. Разве можно сидеть в городе в такую жару?

МИР В ГОДУ 920 ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ

*Из дневника дамы,
состоящей в третьей степени родства*

Принимала сегодня Безумного Пророка. Он хороший человек, и, по-моему, его ум куда лучше своей репутации. Он получил это прозвище очень давно и совершенно незаслуженно, так как он просто составляет прогнозы, а не пророчествует, он на это и не претендует. Свои прогнозы он составляет на основании истории и статистики, используя факты прошлого, чтобы предсказать, каким, вероятнее всего, окажется будущее. Прикладная наука — и только. Астроном предсказывает затмение, но это еще не значит, что он выдает себя за пророка. Вот Ной — пророк, и никто не питает

большого почтения к нему и к его священному дару, чем этот скромный ученый, составляющий прогнозы и сопоставляющий возможное и вероятное.

Я познакомилась с Безумным Пророком — или Безумным Философом (его называют и так и так), — когда он еще учился в университете в начале третьего века. Тогда ему было лет девятнадцать или двадцать. Я всегда питала к нему дружеские чувства, отчасти, разумеется, потому, что он мой родственник (хотя и дальний), но главное, потому, что он умен и благороден. Он задумал жениться, когда ему было двадцать четыре года и когда, собственно говоря, ни он, ни его избранница не могли позволить себе такую роскошь, как брак, ибо они были бедны и родители их страдали тем же недостатком. Обе семьи были достаточно респектабельны и даже находились в дальнем родстве со знатью, но, как говаривал Адам, «соловья респектабельностью не кормят», и начинать семейную жизнь, располагая только таким капиталом, было бы неразумно. Я посоветовала им подождать, и, конечно, они меня послушались, так как совет особы Первой Крови по обычаю всего человеческого рода был и остается законом. Но это были весьма нетерпеливые птенчики, страстно влюбленные друг в друга, и ждали они ровно столько времени, сколько требовалось, чтобы удовлетворить лишь самые насущные требования этикета. Мое покровительство доставило юнцу место преподавателя математики в его же университете и сохраняло это место за ним; он работал очень усердно и копил деньги. Бедняжки, они терпели эту, как они выражались, «отсрочку жизни», сколько могли, — но, прождав шестьдесят лет, они все-таки не выдержали и поженились. Она была очаровательным крысенком: стройная, гибкая, темноглазая, со щечками, как персики, и в прелестных ямочках, шаловливая, веселая, грациозная — настоящее произведение искусства, настоящая поэма. По происхождению она чужестранка, и капелькой благородной крови в своих жилах обязана в конечном счете знатному вельможе, обитавшему в дальнем краю на расстоянии многих меридианов отсюда, — князю Прачкоу. Он — мой потомок через... имя я запомнила, но, во всяком случае, через род моей дочери Регины. Я имею в виду ту ветвь нашего рода, которая произошла от второго брака Регины. Он был троюродным братом... я забыла, как зовут и этого. Имя юной невесты было Красное Облачко — столь же чуже-

земное, как и ее происхождение. Оно, кажется, считалось наследственным.

Молодые супруги жили в бедности — они бедны и сейчас, но счастливы не менее, чем многие богачи. Насстоящей нужды они никогда не знали, так как благодаря моему покровительству он сохранял свое место и даже время от времени получал небольшую прибавку к жалованью. Их мирная жизнь омрачилась только одним горем, которое поразило их в конце первого столетия их союза, но и до сих пор отзывается болью в их сердцах. Шестнадцать их детей погибли во время железнодорожной катастрофы.

Прежде чем прийти ко мне сегодня, Философ осмотрел двигатель, приводимый в действие этой удивительной новой силой — сжиженной мыслью. Двигатель произвел на него глубочайшее впечатление. Он сказал, что не видит причин, которые могли бы помешать этой силе вытеснить пар и электричество, поскольку она во много раз превосходит их по мощности, почти не занимает места и стоит гроши. Вернее, стоит гроши тресту, взявшему на нее патент. Это тот же трест, которому принадлежат все железные дороги и корабли на земном шаре, другими словами — весь мировой транспорт.

«Пять лет назад, — сказал он, — над этой новой силой смеялись невежды, ее отвергли мудрецы, но так бывало со всяким новым изобретением. Так было с леографом, так было с адографом, так было с визгозаикографом, и так будет с каждым новым изобретением до скончания века. И почему люди не научатся делать выводы, только узнав результаты? Казалось бы, опыт должен был их этому научить. Как правило, нелепое на первый взгляд изобретение со временем оказывается весьма и весьма полезным, стоит только внести в него то или иное улучшение. Пять лет назад сжиженная мысль не имела никакой практической пользы и была только экспонатом на Дамской Выставке Имперской Академии. О промышленном или коммерческом ее применении не могло быть и речи из-за необычайной дороговизны производства, поскольку на этой ранней стадии использовалось только сырье, получаемое от государственных деятелей, судей, ученых, поэтов, философов, редакторов, скульпторов, художников, генералов, адмиралов, изобретателей и инженеров. Однако теперь, как говорит Мафу-саил, его научились добывать и из политиков и идиотов, причем он с обычным сарказмом добавляет: «Но это — тавтология, ибо политик и идиот — синонимы».

Я придерживаюсь мнения, что мы только еще приступаем к развитию этой новой таинственной силы. Я убежден, что все известное нам ныне — пустяк по сравнению с тем, что будет открыто за ближайшие десятилетия. Как знать, не окажется ли она знаменитой и горько оплакиваемой Утраченной Силой старых легенд? Вам, милостивейшее сиятельство, как и всему свету, известны эти легенды, но вы не знаете истории. Совсем недавно были прочитаны глиняные таблички, найденные при раскопках древнего города на Двойном Континенте, и, когда перевод будет опубликован, народы мира узнают, что замечательнейший человек, прозванный «Феноменом», который в середине пятого века, выйдя из ничтожества, в течение нескольких лет покорил мир и привел все земные царства под свой державный скипетр, ныне находящийся в руках его сына, в своих гигантских трудах опирался не только на свой колоссальный военный, государственный и административный гений, но и на некую внешнюю силу, хотя его таланты, бесспорно, не имели ни равных себе, ни подобных. Сила эта получила в легендах, романтической литературе и поэзии название Утраченной Силы. Правда, молодой, никому не известный сапожник опустошил Двойной Континент огнем и мечом без помощи этой силы и покорил расположенные там царства, опираясь лишь на собственные дарования и на миллион солдат, находившихся под командованием миллиона генералов, которых он обучил сам и которые подчинялись только его воле, не ограниченной назойливым вмешательством министерств или законодательных собраний, — покорил, оставив на бранных полях горы убитых и раненых. Однако остальной мир он завоевал, не проливая крови, если не считать одного случая.

Теперь благодаря этим глиняным табличкам тайна открылась. «Феномену» стало известно, что некий Нэйпир, человек незнатный, но весьма ученый, написал в своем завещании, будто им найдено средство, с помощью которого можно в одно мгновение уничтожить целую армию, но он не откроет своего секрета, ибо война и без того уже достаточно ужасна и он не хочет способствовать тому, чтобы она стала еще более губительной.

Сапожник-император сказал: «Этот человек был глуп — его изобретение вообще уничтожит войну» — и приказал, чтобы ему были доставлены бумаги ученого. Он нашел формулу, выучил ее, а затем сжег все документы. Потом он втайне создал эту Силу и вышел в оди-

ночку сражаться со всеми монархами Восточного полушария, держа ее в кармане. Только одна армия успела выступить против него. Она развернулась в боевом порядке на огромной равнине, и он с расстояния в двенадцать миль взорвал ее так, что от нее остались только несколько пуговиц и обожженных лохмотьев.

Он объявил себя владыкой мира, и власть его была признана единогласно. Как вам известно, его тридцатилетнее царствование было эпохой полного мира, но затем он в результате какой-то несчастной случайности взорвал себя вместе со своим аппаратом и одной из своих столиц, и его грозная тайна погибла вместе с ним. Затем вновь начались ужасные войны, которые продолжаются по сей день в наказание человечеству за его грехи. Но всемирная империя, которую он основал, была порождением мудрости и силы, и сегодня его сын сидит на ее троне не так же прочно, как в те дни, когда он только взшел на него много веков тому назад.

Это было очень интересно. Затем он начал объяснять свой «Закон периодических повторений» — а может быть, свой «Закон постоянства среднего интеллектуального уровня», — но тут нас прервали. Ему была обещана аудиенция у Ее Величия, и придворный чиновник явился сообщить, что эта высокая честь будет оказана ему сейчас.

*Извлечение из беседы Реджинальда Селькирка,
Безумного Философа, с Ее Величием,
Исполняющей Обязанности Главы Человечества*

«Наша замечательная цивилизация? Я не спорю против этого эпитета — он правильно ее определяет, но мне решительно не нравится то глубокое и самодовольное восхищение, которое он подразумевает. Все рассказы — и особенно ваш, сиятельнейшая, — показывают, что светлая, мирная, невежественная, ничем не запятнанная цивилизация Эдема стоила тысячи миллионов таких цивилизаций, как наша. Что такое цивилизация, если взять это слово в точном его значении? В нравственном отношении — это подавление дурных страстей, повышение морального уровня; в духовном — это сокрушение идолов, воцарение Бога; в материальном — хлеб и справедливость для возможно большего числа людей. Такова обычная формула, обычное определение, которое принимается всеми с полным удовлетворением.

Наша цивилизация замечательна некоторыми внеш-

ними и мишурными чертами; она замечательна научными и техническими чудесами, замечательна материальной пресыщенностью, которую она называет развитием, прогрессом и другими красивыми словами; замечательна раскрытием сокровенных тайн природы и победами над ее упрямыми законами; замечательна своими неслыханными финансовыми и коммерческими достижениями; замечательна своей жаждой денег и равнодушием к тому, как эти деньги приобретаются; замечательна невероятными размерами частных состояний и щедростью, с которой они жертвуются на учреждения, способствующие развитию общественной культуры; замечательна своей вопиющей нищетой; замечательна неожиданностями, которые преподносит ей эта великая новорожденная — «Организация», являющаяся самым последним и самым могучим созданием торгашеского интеллекта, творящая чудеса на транспорте, на заводах и фабриках, в области связи, собирания новостей, издания книг, журнализма, а также во всем, что касается защиты рабочих, угнетения рабочих, превращения рядовых членов всех национальных партий в покорных овец, закрытия государственной службы для сильных характеров и интеллектов или избрания продажных законодательных собраний, болтливых конгрессов и муниципалитетов, которые грабят свой город и за взятки покровительствуют ворами, проституткам, содержателям игорных притонов и сводникам. Это цивилизация, которая уничтожила простоту и безмятежность жизни; заменила ее спокойствие, ее поэзию, ее светлые романтические мечты и видения денежной лихорадкой, низменными целями, пошлыми желаниями и сном, который не освежает; она придумала множество видов бесполезной роскоши и сделала их необходимостью; она создала тысячи порочных стремлений и не удовлетворяет ни одного из них; она свергла бога и возвела на его престол сребреник.

Религия из сердца переместилась в рот. Так говорит Ной. Было время, когда две секты, разделенные лишь одним волоском доктрины, убивали, пытали, мучили за него, умирали за него. Такая религия обитала в сердце. Она была необходима, она жила, она была сутью человека. Кто сражается сейчас за свою религию иначе, чем языком? Ваша цивилизация навлекла на себя потоп. Так сказал Ной, и он готовится».

Восемнадцатого числа состоялось ежемесячное заседание Имперского института. Места Сорока Бессмертных за двумя исключениями все были заняты. В этот вечер читал лекцию знаменитый профессор исторических прогнозов. Часть ее он посвятил двум законам Реджинальда Селькирка, чаще называемого «Безумным Философом», а именно — «Закону среднего интеллектуального уровня» и «Закону периодического повторения». После подробного обзора смежных проблем он сказал:

«Я считаю, что законы эти доказаны. Согласно «Закону периодического повторения» ничто не может произойти единожды, все происходит снова, и снова, и снова — монотонно и однообразно. Природа не оригинальна: я хочу сказать — она почти не умеет изобретать новые предметы, новые идеи, новые театральные эффекты. Она обладает великолепнейшим, изумительнейшим и бесконечно разнообразным набором старых приемов, но никогда их не обновляет. Она повторяется, повторяется, повторяется. Обратитесь к своей собственной памяти, к своему собственному опыту, и вы убедитесь, что это так. Создав человека, который ее удовлетворил, она остается верной ему, не отступает от него ни при каких обстоятельствах, повторяет его в десятках миллиардов копий. Физически и умственно средний человек всегда одинаков; нет ни малейшей разницы между первым выводком, средним выводком и последним выводком. Если вы спросите: «Но неужели вы и вправду считаете, что все люди одинаковы?» — я отвечу — я сказал, что *средний* человек всегда одинаков.

«Но признайте, что некоторые индивиды намного превосходят средний уровень — по крайней мере, в интеллектуальном отношении».

Да, отвечу я, но природа повторяет и *таких* людей. Она повторяет все. Говоря метафорически, она установила общий интеллектуальный уровень человечества, скажем, в шесть футов. Возьмите миллиард человек, поставьте их вплотную друг к другу, и их макушки образуют плоскость, такую же ровную, как крышка стола. Эта плоскость воплощает интеллектуальную высоту массы, и она неизменна. Там и сям на расстоянии нескольких миль друг от друга над ней примерно на один интеллектуальный дюйм, так сказать, возвышаются отдельные головы — это люди, отличившиеся в науке, юриспруденции, военном искусстве, коммерции и так далее. На площади в пять тысяч квадратных миль вы обнару-

жите три головы, которые торчат еще на дюйм выше, — это люди, обладающие национальной славой, — и *одну*, которая выше этих голов дюйма на два-три, — голову человека, который (временно) обрел мировую славу. И наконец, где-то в пределах окружности земного шара вы за пятьсот лет ожидания обнаружите одну-единственную голову, которая возвышается над всеми остальными, — это голова писателя, мудреца, художника, мученика, завоевателя, — короче говоря, человека, чья слава достигает звезд и не померкнет до конца времен; голова какого-нибудь колосса, неизмеримо превосходящего все человеческое стадо, какого-нибудь несравнимого и несравненного феномена вроде того, кто колдовством заключенных в нем сил превратил свой сапожный молоток в скипетр всемирной державы. Эта картина показывает вам обычного человека любой национальности; отдельных людей, наделенных более мощным интеллектом и приобретающих потому известность; еще более редких людей с еще большим талантом и более длительной славой; а эта последняя голова, одиноко возвышающаяся над просторами веков, воплощает предел того, на что способна Природа.

Изменит ли она эту программу? Нет, до скончания века не изменит. Будет ли она вечно повторять ее? Да. Вечно и неизменно, снова и снова она будет повторять эти градации, всегда в одной и той же пропорции и всегда с регулярностью машины. На каждый миллион людей ровно столько-то однодюймовых знаменитостей, на каждый миллиард — столько-то двухдюймовых знаменитостей и так далее. И всегда один раз в эру — эта возвращающаяся одинокая звезда, не чаще, чем раз в эру, и никогда по две в одну эру.

Если Природе нравится какая-нибудь идея, она следует ей неумолимо. Она создает равнины, она создает холмы, она создает горы и через большие промежутки ставит высокие пики, затем более величественные и редкие — по одному на континент, и наконец, самый величественный — в шесть миль высоты. К той же градации она прибегает и в лошадях: она создает их великое множество, и все они бегают с одинаковой и не такой уж большой быстротой, только некоторые — чуть быстрее; очень редко создает она двух-трех, которые бегают значительно быстрее, и раз за полстолетия — знаменитость, которая пробегает милю за две минуты. И до конца времен Природа будет повторять эту лошадь каждые пятьдесят лет.

По «Закону периодического повторения» все, что произошло один раз, обязательно произойдет еще раз, и еще раз, и еще раз, и не беспорядочно, а через регулярные промежутки времени, причем каждое явление будет повторяться в своем собственном периоде, а не в чужом, подчиняясь своему собственному закону. Затмение Солнца, прохождение Венеры перед солнечным диском, появление и исчезновение комет, ежегодный звездный дождь — все эти явления подсказывают нам, что Природа, которая любит периодические повторения на небесах, это та же Природа, которая управляет делами Земли. Так оценим же этот намек по достоинству.

Есть ли какая-нибудь возможность опровергнуть закон самоубийств? Нет, он установлен. Если такое-то число самоубийств произошло в таком-то городе, в прошлом году, примерно такое же число их произойдет и в этом году. И это число будет возрастать пропорционально росту населения год за годом. Если вам укажут численность населения через сто лет, вы сможете точно вычислить, какое количество самоубийств случится в этом далеком году.

Погибнет ли эта замечательная цивилизация? Да, все гибнет. Возникнет ли она опять и будет ли существовать вновь? Да, ибо все, что бы ни случилось, должно случиться снова. И снова, и снова — и так вечно. Потребовалось более восьми веков для подготовки этой цивилизации. Затем она внезапно начала расти и, менее чем за сто лет, превратилась в несравненное чудо. Со временем она погибнет и будет забыта. Пройдут века, и она возникнет вновь, точно такая же, как была: все изобретения, все открытия повторятся в мельчайших подробностях. И снова она погибнет и возникнет через века, и вновь ослепит мир, как ослепляет его сейчас, — вновь совершенная в каждой детали. Таков «Закон периодического повторения».

Возможно даже, что повторятся и *названия* предметов. Разве в былые времена не существовала и не была забыта Наука Исцеления? И разве совсем недавно она не возникла вновь и не принесла с собой свое забытое название? Погибнет ли она снова? Еще не раз, я полагаю, с течением веков. И будет возникать вновь и вновь. А забытая книга «Наука и Здоровье с ключом к Священному Писанию» — разве не получили мы ее снова, просмотренную, исправленную, так что буйство ее стиля и грамматических конструкций оказалось укрощенной рукой образованного прозелита? И разве не

будет она забываться и раз, и два, и двадцать, и вновь возникать через огромные промежутки времени, и вновь ставить в тупик людские умы? В этом можно не сомневаться. Так должно случиться по «Закону периодических повторений».

БИБЛЕЙСКИЕ ПОУЧЕНИЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ТАКТИКА

Перемены, которым подвергались цивилизация и национальный характер, никогда не проходили без самого активного участия религии. Так было на протяжении всей истории человечества и, без сомнения, будет во все времена. По крайней мере до тех пор, пока человек, путем медленной эволюции, не превратится в нечто действительно прекрасное и возвышенное, на что потребуются еще миллиарды лет.

Христианская Библия по существу представляет собой аптеку. Ассортимент ее снадобий остается неизменным, меняются лишь методы их применения. В течение восемнадцати веков эти изменения были едва заметны. Метод оставался аллопатическим — аллопатическим в его самой грубой и жестокой форме. Тупой и невежественный эскулап день и ночь, не покладая рук, вливал в своего пациента гигантскими, невероятными дозами самые омерзительные лекарства, какие только можно было разыскать на аптекарском складе. Он пускал ему кровь, ставил банки, давал рвотное и слабительное, вызывал слюнотечение, никогда не предоставляя пациенту возможности оправиться от болезни и восстановить природные силы. В состоянии такого духовного недуга он держал его восемнадцать веков, и за все это время пациенту не выпало ни одного светлого дня. Что касается запаса медикаментов, то он всегда состоял поровну из губельных или расслабляющих ядов и целебных, успокаивающих лекарств. Впрочем, духовный эскулап, исходя из многолетней практики, прибегал всегда лишь к первым и в результате мог нанести своему пациенту один вред. Что он и делал.

Не так давно, уже в нашем столетии, в методах лечения произошли значительные перемены. Правда, это имело место в основном, или, вернее, только в Англии и в Соединенных Штатах. В других странах пациент в наше время либо по-прежнему пользуется средневековыми средствами, либо совсем обходится без врача.

В странах английского языка перемены, наблюдаемые в нашем столетии, были вызваны тем, что пациент

взбунтовался против методов лечения; во всяком случае, эскулапом эти перемены предусмотрены не были. Пациент решил лечить себя сам, и эскулап увидел, что количество больных катастрофически падает. Тогда, чтобы не остаться без работы, он решил видоизменить свой метод. Делал он это постепенно, с большой неохотой и лишь в тех случаях, когда обстоятельства вынуждали его. Прежде всего он прекратил ежедневную выдачу ада и вечного проклятия и прописал больному принимать их только через день. Потом он стал применять их все реже и реже. Когда же он ограничился воскресеньями и решил, что на этом можно остановиться, появился гомеопат, заставил его отказаться от ада и вечного проклятия вовсе и ввел вместо них христианскую любовь, утешение, милосердие и сострадание. Уже эти-то всегда имелись в избытке в церковной аптеке, и их золотые этикетки особенно бросались в глаза среди мерзких слабительных, рвотных и ядов, рядом с которыми они красовались на длинных полках. И не фармацевтов надо обвинять в том, что они не применялись,— просто таковы были методы лечения. Для церковного эскулапа, жившего пятьдесят лет назад, все его предшественники на протяжении восемнадцати веков были только знахарями; для современного церковного эскулапа его предшественник, живший пятьдесят лет назад,— такой же знахарь. Чем станет когда-нибудь нынешний церковный эскулап в глазах человека, который сам для себя будет духовным врачом? Если только не остановится и не окажется выдумкой эволюция, которая была реальностью еще в те времена, когда Земля, Солнце и все планеты солнечной системы представляли собой лишь летучую дымку метеорной пыли, то совершенно ясно, какая судьба уготована нынешнему церковному эскулапу.

Методы, к которым прибегают церковники, весьма любопытны, а история их занимательна. Во все времена римская церковь имела своих рабов, покупала и продавала их, санкционировала работорговлю, поощряла ее. Долгое время спустя после того, как некоторые христианские народы освободили своих рабов, церковь все еще продолжала владеть ими. Но разве можно сомневаться в том, что церковь не могла поступать иначе,— ведь все это делалось ею в соответствии с волей господ, а она была его единственным представителем на земле, полномочным и непогрешимым толкователем его Библии. Существовало священное писание, которое мо-

жно было толковать только так, а не иначе; церковь всегда была права: она лишь поступала так, как предписывала ей Библия. Уверенная в своей правоте, церковь на протяжении многих веков ни разу не возвысила голос против рабства. Сегодня мы наконец слышим, что папа римский объявил работорговлю грехом и даже посылает в Африку специальную экспедицию, чтобы приостановить захват новых рабов. Итак, догматы остались те же, изменилась лишь тактика. Почему? Да потому, что человечество решило подправить Библию. Сама церковь никогда на это не идет, но она в то же время никогда не упускает случая пристроиться в хвост событий и приписать себе чужие заслуги. Именно так она поступает и в данном случае.

Христианская Англия поддерживала и одобряла рабство в течение 250 лет, а ее святые отцы взирали на это, временами принимая в работорговле активное участие, а временами оставаясь в стороне. Можно, конечно, утверждать, что интересы, которые Англия преследовала в этом деле, были христианскими интересами и что вся работорговля носила чисто христианский характер. Больше чем кто-либо, Англия приложила усилий для того, чтобы возродить работорговлю после долгого застоя, и в конце концов продажа рабов стала как бы христианской монополией, иными словами — оказалась в руках только христианских стран. Английские парламенты поддерживали работорговлю и покровительствовали ей. Два английских короля состояли пайщиками компаний по продаже рабов. Первый английский профессиональный охотник за рабами, Джон Хокинс¹, память о котором чтут до сих пор, произвел во время своей второй экспедиции такие опустошения, так успешно нападал на туземные деревни, предавая их огню, увеча, уничтожая, захватывая и продавая в рабство их безобидных жителей, что восхищенная королева пожаловала ему звание рыцаря, — то самое звание, которым когда-то награждали наиболее достойных, совершивших подвиги во славу христианства. Новоиспеченный рыцарь с чисто английской откровенностью и грубоватым простодушием начертал на своем гербе коленопреклоненного, закованного в цепи негритянского раба. Деятельность сэра Джона была истинно христианским изобретением,

¹ Хокинс Джон (1532—1595) — английский адмирал и работорговец; трижды ходил к берегам Гвинен и вывозил оттуда негров на продажу; был пожалован гербом, который описывает Твен, а позже — рыцарским званием. — *Прим. сост.*

и в течение четверти тысячелетия эта кровавая и страшная монополия оставалась в руках христиан. С ее помощью разрушали жилища, разлучали семьи, порабощая отдельно мужчин и женщин, разбивали бесчисленное число человеческих сердец,—и все это лишь для того, чтобы христианские нации могли процветать и жить в довольстве, чтобы могли строиться христианские церкви, а проповедь кроткого и милосердного Спасителя могла распространиться по всей земле. Хотя прежде этого никто и не подозревал, теперь ясно, что название корабля сэра Джона таило в себе скрытое пророчество, Ведь это судно называлось «Иисус».

Однако настал день, когда один неполноценный английский христианин восстал против рабства. Любопытный факт: когда христианин восстает против укоренившегося зла, это почти всегда христианин неполноценный, принадлежащий к какой-нибудь второстепенной, всеми презираемой секте. Разгорелась ожесточенная борьба, но в конце концов от работорговли пришлось отказаться. Библейские поучения остались, изменилась тактика.

А затем случилась обычная вещь. Посетивший нашу страну англичанин — один из тех, что всегда видят соринку в чужом глазу,—воздел к небу свои набожные ручки, придя в ужас от нашего рабства. Горе его не поддавалось описанию, слова были полны горечи и презрения. Правда, он оплакивал именно наших рабов, которых было менее полутора миллионов, в то время как его Англия по-прежнему имела в своих заморских владениях двенадцать миллионов рабов, но это не умерило его воплей, не остановило его слез, не смягчило сурового осуждения. Тот факт, что каждый раз, когда наши предки пытались избавиться от рабства, именно Англия ставила нам всяческие преграды и разбивала все наши планы, не имел для него никакого значения: ведь все это уже стало достоянием истории и даже не заслуживало упоминания.

Но наконец и мы обратились в другую веру и тоже начали поднимать голос против рабства. Повсюду обнаружился люди с мягким сердцем, в любом уголке страны при желании можно было найти хотя бы мельчайший признак растущей жалости к рабу. В любом уголке — кроме церкви. Правда, в конце концов не выдержала и церковь. Ведь она всегда так поступала. Сначала вела отчаянную и упорную борьбу, а затем делала то же, что и всегда,—старалась ухватиться за хвост событий.

Рабство пало. Писание, оправдывавшее его, осталось, изменилась лишь тактика. Вот и все.

На протяжении многих веков существовали ведьмы. Так, во всяком случае, утверждала Библия. И именно она приказывала уничтожать их. Поэтому церковь, в течение 800 лет исполнявшая свои обязанности лениво и неохотно, эту свою святую миссию принялась осуществлять всерьез — с помощью виселиц, орудий пытки и пылающих костров. За девять веков повседневной усердной работы церковь засадила в тюрьмы, подвергла пыткам, повесила и сожгла целые армии ведьм, дочиста отмыв весь христианский мир их нечистой кровью.

Но неожиданно стало известно, что никаких ведьм нет и никогда не было. Тут уж не знаешь, смеяться или плакать. Кто же открыл, что ведьм не существует? Может быть, церковники? Нет, эти никогда не делали никаких открытий. В Салеме священник с трогательным упорством продолжал цепляться за священное писание, призывающее уничтожать ведьм, даже после того, как прихожане, решившись на этот раз забыть о Библии, со слезами на глазах раскаялись в тех преступлениях и жестокостях, которые их заставили совершить. Священнику хотелось еще крови, еще обличений, еще жестокостей, и именно не осененные святостью прихожане — вот кто остановил его руку. В Шотландии священник убил ведьму уже после того, как суд признал ее невиновной. А когда более сострадательные гражданские власти предложили изъять отвратительные статьи, направленные против ведьм, из свода законов, явились попы и просьбами, слезами и проклятиями пытались вынудить их не делать этого.

Ведьм нет. Но Библия, которая признает их существование, остается. Изменилась лишь тактика. Нет никакого адского огня, а Библия все пугает им. Оказался небылицей первородный грех, но Библия продолжает утверждать, что он есть. Более двухсот статей, карававших смертью, исчезло из свода законов, но Библия, породившая их, остается.

Разве не достоин внимания тот факт, что из всего множества библейских изречений, к которым прикасалось уничтожающее перо человека, он ни разу не вычеркнул ни одного доброго и полезного? А если так, значит можно надеяться, что при дальнейшем развитии просвещения человек в конце концов сумеет придать своей религиозной тактике какое-то подобие благопристойности.

ИЗ „ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК“ И „АВТОБИОГРАФИИ“

ИЗ «ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК»

[1877]

Старик: «Когда я размышляю о людских страданиях, которые разрывают мне сердце, когда я вспоминаю, что это всего только капля в океане, в необъятной Атлантике горя, на которую каждодневно взирает бог, я негодую на беспечных людей, которые славят бога и не думают о том, что его нужно жалеть».

[1883]

Описать второе пришествие. Со всеми подробностями. Много апостолов ирландского происхождения. Падди Райен¹ в роли Иуды, другие апостолы. Звезда на востоке. Люди не верят, что звезда двигалась, говорят, что волхвы были под мухой. Интервью Иоанна Богослова.

Стормфилду рассказывают о человеке, который всю жизнь стремился к райскому блаженству. Когда же наконец попал в рай, встретил там своего соседа, которого, по его глубокому убеждению, следовало отправить прямехонько в ад. Был настолько этим рассержен, что спросил, как пройти в ад, забрал саквояж и ушел.

Стормфилд узнает, что ад устроили, идя навстречу пожеланиям первых христиан. В настоящее время райские чертоги отапливаются радиаторами, соединенными с адом. Эта идея нашла полное одобрение у Джонатана

¹ Райен Падди (1831—1911) — американский католический епископ, выходец из Ирландии. — *Прим. сост.*

Эдвардса, Кальвина, Бэкстера¹ и К°, так как муки грешников усугубляются от сознания, что пожирающий их огонь обеспечивает комфорт праведникам.

1885. — Если бог таков, как полагают, он должен быть несчастнее всех во вселенной. Он наблюдает ежедневно мириады созданных им существ, испытывающих неисчислимые страдания. Он знает также о страданиях, какие им еще предстоят. Можно сказать: «Несчастен, как бог».

[1885]

В Уэллсе пастор пришел собирать десятину. Жена фермера говорит:

— Преподобный отец, у меня одиннадцать ребят, не возьмете ли одного? Вы забираете каждую десятую свинью, почему бы вам не брать каждого десятого ребенка?

И можно ли толковать — «десятину» как десятую часть урожая или приплода домашнего скота? Даже и так это чудовищный налог для бедняка. Он оставляет зияющую пустоту, все равно как если бы забрали кого-нибудь из членов семьи. Допустим, что бог обложил бы подобным налогом доходы богатых. Сколько продержался бы налог? С неделю? Представьте себе богатого, богобоязненного англичанина, который, уплатив церкви от 10 до 800 тысяч фунтов стерлингов, не взвыл бы так, что его услышали бы в преисподней. Какая жалость, что бог не обложил налогом одних богачей. Я непременно сделал бы это. Но он-то знал, что богача нельзя заставить платить, а бедняка можно. При всех своих изверствах, глупостях и клоунадах старый библейский бог обладал сметкой дельца. Как только речь заходила о наличных сребрениках, он немедленно прекращал казенную болтовню (благочестие, высокие чувства, милосердие) и переходил прямо к делу. Звон сребреников и подсчет барышей — лейтмотив Библии, этой священной книги, каждое слово которой и каждая мысль которой

¹ Эдвардс Джонатан (1703—1758) — американский протестантский теолог и писатель, в воззрениях которого находят высшую точку американской пуританской мысли и ее кризис; Кальвин Жан (1509—1564) — один из главных деятелей религиозной Реформации, основатель кальвинизма — протестантского вероучения, в основе которого лежит доктрина абсолютного предопределения; Бэкстер Ричард (1615—1691) — английский теолог. — *Прим. сост.*



исходят от него и вдохновлены им. Он же подал мысль о десятипроцентном подоходном налоге на нищих. Нам постоянно толкуют, что само содержание Библии служит доказательством ее «божественного происхождения». Отлично! Применяем этот метод доказательства к «десятине» и убеждаемся, что она ведет свое происхождение прямо из ада.

[1887]

Я верю в бога всемогущего¹.

Я не верю, что он когда-либо посылал через кого-нибудь весть человечеству, ни что он сообщал ее сам изустно, ни что он являлся когда-либо и где-либо в образе, видимом глазам смертных.

Я верю, что Ветхий завет и Новый завет были созданы и записаны человеком и что ни одна строка в них не была подтверждена богом и тем более — продиктована им.

Я считаю, что доброта, справедливость и милосердие божие проявляются в его творениях: я вижу, что они проявляются по отношению ко мне в этой жизни; отсюда я логически заключаю, что они проявятся по отношению ко мне и в грядущей жизни, если она вообще существует.

Я не верю в провидение. Я верю, что вселенная управляется строгими и неизменными законами. Если во время чумы семья одного человека погибла, а семья другого уцелела, это результат действия закона, бог же не вмешивался в такую мелочь, помогая одному или карая другого.

Я не понимаю, каким образом вечные загробные муки могут служить благой цели, и поэтому не верю в них. Может быть, и разумно наказать человека, чтобы он стал лучше; может быть, и разумно уничтожить его совсем, если оказалось, что лучше он стать не может; но вечно поджаривать его только ради удовольствия видеть, как он поджаривается, — это, во всяком случае, неразумно: даже свирепому богу, выдуманному евреями, это зрелище в конце концов надоело бы.

Может быть, загробная жизнь существует, а может быть, и нет. Я глубоко равнодушен к этому вопросу. Если мне суждено жить снова, то уж наверное для чего-то более разумного, а не для того, чтобы барахтаться веч-

¹ Запись 1887 года — в переводе И. Гуровой.

ность в огненном озере за нарушение путаных и противоречивых правил, которые считаются (без доказанных оснований) божественными установлениями. Если же за смертью следует полное уничтожение, то сознавать я его не буду, и, следовательно, это меня совсем не трогает.

Я верю, что моральные законы человеческого общества порождены опытом этого общества. Для того чтобы человек понял, что убийство, воровство и прочее вредны как для совершающего их, так и для страдающего от них общества, не требовалось нисхождения бога на землю.

Если я нарушаю эти законы морали, то не вижу, почему я этим оскорбляю бога — ибо что для него мои оскорбления? С тем же успехом я мог бы попытаться запачкать какую-нибудь планету, швыряя в нее грязью. Мне кажется, что мои преступления и проступки вредны только для меня и для других людей. Подчиняясь этим законам, я не могу радовать бога — как не радуется планета тому, что я не швыряю в нее грязью. (Читая все это, следует помнить, что, по моему глубочайшему убеждению, я получил эти законы только от человека, а совсем не от бога.) Поэтому я не понимаю, с какой стати в будущей жизни меня должны наказывать или награждать за то, что я сделал в этой.

Не понимаю, каким образом человек, не лишенный юмора, может быть верующим — разве что он сознательно закроет глаза своего рассудка и будет силой держать их закрытыми.

[1888]

Логика коров и христиан. Я имею в виду доказательство истинности религии, которое христиане наряду с коровами считают логичным.

[1894]

Боб Ингерсолл рассказал о пресвитерианском святом, который, отправляясь из рая на экскурсию в ад, заплатил за проезд в оба конца, а потом никому не мог сбыть обратный билет.

1895. Париж. Воскресенье утром. — Трое из шести или восьми спутников, с которыми я вместе приехал в

Париж, отправились в Лондон с американским мульти-миллионером, чтобы вкусить от его триумфа. Прошел уже месяц, но они все еще не могут ни думать, ни говорить ни о чем ином. Они счастливы, оглушены, полны благостности, как если бы они побывали в раю и трапезовали с господом богом.

[1895]

С сотворения мира родилось и отправилось в ад 225 000 000 000 язычников. Из них 28 000 спасены трудом миссионеров.

Епископ, вернувшийся из Китая: «Четыре пятых человечества не знает истинного бога. У бога не хватит времени их всех просветить, мы должны оказать ему помощь».

Мы легко соглашаемся, что у менее цивилизованных народов особенно сильно чувствуется неравенство между мужчиной и женщиной. Мы говорим, что это дикарство. Почему же мы так тупы и не видим, что тем самым мы признаем, что ни одна цивилизация не может быть совершенной, пока она не признает полное равенство мужчины и женщины.

Меня бесконечно поражает, что весь мир не заполнен книгами, которые с презрением высмеивали бы эту жалкую жизнь, бессмысленную вселенную, жестокий и низкий род человеческий, всю эту нелепую смехотворную канитель. Странно, ведь каждый год миллионы умирают с этим чувством в душе. Почему я не пишу эту книгу? Потому что я должен содержать семью. Это единственная причина. Может быть, так рассуждали и все другие?..

[1896]

В Джайпуре я повторил некоторые опыты сэра Джона Леббока¹ с муравьями и получил сходные результаты. Потом я предпринял собственные опыты. Они показали, что муравьи хорошо ориентируются в сфере духовных интересов. Я соорудил четыре миниатюрных святилища: мусульманскую мечеть, индийский храм,

¹ *Леббок Джон* (1834—1913) — английский ученый, археолог и биолог, автор работ о жизни насекомых. — *Прим. сост.*

еврейскую синагогу и христианский собор — и поставил их рядом. Затем я пометил пятнадцать муравьев красной краской и пустил их на волю. Они бегали взад и вперед, глядели на храмы, но внутрь не заползали. Я выпустил еще пятнадцать муравьев, пометив их синим. Они повели себя так же. Я позолотил и выпустил еще пятнадцать муравьев. Результаты не изменились. Все сорок пять муравьев суетились, подходили ко всем храмам, но ни в один из них не вползали. Я счел доказанным, что отобранные мною муравьи не имеют твердых религиозных воззрений; это было необходимой предпосылкой для следующего, еще более важного опыта.

Я положил у входа в святилища по клочку белой бумаги. На бумажку перед мечетью я положил немного замазки, перед входом в индийский храм — чуточку дегтя, перед входом в синагогу капнул скипидара, а перед входом в собор положил кусок сахара. Теперь я выпустил красных муравьев. Они отвергли замазку, и деготь, и скипидар и набросились на сахар с жадностью и, как мне показалось, с искренним чувством. Я выпустил синих; они в точности повторили действия красных. Золотые поступили так же, без единого исключения. Это не оставляло сомнений в том, что муравьи без определенных религиозных воззрений, если им предоставить выбор, отдают предпочтение христианской религии перед всякой другой.

Чтобы проверить опыт, я запер опять муравьев и переместил замазку в собор, а сахар — в мечеть. Я выпустил сразу всех муравьев, и они толпой ринулись прямо к собору. Я был тронут до слез и пошел в соседнюю комнату, чтобы записать этот замечательный опыт. Но, вернувшись, я увидел, что все муравьи изменили христианской вере и перешли в мусульманство. Я понял, что поспешил с первоначальными выводами, мне стало неловко и горько. Уже менее уверенный, я решил продолжить свой опыт. Я положил сахар в третий храм, а после — в четвертый. И что же? В какой храм я клал сахар, в тот и устремлялись мои муравьи. Таким путем я пришел к конечному выводу, что в отношении религии муравьи являются полной противоположностью людям. Человек идет в тот храм, где его учат истинной вере. Муравей же в тот, где ему дают сахар.

Если бы мне поручили сотворить бога, я наделил бы его некоторыми чертами характера и навыками, которых не хватает нынешнему (библейскому) богу.

Он не стал бы выпрашивать у человека похвал и лести и был бы достаточно великодушен, чтобы не требовать их силком. Он должен был бы себя уважать — не менее, чем всякий порядочный человек.

Он не был бы купцом, торгашом. Он не скупал бы льстивые похвалы. Он не выставял бы на продажу земные радости и вечное блаженство в раю, не торговал бы этим товаром в обмен на молитвы. Я внушил бы ему чувство собственного достоинства, свойственное порядочным людям.

Он ценил бы лишь такую любовь к себе, которая рождается в ответ на добро, и пренебрегал бы той, которую по договоренности платят за благодеяния. Искреннее раскаяние в совершенном грехе погашало бы грех навсегда, и от человека, раскаявшегося в душе, никто бы не ждал и не требовал словесных просьб о прощении.

В его Библии не было бы смертного греха. Он признал бы себя автором и изобретателем греха, а равно автором и изобретателем способов и путей к совершению греха. Он возложил бы всю тяжесть ответственности за совершаемые грехи на того, кто повинен в них, признал бы себя главным и единственным грешником.

Он не был бы завистлив и мелочен. Даже люди презирают в себе эту черту.

Он не был бы хвастуном.

Он скрывал бы, что в восторге от самого себя. Он понял бы, что хвалить себя при занимаемом им положении дурно. Он не испытывал бы мстительных чувств.

Не было бы никакого зла, кроме того, в котором мы все живем от колыбели и до могилы. Не было бы никакого рая, — и прежде всего того, который описан в библиях всех религий.

Он посвятил бы толику своей вечности на раздумье о том, почему он создал человека несчастным, когда мог ценой тех же усилий сделать счастливым. В остающееся время он пополнял бы свои сведения по астрономии.

[1897]

Богу следовало бы переодеться в штатское платье и лично обследовать жизнь лондонских бедняков. Он был бы, наверно, тронут и сделал бы для них что-нибудь.

На континенте невозможно получить приличный бифштекс; он всегда пережарен, как святой на костре.

Одна лестница, другая, широкие ступени. Странная маленькая церковь, увенчанная двумя очень высокими шпилями, заостренными как зубочистки. Когда птица садится на такой шпиль, — кажется, что ее сажают на кол. Старинная дверь, украшенная барельефами: на одной стороне вооруженный рыцарь, на другой — епископ. В просторном притворе, в нишах, статуи шести святых в человеческий рост; снизу дощечки с надписями. Один — С. Петр, он держит золотой ключ. Под другим надпись — С. Клеменс¹; это мое имя, моя фамилия. Я был очень горд, что нашел своего прародителя в таком месте, в такой компании. Впрочем, наша семья отличалась всегда благочестием, и дай мне волю, из меня тоже получился бы отличный святой. На С. Клеменсе — каска; по-видимому, до того как выдвинуться, служил полисменом.

Не подлежит сомнению, что больше всех пресмыкаются перед монархами и аристократами и больше всех извлекают из этого радостей именно американцы. Не все, разумеется, но если уж американец берется за это — он вне конкуренции.

1898. — В течение многих столетий Сатана занимает видное положение духовного главы четырех пятых людского рода и политического главы всего человечества; так что нельзя отказать ему в первоклассных организационных способностях. Рядом с ним все наши политики и папы римские — просто козявки, которых надо рассматривать под микроскопом.

У него нет ни одного оплачиваемого помощника. У него врагов — миллионы.

Одни поклоняются чинам, другие — героям, третьи — силе, четвертые — богу, и спорят из-за этого между собой; но все единодушно поклоняются деньгам.

Единственным реальным богом я считаю Бытие, которое создало эту величественную вселенную и правит

¹ *Святой Клеменс* — известен как Клемент Римский, один из отцов-апостолов, римский папа (92—101). — *Прим. сост.*

ею... истинная его сущность начертана ясными словами в истинной Библии — Природе и ее истории¹.

Богу не хватает стойкости, твердых убеждений, характера. Ему следует быть католиком или пресвитерианином или кем-нибудь — все равно, но не стараться поспеть повсюду.

Давайте чертыхаться, пока есть время; в раю все равно не позволят.

«Правда всесильна, и она побеждает». Возразить действительно нечего, кроме того, что это не так.

Нет сомнения, что христианство будет существовать даже через тысячу лет (в музее, в виде набитого чучела).

Всякому — свое. Святой Франциск Ассизский² однажды сказал: «Каждый святой сумеет сотворить чудо, но кто из них сможет управлять приличной гостиницей».

[1902]

Одно из доказательств бессмертия души то, что миллионы людей верили в это; те же миллионы верили, что земля — плоская.

Создать человека — была славная и оригинальная мысль. Но создавать после этого овцу — значило повторяться.

[1903]

Когда читаешь Библию, больше удивляешься неосведомленности бога, нежели его всеведению.

Если бы человека создал человек, он устыдился бы плодов своего труда.

[1904—1905]

Единственное резко выраженное различие между средним цивилизованным человеком и дикарем в том, что первый предпочитает позолоту, второй — раскраску.

¹ Перевод И. Гуровой. — *Прим. сост.*

² Святой Франциск Ассизский (1182—1226) — учредитель нищенствующего монашеского ордена, названного его именем. — *Прим. сост.*

Бог свиреп в Ветхом завете и обаятелен в Новом — доктор Джекиль и мистер Хайд¹ священного романа.

Давайте жить так, чтобы даже гробовщик оплакивал нашу кончину.

В шкуре каждого человека таится раб.

Ничто не поражает сильнее, чем чудо, — разве только наивность, с которой его принимают на веру.

Только мертвые имеют свободу слова.

Только мертвым позволено говорить правду.

В Америке, как и повсюду, свобода слова — для мертвых.

Нет ни единого права, которое не было бы продуктом насилия.

Нет ни единого права, которое остается незыблемым; его всегда можно уничтожить посредством очередного насилия. Следовательно, человек не имеет ни одного ненарушимого права.

Бог представляет насилие (он хитер, ненадежен, злобен).

Во время чреватых кровавыми событиями серьезных общественных кризисов толпа мало заботится, на чьей стороне правда. Она заботится только о том, чтобы быть на стороне сильного. В Северных штатах, в годы перед войной, тех, кто выступал против рабовладения, подвергали остракизму, презирали, травили. Это делали «патриоты». Потом «патриоты» перешли мало-помалу на сторону тех, кто боролся с рабовладением, и только тогда это стало считаться патриотичным.

Есть два рода патриотизма: монархический патриотизм и республиканский. В первом случае монарх и правительство спокойно подсовывают вам свое представление о патриотизме. Во втором — ни правительство, ни даже нация в целом не вправе указывать отдельному гражданину, что ему делать. Евангелие монархического патриотизма гласит: «Мой король всегда прав!» Мы рабски скопировали его, лишь слегка изменив формулу: «Моя страна! И в правом, и в неправом!»

¹ Доктор Джекиль и мистер Хайд — персонажи фантастической повести-притчи Р.-Л. Стивенсона (1850—1894) «Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда» (1886), воплощения доброго и злого начал одного человека. — *Прим. сост.*

23 января 1906 г.

[ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ НАТУРА]

Роясь в своих старых рукописях, я наткнулся на одну, написанную, как мне кажется, около двадцати двух лет назад. Она снабжена заголовком, и, по-видимому, это был набросок статьи для журнала. Теперь я очень хорошо понимаю, почему не напечатал ее. Судя по всему, поводом к ее написанию послужило то, что примерно тогда случилось с Твичелом¹, попавшим в положение, которое он не забудет до гроба, а может быть, и в гробу. Я замечаю, что от начала и до конца этой иносказательной статьи сыпал намеками на Твичела, на разговор со священником, который встретился мне на улице, и еще на многое, что тогда приводило меня в ярость. Теперь, перечитывая эту старую статью, я догадываюсь, почему не отдал ее в печать: несомненно, я решил тогда, что моя иносказательная манера недостаточно совершенна, что мне не удалось как следует завуалировать Твичела и разговор, на который я намекал, и что любой хартфордец сумеет прочесть между строк все, о чем я не сказал прямо.

Я вставляю здесь эту дряхлую статью, а затем расскажу о вышеупомянутом случае из жизни Джо.

О человеке. Это слишком обширная тема, чтобы рассматривать ее целиком; поэтому я коснусь теперь лишь одной-двух частных. Я хочу взглянуть на человека со следующей точки зрения, исходя из следующей предпосылки: что он не был создан ради какой-то разумной цели,—ведь никакой разумной цели он не служит; что он вообще вряд ли был создан намеренно и что его самовольное возвышение с устричной отмели до теперешнего положения удивило и огорчило Творца. Ибо его история во всех частях света, во все эпохи и при всех обстоятельствах дает целые океаны и континенты доказательств, что из всех земных созданий он — самое омерзительное. Из всего вывода только он, он один наделен злобой.

¹ Твичел Джозеф (1838—1918) — священник в Хартфорде (штат Коннектикут), где жил Марк Твен, был близким другом писателя. — *Прим. сост.*

А это самый низкий из всех инстинктов, страстей, пороков — и самый отвратительный. • Злоба ставит его ниже крыс, личинок, трихин. Он — единственное существо, которое причиняет боль другим ради забавы и знает, что это — боль. Правда, если кошка понимает, что причиняет боль, играя с перепуганной мышью, нам придется сделать оговорку и признать, что в одном отношении человек морально равен кошке. Все живые существа убивают, — это правило, кажется, не знает исключений, — но из них только человек убивает ради удовольствия, только он убивает по злобе, только он убивает из мести. А кроме того, из всех живых созданий только он обладает грязным умом.

Стоит ли восхвалять человека за его благородные качества, за его доброту, кротость, дружелюбие, за способность любить, за мужество, верность, терпение, стойкость, благоразумие, за многие обаятельные качества его души? Всем этим обладают и другие животные, свободные от черных и подлых свойств его натуры.

...В мире широко распространены некоторые приятно пахнущие, обсахаренные разновидности лжи, и, очевидно, все занимающиеся политикой люди безмолвно согласились поддерживать их и способствовать их процветанию. Одна ложь гласит, что в мире существует такая вещь, как независимость: независимость взглядов, независимость мысли, независимость действий. Другая — что мир любит проявления независимости, что он восхищается ею, приветствует ее. Еще одна — что в мире существует такая вещь, как терпимость в религии, в политике и так далее; а из этого вытекает уже упомянутая вспомогательная ложь, что терпимостью восхищаются, что ее приветствуют. Каждая такая разновидность лжи — ствол, а от нее ответвляется множество других: та ложь, будто не все люди рабы, та ложь, будто люди радуются чужому успеху, чужому счастью, чужому возвышению и полны жалости, когда за ним следует падение. И еще одна ложь-ответвление: будто человеку присущ героизм, будто злоба и предательство — это не основа основ его натуры, будто он не всегда бывает трусом, будто в нем есть нечто, заслуживающее вечности, — в раю ли, в аду или где бы то ни было. И еще одна ложь-ответвление: будто совесть, эта моральная аптечка человека, не только создана Творцом, но и вкладывается в человека, уже снабженная единственно правильными и подлинными рецептами поведения, и что точно такие же аптечки с точно такими

же коррективами, извечные и неизменные, распределяются между всеми народами во все эпохи. И еще одна ложь-ответвление: будто я — это я, а ты — это ты, будто мы — нечто самостоятельное, индивидуальное, обладающее собственным характером, а вовсе не кончик глистообразной вереницы предков, непрерывной чередой уходящей все дальше и дальше в глубь веков, к обезьянам; и будто эта наша так называемая индивидуальность не является на самом деле заплесневелой мешаниной наследственных инстинктов и понятий, заимствованных частица за частицей, мерзость за мерзостью от всей этой жалкой вереницы, причем истинно нового и оригинального в нас наберется ровно столько, чтобы подцепить на острие иголки и рассматривать под микроскопом. Отсюда понятно, почему таким фантастическим кажется утверждение, будто бы человек обладает личной, неповторимой и самостоятельной натурой, которую можно отделить от всего наносного в объеме, дающем возможность сказать: да, это человек, а не процессия...

...Рассмотрим первую ложь, которую мы упомянули: что будто бы существует такая вещь, как независимость, что она присуща отдельным индивидам, что она присуща сообществам людей. Однако если океаны и континенты доказательств что-нибудь и доказывают неопровержимо, — то именно полное отсутствие чувства независимости у всего рода человеческого. Редкие исключения только подчеркивают правило, освещают его, делают особенно заметным. Все жители Новой Англии, по очереди, в течение многих лет покорно выстаивали в вагоне поезда всю дорогу, не позволяя себе ни единой жалобы вслух; и такое положение длилось до тех пор, пока эти бесчисленные миллионы не произвели на свет одного-единственного независимого человека, который встал на защиту своих прав и заставил железнодорожную компанию снабдить себя сиденьем. Исходя из статистики и закона вероятности, можно сделать вывод, что для создания второго такого человека Новой Англии понадобится сорок лет. Существует закон, запрещающий поездам под угрозой соответствующего наказания занимать переезд на Эзилиум-стрит более чем на пять минут подряд. На протяжении многих лет пешеходы и экипажи ждали у переезда по двадцать минут и больше, пока его монополизировали поезда железнодорожной компании Новой Англии. Я не раз слышал энергичные протесты против подобного наглого нарушения закона,



но тем не менее протестующие продолжали покорно ждать.

Мы — осторожные овцы, мы выжидаем, куда свернет стадо, и потом следуем за ним. У нас по каждому вопросу есть два мнения: одно наше личное, которое мы боимся выразить вслух, и второе, предназначенное для того, чтобы угодить миссис Гранди¹, которым мы широко пользуемся, пока в конце концов привычка не прививает нам вкус к нему, а необходимость постоянно его защищать не заставляет нас полюбить его и проникнуться восхищением перед ним, так что мы забываем, какое жалкое чувство его породило. Посмотрите, как это проявляется в политической жизни страны. Вспомните, как, всеми силами души презирая в этом году какого-нибудь кандидата в президенты, мы боимся не отдать ему свой голос в следующем; как мы поли-

¹ Миссис Гранди — обозначение мешанской морали и общественного мнения. Часто упоминаемый, но не участвующий в действии персонаж комедии Томаса Мортон (1764?—1838) «Бог в помощь». — Прим. сост.

ваем его грязью сегодня и превозносим до небес с публичной трибуны завтра,—причем привычка закрывать глаза на обличающие факты прошлого года вскоре порождает у нас искреннюю и тупую веру в то, что нам сообщается в этом году. Подумайте о тирании наших партий—о том, что зовется верностью и лояльностью по отношению к партии, об этой ловушке, придуманной интриганами для своекорыстных целей и превращающей избирателей в товар, в рабов, в зайцев, пока они вместе со своими хозяевами выкрикивают всякую ерунду о свободе, независимости, свободе совести, свободе слова, искренне не замечая вопиющих противоречий и забывая (или игнорируя) тот факт, что поколением раньше их отцы и тогдашние служители церкви выкрикивали все ту же святотатственную ложь, когда они захлопывали дверь перед затравленным рабом, когда побивали горстку его человеколюбивых защитников цитатами из священного писания и дубинками, когда глотали оскорбления южан-рабовладельцев и лизали им сапоги.

Если нам захочется узнать подлинную сущность человечества, достаточно будет просто наблюдать за его представителями во время выборов. Некий хартфордский священник, встретившись со мной на улице, заговорил о новом кандидате и принялся пылко и убежденно порицать его—слушать эту исполненную независимости и мужества речь было одно удовольствие¹. Он сказал: «Возможно, мне следовало бы гордиться, так как этот кандидат—мой родственник; однако на самом деле я испытываю боль и отвращение, ибо я хорошо, даже весьма близко с ним знаком и знаю, что он законченный негодяй и всегда был таким». Но видели бы вы этого священника сорок дней спустя, когда он, председательствуя на политическом митинге, убеждал, настаивал, исходил в славословиях, превознося безупречную репутацию того же самого кандидата! Вам показалось бы, что он описывает Сиду, Великое Сердце, сэра Галахада и Баяра², рыцаря без страха и упрека, слив-

¹ Я забыл его фамилию. Кажется, она начинается с «К». Он был одним из американских толкователей Нового завета и ученостью не уступал самому Хэммонду Трамбулу.—Прим. М. Т.

² *Сид*—Родриго (Руй) Диас (ок. 1040—1099), прозванный маврами Сидом (господином),—национальный герой испанского народа; *Великое Сердце*—аллегорический персонаж повести Джона Бэньяна «Путь паломника», олицетворение верности и готовности прийти на помощь; *Сэр Галахад*—герой средневековых рыцарских романов, целомудренный искатель Грааля; *Баяр* (Байярд) Пьер дю Терайль (ок. 1473—1524)—французский воин, принимал участие

шихся воедино. Был ли он искренен? Да, к тому времени уже был. Вот почему все это так жалко и безнадежно. Как мало усилий надо затратить человеку, чтобы научиться лгать и верить своей лжи, если обстоятельства показывают ему, что таково общее направление! Верит ли он этой лжи и до сих пор? Весьма возможно, что нет; ему ведь она больше не нужна. Речь шла о мимолетном эпизоде его жизни: уделив ему то, что надлежало, он поспешил вернуться к своим основным делам.

А какой мелкой, неубедительной ложью оказывается утверждение, что независимость действий и взглядов высоко ценится в людях, вызывает восхищение, почитается, вознаграждается. Когда человек выходит из политической партии, на него смотрят так, словно он был имущественным делом партии, ее рабом (впрочем, ими по сути и являются почти все члены любой политической партии) и украл самого себя, бежал с тем, что ему не принадлежит. На него клеветают, над ним издеваются, его презирают, выставляют на всеобщее поношение и позор. Его имя безжалостно смешивают с грязью, в ход пускаются самые гнусные средства, чтобы нанести ущерб его благосостоянию.

Проповедник слова божьего, который будет голосовать, повинаясь требованию своей совести, рискует умереть с голоду. Но он заслуживает такой судьбы, ибо учил лжи — тому, будто люди уважают и почитают независимость мысли и действий.

Если мистера Бичера¹ обвинят в *преступлении*, все его последователи восстанут как один человек и будут защищать его до конца, но кто пожелает остаться его другом, если его обвинят в том, что он голосовал, повинаясь требованию своей совести? Предположим, в том же обвинят издателя газеты или... или кого угодно.

Все эти рассуждения о терпимости в любом ее виде — утешительная ложь. Терпимости не существует. Ей нет места в человеческом сердце, но по древней заплесневелой привычке все, захлебываясь и брызгая слюной, бормочут о ней. Нетерпимость — это все для себя и ничего для других... Такова основа человеческой природы, и имя ей — эгоизм.

в походах Карла VIII, Людовика XII и Франциска I, за свою храбрость прозван был «рыцарем без страха и упрека». — *Прим. сост.*

¹ Бичер Генри Уорд (1813—1887) — священник и писатель, брат Г. Бичер-Стоу, знакомый Твена по Хартфорду. — *Прим. сост.*

Ради краткости не станем разбирать все остальные разновидности лжи. Это ни к чему не приведет и лишь еще раз докажет, что человек таков, каков он есть: любящий и любимый, когда дело касается его семьи или друзей, а в остальном — шумный, хлопотливый и пошлый враг себе подобных, который проводит здесь свой крохотный день, пачкая что успеет, а потом поручает себя богу, уходит во мрак и уже не возвращается и не подает о себе никаких вестей, эгоистичный даже в смерти.

26 января 1906 г.

[ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ]

По-моему, нетрудно догадаться, что эта старая статья была написана двадцать два года тому назад, месяца через три-четыре после поражения мистера Блейна¹ на президентских выборах и избрания кандидата демократической партии Гровера Кливленда², которое на время положило конец господству республиканцев, длившемуся на протяжении жизни целого поколения. Я чаще голосовал за республиканцев, чем за демократов, но никогда не был ни республиканцем, ни демократом. В нашем городе меня считали республиканцем, но сам я таковым себя не считал. Еще в 1865 (или, может быть, в 1866) году со мной произошел странный случай: до той поры я смотрел на себя как на республиканца, но затем решил голосовать независимо от каких бы то ни было партий, — и обратил меня на этот путь убежденный республиканец. Этот человек впоследствии был выбран в сенат Соединенных Штатов и, насколько мне известно, оставил по себе незапятнанную память, если не считать того, что он был отцом ныне здравствующего Уильяма Рэндольфа Херста³ и, следовательно, дедушкой желтой прессы⁴ — этого страшнейшего из бедствий.

¹ Блейн Джеймс Гиллеспи (1830—1893) — американский политик, запятнал себя взятками и другими неблагоприятными делами. — *Прим. сост.*

² Кливленд Стивен Гровер (1837—1908) — президент США в 1885—1889 и 1893—1897 гг., демократ. Победил на выборах 1884 г. Дж. Блейна потому, что за него проголосовали и умеренные республиканцы, выступавшие против Блейна. — *Прим. сост.*

³ Херст Уильям Рэндольф — создатель мощного газетного треста в конце XIX в. в США. В 1895 г. Херст купил нью-йоркскую газету «Морнинг Джорнэл», вскоре добился для нее миллионного тиража; в то время самая скандальная газета страны. — *Прим. сост.*

⁴ «Желтая пресса». — В 1896 г. бульварные газеты Херста и Пулитцера в Нью-Йорке начали печатать первые комиксы — развле-

Херст был уроженцем штата Миссури; и я был уроженцем штата Миссури. Он был высоченным, худым, практичным, очень житейски умным, но необразованным человеком лет пятидесяти. Я был пониже ростом и эрудированнее — по крайней мере мне так казалось. Однажды, выступая в Лик-Хаусе в Сан-Франциско, он сказал:

— Я республиканец и всегда буду республиканцем. Это мое намерение, а я редко отступаю от своих намерений. Взгляните, однако, на положение вещей. Республиканская партия идет от успеха к успеху, пожинает триумф за триумфом и уже начала считать, что политическая власть в Соединенных Штатах ее личная собственность и попытка любой другой партии посягнуть хотя бы на часть этой власти — просто наглость. Для страны ничего не может быть вреднее такого положения. Передать власть одной партии и сохранить ее за ней значит обеспечить стране скверное правительство, и самое главное — обеспечить верное и неуклонное разложение общественной морали. Партии должны быть почти равны по силам, чтобы их руководителям приходилось подыскивать себе самых лучших людей. Родители-демократы должны по возможности делить своих сыновей между двумя партиями и делать все, что от них зависит, чтобы таким образом уравнивать силы. У меня только один сын. Он еще совсем малыш, но я уже учу его, убеждаю его, готовлю его голосовать против меня, когда он достигнет совершеннолетия, независимо от того, к какой партии я буду тогда принадлежать. Он уже хороший демократ, и я хочу, чтобы он оставался хорошим демократом, — до тех пор, пока я сам не стану демократом. Тогда я, если смогу, заставлю его перейти в республиканцы.

Мне показалось, что этот необразованный человек при всем при том очень мудр. С той поры и по сей день я голосовал, руководствуясь собственным мнением, а не официальным. С той поры и по сей день я не был членом никакой партии. С той поры и по сей день я не принадлежал ни к какой церкви. Во всех подобных вопросах я сохранял за собой полную свободу. И благодаря этой независимости я обрел душевный покой и независимость, которым нет цены.

кательные истории в картинках, героем которых был «желтый мальчик». С тех пор «желтой прессой» стали называть газеты и журналы сенсационного толка, не брезгающие ничем для сбыта своей продукции массовому читателю. — *Прим. сост.*

Когда лидеры республиканской партии заговорили о Блейне как о возможном кандидате на пост президента, хартфордские республиканцы очень огорчились и пришли к выводу, что, если его кандидатура будет выдвинута официально, он непременно потерпит поражение. Но они думали, что до этого не дойдет. В Чикаго открылся съезд республиканской партии, и началась баллотировка кандидатов. Мы играли на бильярде у меня дома — Сэм Дэнхем, Ф.-Дж. Уитмор, Генри К. Робинсон, Чарльз Э. Перкинс и Эдвард М. Банс¹. Играли мы поочередно, а в промежутках разговаривали о политике. Джордж, негр-дворецкий, дежурил в кухне у телефона. Как только очередной результат баллотировки становился известен в хартфордском центре республиканской партии, оттуда звонили ко мне, и Джордж сообщал нам эту новость по переговорной трубке. Никто из присутствующих серьезно не предполагал, что кандидатура мистера Блейна все-таки будет выдвинута. Все мои гости были республиканцами, но не питали особой любви к Блейну. В течение двух лет хартфордский «Карент» постоянно обличал и высмеивал Блейна. Каждый день газета выдвигала против него все новые обвинения. Она беспощадно критиковала его политическую деятельность и подкрепляла свою критику убийственными фактами. Вплоть до того времени «Карент» был газетой, которая высказывала свое мнение о выдающихся деятелях обеих партий с полной искренностью, и можно было не сомневаться, что ее суждения хорошо обоснованы, продуманы и здравы. В те времена я привык полагаться на «Карент» и принимал все его выводы на веру.

Мы продолжали играть на бильярде и спорить о политике, как вдруг часа в три Джордж преподнес нам через переговорную трубку потрясающую новость. Официальным кандидатом был выдвинут мистер Блейн! Бильярдные кии со стуком опустились на пол, а игроки словно онемели. Никто не знал, что сказать. Наконец молчание нарушил Генри Робинсон:

— Вот уж не повезло,— грустно сказал он,— что мы обязаны голосовать за этого человека.

— Но мы вовсе не обязаны за него голосовать,— возразил я.

¹ Дэнхем Сэм — торговец, Уитмор Ф.-Дж. — поверенный Твена в делах, Робинсон Генри К. — губернатор, Перкинс Чарльз Э., Банс Эдвард М. — знакомые Твена по Хартфорду. — *Прим. сост.*

— Неужели вы хотите сказать,— удивился Робинсон,— что вы не собираетесь голосовать за него?

— Именно это я и хочу сказать,— ответил я. — Я не собираюсь голосовать за него.

Тут наконец и остальные обрели дар речи. И все затаили одну и ту же песню. Каждый заявил, что, раз уж представители партии выдвинули кандидата, спорить больше не о чем. Если выбор неудачен, очень жаль, но ни один лояльный член партии не имеет права лишить этого кандидата своего голоса. Его долг ясен, и долг этот должен быть выполнен. Он обязан голосовать за кандидата своей партии.

Я сказал, что нет такой партии, которая обладала бы привилегией диктовать мне, как я должен голосовать; что если лояльность по отношению к партии — это проявление патриотизма, то, значит, я не патриот, и что вообще я не могу считать себя патриотом, так как чаще всего то поведение, которое большинство американцев считает истинно патриотическим, не соответствует моим взглядам; что если между американцем и монархистом действительно существует какая-то разница, то она в основном сводится к следующему: американец сам для себя решает, что патриотично, а что нет, в то время как за монархиста это делает король, чье решение окончательно и принимается его жертвой безоговорочно; что, по моему твердому убеждению, я единственный человек на шестьдесят миллионов,— за которыми стоят конгресс и правительство,— догадавшийся оставить за собой право самому создавать свой патриотизм.

Они ответили:

— Предположим, начнется война, какова тогда будет ваша позиция? Вы и в этом случае оставите за собой право решать по-своему, наперекор всей нации?

— Именно так,— ответил я. — Если эта война покажется мне несправедливой, я прямо так и скажу. Если в подобном случае мне предложат стать под ружье, я откажусь. Я не пойду воевать за нашу страну, как и за любую другую, если, по моему мнению, страна эта окажется неправой. Если меня насильно призовут под ружье, я вынужден буду подчиниться, но добровольно я этого не сделаю. Пойти добровольцем значило бы предать себя, а следовательно, и родину. Если я откажусь пойти добровольцем, меня назовут предателем, я это знаю,— но это еще не сделает меня предателем. Даже единодушное утверждение всех шестидесяти миллионов

не сделает меня предателем. Я все равно останусь патриотом, и, по моему мнению, единственным на всю страну.

Спор продолжался еще долго, но я никого в свою веру не обратил. Они все достаточно откровенно заявляли, что не хотят голосовать за мистера Блейна, но при этом добавляли, что голосовать все-таки будут. Потом Генри Робинсон сказал:

— До выборов еще далеко. Вам хватит времени, чтобы образумиться, и вы образумитесь. Вы не сможете противостоять всему, что вас окружает. В день выборов вы проголосуете за Блейна.

Я сказал, что вовсе не пойду голосовать.

С этой минуты и до полуночи редакция «Карента» переживала крайне неприятное время. Генерал Холи¹, главный редактор (он же главнокомандующий этой газеты), был на своем посту в конгрессе, и до двенадцати часов ночи между ним и «Карентом» шел оживленный обмен телеграммами. За предыдущие два года «Карент» успел превратить мистера Блейна в «смоляное чучелко»² и каждый день обмазывал его свежей порцией смолы, — а теперь газете предстояло восхвалять и всячески приветствовать его и убеждать уже достаточно просвещенных читателей, что их долг — помочь «смолянному чучелку» стать у кормила власти. Положение получилось не из легких, и сотрудникам «Карента» во главе с генералом Холи понадобилось девять часов, чтобы проглотить эту горькую пилюлю. Но наконец генерал Холи решился, и в полночь пилюля была проглочена. Не прошло и двух недель, как «Карент» уже лихо расхваливал то, что прежде строго порицал, а еще через месяц характер газеты изменился полностью — и по сей день ей еще не удалось до конца возратить себе прежние достоинства, хотя под руководством Чарльза Хопкинса Кларка она вернула их, по моим подсчетам, процентов на девяносто.

Фактическим редактором в то время был Чарльз Дадли Уорнер³. Новые условия пришлось ему не по

¹ Холи Джозеф (1826—1905) — генерал, губернатор штата Коннектикут с 1866 г, редактор хартфордской газеты «Карент». — *Прим. сост.*

² «Смоляное чучелко». — В «Сказках дядюшки Римуса» американского писателя Джозела Ч. Харриса (1840—1908) Братец Лис ловит Братца Кролика с помощью соломенной куклы, облитой смолой. — *Прим. сост.*

³ Уорнер Чарльз Дадли (1829—1900) — американский писатель, в сотрудничестве с ним Твен написал роман «Позолоченный век» (1874). — *Прим. сост.*

нутру. Обнаружив, что он не в силах повернуть свое перо в противоположном направлении и заставить его двигаться задом наперед, он решил отложить его совсем. Он отказался от обязанностей и от жалованья редактора, жил с тех пор на доходы, которые получал как совладелец газеты, и на гонорары за журнальные статьи и за лекции, а в день выборов оставил свой голос при себе.

Беседа с ученым американцем, членом богословской коллегии, которая занималась пересмотром Нового завета, протекала именно так, как я рассказал в своей старой статье. Он с большим жаром обличал Блейна, своего родственника, и заявил, что ни в коем случае не будет за него голосовать. Но он так привык пересматривать Новые заветы, что ему потребовалось всего несколько дней, чтобы пересмотреть эти свои собственные слова. Едва я кончил разговаривать с ним, как мне встретился Джеймс Дж. Бэттерсон. Бэттерсон был председателем известной «Компании по страхованию путешественников». Это был прекрасный человек, волевой человек и превосходный гражданин. Он принялся обличать Блейна с не меньшим жаром, чем это только что сделал священник; но не прошло и двух недель, как, председательствуя на республиканском предвыборном митинге, он уже восхвалял Блейна, причем в таком восторженном тоне, что человеку неосведомленному могло показаться, будто республиканская партия была взыскана особой милостью и ей удалось заполучить в кандидаты кого-то из архангелов.

Время шло. День выборов был уже совсем близко. Как-то поздним морозным вечером Твичел, преподобный Фрэнсис Гудвин и я, пронизываемые ледяным зимним ветром, возвращались домой по пустынным улицам после заседания нашего клуба «Понеделники», где за ужином во время дебатов о современном политическом положении в стране, к вящему негодованию всех присутствующих, включая и дам, выяснилось, что среди нас находятся три предателя. Что Гудвин, Твичел и я намерены оставить свои голоса при себе, вместо того чтобы отдать их архангелу. И вот где-то на этом пути домой Гудвина осенила счастливая мысль, которой он не преминул поделиться с нами.

Он сказал:

— Почему мы не хотим отдать наши три голоса Блейну? Несомненно, потому, что хотим по мере сил и возможностей способствовать его поражению на выбо-

рах. Отлично. Значит, наши голоса — это три голоса против Блейна. Здравый смысл подсказывает, что нам следует увеличить количество их до шести, проголосовав за Кливленда.

Даже мы с Твичелом сумели понять, что он говорит дело, и ответили:

— Правильно, мы так и поступим.

В день выборов мы отправились к урнам и претворили свой адский замысел в жизнь. В те времена голосование не было тайным. Любой присутствующий мог видеть, за кого подается голос, — и наше преступление в мгновение ока стало известно всему городу. Наше двойное преступление — по мнению всего города. Лишить Блейна своего голоса было уже серьезным проступком, но взять да и отдать этот голос кандидату демократов значило совершить преступление, которому даже в словаре трудно подыскать достойное наименование.

С этого дня и на довольно долгий срок жизнь Твичела превратилась в тяжелое бремя. Прихожане, говоря попросту, «озлились» на него, и исполнение его обязанностей приносило ему мало радостей, хотя, может быть, на его раны порой проливался целительный бальзам — когда ему приходилось хоронить некоторых членов своей паствы. Мне кажется, что схоронить их всех значило бы совершить поистине доброе дело и оказать благодеяние обществу. Но если Твичел и питал чувства вроде этих, он был слишком милосердным и добрым человеком, чтобы выражать их вслух. Мне он ничего подобного не говорил, а я думаю, что был бы первым, с кем он поделился бы такими мыслями.

Твичел сильно уронил себя в глазах своего прихода. А ему приходилось содержать жену и маленьких детей. Его семья уже тогда была довольно многочисленной и продолжала увеличиваться. С каждым годом ноша его делалась все более и более тяжелой, а жалованье оставалось прежним. Сводить концы с концами становилось все труднее, и если у него раньше была надежда на увеличение жалованья, то теперь с ней пришлось распрощаться. А жалованье было довольно мизерным — четыре тысячи долларов в год. Твичел не просил о прибавке, а самим прихожанам это и в голову не приходило. Поэтому, проголосовав за Кливленда, он несомненно, обрек себя на большие невзгоды. Осуществление хваленного американского права на свободу и независимость убеждений и поступков имело катастрофические последствия. Но преподобный Фрэнсис Гудвин

продолжал пользоваться таким же уважением, как и прежде,—по крайней мере внешне, хотя в душе прихожане осудили его бесповоротно. Во всяком случае, в своей служебной деятельности он не потерпел никакого ущерба. Возможно, это объяснялось тем, что общественное мнение значило для него очень мало. Его отец имел капитал в семь миллионов и был стар. Преподобного Фрэнсиса ожидали повышение и наследство.

За себя мне тоже не приходилось беспокоиться. Мой заработок не зависел от Хартфорда и был вполне достаточен для всех моих нужд. Мнение Хартфорда повлиять на него не могло, а кроме того, мои друзья и знакомые уже давно знали, что я никогда не голосую за официального кандидата и, следовательно, настолько погряз в преступлениях такого рода, что никакое неодобрение исправить меня не может,—да и стоил ли я хлопот, которые были бы затрачены на то, чтобы меня исправить?

Прошло еще месяца два, и настал Новый год, а с ним ежегодное собрание прихожан Джо и ежегодная продажа мест в церкви.

Четверг, 1 февраля 1906 г.

На самом собрании Джо не присутствовал. Священнику не полагается слушать, как обсуждаются финансовые дела его церкви. Поэтому он сидел один в ризнице, чтобы в случае надобности с ним можно было немедленно посоветоваться. Прихожане явились в полном составе. Все места были заняты. Едва только собрание было открыто, как кто-то вскочил на ноги и внес предложение, чтобы связь между их церковью и Твичелом была немедленно разорвана. Это предложение было поддержано, и повсюду стали раздаваться возгласы: «Ставьте на голосование!» Однако мистер Хэббард, коммерческий директор и совладелец «Карента», человек средних лет, благоразумный, спокойный, уравновешенный, потребовал сначала обсудить это предложение, а потом уже ставить его на голосование. Сказал он примерно следующее (я передаю содержание его речи своими словами, так как меня там не было):

— Мистер Твичел был вашим первым священником. Еще два месяца назад вам и в голову не приходило искать себе другого. Вы считали его хорошим пастырем, а теперь вдруг решили, что он недостойн им оставаться, поскольку его политические взгляды, с вашей точки зре-

ния, недостаточно ортодоксальны. Ну, ладно: прежде он был достоин быть вашим пастырем,—теперь он недостойн. Его высоко ценили,—теперь, по-видимому, его ценность исчезла. Но только по-видимому. То, что в нем ценнее всего, не изменилось,—или я плохо знаю наш приход. Когда он стал нашим священником, этот район лежал на самой окраине, был мало населен, и недвижимость здесь почти ничего не стоила. Личность мистера Твичела оказалась тем магнитом, который сразу же начал притягивать сюда новое население. Это продолжается и по нынешний день. В результате за вашу недвижимость, которая прежде ничего не стоила, сейчас дают очень высокую цену. Поразмыслите же, прежде чем голосовать за это предложение. Церковь западного Хартфорда с глубоким интересом ждет результатов этого голосования. Недвижимость в тамошнем приходе стоит очень дешево. И им больше всего на свете нужен человек, который мог бы поднять ее цену. Увольте мистера Твичела сегодня, и завтра они пригласят его к себе. Цена недвижимости там начнет подниматься, а здесь падать. Вот все, что я хотел сказать. Предлагаю приступить к голосованию.

Твичел не был уволен. Все вышеописанное произошло двадцать два года тому назад. Твичел стал священником этой церкви сразу же после своего рукоположения. Он служит в ней до сих пор и ни разу не расставался с ней ради какой-нибудь другой. Сороковая годовщина его пребывания в этом приходе была отпразднована теми же самыми прихожанами и их потомками всего недели две тому назад. И чествование прошло с большим энтузиазмом. С тех пор Твичел не совершил больше ни одной политической ошибки. Упорство, с каким он на всех выборах голосовал как положено, злило меня все эти годы и было причиной многих моих ругательных писем к нему. Но эти ругательства были притворными. На самом деле я никогда не осуждал его за то, что он голосует за своих проклятых республиканцев,—по той простой причине, что человек в его положении, когда ему приходится кормить большую семью, отвечает в первую очередь не перед своей политической совестью, а перед своей отцовской совестью. Чтобы исполнить один долг, приходилось жертвовать другим. И в первую очередь он должен был заботиться о своей семье, а не о своей политической совести. Он пожертвовал своей политической независимостью и такой ценой спас свою семью. При подобных обстоятельствах это

был высший и лучший род человечности. Будь он Генри Уордом Бичером, он не имел бы права приносить в жертву свою политическую совесть, так как в случае увольнения его ждали бы тысячи новых кафедр и его семья все равно была бы обеспечена хлебом насущным. А Твичелу пришлось бы идти на риск — и на риск весьма значительный. Мне представляется весьма сомнительным, чтобы ему — да и кому угодно еще — удалось поднять цены на недвижимость в западном Хартфорде. По-моему, когда мистер Хэббард так напугал собрание прихожан, он пустил в ход всю свою фантазию. Я считаю, что для Твичела безопасней всего было по возможности оставаться на прежнем месте. Он спас свою семью, а это, на мой взгляд, было его первейшим долгом.

В нашей стране имеется примерно восемьдесят тысяч священников. Из них политической независимостью обладают человек двадцать, не больше, — остальные ее лишены. Они должны голосовать за ту партию, к которой принадлежат их прихожане. Так они и поступают, и их нельзя осуждать. Причина, по которой они лишены политической независимости, заключена отчасти в них самих: они ведь не проповедуют политической независимости со своих кафедр. В том, что наш народ лишен политической независимости, повинны во многом и они.

16 февраля 1906 г.

[УЧЕНИЕ ДЖЕЯ ГУЛДА]

Из всех бедствий, постигавших нашу страну, Джей Гулд¹ был самым ужасным. Мои соотечественники *тянулись* к деньгам и до него, но он научил их пресмыкаться перед деньгами, обожествлять их. Они и раньше почитали людей с достатком, но это было отчасти уважением к воле, к труду, которые потребовались, чтобы добиться достатка. Джей Гулд научил всю страну обожествлять богачей, невзирая на то, как их богатство добыто. Я не помню в дни моей юности в наших краях такого поклонения богатству. Я также не помню, чтобы

¹ Гулд Джей (1836—1892) — американский капиталист, миллионер, один из самых беззастенчивых мошенников в истории страны. Гулда и ниже с ним Твен считал виновниками извращения демократических принципов в США (см. «Исправленный катехизис»). — *Прим. сост.*

В наших краях о ком-либо, жившем в достатке, было известно, что он добыл свои деньги нечестным путем.

Евангелие, оставленное Джемом Гулдом, свершает свое триумфальное шествие в наши дни. Вот оно: «Делай деньги! Делай их побыстрее! Делай побольше! Делай как можно больше! Делай бесчестно, если удастся, и честно, если нет другого пути!»

Это евангелие, как видно, считается общепризнанным. Мак-Карди, Макколы, Гайды, Александеры и другие бандиты, выбитые недавно со своих позиций в гигантских страховых компаниях Нью-Йорка, выступают его апостолами. Третьего дня в газетах появилось сообщение, что Маккол умирает. О других тоже не раз сообщалось за последние два-три месяца, что они накануне кончины. Не следует думать, будто они умирают от стыда и от горя, что раздели до нитки три миллиона держателей своих страховых полисов, их семьи, их вдов и сирот. Нет, не угрызения совести мучают этих людей. Они болеют от злости, что их вывели на чистую воду.

Вчера — я прочел об этом сегодня в газете — Джон Маккол¹, совсем позабыв о своих предстоящих похоронах, преподнес американскому народу лекцию на тему о нравственности. Он знает, что все, что ни скажет богач (здоровый или умирающий, это неважно), немедленно прогремит через посредство печати от одного конца континента до другого и будет прочитано каждым, кто умеет складывать буквы в слова. Маккол проповедует, адресуясь якобы к своему сыну, на самом же деле — к нам с вами, к американцам. Первое впечатление, что он говорит искренно, и я полагаю, что он действительно искренен. Думаю, что нравственное чувство у него давно атрофировано. Думаю, что он действительно считает себя человеком высокой морали, может быть, даже святым. К тому же он убежден, что так о нем думают все. Ему поклоняются потому, что у него много денег, в особенности же потому, что на протяжении двадцати лет он добывал эти деньги нечестным путем. Я думаю, он так привык к воздаваемым ему почестям, настолько введен в заблуждение, что и в самом деле считает себя удивительным и прекрасным созданием божьим, благородным примером для грядущих веков. Он так счастлив, исполнен такой важности, так доволен собой, что можно подумать, что на

¹ Маккол Джон (1849—1906) — американский предприниматель, в 1892—1905 гг. президент нью-йоркской компании по страхованию жизни. — *Прим. сост.*

совести у него нет черных пятен и в послужном кондуите ни одного преступления. Вот вам для образчика его небольшая проповедь:

«РАБОТАТЬ И РАБОТАТЫ» — ТАК ГОВОРIT МАККОЛ

«Беседуя с сыном, он рассказал о последней сигаре».

(Нам сообщает по телеграфу специальный корреспондент «Нью-Йорк Таймс»):

«Лейквуд, 15 февраля. — Джон Маккол чувствовал себя сегодня настолько бодрее, что провел продолжительную беседу со своим сыном Джоном Макколом-младшим и привел ему несколько интересных примеров из головокружительной истории своей деловой карьеры.

— Джон, — сказал он, — у меня было в жизни немало поступков, о которых я сожалею, но ни одного, который заставил бы меня краснеть. Мой совет молодым людям, которые хотят добиться успеха: брать жизнь такой, как она есть, и — работать, работать!»

Мистер Маккол уверен, что главное, что движет вперед человечество, — это сильная воля. Он привел пример из своей биографии:

— Как-то раз, Джон, мы с твоей матушкой сидели и о чем-то беседовали. Я закурил сигару. Я был усердным курильщиком, хорошая сигара доставляла мне удовольствие. Твоя матушка не одобряла, что я курю.

— Джон, — сказала она, — брось сигару.

Я бросил сигару.

— Джон, — сказала она, — я прошу тебя, не кури больше совсем.

И сигара, которую я закурил и бросил тогда, была последней сигарой во всей моей жизни. Я решил перестать курить и перестал. Тому — ровно тридцать пять лет.

Мистер Маккол привел еще несколько случаев из своей деловой практики. Его настроение заметно улучшилось. Это отчасти объясняется тем, что мистер Маккол получил сегодня сотни приветственных телеграмм в связи со вчерашним его заявлением о неизменно дружеских чувствах к Эндрю Гамильтону. «Куча телеграмм для отца из южных, северных, восточных, западных штатов. Все одобряют вчерашнее заявление, которое он сделал о своем друге судье Гамильтоне, — сообщил сегодня вечером молодой мистер Маккол, — все

желают ему поскорее поправиться и быть в добром здравии. Он очень доволен».

В три часа ночи у мистера Маккола был приступ сердечной слабости. Приступ был незначительным, вызывать врача не понадобилось. Он сейчас ограничен в пище, пьет молоко и бульон. Старается сбавить вес.

В пять часов пополудни в доме Макколов состоялся консилиум в составе доктора Вандерпола и доктора Чарльза Л. Линдли. Они заявили миссис Маккол и миссис Дарвин П. Кингсли, дочери мистера Маккола, что находят состояние больного хорошим; непосредственной опасности нет.

«Мистер Маккол отлично провел этот день, чувствует себя лучше», — заявил Маккол-младший вечером.

Дальше идет нечто вроде медицинского бюллетеня. Такие бюллетени выпускаются каждодневно, когда кто-нибудь из монархов или иная достойная благоговения персона «отлично провели день и чувствуют себя лучше». В силу причин, которые остаются для меня непонятными, этот факт должен радовать и утешать все прочее человечество.

Сыновья и дочери Джея Гулда возвращаются в так называемом «высшем свете» Нью-Йорка. Лет десять — двенадцать тому назад одна из его дочерей вышла замуж за титулованного француза, безмозглого фата и игрока — ценой уплаты его миллионного долга. Соглашение касалось лишь прошлых, добрачных долгов — не будущих. Но будущие долги переросли в настоящие и достигли гигантских размеров. Сейчас, желая избавиться от своей незавидной покупки, она начала бракоразводный процесс, и весь мир сочувствует ей, — разве она не достойна сочувствия?

20 марта 1906 г.

[МИСТЕР РОКФЕЛЛЕР И БИБЛИЯ]

Теологические изыскания мистера Джона Рокфеллера-младшего — одна из крупнейших американских потех. Каждое воскресенье молодой Рокфеллер толкует какой-нибудь библейский текст в своей школе. На завтра агентство Ассошиэйтед Пресс и газеты сообщают об этом, и вся страна начинает смеяться. Американцы смеются, но не знают, в своей недогадливости и простоте, что смеются они над собой. Да, над собой.

Молодому Рокфеллеру, вероятно, лет тридцать пять. Он некрасив, скромен, лишен чувства юмора, искренне доброжелателен и зауряден во всех отношениях. Если бы он предъявил лишь свои скромные умственные способности без миллионов отца, его толкование Библии осталось бы никому не известным. Но его отец считается самым богатым человеком на свете, и потому теологические кувырки Рокфеллера-сына считаются интересными и содержательными. Полагают, что старший Рокфеллер стоит миллиард долларов. Налоги он платит с двух с половиной миллионов. Он — убежденный христианин, христианин-самоучка и уже много лет состоит адмиралом воскресной школы в Кливленде, в штате Огайо. Уже много лет он там выступает с беседами и объясняет слушателям воскресной школы, как он раздобыл свои доллары. И все эти годы они слушают как зачарованные и делят свое преклонение между богом и мистером Рокфеллером — с перевесом в пользу последнего. И эти беседы отца передаются по всей нашей стране и читаются с не меньшим восторгом, чем теологические изыскания сына.

Я уже говорил, что американцы смеются над тем, как молодой Рокфеллер комментирует Библию. Между тем им надлежало бы знать, что так же толкуют им Библию с каждой церковной кафедры и так толковали многим поколениям до них. Было бы тщетно искать там хоть одну новую мысль (если вообще позволительно искать мысль у теологов). Метод молодого Рокфеллера повсеместно принят церковниками. Церковь столетиями промышляет извлечением изящной морали из неприглядной действительности. Рассуждения Рокфеллера — это лохмотья одежды, давно уже сношенной церковью. Все они из того же замшелого реквизита, возраст которого — сотни и сотни лет.

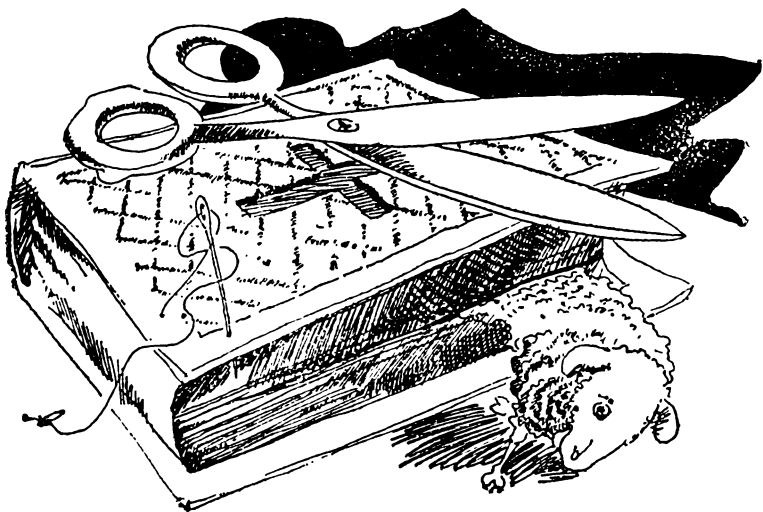
Молодой Джон никогда не исследовал Библию, онзнакомился с ней с одной-единственной целью: подогнать ее текст к тем суждениям, которые он когда-то усвоил из вторых рук. По свежести и оригинальности мысли его проповеди на уровне проповедей всех других богословов, начиная от папы римского и вплоть до него самого. Американцы смеются, слушая глубокомысленные рассуждения молодого Рокфеллера о характере и поступках библейского Иосифа, но разве американская церковь не истолковывает поступки и личность Иосифа столь же нелепо и вздорно? Американцам пора бы понять, что, когда они смеются над моло-

дым Джоном, они смеются над самими собой. Им следовало бы вспомнить, что младший Рокфеллер не первым подмалевывает библейского Иосифа. Той же кистью и теми же красками его, словно на смех, малюют уже века.

Я много лет знаю молодого Рокфеллера, ценю его и считаю, что настоящее место для него — это церковная кафедра. Сияние его интеллекта образовало бы нимб над его головой, что было бы очень кстати. Впрочем, боюсь, что ему придется покориться судьбе и занять место отца в качестве главы грандиозной «Стандард Ойл Корпорейшн».

К числу самых очаровательных теологических достижений молодого Рокфеллера принадлежит оглашенный им три года назад комментарий к увещанию Христа, с которым тот обратился к юноше, тяготившемуся богатством и желавшему спасти свою душу. «Продай имение свое и раздай нищим», — сказал Христос юноше. Молодой Джон Рокфеллер так комментировал этот текст:

«Если что-либо преграждает тебе путь к спасению души — сделай все, чтобы устранить эту преграду. Если это деньги — расстанься с ними, отдай беднякам. Если это имущество — продай его до последнего лоскута и выручку отдай беднякам. Если это воинское честолюбие — покинь военную службу. Если это страсть



к человеку, или вещи, или занятию — отрешись от них, чтобы полностью отдаться делу спасения души».

Какой мы должны сделать вывод? Видимо, тот, что миллионы Рокфеллера-старшего и Рокфеллера-сына столь незначительный факт, что не могут рассматриваться как преграда к спасению души. И значит, увещание Христа к ним не относится. Одна газета в Нью-Йорке направила репортеров к шести или семи нью-йоркским священникам, чтобы узнать их мнение по этому поводу. За вычетом одного, все одобрили ход мысли молодого Рокфеллера. Просто не знаю, что бы мы стали делать без наших священников. Легче было бы, кажется, обойтись без солнца на небе, я уже не говорю о луне!

Три года тому назад я отправился с молодым Джоном в его воскресную школу и там произнес речь (не на богословскую тему, это было бы дурнотонно — а я всегда предпочту хороший вкус благочестию). Выяснилось, что каждый, кто выступает там с речью, тем самым становится одним из попечителей школы. И я тоже был удостоен этого звания. На днях я получил извещение, что послезавтра вечером в церкви назначено собрание попечителей школы и что меня приглашают прийти на собрание и быть одним из ораторов. Если я занят, не угодно ли будет изложить свою речь на бумаге; она будет оглашена.

Я был занят по горло другими делами и потому извинился и изложил свою речь на бумаге.

14 марта 1906 г.

Мистеру Эдуарду М. Футу,
председателю собрания

Уважаемый друг и коллега!

Я искренне желал бы лично присутствовать на собрании попечителей воскресной школы мистера Рокфеллера-младшего (среди коих за услуги, оказанные школе, числюсь и я), но, подумав, решил не идти. Все дело в Иосифе. Эта старая история с Иосифом может возникнуть в любую минуту, и тогда быть беде, потому что мистер Рокфеллер и я расходимся по этой проблеме. Тому уже восемь лет, как я изучил всю историю Иосифа самым тщательным образом (в свете 47-й главы Книги Бытия и Библии) и напечатал на эту тему в «Норс Америкен ревью» специальный этюд, вошедший

в дальнейшем в XXII том моих сочинений. Я был уверен, что разделался с Иосифом, что тема исчерпана, и занялся другими делами. Каково же было мое изумление и горе, когда я узнал из газет, что мистер Рокфеллер решил снова заняться Иосифом, как видно, не зная, что заниматься этим вовсе не следует, поскольку все, что касается Иосифа, мною разрешено и исчерпано раз навсегда.

То, что мистер Рокфеллер говорит нам об Иосифе, свидетельствует, что он в Иосифе не разбирается. Он не читал напечатанной мною статьи, и его оценка Иосифа не совпадает с моей. Ничего подобного не было бы, если б он статью прочитал. Он считает Иосифа невинным агнцем, — а это не так. Иосиф был... впрочем, почитайте мою статью, и вы точно узнаете, кем он был и кем не был. На протяжении столетий проблема Иосифа оставалась одной из самых запутанных, но я разобрался в ней, поскольку, в отличие от всех остальных богословов, сужу об Иосифе на основании установленных фактов. Они же, стремясь к заранее намеченной цели, его обеляют. Иные факты закрашивают совсем и на их месте малюют другие. Их писания походят на банковские отчеты, какие выпускает правление банка, зная, что крах неминуем, и силясь обмануть ревизоров. Банкиры пытаются скрыть задолженность банка и вписывают активы, которых у них нет.

Не думайте, что я фантазирую.

Вот что писал в позапрошлом воскресенье высокоученый и сведущий доктор Силвермен на страницах газеты «Таймс»:

«Крестьяне, землепашцы и скотоводы, жизнь которых зависит от урожая плодов земных, жестоко пострадали от недорода. Чтобы они не погибли от голода, Иосиф переселил сельских жителей в города от границы и до границы Египта (Книга Бытия, глава 47-я) и дал им пищу. Пока у них были деньги, он брал с них в уплату деньги; когда деньги иссякли, он стал брать в залог скот — лошадей, овечьи стада и ослов; когда же скота не хватило, — тогда и их землю. И власти сами кормили лошадей, овечьи стада и другой мелкий скот, который иначе подход бы.

В дальнейшем земля была возвращена прежним владельцам (о, так ли? — М. Т.). Им дали семян, чтобы вновь засеять поля, им дали столько скота, лошадей и овец, сколько им было надобно, и от них взяли

за это только пятую часть урожая и приплода скота, которую они и отдали в уплату властям.

Действия Иосифа показали, что он был гуманным человеком и государственным мужем. Они произвели очень сильное впечатление на фараона и на советников фараона, и нет ничего удивительного, что Иосиф стал после этого вице-королем Египта. Иосиф разбил наголову спекулянтов и ростовщиков, которые грабили при неурожае бедный народ, обрекая его на нищету и голодную смерть. Он взял у нуждающихся их землю и скот как залог, а потом вернул им обратно (*ох, так ли?! — М. Т.*). За пищу, которую он им предоставил, он брал с них по средним рыночным ценам. Если бы мудрый Иосиф не озаботился устройством общественных складов, люди потеряли бы все, что имели, страна обнищала бы и много тысяч погибло, как это уже бывало не раз во времена недорода».

Таков банковский отчет доктора Силвермена, изящно составленный, с золоченым бордюром, адресованный ревизорам.

А вот что сказано в Библии (*курсив мой*):

«И не было хлеба по всей земле: потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля Египетская и земля Ханаанская.

Иосиф собрал *все* серебро, какое было в земле Египетской и в земле Ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов.

И серебро истощилось в земле Египетской и в земле Ханаанской. *Все* египтяне пришли к Иосифу и говорили: дай нам хлеба; зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас?

И Иосиф сказал: пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас.

И пригоняли они к Иосифу скот свой; и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов; и снабжал их хлебом в тот год за *весь скот их*.

И прошел этот год; и пришли к нему на другой год и сказали ему: не скроем от господина нашего, что серебро истощилось и стада скота нашего у господина нашего; *ничего не осталось у нас* пред господином нашим, *кроме тел наших и земель наших*.

Для чего нам погибать в глазах твоих, и нам и землям нашим? Купи *нас и земли наши* за хлеб; и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам

семян, чтобы нам быть живыми и не умереть и чтобы не опустела земля.

И *купил* Иосиф всю землю Египетскую для фараона, потому что *продали* Египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их. И *досталась земля фараону*.

И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого.

Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон; посему и не продали земли своей.

И сказал Иосиф народу: *вот я купил теперь для фараонов вас и землю вашу*, вот вам семена и засевайте землю.

Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону; а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим.

Они сказали: ты спас нам жизнь; да обречем милость в очах господина нашего, и да будем рабами фараону.

И поставил Иосиф в закон земле Египетской, даже до сего дня: пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону».

Я не нахожу здесь ни единого слова о каком-то «залоге». Это — новинка, поскольку речь идет о действиях Иосифа. Недурная новинка, я бы даже сказал, утешительная новинка! Но где же для нее основания? Я их не вижу. Где сказано, что Иосиф давал ссуду этим несчастным крестьянам «под залог» их земель и скота? Я вижу, что он захватил у них землю до последнего акра и всю скотину до последней овцы. А где сказано, что Иосиф кормил злосчастных бедняг «по средним рыночным ценам»? Я вижу, что он обобрал их до нитки, до последней пяди земли, до последней овечьей шерстинки, а потом «по средним рыночным ценам» приобрел *их права и свободу* в обмен на краюху хлеба и цепи рабства. Я вас спрашиваю, есть ли вообще «средняя рыночная цена» или какая бы то ни было другая цена в золоте, государственных бумагах, брильянтах на драгоценнейшее достояние человека, его свободу, без которой его жизнь лишается всякого смысла? Иосиф поступил великодушно с попами — в этом я

ему не могу отказать. Великодушно и политично. И они не забыли этого.

Нет, благодарю вас, благодарю вас от всей души, но чувствую, что мне лучше остаться дома. Потому что я щепетилен, гуманен, вспыльчив, и я не вынесу, если молодой мистер Рокфеллер, которого я глубоко почитаю, поднявшись на кафедру, примется подмалевывать Иосифа. Примите мои наилучшие пожелания.

Марк Твен,
попечитель воскресной школы».

[РАЗМЫШЛЕНИЯ О РЕЛИГИИ]

Вторник, 19 июня 1906 г.

Наша Библия рисует характер бога с исчерпывающей и безжалостной точностью. Портрет, который она нам предлагает, — это в основном портрет человека, если, конечно, можно вообразить человека, исполненного и переполненного злобой вне всяких человеческих пределов; портрет личности, с которой теперь, когда Нерон и Калигула уже скончались, никто, пожалуй, не захотел бы водить знакомство. Все его деяния, изображенные в Ветхом завете, говорят о его злопамятности, несправедливости, мелочности, безжалостности, мстительности. Он только и делает, что карает — карает за ничтожные проступки с тысячекратной строгостью; карает невинных младенцев за проступки их родителей; карает ни в чем не провинившихся обитателей страны за проступки их правителей; и снисходит даже до того, что обрушивает кровавую месть на смиренных телят, ягнят, овец и волов, дабы покарать пустяковые грешки их владельцев. Более гнусного и разоблачающего жизнеописания в печатном виде не существует. Начитавшись его, начинаешь считать Нерона ангелом света и совершенства.

Оно открывается рассказом о чудовищном вероломстве; вероломство — это лейтмотив всей книги. Ее начало, наверное, было придумано в детской пирата — настолько оно мерзко и в то же время младенчески наивно. Адаму запрещено вкушать плод некоего дерева, ему без тени улыбки сообщается, что в случае неповиновения он умрет. Как можно было ожидать, что такая угроза произведет на него хотя бы малейшее впечатление? Ведь Адам был взрослым мужчиной лишь

по внешности. А знаниями и опытом он не превосходил двухлетнего младенца: Он не мог знать, что означает слово «смерть». Он ни разу в жизни не видел ни одной мертвой твари. Он ни разу прежде не слышал о смерти. Это слово не имело для него никакого смысла. С тем же успехом ему могли бы пригрозить, что если он съест это яблоко, то немедленно преобразится в меридиан, — Адам одинаково не мог понять ни того, ни другого слова.

Можно было не сомневаться, что жиденский интеллект, измысливший эту достопамятную угрозу, сопроводит ее всякими другими пошлостями, основанными на весьма низкопробных понятиях о справедливости и правосудии; так оно и вышло. Было объявлено, что все потомки Адама до последнего дня творения будут нести кару, раз этот младенец нарушил закон своей детской, навязанный ему еще до того, как он вышел из пеленок. В течение многих тысячелетий все они, один за другим, подвергались неустанной травле и всяческим бедам в наказание за обыкновенную детскую шалость, которую пышно наименовали «грехом Адама». И на протяжении этого бесконечного времени никогда не было недостатка в раввинах, римских папах, епископах, священниках, пасторах и мирских раболепных душах, которые восторженно прославляли это позорнейшее преступление, провозглашали его неизреченно справедливым и праведным и осыпали сотворившего его такой грубейшей и беспардонной лестью, что кто, угодно, кроме бога, услышав что-либо подобное, отвернулся бы со смущением и гадливостью. Хотя долгая привычка к лести и закалила наших восточных монархов, даже они не могли бы снести раздающихся по воскресеньям в церквах бесстыдных восхвалений, которые наш бог выслушивает самодовольно и удовлетворенно.

Мы, не краснея, называем нашего бога источником милосердия, хотя отлично знаем, что во всей его истории не найдется ни одного случая, когда он на самом деле проявил бы милосердие. Мы называем его источником нравственности, хотя его история и его повседневное поведение, о котором нам свидетельствуют наши собственные чувства, неопровержимо доказывают, что он абсолютно лишен даже какого-либо подобия нравственности или морали. Мы называем его Отцом, и при этом не в насмешку, хотя мы прониклись бы ненавистью и отвращением к любому земному отцу, если

бы он подверг своего ребенка хотя бы тысячной доле тех страданий, горестей и жестоких бед, на которые наш бог обрекает своих детей каждый день, на которые он обрекал их ежедневно в течение всех столетий, прошедших с той минуты, когда свершилось это великое преступление — когда был сотворен Адам.

Наше представление о боге — это нелепое и смехотворное смешение идей. Мы разделяем бога пополам, низводим одну его половину в глухой уголок земли, где он должен принести спасение крохотному поселению евреев — причем только евреям и никому другому. А вторую его половину мы оставляем на небесном престоле, откуда она с тревогой и любопытством посматривает вниз, ожидая результатов. Мы благоговейно изучаем историю земной половины и выводим из этой истории заключение, что земная половина исправилась, обрела высокие моральные качества и всяческие добродетели и утратила какое-либо сходство со своей покинутой злобной половиной, пребывающей на небесном престоле. Мы считаем, что земная половина правосудна, милосердна, добра, кротка, исполнена всепрощения и сострадания к мукам человечества, которые она стремится смягчить и уничтожить. Совершенно очевидно, что представление об этом характере мы создали, не исследуя факты, а старательно уклоняясь от того, чтобы внимательно ознакомиться с ними, оценить их и взвесить. Земная половина призывает нас к милосердию и первая подает нам пример, изобретая озеро из огня и серы, в котором тем из нас, кто не признает ее богом и не поклонится ей, как богу, суждено гореть до скончания вечности. И гореть будем не только мы, осведомленные об этих условиях, — все мириады первых людских поколений обречены на ту же ужасную судьбу, хотя все они жили и умерли, никогда даже не слышав о нем или о поставленных им условиях. Подобный пример милосердия можно назвать блистательным. Где уж тут жалким земным дикарям или кровожадным лесным хищникам! Нам повелено прощать ближнего своего до семижды семидесяти раз — и радоваться и быть благодарными, если после благочестивой жизни наша душа на смертном одре не успеет вырваться из нашего тела прежде, чем священник доберется до нас, чтобы второпях снабдить ее пропуском с помощью своих бормотаний, свечей и песнопений. Этот пример неисчерпаемой готовности прощать также можно назвать блистательным.

Нас уверяют, что две половины нашего бога разделены только по виду, а на самом деле они остаются единым целым и равно могущественны, несмотря на разделение. И вот земная половина — тот, кто оплакивает страдания человечества и хотел бы их уничтожить, и вполне способен их уничтожить в любой момент, когда это ему заблагорассудится, — удовлетворяется тем, что от случая к случаю возвращает зрение слепому, вместо того чтобы вернуть его всем слепым, от случая к случаю исцеляет калеку, вместо того чтобы исцелить всех калек, разок угощает завтраком пять тысяч человек и предоставляет всем голодным миллионам голодать по-прежнему; и все это время он наставляет бесильного человека избавлять всех своих ближних от зол, которые сам бог навлек на них и которые он — пожелай он того — мог бы уничтожить единым словом, выполнив тем самым прямую свою обязанность, коей он пренебрегал с начала времен и будет пренебрегать до их конца. Он воскресил из мертвых несколько человек. Совершенно очевидно, что он считал это очень хорошим поступком. Но в таком случае было нехорошо ограничиваться только пятью-шестью людьми; ему следовало бы воскресить всех остальных мертвецов. Сам я этого делать не стал бы, так как считаю, что мертвецы — единственные люди, которым можно позавидовать; а упомянул я об этом лишь мимоходом, как об одном из тех странных противоречий, которыми переполнено наше священное писание.

Хотя бог Ветхого завета — личность ужасная и отвратительная, он во всяком случае последователен. Он откровенен и прямолинеен. Он не делает вида, будто обладает какой-нибудь моралью или какими-нибудь добродетелями, — разве что на словах. В его поведении невозможно найти и следа чего-либо подобного. На мой взгляд, он несравненно ближе к тому, чтобы быть достойным уважения, чем его исправившееся «я», столь бесхитростно разоблачаемое в Новом завете. Ничто в истории — даже во всей его истории, взятой в целом, — и отдаленно не может сравниться по зверской жестокости с изобретением ада.

Его небесное «я», ветхозаветное «я» кажется самой добротой, кротостью и порядочностью по сравнению с его исправившимся земным «я». На небесах он не претендует ни на единое достоинство и действительно не обладает ни одним — если не считать того, что он приписывает себе на словах. А на земле он претендует на

обладание каждым достоинством из всего каталога достоинств, однако делом он доказывал их лишь изредка, весьма скаредно, и кончил тем, что одарил нас адом, который разом уничтожил все его фиктивные достоинства.

Среда, 20 июня 1906 г.

Священные писания обязательно обладают одними и теми же характерными недостатками. Все они отличаются просто трогательной бедностью фантазии. Это бросается в глаза прежде всего. Второй недостаток заключается в том, что каждое без малейшего на то права претендует на оригинальность. Каждое широко заимствует у предыдущих без ссылок на источник, что, безусловно, является нечестным поступком. Каждое по очереди присваивает обветшавший реквизит предыдущих и с простодушной самоуверенностью пытается выдать его за самое свежее и последнее откровение, только что поступившее с небес. Мы заимствуем Золотую заповедь¹ у Конфуция после того, как она уже отслужила несколько веков, и, даже не краснея, присваиваем себе авторство. Когда нам бывает нужен потоп, мы обращаемся к седой древности Вавилона, заимствуем его там, а затем гордимся им и радуемся ему так, будто он стоит подобных хлопот. И в наши дни мы все еще благоговеем перед ним, и восхищаемся им, и утверждаем, будто нам поведал о нем непосредственно бог, хотя нам отлично известно, что Ноева потопы никогда не было, да и не могло быть. Вообще потопы — любимая тема всех творцов священных писаний. Если найдется священное писание — или хотя бы предание какого-нибудь племени дикарей, — не упоминающее о Всемирном потопе, значит, у этой религии не нашлось под рукой подходящего источника, чтобы его заимствовать.

Другая излюбленная тема авторов священной литературы и основателей религии — это Непорочное Зачатие. Оно уже сносилось до дыр к тому дню, когда мы уверовали в него как в последнее новшество, — и нынче оно восхищает нас не меньше, чем восхищало своего изобретателя, когда миллион лет тому назад его мозг впервые разрешился этой идеей. Индусы восхваляли его еще в незапамятные времена, когда Непорочный процесс благодетельствовал их Кришной. Буддисты были

¹ «Золотая заповедь» — так в Америке называется христианская заповедь: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Матф., VII, 12). — *Прим. сост.*

ужасно счастливы, когда 2500 лет тому назад они с помощью того же процесса обзавелись Гаутамой. Греки в те же времена чрезвычайно высоко его ценили, потому что их верховное божество и его приближенные завели обыкновение спускаться с горных вершин и населять Грецию ублюдками — полулюдьми-полубогами. Римляне позаимствовали у Греции эту идею, и плоды, которыми с помощью Непорочного Зачатия снабжал их Юпитер, доставляли им великую радость. А мы получили эту идею непосредственно с небес — через Рим. И мы по-прежнему заворожены ею. Всего две недели назад, когда некий епископальный священник в Рочестере был обвинен властями своей церкви в том, что он не верит в чудесное зачатие спасителя, преподобный доктор Бриггс — пожалуй, наиболее дерзко терпимый из всех нынешних американских священников — ринулся в бой за Непорочное Зачатие, опубликовав в «Норс америкен ревью» посвященную ему статью. Судя по тону этой статьи, он убежден, что ему удалось раз и навсегда разрешить этот наболевший вопрос. В непорочности этого Зачатия нельзя сомневаться, утверждает он, поскольку дева Мария точно знала, что оно таково, ибо так сказал ей ангел благовещения. Кроме того, об этом свидетельствует следующий дополнительный довод: много лет спустя после этого события Иуда (младший сын девы Марии, рожденный в браке) был еще жив и беседовал с членами первых христианских общин; и он определенно утверждал, что это было несомненно Непорочное Зачатие. Следовательно, это истина — ведь Иуда был членом семьи, так кому же и знать, как не ему!

Если и есть что-нибудь забавнее самой доктрины о Непорочном Зачатии, так это те ошеломительные логические построения, с помощью которых люди, как будто бы очень неглупые, убеждают себя, что это невероятное событие является доказанным фактом.

Если бы доктора Бриггса попросили уверовать в процесс Непорочного Зачатия, скажем, Кришны, Осириса, Будды или кого-нибудь еще из этой публики, он, несомненно, постарался бы с благодарностью уклониться и, возможно, даже почувствовал бы себя оскорбленным. Если бы его загнали в угол, он, возможно, ответил бы, что поверить в это может только ребенок, поскольку достоверность этого события подкрепляется лишь людскими свидетельствами, а доказать подобный факт людскими свидетельствами невозможно: ведь если бы даже все человечество присутствовало при каком-нибудь Не-

порочном Зачатии, никто все равно не мог бы сказать, когда оно случилось, да и случилось ли вообще. И все же этот умнейший человек, у которого временно помутилось в голове, ухитрился уверовать в невозможное событие, подлинность которого подтверждается свидетельством, исходящим из человеческих уст, причем из уст всего лишь одного человека — самой девы, и, следовательно, свидетельницы отнюдь не беспристрастной, а крайне заинтересованной; свидетельницы, не способной судить, действительно ли это событие имело место, и получившей все свои сведения из вторых рук — от постороннего лица, причем совершенно ей неизвестного, от якобы ангела, который, пожалуй, мог быть и ангелом, но мог также быть и сборщиком налогов. Мало вероятно, чтобы она до этого видела хотя бы одного ангела или знала их внешние приметы. Он был ей совершенно незнаком. Он не предъявил никакого удостоверения личности. Его свидетельство ни для кого другого и гроша ломаного не стоило бы. Да и теперь оно тоже гроша ломаного не стоит — разве что для людей, подобных доктору Бриггсу, которые утратили ясность мышления, без конца пережевывая нелепости в благочестивом желании извлечь из них что-нибудь здоровое и разумное. Доктрина о Непорочном Зачатии целиком опирается на показания одного-единственного свидетеля, причем свидетеля, чьи показания не имеют никакой ценности, поскольку о самом его существовании мы знаем только со слов молодой крестьянки, которой нужно было утихомирить своего мужа. Свидетельство Марии его удовлетворило, но только потому, что он жил в Назарете, а не в Нью-Йорке. В Нью-Йорке не найдется ни одного плотника, который поверил бы подобному свидетельству. Если бы Непорочное Зачатие можно было повторить в нынешнем Нью-Йорке, то в такое чудо не уверовал бы ни один мужчина, ни одна женщина, ни один ребенок из четырех миллионов его жителей — за исключением разве каких-нибудь полоумных последователей «христианской науки». Человек, способный поверить в мать Эдди, не поперхнется и Непорочным Зачатием, проглотит и шесть Непорочных Зачатий разом. Да, Непорочное Зачатие не удалось бы с успехом повторить в современном Нью-Йорке. Оно вызвало бы смех, а не благоговение и поклонение.

Тому, кто в него не верит, оно кажется просто детской сказочкой. Только бог мог вообразить, что это — нечто грандиозное и хитроумное и может внушить бла-

гоговение. Только богу могло прийти в голову, что божественный сын, полученный путем внебрачных сношений с крестьянской семьей, может улучшить чистоту породы — а ведь вся идея как раз в этом и заключается. Порода приобретает чистоту, чистоту абсолютную, лишнюю какого-либо изъяна или порока, с помощью грубейшего нарушения и человеческих, и божественных законов, изложенных в конституции и библейских заповедях. Таким образом, христианская религия, которая требует от человека нравственности и соблюдения законов, сама зародилась из вопиющей безнравственности и явного нарушения закона. Да с помощью процесса Непорочного Зачатия даже котика не очистишь!

Однако этот священный реквизит, судя по всему, еще приносит пользу, еще годится в дело, несмотря на ветхость и сильную поношенность от чересчур частого употребления. Точно так же, как и пресловутые «роды». Этот... как его там... роды Кришну, Кришна роды Будду, Будда роды Осириса, Осирис роды вавилонских богов, они роды бога, он роды Иисуса, Иисус роды миссис Эдди. Если она собирается продолжить родословную и выполнить свою надлежащую долю «роды», то ей следует поторопиться, потому что она уже сильно застарела.

Наше христианство обладает одной примечательной чертой: каким бы отвратительным, кровавым, жестоким, алчным и хищным оно ни было (особенно в нашей стране, да и во всех других христианских странах тоже, хотя и в чуть смягченном виде), оно тем не менее в сотни раз лучше христианства священного писания с его неслыханным преступлением — изобретением ада. По меркам нашего нынешнего христианства, каким бы скверным, ханжеским, внешним и пустым оно ни было, ни бог, ни его сын не являются христианами и не обладают качествами, дающими право даже на это весьма скромное звание. Наша религия — ужасная религия. В морях невинной крови, которые были ею пролиты, могли бы без помех разместиться все флоты мира.

Пятница, 22 июня 1906 г.

Вот уже два года, как христианство усердно практикует в царской России убийства и резню, с помощью которых оно в каждом столетии на протяжении девятнадцати веков вновь и вновь успешно убеждало христианский мир в том, что оно является единственной истинной религией — единственно подлинной религией мира и

любви. Вот уже два года, как ультрахристианское царское правительство России официально устраивает и организует резню и избиение своих еврейских подданных. Эти избиения происходят так часто, что мы стали к ним почти равнодушны. Рассказы о них волнуют нас не больше, чем сообщение о падении железнодорожных акций, в которые мы не вкладывали денег. Мы так привыкли к описаниям этих ужасов, что теперь, читая о них, даже не содрогаемся.

Вот подробности одной из последних попыток этих смиренных апостолов XX века убедить инаковерующих присоединиться к пастве кроткого и милосердного спасителя.

«Ужасные подробности были сообщены корреспондентом «Биржевой газеты»¹, который приехал в Белосток вместе с депутатом Думы Щепкиным в субботу и успел отослать свое сообщение с нарочным в воскресенье вечером. По словам корреспондента, который вместе со Щепкиным отправился под охраной унтер-офицерского конвоя прямо в больницу, он был потрясен тем, что ему довелось там увидеть.

«Просто сказать, что трупы были изуродованы,— пишет корреспондент,— значит не дать ни малейшего представления об ужасной действительности. Лица убитых были изуродованы до такой степени, что в них не осталось ничего человеческого. Тело учителя Апштейна лежало на траве со связанными руками. В лицо и глаза его были вбиты трехдюймовые гвозди. Умертвив его таким способом, погромщики ворвались в его дом и перебили всю его семью— семь человек. Когда его труп был доставлен в больницу, на нем были также обнаружены следы штыковых ударов.

Рядом с Апштейном лежал труп десятилетнего ребенка, которому топором отрубили ногу. Тут же лежали жертвы из дома Шляхтера, куда, согласно показаниям свидетелей, вломились солдаты, которые, ограбив дом, убили жену Шляхтера, его сына и дочь соседей, а ему самому и его двум дочерям нанесли тяжелые ранения.

Мне сообщили, что солдаты ворвались в набитую

¹ «Ужасные подробности были сообщены корреспондентом „Биржевой газеты“...» — 15 июня 1906 г. в Белостоке был спровоцирован царскими жандармами еврейский погром, подробности которого далее сообщает Твен, всегда выступавший против черносотенцев, против еврейских погромов, всегда поддерживавший борьбу русских революционеров за свободу и демократию. — *Прим. сост.*

людьми квартиру братьев Лapidус и приказали христианам отойти от евреев. Студент-христианин по фамилии Дикарь попробовал протестовать и был тут же убит. Затем всех евреев перестреляли».

От раненых в больнице корреспондент услышал много трагических рассказов — все примерно одинакового содержания. Вот рассказ тяжело раненного торговца Невьяжского:

«Я живу на окраине. Узнав про погром, я хотел пробраться в город через поля, но погромщики меня заметили. Моего брата убили, мне сломали руку и ногу, проломили голову и ударили ножом в бок. Я потерял сознание, а когда пришел в себя, то увидел, что надо мной стоит солдат, который сказал: «Да ты, никак, живой! Штыком тебя, что ли, приколоть?» Я умолял пощадить меня. Вернулись погромщики, но не тронули меня, говоря: «Все равно помрет, пусть подольше помучается».

Корреспондент, который высказывается о правительстве крайне резко, утверждает, что погром был спровоцирован, и обвиняет в этом полицмейстера Шереметьева. Он заявляет, что в погроме принимали участие не только царские солдаты, но и офицеры и что он сам уже в суббсту был свидетелем того, как поручик Владимирского полка Миллер застрелил из окна гостиницы еврейскую девушку. Проезжавший в это время мимо губернатор Гродненской губернии приказал начать следствие».

Священники и оптимисты любят проповедовать, что человечество непрерывно движется вперед к совершенству. Как обычно, они не подкрепляют свое мнение статистикой. Так уж заведено у священников — и у оптимистов тоже.

Намного ли продвинулось к терпимости человечество за время, прошедшее между резней альбигойцев¹ и этими еврейскими погромами в царской России? Во всяком случае, между ними, несомненно, есть одно различие. Царская бойня далеко превзошла древнюю и зверствами, и утонченной жестокостью. Можно ли заметить какое-либо продвижение вперед между Варфоломеевской ночью и этими погромами? Да, разница та же

¹ Альбигойцы — участники широкого еретического движения в Южной Франции XII—XIII вв. Против альбигойцев были предприняты крестовые походы, была учреждена инквизиция. Это привело к разгрому экономики и культуры Прованса, одной из самых развитых областей тогдашней Европы. — *Прим. сост.*

самая: русские черносотенцы-христиане в 1906 г. и их царь дошли до такой кроважадной и животной жестокости, какая и не снилась их неотесанным собратьям, жившим 335 лет тому назад.

Евангелие мира постоянно шумит о своих успехах, постоянно радуется прогрессу, который оно сделало на пути к конечному совершенству, и постоянно весьма трудолюбиво избегает приводить статистические данные. Георг III царствовал шестьдесят лет — это по тем временам было самое долгое царствование в английской истории. Когда его блаженной памяти преемница Виктория миновала столб шестидесятилетия, поставив таким образом новый рекорд долголетнего царствования, Англия и ее колонии отпраздновали это событие с великой помпой и пышностью. Среди статистических данных, опубликованных для всеобщего восхищения, были и следующие: на каждый год из шестидесяти лет ее царствования христианские солдаты Виктории вели по одной отдельной и самостоятельной войне. За это время благодаря ограблению беспомощных и безбожных язычников владения Англии разбухли до такой степени, что в Великобритании не хватило цифр для обозначения площади украденной земли, и их пришлось в больших количествах импортировать из других стран.

В наши дни не осталось мирных наций, если не считать тех, в чьи пределы, увы, еще не вторглось евангелие мира. Все христианские страны представляют собой военные лагеря. Все прошлые поколения христианских бедняков постоянно находились на грани голодной смерти из-за налогов, шедших на гигантские арсеналы, которые христианские правительства создавали, дабы защищать себя от остальных членов братства, а заодно и прихватывать любой кусочек земли, оставленный без присмотра его владельцами-дикарями. Бельгийский король Леопольд II — пожалуй, наиболее деятельный христианский монарх (если не считать Александра VI¹) из всех тех царственных особ, которым пока еще не удалось избежать ада, — украл в Африке целое королевство и за четырнадцать лет христианских трудов уменьшил в нем численность населения с тридцати миллионов человек до пятнадцати с помощью убийств, пыток, тяжелой работы, грабежа, насилия, — конфискуя даже физическую силу беспомощного туземца и давая ему взамен

¹ Александр VI — папа римский с 1492 по 1503 г., в миру — Родриго Борджиа (1431—1503), своих политических противников уничтожавший с помощью яда и кинжала. — *Прим. сост.*

лишь спасение и приют в раю, которые в последнюю минуту обеспечивал ему христианский священник. На протяжении жизни нашего поколения все христианские державы занимались главным образом тем, что искали все более и более новые, все более и более эффективные способы убийства христиан — а попутно и парочки-другой язычников, — и тому, кто хочет как можно быстрее разбогатеть в земном царстве Христа, достаточно изобрести пушку, которая одним выстрелом сможет убивать больше христиан, чем любая ее предшественница.

Кроме того, на протяжении жизни этого же поколения все христианские правительства без отдыха играли со своими соседями в военно-морской покер. В этой игре Франция ставит один военный корабль; Англия видит этот корабль и ставит на один корабль больше; в игру вступает Россия и поднимает ставку еще на один военный корабль, а то и на два: то есть так было раньше, прежде чем в игру вмешался необученный чужестранец, который свел величественную игру фишек к одному дырявому парому и одному крейсеру, неспособному крейсировать. Мы теперь тоже приняли участие в этой игре. А она все продолжается, продолжается, продолжается. Карты не тасуются, не сдаются заново. Ни один игрок не предлагает другому открыться. Это попросту нескончаемая игра повышения и повышения ставок так, что по закону вероятности уже недалек тот день, когда на суше не останется ни одного христианина. За исключением женщин. Все мужчины будут служить на военных судах и плавать по морю.

Эта странная игра, такая опасная, такая разорительная и бессмысленная, называется государственной мудростью — а это не то же самое, что государственная глупость, потому что пишется по-другому. Всякий человек, кроме государственного деятеля, сумел бы найти способ, как сократить эти огромные армии до разумных и необходимых полицейских сил, так, чтобы в дальнейшем все христиане могли спокойно спать в своих постелях и чтобы за спасителем, буде он пожелает сойти с небес и пойти по водам, не погнались бы христианские военные корабли, хотя он и иностранец.

Удалось ли Библии сделать что-нибудь худшее, чем утопить нашу планету в невинной крови? По моему мнению, удалось, но это только мое личное мнение, и, может быть, я ошибаюсь. Не было еще протестантского мальчика или протестантской девочки, чей ум Библия не загрязнила бы. Ни один протестантский ребенок не

остаётся чистым после знакомства с Библией. А воспрепятствовать этому знакомству нельзя. Иногда родители пытаются помочь делу, закрывая детям доступ к гнусным непристойностям, которыми полна Библия, но это только раздражает желание ребенка вкусить от сего запретного плода, и он от него вкушает — разыскивает его тайком и пожирает с неутолимой жадностью. Во всех протестантских семьях мира ежедневно и ежечасно Библия творит свое черное дело распространения порока и грязных порочных мыслей среди детей. Она совершает этой пагубной работы больше, чем все другие грязные книги христианского мира, вместе взятые, — и не просто больше, а в тысячу раз больше. Юные умы нетрудно оградить от этих других книг, и они от них ограждены. Но защиты против смертоносной Библии у них нет.

Можно ли сомневаться в том, что дети и подростки тайком выскивают запретные главы и ревностно их изучают? Если бы мой читатель был сейчас здесь — будь это мужчина или женщина, десятилетний ребенок или девяностолетний старец, — я заставил бы его самого ответить на мой вопрос, и ответ был бы только один. Исходя из опыта своего детства, он вынужден был бы признать, что Библия оскверняет души протестантских детей — всех, без единого исключения.

Считаю ли я, что христианская религия будет существовать вечно? У меня нет никаких оснований так думать. До ее возникновения мир знал тысячи религий. Все они мертвы. Прежде чем был придуман наш бог, мир знал миллионы богов. Но они умерли и давным-давно забыты. Наш бог — вне всякого сравнения наихудший бог, какого только могло породить большое человеческое воображение: неужели же он и его христианство ухитрятся сохранить бессмертие вопреки вероятности, опирающейся на бесчисленные примеры, которые мы находим в теологической истории прошлого? Нет, я считаю, что христианство и его бог не будут исключениями из общего правила. Они в свою очередь должны исчезнуть и освободить место для другого бога и еще более глупой религии. Но, может быть, она все-таки будет лучше, чем наша? Нет, это маловероятно. История показывает, что в религиях мы не прогрессируем, а регрессируем. Это, впрочем, неважно: как бы то ни было, обязательно появится новый бог и новая религия. Они будут представлены населению земли и приняты им под давлением единственных аргументов, с помощью кото-

рых удавалось убедить какой-либо народ принять христианство или любую другую религию, если только она не была религией их отцов: священное писание, меч, огонь и топор — вот те единственные миссионеры, которым когда-либо удавалось достичь победы с тех пор, как в мире завелись боги и религии. После того как новый бог и новая религия утвердятся в обычной пропорции (одна пятая населения земли — их официальные последователи, четыре пятых — языческое поле миссионерской охоты, где миссионеры самодовольно и бесплодно царапают самый его краешек), будут ли новообращенные верить в них? Конечно, будут. Они всегда верили в те миллионы богов и религий, которые запикивали им в глотку. Нет ничего настолько нелепого или настолько невероятного, чтобы средний человек не смог в это поверить. Ведь находятся же в наши дни десятки тысяч американцев среднего умственного уровня, которые полностью уверовали в «Науку и здоровье», хотя они не в состоянии понять там ни строчки, и которые, кроме того, поклоняются корыстной и невежественной старухе, присвоившей это евангелие, — миссис Мэри Бейкер-Эдди, непоколебимо веря, что она — приемная дочь святого семейства и скоро отпихнет спасителя на задний план, займет место, ныне занятое им, и будет занимать его до скончания вечности.

Суббота, 23 июня 1906 г.

Теперь давайте поговорим об истинном боге, настоящем боге, великом боге, высочайшем и верховном боге, подлинном творце реальной вселенной, чьи удаленнейшие уголки посещают только кометы, для которых невероятно далекий Нептун — всего лишь маяк у входа в гавань, своего рода Санди-Хук, улыбающийся странникам, в течение многих веков измерявшим глубины пространства и наконец возвращающимся на родину, — вселенной, не изготовленной вручную для астрономической детской, но возникшей в безграничной протяженности пространства по повелению только что упомянутого подлинного бога, бога невообразимо великого, по сравнению с которым все другие боги, мириадами кишашие в жалком людском воображении, подобны рою комаров, затерявшемуся в бесконечности пустого неба.

Когда мы думаем о подобном боге, мы уже не можем приписывать ему ничтожные деяния, лишенные достоинства, лишенные величия. Мы не можем представить

себе, чтобы он отверг Сириус, дабы избрать своим подножием нашу картофелину. Мы не можем представить себе, чтобы он интересовался делами микроскопического человечества, радовался его воскресным хвалам и сердился, если хвала эта слабеет или совсем умолкает, — так же как мы не можем представить себе, чтобы китайский император вдруг заинтересовался пробиркой с микробами и с трепетным беспокойством старался бы им понравиться, дабы упиваться их грубой лестью. И если бы даже мы могли себе представить, что китайский император безумно заинтересовался такой пробиркой с микрoбaми, то на этом мы все-таки поставили бы точку. Уж никакими силами мы не могли бы вообразить, что он изберет из этих бесчисленных мириад четверть наперстка иудейских микробов, не менее привлекательных из всего этого множества, и сделает их своими любимцами, и назовет их своими избранными бациллами, и зайдет в своей любви к ним так далеко, что обещает холить и лелеять только их одних, а остальных предать вечному проклятию.

Когда мы исследуем бесчисленные чудеса, великолепие, блеск и совершенство этой бесконечной вселенной (теперь мы знаем, что вселенная бесконечна) и убеждаемся, что все в ней, от стебелька травы до лесных великанов Калифорнии, от неведомого горного ручейка до безграничного океана, от хода приливов и отливов до величественного движения планет, беспрекословно подчиняется строгой системе точных, не знающих исключения законов, мы постигаем — не предполагаем, не заключаем, но постигаем, — что бог, который единой мыслью сотворил этот неимоверно сложный мир, а другой мыслью создал управляющие им законы, — этот бог наделен безграничным могуществом. Мы постигаем тогда, что, если он желает что-либо сделать, он делает это без чьей-либо помощи. Мы постигаем также, что в этот миг, когда он сотворил эту вселенную, он уже предвидел все, что должно произойти с ней с этого мига и до конца времени.

Но постигаем ли мы при этом, что он — существо нравственное согласно нашим понятиям о нравственности? Нет. Если у нас и есть какие-либо сведения относительно этого, то нам известно лишь то, что он абсолютно лишен морали и нравственности — по крайней мере, морали и нравственности человеческого образца. Известно ли нам, что он справедлив, благостен, добр, кроток, милосерден, сострадателен? Нет. У нас нет ника-

ких доказательств того, что он обладает хотя бы одним из этих качеств,— и в то же время каждый приходящий день приносит нам сотни тысяч свидетельств — нет, не свидетельств, а неопровержимых доказательств,— что он не обладает ни одним из них.

Когда мы молимся, когда мы умоляем, когда мы взываем к нему — слушает ли он? Отвечает ли он? Человеческая история не знает ни одного несомненного случая, который подтверждал бы это. Или же он безмолвно отказывается слушать, отказывается отвечать? Нет ничего, что хотя бы косвенно свидетельствовало об обратном. С начала времен священнослужители, воображавшие себя его избранными и платными слугами, вновь и вновь собирали воедино все свои многочисленные отряды и единым хором возносили молитву о дожде, но ни разу не вымолили его, если только он не должен был пролиться, подчиняясь вечным законам природы. И во всех случаях, когда дождь все-таки шел, они, будь у них хорошее бюро погоды, могли бы и не утруждать себя этой молитвой, потому что бюро сообщило бы им, что в ближайшие сутки все равно ожидается дождь, независимо от того, будут ли они молиться или попридержат свои преподобные языки.

С начала времен, стоило опасно заболеть какому-нибудь монарху, все священнослужители страны и часть ее населения начинали хором молиться, дабы он был сохранен для своего горюющего народа (в тех случаях, когда народ действительно горевал, чего, как правило, не бывало), и ни разу их молитва не была услышана. Когда президент Гарфилд¹ лежал при смерти, врачи и хирурги знали, что никакая сила не может его спасти. И все же в назначенный час во всех церквях Соединенных Штатов была одновременно вознесена горячая молитва об исцелении президента. Священники проделали это с той же древней простодушной уверенностью, с какой первобытный дикарь молился своим воображаемым демонам, чтобы они пощадили его умирающего вождя,— ибо вовеки не настанет день, когда факты и опыт смогут научить церковь чему-нибудь полезному. Разумеется, президент все равно умер.

Население Великобритании равно сорока одному миллиону человек. В ней имеется восемьдесят тысяч церквей. Буров было сто пятьдесят тысяч человек, и

¹ Гарфилд Джеймс Авраам (1831—1881) — президент США на протяжении 4 месяцев, был убит одним из соискателей доходных мест. — *Прим. сост.*

они располагали батареей в двести десять церквей. В начале англо-бурской войны по сигналу примаса Англии все восемьдесят тысяч английских церквей грянули разом, вознося к своему богу оглушительную мольбу о ниспослании победы англичанам, сражающимся в Южной Африке. Маленькая бурская батарея из двухсот десяти церквей ответила дружной одновременной мольбой к тому же богу о ниспослании победы бурам. Если бы восемьдесят тысяч английских священников оставили эту молитву без вознесения и вместо этого сами вышли бы на поле брани, они, несомненно, одержали бы победу, о которой молились, — теперь же победа досталась другой стороне, и английские войска терпели от буров поражение за поражением. Английская церковь благо-разумно помалкивала относительно результата своих усилий, но неосторожная бурская церковь, торжествуя, во всеуслышание заявляла, что ее молитвы принесли победу бурам.

Английское правительство больше полагалось на солдат, чем на молитвы, и поэтому, вместо того чтобы удвоить и утроить численность своего духовенства, оно удвоило и утроило численность своих войск в Южной Африке. И тогда случилось то, что случается всегда; англичане выиграли войну, и это достаточно ясно свидетельствует о том, что господь не слушал ни ту, ни другую сторону и ему было так же все равно, кому достанется победа, как бывало все равно с того самого дня, когда он появился, и до настоящего времени, — история не знает ни единого случая, когда он проявил бы хоть малейший интерес к человеческим сварам или к тому, победит ли правое дело или потерпит поражение.

Извлекла ли церковь из этого опыта хоть какой-нибудь урок? Нет, не извлекла. Когда буры добились победы с помощью молитвы — так это казалось самим бурам, — их вера в могущество молитвы еще более укрепилась. Когда же, несмотря на их уверенные мольбы, они потерпели сокрушительное и окончательное поражение, они остались при прежнем убеждении и их доверие к справедливости и разуму бога ничуть не пострадало.

Как часто мы видим мать, мало-помалу потерявшую все, что было ей дорого в жизни, кроме последнего ребенка, который теперь умирает; и мы видим, как она на коленях у его кровати, изливая всю тоску разрывающегося сердца, молит бога о милосердии. Какой человек, если бы в его власти было спасти этого ребенка,

не поспешил бы с радостью утешить ее? И все же ни одна такая молитва ни разу не пробудила жалости ни в одном боге. Однако теряла ли такая мать веру? Иногда, но лишь очень ненадолго. Она ведь тоже была всего только человеком, таким же, как все остальные, и при следующей беде была вновь готова молиться, вновь готова верить, что молитва ее будет услышана.

Мы знаем, что подлинный бог, верховный бог, настоящий творец вселенной, создал все, что в ней есть. Мы знаем, что он создал всех живых тварей, от микроба и бронтозавра до человека и обезьяны, и что он знал судьбу каждой из них от начала времени до его конца. И каждое существо, большое и малое, он подчинил неизменному закону, устанавливающему, что это существо будет каждый день своей жизни испытывать ненужные и излишние страдания и что ни одному существу, к какой бы дипломатии оно ни прибегало, не удастся избежать этих страданий и горестей; что его путь от рождения до смерти будет усеян коварными, хитро спрятанными ловушками, капканами и силками; а согласно другому закону любое нарушение любого закона природы, совершенное сознательно или по незнанию, должно неизменно влечь за собой кару в десять тысяч раз более тяжелую, чем сам проступок. Можно только поражаться всеобъемлющей и всепроницающей злобе, которая терпеливо снизошла до того, чтобы изобрести сложнейшие пытки для самых жалких и крохотных из бесчисленных существ, населивших землю. Паук был устроен так, что он не стал есть траву, а вынужден был ловить мух и других подобных же созданий и обрекать их на медленную, мучительную смерть, не сознавая, что скоро придет и его черед. Оса была устроена так, что она тоже отказывалась от травы и жалила паука, не даруя ему при этом быстрой и милосердной смерти, а только парализуя его, чтобы потом сунуть в осиное гнездо, где ему предстоит еще долго жить и страдать, пока осиный молодой будет не торопясь объедать ему ноги. В свою очередь был обеспечен и убийца для осы — и так далее, через весь круг созданий, живущих на земле. Среди них нет ни одного, которое не было бы предназначено и приспособлено для того, чтобы нести страдания и смерти какому-нибудь другому существу и в свою очередь принимать страдания и смерть от какого-нибудь другого собрата-убийцы. Залетевшую в паутину муху можно обвинить только в неосторожности, а не в нарушении какого-нибудь закона. И все же наказание, которое терпит

муха, в десять тысяч раз более сурово, чем заслуживает подобный проступок.

Закон десятидесятитысячекратной кары строго соблюдается по отношению ко всем живым существам, включая и человека. Всякий долг, был ли он сделан сознательно или по незнанию, природа немедленно взыскивает еще на этом свете, не откладывая сведения счетов до десятиллиарднократной кары, которая потом подлежит взысканию — если речь идет о человеке — на том свете. Эта система чудовищных наказаний за вину, за ничтожные проступки и за отсутствие какой-либо вины вступает в действие с той минуты, когда беспомощный младенец впервые открывает глаза, и не перестает терзать его, пока не истечет последняя минута его жизни. Найдется ли отец, который захотел бы мучить своего малютку незаслуженными желудочными коликами, незаслуженными муками прорезывания зубов, а затем свинкой, корью, скарлатиной и тысячами других пыток, придуманных для ни в чем не повинного маленького существа? А затем, с юности и до могилы, стал бы терзать его бесчисленными десятидесятитысячекратными карами за любое нарушение закона, как преднамеренное, так и случайное? С тончайшим сарказмом мы облагораживаем бога званием отца — и все же мы отлично знаем, что, попадись нам в руки отец в его духе, мы немедленно его повесим.

Церковное оправдание и восхваление этих преступлений лишено хоть какой-либо убедительности. Церковь заявляет, что они совершаются во имя блага страдальца. Они должны наставить его на путь, очистить, возвысить, подготовить к пребыванию в обществе бога и ангелов — послать его на небеса, освященного раком, всяческими опухолями, оспой и всем прочим, что входит в эту систему воспитания и образования. И ведь если церковь хоть что-нибудь соображает, она должна знать, что она сама себя морочит. Ведь она могла бы понять, что если подобного рода воспитательные меры мудры и полезны, то мы все безумны, раз до сих пор не прибегаем к ним, воспитывая наших собственных детей.

Неужели церковь искренне верит, что мы способны улучшить очищающую и возвышающую систему, изобретенную всемогущим? По-моему, если бы церковь действительно верила тому, что она проповедует в этом отношении, она должна была бы посоветовать каждому отцу подражать методам всемогущего.

Однако едва церкви удастся убедить свою паству, что эта система мудра и милосердна и придумана всемогущим, дабы наставлять на путь, очищать и возвышать его детей, которых он бесконечно любит, как церковь благоразумно прикусывает язык. Она не рискует пойти дальше и объяснить, почему те же преступные кары и муки ниспосылаются и высшим животным — аллигаторам, тиграм и всем прочим. Она даже заявляет, что зверей ждет вечная смерть, подразумевая под этим, что их грустная жизнь начинается и кончается здесь, на земле, что они никуда дальше не отправляются, что для них нет рая, что ни бог, ни ангелы, ни праведные души не жаждут их общества в потустороннем мире. Это ставит церковь в смешное положение, потому что, несмотря на все ее хитроумные объяснения и апологии, она таким образом обличает своего бога как злобного и безжалостного тирана по отношению к ни в чем не повинным зверям. Во всяком случае и совершенно бесспорно, она этим молчанием бесповоротно осуждает его как злобного владыку, успев перед этим убедить свою паству, что он слагается только из сострадания, праведности и всеобъемлющей любви. Церковь попросту не знает, как примирить эти вопиющие противоречия, да и не пытается этого делать.

По полному отсутствию у него любого из тех качеств, которые могли бы украсить бога, внушить к нему уважение, вызвать благоговение и поклонение, настоящий бог, подлинный бог, творец необъятной вселенной ничем не отличается от всех остальных имеющихся в наличии богов. Он каждый день совершенно ясно показывает, что нисколько не интересуется ни человеком, ни другими животными — разве только для того, чтобы пытать их, уничтожать и извлекать из этого занятия какое-то развлечение, делая при этом все возможное, чтобы его вечное и неизменное однообразие ему не приелось.

Понедельник, 25 июня 1906 г.

И вот от этих-то небесных бандитов наивный, доверчивый и нелогичный кролик в человеческом облике ждет вечного райского блаженства, которое вознаградит его за терпение в нужде и страданиях, насылаемых на него здесь, на земле, — в незаслуженных страданиях, длящихся в иных случаях два-три года, в других — пять — десять лет, а в некоторых — тридцать, сорок или

пятьдесят, а то и шестьдесят, семьдесят, восемьдесят. Как во всех случаях, когда судьей является бог, награды далеко не соответствуют страданиям — и вообще в этом нет никакой системы. Страдали ли вы восемьдесят лет, скончались ли от кори в три года — вы получите одинаковую порцию райского блаженства.

Нет никаких доказательств, что за могилой людей ждет райское блаженство. Если бы мы нашли какую-нибудь древнюю книгу, в которой несколько неизвестных людей наиподробнее образом поведали бы нам о цветущем и прекрасном тропическом рае, скрытом в недоступной долине посреди вечных льдов Антарктики — причем даже не утверждая, что они видели его собственными глазами, а лишь ссылаясь на ниспосланное богом откровение как на источник этих сведений, — ни одно географическое общество в мире не приняло бы эту книгу всерьез. А ведь эта книга являлась бы столь же подлинным, столь же достоверным и столь же ценным свидетельством, как и Библия. Библия точь-в-точь такова. Все сведения о существовании ее рая получены косвенным путем — от неизвестных лиц, которые ничем не доказали, что они бывали там сами.

Если бы Христос действительно был богом, он мог бы доказать существование рая, поскольку для бога нет ничего невозможного. Он мог бы доказать это каждому человеку своего собственного времени, и нашего времени, и всех будущих времен. Когда бог хочет доказать, что солнце и луна неизменно, каждый день и каждую ночь, будут выполнять назначенную им работу, ему это нетрудно. Когда он хочет доказать, что человек каждую ночь неизменно будет находить созвездия на их местах — хотя днем нам кажется, что они исчезли навсегда, — ему это нетрудно. Когда он хочет доказать, что времена года обязательно будут снова и снова сменять друг друга согласно раз и навсегда установленному закону, ему это нетрудно. По-видимому, он хотел неопровержимо доказать нам много миллионов всевозможных фактов и сделал это без всякого труда. И только когда он, по-видимому, хочет доказать нам существование грядущей жизни, его изобретательность истощается и он сталкивается с задачей, которая оказывается не по плечу его прославленному всемогуществу. Когда ему понадобилось доставить людям весть куда более важную, чем все остальные его вести, вместе взятые, доставка которых несколько его не затруднила, он не сумел придумать для этого никакого средства, кроме

самого жалкого из всех возможных — книги. Книги, написанной на двух языках (чтобы передать весть тысячам разных народов!), которым в течение медленно текущих веков и эр предстояло меняться, меняться, меняться и в конце концов стать абсолютно непонятными. Но даже если бы они оставались неизменными, как остаются неизменными мертвые языки, все равно было бы совершенно невозможно с полной точностью передавать эту весть на каком-либо из тысяч языков каждой эпохи.

Согласно свидетельствам, полученным из третьих рук, характер любого значительного бога складывается из любви, справедливости, доброты, всепрощения, сочувствия любому страданию и желания его уничтожить. В противовес этому чудесному портрету (созданному только на основе не имеющих никакой ценности слухов) мы имеем получаемые нами каждый день в году, подтверждаемые нашим зрением и другими чувствами абсолютно точные доказательства того, что на самом деле этим богам совершенно чужды любовь, милосердие, сострадание, справедливость и все другие прекрасные качества, а наоборот, характер их складывается из самой чудовищной жестокости, несправедливости и кровожадной мстительности, какие только можно вообразить. Наше представление о предполагаемом характере бога опирается только на свидетельства, причем весьма сомнительные. Представление же об истинном его характере опирается на доказательства, и на доказательства неопровержимые.

Логично ли ожидать, что боги, которые постоянно и неизменно забавляются злобными преследованиями ни в чем не повинных людей и животных, собираются затем одарить свои жертвы вечным блаженством? Если король Леопольд II Мясник вдруг объявит, что он собирается избавить одного из каждой сотни ни в чем не повинных, беспомощных конголезских негров от унижений, голода и насильственной смерти и увезти его к себе в Бельгию, чтобы поселить его в своем дворце и кормить за своим столом, много ли найдется людей, которые этому поверят? Все скажут: «Характер человека неизменен. Такой поступок не соответствовал бы характеру этого мясника. Характер Леопольда сложился раз и навсегда и измениться не может — этот человек не способен на подобный добрый поступок».

Характер Леопольда действительно сложился раз и навсегда. Так же как и характеры всех сколько-нибудь значительных богов. И абсолютно нелогично предполо-

жение, что бельгийскому Леопольду или небесным леопольдам может прийти в голову пригласить хоть ничтожную часть своих жертв к королевскому столу и отдать в их распоряжение удобства и роскошь королевского дворца.

Согласно свидетельствам, полученным от третьих лиц, значительные боги имеют обыкновение выбирать себе одного любимца из сотни жертв — выбирать наугад, не проверяя, лучше ли он остальных девяноста девяти или нет, — а всех остальных девяносто девять обрекают на вечное проклятие, даже не ознакомившись с их делом. Если бы не одна маленькая неувязка, это было бы абсолютно логичное построение, правильно отражающее всем известный характер богов, — неувязка же эта заключается в произвольном и неправдоподобном предположении, будто одному человеку на сотню позволяют избежать этого проклятия. Весьма мало вероятно, что в загробной жизни нас ждет рай. Чрезвычайно вероятно, что там нас ждет ад. И почти совершенно несомненно, что этого ада не избежит никто.

Ну а теперь о человечестве. В человечестве есть много милого и симпатичного. Пожалуй, никто из богов ни разу не изобретал ничего более жалкого, но оно об этом даже и не подозревает. Что может быть милее этого наивного и благодушного самолюбования? Человечество прямо, без малейшего смущения, даже не покраснев, заявляет, что оно — благороднейшее творение бога. У него было бесконечное множество случаев убедиться в обратном, но этого осла не убеждают никакие факты. Я мог бы высказать о нем много горьких истин, но не могу себя заставить — ведь это все равно что бить ребенка.

Человека нельзя упрекать за то, что он такой, как есть. Он не сам себя создал. У него нет над собой никакой власти. Эта власть передана его темпераменту (которого он не создавал) и окружающим его с колыбели до могилы обстоятельствам, которые не он придумал и которые он не может изменить по своей воле, потому что у него нет воли. Он просто механизм, вроде часов, и, как часы, не может ни влиять на свои действия, ни отвечать за них. Его надо жалеть, а не упрекать, не презирать. Его швырнули в этот мир, не спрашивая его согласия, и он немедленно вбивает себе в голову, что имеет какие-то таинственные обязательства перед неизвестной силой, которая поступила с ним таким возмутительным образом, — и с тех пор он считает,

что несет ответственность перед этой силой за каждый свой поступок и подлежит наказанию за те из них, которые эта сила не одобряет. Однако тот же самый человек рассуждал бы совсем иначе, если бы какой-нибудь земной тиран поработил его, наложил бы на него путы и потребовал бы слепой покорности. Он заявил бы, что тиран не имел на это права, что тиран не имел права приказывать ему и требовать от него повиновения, что тиран не имел права вынуждать его совершать убийство, а потом возлагать на него ответственность за это убийство.

В вопросах морали человек постоянно проводит крайне странное различие между человеком и его творцом. От своих ближних он требует соблюдения весьма достойного морального кодекса, но полное отсутствие морали у его бога не вызывает у него ни стыда, ни неодобрения.

Бог искусно сотворил человека таким образом, что он не может не подчиняться законам своих страстей, склонностей и различных весьма сомнительных и малоприятных свойств. Бог сотворил его так, что все избираемые им пути усеяны ловушками, избежать которых он никак не может и которые вынуждают его совершать так называемые грехи,—и тогда бог наказывает его за поступки, которые с начала времен предназначил ему совершить. Человек — машина, которую бог изготовил без чьей-либо просьбы. У нас на земле тот, кто делает машину, отвечает за ее работу. Никому и в голову не придет пытаться возложить ответственность на машину. Мы все отлично знаем, хотя все скрываем это — как скрываю и я, пока не умру и не окажусь вне досягаемости общественного мнения,—мы все знаем, повторяю, что бог, и только бог, несет ответственность за каждое деяние и за каждое слово человека от колыбели и до могилы. Все мы отлично это знаем. В глубине души мы не сомневаемся в этом. В глубине души мы без колебания объявим тупым дураком всякого, кто верит в то, будто он верит, что имеет хоть малейшую возможность согрешить против бога, или того, кто думает, будто у него есть обязательства по отношению к богу, что он обязан ему благодарностью, благоговением и поклонением.

(МОЛИТВА О ПРЯНИКЕ)

Я начал ходить в школу четырех с половиной лет. В те времена общественных школ в Миссури не было, зато было две частных школы, где брали за учебу двадцать пять центов в неделю, да и те попробуй получи. Миссис Горр учила малышей в бревенчатом домике на южном конце Главной улицы. Мистер Сэм Кросс занимался с детьми постарше, в доме, обшитом тесом, на горке. Меня отдали в школу миссис Горр, и я даже теперь, через шестьдесят пять с лишним лет, очень ясно помню мой первый день в этом бревенчатом домике, по крайней мере один эпизод этого дня. Я в чем-то провинился, и меня предупредили, чтоб больше я этого не делал и что в следующий раз меня за это накажут. Очень скоро я опять провинился, и миссис Горр велела мне найти прутик и принести его. Я обрадовался, что она выбрала именно меня, так как полагал, что скорее всякого другого сумею найти подходящий для такого случая прутик.

В уличной грязи я разыскал старую щепку от бочарной дубовой клепки дюйма в два шириной, в четверть дюйма толщиной и с небольшим выгибом с одной стороны. Рядом валялись очень хорошие новые щепки того же сорта, но я взял именно эту, хотя она была совсем гнилая. Я понес ее миссис Горр, отдал и остановился перед ней в кроткой и смиренной позе, которая, по-моему, должна была вызвать сочувствие и снисхождение, но этого не случилось. Она посмотрела на меня и на щепку в равной степени неодобрительно, потом назвала меня полным именем: Сэмюэл Ленгхорн Клеменс (вероятно, я еще ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь произносил все эти имена сразу, одно за другим), и сказала, что ей стыдно за меня. Впоследствии я узнал, что если учитель называет ученика полным именем, то это ничего доброго не сулит. Она сказала, что постарается выбрать мальчика, который больше моего смыслит в прутьях, и мне до сих пор становится горько при воспоминании о том, сколько мальчиков просияло от радости, в надежде что выберут их. За прутотом отправился Джим Данлеп, и когда он принес выбранный им прут, я убедился, что он знаток в этом деле.

Миссис Горр была дама средних лет, уроженка Новой Англии, строго следовавшая всем ее правилам и

обычаям. Она всегда начинала уроки молитвой и чтением главы из Нового завета; к этой главе она давала краткие пояснения. Во время одной из таких пояснительных бесед она остановилась на тексте: «Просите, и дастся вам»,— и сказала, что если человек очень хочет чего-нибудь и усердно об этом молится, то его молитва, без сомнения, будет услышана.

Должно быть, я тогда узнал об этом впервые — так меня поразило это сообщение и те приятные перспективы, которые передо мной открывались. Я решил немедленно сделать проверку. Миссис Горр я верил на слово и нисколько не сомневался в результатах. Я помолился и попросил имбирного пряника. Дочь булочника Маргарет Кунимен каждый день приносила в школу целую ковригу имбирного пряника; раньше она ее прятала от нас, но теперь, как только я помолился и поднял глаза, пряник оказался у меня под руками, а она в это время смотрела в другую сторону. Никогда в жизни я так не радовался тому, что моя молитва услышана, и сразу уверовал. Я во многом нуждался, но до сих пор ничего не мог получить; зато теперь, узнав, как это делается, я намеревался вознаградить себя за все лишения и попросить еще чего-нибудь.

Но эта мечта, как и все наши мечты, оказалась тщетной. Дня два или три я молился, полагаю, не меньше, чем кто-либо другой в нашем городе, очень искренне и усердно,— но ничего из этого не вышло. Даже самая усердная молитва не помогла мне стянуть пряник вторично, и я пришел к заключению, что тому, кто верен своему прянику и не спускает с него глаз, совершенно незачем утруждать себя молитвами.

Что-то в моем поведении встревожило мать; она отвела меня в сторонку и озабоченно стала расспрашивать. Мне не хотелось сознаваться в происшедшей со мной перемене: я боялся причинить боль ее доброму сердцу,— но в конце концов, обливаясь слезами, я признался, что перестал быть христианином. Убитая горем, она спросила меня:

— Почему?

— Я убедился, что я христианин только ради выгоды, и не могу примириться с этой мыслью,— так это низко.

Она прижала меня к груди и стала утешать. Из ее слов я понял, что если я буду продолжать в том же духе, то никогда не останусь в одиночестве.

Не знаю, к худу или к добру, но мы продолжаем учить Европу. Мы занимаемся этим уже более ста двадцати пяти лет. Никто не звал нас в наставники, мы навязались сами. Ведь мы — англосаксы. Прошлой зимой на банкете в клубе, который называется «В дальних концах земли», председательствующий, отставной военный в высоких чинах, провозгласил громким голосом и с большим воодушевлением: «Мы — англосаксы, а когда англосаксу что-нибудь надобно, он идет и берет».

Заявление председателя вызвало бурные аплодисменты. На банкете присутствовало не менее семидесяти пяти штатских гостей и двадцать пять армейских и морских офицеров. Прошло, наверное, около двух минут, пока они истожили свой непомерный восторг по поводу этой изумительной декларации. Сам же вдохновенный пророк, изрыгнувший ее из своей печени, пищевода или кишечника, точно не знаю, — стоял эти две минуты, сияя счастливой улыбкой и излучая довольство каждой порой своего организма. Вспоминаю на старинной картинке в календаре человека, источавшего знаки зодиака из распахнутой настежь утробы и такого довольного, такого счастливого, что, как видно, ему невдомек, что он рассечен опаснейшим образом и нуждается в срочных услугах хирурга.

Если перевести приведенную мной декларацию (и чувства, в ней выраженные) на простой английский язык, она будет звучать так: «Мы, англичане и американцы, — воры, разбойники и пираты, чем и гордимся».

Изо всех находившихся там англичан и американцев не нашлось ни единого, у кого хватило бы гражданского мужества встать и сказать, что ему стыдно быть англосаксом, что ему стыдно за цивилизованное общество, раз оно терпит в своих рядах англосаксов, этот позор человечества. Я не решился принять на себя эту миссию. Я вспылил бы и был бы смешон в роли праведника, пытающегося обучать этих моральных недорослей основам порядочности, которые они не в силах ни понять, ни усвоить.

Поистине зрелище достойное восхищения, — этот по-детски непосредственный, искренний, самозабвенный восторг по поводу зловонной сентенции пророка в офицерском мундире! Это пахло саморазоблачением: уж не излились ли здесь, случаем, тайные порывы на-

шей национальной души? В зале были представлены наиболее влиятельные группы нашего общества, те, что держат в руке рычаги, приводящие в движение нашу цивилизацию, даруют ей жизнь. Адвокаты, банкиры, торговцы, заводчики, журналисты, политики, офицеры армии, флота, — словно сами Соединенные Штаты, прибывшие на банкет и полноправно высказывающие от лица нации свой сокровенный кодекс морали.

И восторг их не был изъявлением нечаянно прорвавшихся чувств, о котором позже вспоминают с краской стыда. Нет, стоило кому-нибудь из дальнейших ораторов почувствовать на минуту холодок зала, и он тут же немедленно втискивал в свою кучу банальностей все ту же великую истину об англосаксах и пожинал новую бурю оваций. Что ж, таков род человеческий. У него про запас две морали — официальная, напоказ, и другая, о которой умалчивается.

Наш девиз: «В господа веруем...». Когда я читаю эту богомольную пропись на бумажном долларе (стоимостью в шестьдесят центов), мне всегда чудится, что бумажка трепещет и похныкивает в религиозном экстазе. Это наш официальный девиз. Подлинный же, как видим, совсем иной: «Когда англосаксу что-нибудь нужно, он идет и берет». Наша официальная нравственность нашла выражение в величавом и в то же время гуманном и добросердечном девизе: «Ех pluribus unum»¹, из которого как бы следует, что все мы, американцы, большая семья, объединенная братской любовью. А подлинная наша мораль выражена в другом бессмертном девизе: «Эй, ты там, пошевеливайся!»

Мы позаимствовали империализм у монархов Европы, а вместе с ним и наши понятия о патриотизме (пусть, наконец, хоть один здравомыслящий человек



¹ Из многих одно (лат.).

растолкует мне, что мы в Америке разумеем под патриотизмом). Значит, по справедливости, в благодарность за эти заимствования и мы должны тоже чему-нибудь их научить.

Сто с лишним лет протекло с той поры, как мы преподали европейцам первые уроки свободы; мы немало способствовали успеху французской революции — в ее благотворном действии есть наша доля. Позднее мы преподали Европе и другие уроки. Без нас европейцы никогда не увидели бы газетного репортера; без нас европейские страны никогда не вкусили бы сладости непомерных налогов; без нас европейский пищевой трест не овладел бы искусством кормить людей ядом и брать с них за это деньги; без нас европейские страховые компании никогда не научились бы обогащаться с такой быстротой за счет вдов и сирот; без нас вторжение желтой прессы в Европу, быть может, наступило бы еще не так скоро. Неустанно, упорно, настойчиво мы американизируем Европу и надеемся со временем завершить это дело.

Август 1907 г.

[СВЯТОЙ ГРААЛЬ]

Запись секретаря: «Днем мистер Клеменс нанес визит леди Стэнли, вдове исследователя».

Действительно, это был один из моих первых визитов в тот день. Леди Стэнли оказалась такой же энергичной и темпераментной, такой же искренней в проявлении своих чувств, как много лет назад, в дни нашего первого знакомства, когда она была счастливой юной новобрачной. Прошло уже три с половиной года с тех пор, как умер Стэнли, но мне кажется, что она поклоняется ему день и ночь, и я уверен, что для нее он остался таким же близким, каким был при жизни.

Леди Стэнли — убежденная спиритка и давно уже живет в атмосфере этого культа. Ее сестра, миссис Майерс, — вдова одного из виднейших спиритов, покойного президента Британского психологического общества. Я не интересуюсь потусторонним миром, уверен, что мы ровно ничего о нем не знаем, но считаю, что держать нас в полнейшем невежестве по этому поводу неправильно, несправедливо и неучтиво. Поэтому общение с леди Стэнли, которая твердо верит в его существование, и не просто верит, а считает это чрезвычайно важным, всегда было для меня полезным и приятным.

Она столь же безгранично счастлива своею верой, сколь я доволен отсутствием оной, и мне даже показалось, что мы без всякого ущерба для себя могли бы поменяться местами; ибо в конечном счете единственное условие, необходимое для сохранения душевного покоя,— это отсутствие сомнений. Леди Стэнли, я и чернокожий дикарь в африканских джунглях, который поклоняется смоляному чучелку и не озабочен никакими религиозными сомнениями, ничем не отличаемся друг от друга и находимся в равно счастливом положении; любой из нас без всякого ущерба для себя мог бы поменяться местом с остальными, причем на этой сделке ни одна сторона не потеряла бы ни фартинга.

Леди Стэнли хотела обратить меня в свою веру; было время, когда и я хотел бы сделать ее сторонницей своих убеждений,— но это время давно прошло; теперь я не стал бы пытаться поколебать чью-либо не омраченную никакими сомнениями религию — будь то даже религия африканского дикаря. Мне было очень трудно отказаться от миссионерства, от этого наименее простибельного из всех человеческих ремесел,— но я вынужден был это сделать, ибо я не мог продолжать им заниматься, не испытывая тайного стыда оттого, что одновременно публично осмеиваю и проклиная других миссионеров.

Я узнал, что после Стэнли осталась незаконченная автобиография. В ней он честно и искренне описывает события своего детства и юности и, если память мне не изменяет, заканчивает ее рассказом о своем участии в Гражданской войне. Леди Стэнли готовит этот труд к изданию, и я был немало удивлен, но в то же время обрадован тем, что она не намерена скрывать некоторые обстоятельства, слухи о коих шепотом распространялись еще при жизни Стэнли,— в частности, что он был весьма низкого происхождения и родился в работном доме. Без сомнения, было время, когда она желала бы скрыть и предать забвению эти обстоятельства, однако теперь она выше этого; она живет в более возвышенном и благородном мире и, быть может, понимает, что теперь этим скромным происхождением следует гордиться, если вспомнить, что вопреки ему замечательный исследователь столь многого добился.

Здесь я снова отвлекусь в сторону, чтобы сопоставить некоторые любопытные явления в области умственной гимнастики. Леди Стэнли верит, что дух Стэнли ни на минуту ее не покидает и все время беседует с

нею о самых простых, обыденных вещах, — явление, которое представляется мне невероятным. Интересно, считали бы его невероятным архидиакон Уилберфорс? Не знаю, но мне кажется, что да. Мне кажется, что Непорочное Зачатие и прочие описанные в Библии несообразности не представляют для него никаких затруднений, ибо его с колыбели приучали верить в невероятное, и он так к ним привык, что это получается у него легко и естественно; однако подобная тренировка не может убедить его в существовании других невероятных явлений, если судить о них здраво и непредвзято. Уилберфорс — человек образованный, интеллигентный, он наделен тонким и острым умом и происходит из семьи, обладающей такими же качествами; поэтому он в состоянии беспристрастно судить о новых чудесах, и мне кажется, что он отвергнет притязания спиритизма с такою же твердостью, с какою принимает Непорочное Зачатие. Неужто мистера Уилберфорса с колыбели приучали верить в Святой Грааль¹? Вряд ли, но тем не менее он в него верит, причем верит не только в существование Грааля, но и в то, что он им обладает.

Если б я узнал об этом поразительном факте из вторых рук, я бы не поверил, я не поверил бы даже в том случае, если бы о нем говорилось в удостоверениях, выданных всеми двенадцатью апостолами, подписи которых были бы засвидетельствованы государственным нотариусом. Я сказал бы, что ученый, образованный, высокоинтеллигентный человек, который уверен в том, будто держит в руках Святой Грааль, может легко и безоговорочно поверить в рассказы барона Мюнхгаузена и в прочую немыслимую чепуху.

Текст, который я имею в виду, я нашел в следующей записи Эшкрофта:

«Воскресенье, 23 июня. — Днем мистер Клеменс посетил архидиакона Уилберфорса в Вестминстере. При этом присутствовали сэр Уильям Крукс, сэр Джеймс Ноулс, миссис Майерс (вдова автора книги «Человеческая личность и ее существование после телесной смерти») и еще семьдесят пять или сто человек».

Не успел я войти, как архидиакон сообщил мне, что произошло поразительное событие — наконец нашли

¹ *Святой Грааль* — чаша, из которой, по средневековому преданию, пил Христос во время Тайной вечери, в ней же хранилась его кровь. — *Прим. сост.*

давно утраченный Святой Грааль, причем в его подлинности не может быть никаких сомнений. Если бы у меня над самым ухом выстрелили из пушки, я бы, наверное, не был так ошеломлен. С минуту — во всяком случае с полминуты — я думал, что он шутит, но потом это предположение улетучилось: он был как нельзя более серьезен и глубочайшим образом взволнован. Следуя за ним, я проложил себе путь сквозь толпу на середину гостиной, где стоял прославленный ученый сэр Уильям Крукс. Сэр Уильям — спирит. Мы окружили сэра Уильяма; миссис Майерс окликнула меня и присоединилась к нам. Затем мистер Уилберфорс обратился ко мне и продолжал свой рассказ о Святом Граале, причем было ясно, что сэр Уильям уже все это знает и, более того, верит в чудо. История вкратце состояла в следующем: молодому торговцу зерном, некоему мистеру Поулу, недавно явился ангел, приказал ему отправиться к старинному аббатству Гластонбери и откопать зарытый там Святой Грааль. Мистер Поул повиновался. Он отыскал указанное ангелом место, принялся копать и обнаружил реликвию под слоем твердой утрамбованной земли в четыре фута толщиной. Все это произошло за неделю или за десять дней до нашего разговора 23 июня.

Теперь Святой Грааль находился в доме архидиакона. Приличествующий случаю пиетет препятствовал тому, чтобы выставлять его напоказ толпе, но мистер Уилберфорс предложил дать мне возможность взглянуть на него, и поэтому я последовал за ним и за сэром Уильямом. К нам присоединилась миссис Майерс. Когда мы вошли в комнату, где находилась реликвия, мы увидели там того, кто нашел Грааль, и еще одного человека, — последний, по-видимому, охранял помещение. Мистер Поул принес ничем не примечательный, невзрачный деревянный ящик, осторожно вынул оттуда нечто завернутое в кусок белого полотна и передал это в руки мистеру Уилберфорсу, который неторопливо, очень осторожно и с необычайно серьезным видом начал развертывать полотно. Царившая вокруг торжественная тишина сама по себе производила глубокое впечатление, и я был очень взволнован. Тишина и торжественность всегда покоряют — независимо от того, что именно происходит. Торжественное настроение постепенно усиливалось и углублялось, ибо полотняная обертка оказалась довольно длинной. Наконец взорам открылся священный

сосуд, который, по преданию, принял в себя драгоценную кровь распятого Христа.

Двое из присутствующих верили, что перед ними тот самый сосуд, который под покровом ночи принесли и тайно вручили Никодиму почти девятнадцать веков назад, после того, как создатель вселенной во искупление грехов рода человеческого окончил свою жизнь на кресте; та самая чаша, которую четырнадцать веков назад, во времена короля Артура¹, бесстрашный сэр Галахад, рыцарь без страха и упрека, искал в далеких странах, среди трудов и приключений; та самая чаша, в долгих и терпеливых поисках которой сложили свои головы и, горько сетуя, расстались с жизнью многие благородные рыцари иных, давно ушедших времен. И вот наконец она здесь; ее откопал какой-то торговец зерном из Ливерпуля; он не пролил ни капли крови, он не отправлялся в дальние странствия, от него не требовалось какой-либо особой чистоты сверх той, какая требуется от всякого торговца зерном в двадцатом веке; он даже не носил громкого имени; он не сэр Галахад, не сэр Борс де Ганис, не сэр Ланселот Озерный — он просто какой-то мистер Поул, о котором даже неизвестно, как его зовут, — впрочем, кажется, Питерсон. Для этого не потребовалось ни кольчуги, ни сверкающей стали, ни увенчанного султаном шлема, ни щита с гербом, ни смертоносного копья, ни наделенного баснословной силою грозного меча — да и вообще никаких доспехов и никакого оружия, кроме плебейской кирки и заступа. И вот у нас перед глазами Святой Грааль, прославляемый в течение девятнадцати веков, самая знаменитая реликвия на свете, о которой так страстно мечтали, которую так долго, преданно и упорно искали; и тут же рядом, так близко, что до него можно дотронуться рукой, стоит тот, кто ее спас, — человек по имени Питерсон Поул, да хранит его господа! Вот уж поистине волнующая минута.

Строго говоря, это была вовсе не чаша, не ваза и не кубок. Это было просто блюдечко — зеленое стеклянное блюдечко, в которое было вставлено блюдечко из серебра. Поверхность блюдечка была украшена цветочками мягких тонов, с прорезями, сквозь которые виднелось заключенное внутри серебряное блюдечко. По фор-

¹ *Король Артур* — легендарный король бриттов; *сэр Галахад*, *сэр Борс де Ганис*, *сэр Ланселот Озерный* — его «рыцари круглого стола», герои средневековых рыцарских романов, одним из важнейших мотивов которых был поиск Святого Грааля. — *Прим. сост.*

ме, размеру и глубине это блюдечко ничем не отличалось от всех прочих блюдечек на свете. Быть может, когда-то оно было чашей, бокалом или кубком, но если даже так, то от времени оно сильно съежилось.

Мистер Уилберфорс сказал, что это подлинный Святой Грааль, что в этом нет ни малейших сомнений, что в настоящее время нигде не существует другого подобного сосуда, что ему не менее четырех тысяч лет, а тот факт, что он был спрятан под четырехфутовым слоем твердой земли, служит лишним доказательством его древности, ибо для создания четырехфутового слоя твердой земли требуется много веков. Было совершенно ясно, что сэр Уильям Крукс (как ученый, он не признает никаких спорных научных открытий до тех пор, пока они, будучи подвергнуты самому строгому и беспощадному испытанию, не выдержат его и не будут абсолютно доказаны) вполне удовлетворен этими детскими догадками и пустыми рассуждениями, совершенно уверился в подлинности и неподдельности Святого Грааля и даже не сомневался в существовании того ангела несварения желудка, который принес торговцу зерном это извещие.

Я рад, что мне довелось дожить до этого часа, до этого удивительного часа. В моей жизни он единственный в своем роде, нет ничего, хоть сколько-нибудь его напоминающего. Я давно уже подозревал, что право человека называть себя мыслящим существом весьма сомнительно, но данный случай сокрушил все мои сомнения; теперь я совершенно уверен, что часто, очень часто в вопросах, касающихся религии и политики, мыслительные способности человека не выше, чем у обезьяны. Миссис Майерс уже много лет живет в атмосфере спиритизма и принимает все его утверждения, и тем не менее Святой Грааль оказался не по зубам даже ей, о чем она сообщила мне по секрету.

Если бы этот случай произошел в Америке, то газеты всей страны корчились бы от смеха — независимо от того, находился ли попечитель Грааля на самой вершине церковной иерархии или в самом ее низу, но мистер Уилберфорс — высокопоставленный священнослужитель великой англиканской церкви, случай этот произошел в Англии, — и в этом все дело. Следуя обычаю, мы хранили молчание. Так же поступила и английская пресса. Через две-три недели после 23 июня в одной из лондонских газет появилась короткая заметка об открытии Грааля и были названы причастные к этому лица. За-

метку передали по телеграфу через океан и опубликовали в американской прессе; на этом дело кончилось, и до сего дня я ни разу не видел и не слышал ни единого упоминания об этом происшествии ни в Европе, ни в Америке.

2 декабря 1907 г.

[ЭНДРЮ КАРНЕГИ]

Как я уже говорил, мистер Карнеги коснулся двух вопросов, которые возникли во время его визита в Вашингтон; об одном из них я уже упоминал, это — четыре корабля, а второй — «В господу веруем». В далекие времена Гражданской войны была предпринята попытка вставить имя божие в конституцию; эта попытка провалилась, однако удалось прийти к компромиссу, который частично удовлетворил почитателей божества: бога не ввели в конституцию, но зато предоставили ему почетное место на монетах страны. С тех пор на одной стороне монеты у нас красовался индеец, или богиня свободы, или что-то в этом роде, а на другой стороне мы выгравировали надпись: «В господу веруем». Ну вот, после того как эта надпись, никому не причиняя вреда, беспрепятственно оставалась там лет сорок, на днях президенту, как выражаются в народе, вдруг ни с того ни с сего что-то «ударило в голову», и он приказал удалить эти слова из нашей монетной системы.

Мистер Карнеги признал, что это несущественно, что монета без надписи имеет точно такую же стоимость, как и с надписью, и сказал, что осудил не действия президента, а лишь его доводы. Президент приказал изъять этот девиз потому, что монета вводит имя божие в неподобающие места и что это — профанация святого имени божия. Карнеги возразил, что имя божие всегда попадает в неподобающие места и что, по его мнению, аргументация президента весьма слаба и неубедительна.

Я согласился с его мнением и сказал:

— Но ведь это так характерно для президента. Вы, наверное, заметили, что он всегда имеет обыкновение весьма неубедительным образом объяснять свои действия, и хотя у него под самым носом торчат превосходные доводы, он их не замечает. Для удаления этого девиза имелась отличная причина, причина действительно безупречная — ибо этот девиз был лживым. Если наш народ когда-либо и верил в бога, это время давно прошло; уже почти столетия он верит только в респу-

бликанскую партию и в доллар — преимущественно в доллар. Я признаю, что делаю утверждение, не приводя никаких доказательств, — и я очень сожалею, но такова моя привычка; я также сожалею, что в этом я не одинок, ибо, по-видимому, этой болезни подвержены все.

Приведу пример: удаление девиза вызвало шумные протесты духовенства; по всей стране собирались маленькие группы и небольшие общества священнослужителей, и одна из этих маленьких групп, состоящая из двадцати двух священников, выдвинула весьма удивительное заявление, которое не было подкреплено никакими опубликованными статистическими данными, и единогласно приняла его в форме резолюции. Это утверждение гласит, что Америка — христианская страна. Ну что ж, Карнеги, ад ведь тоже христианская страна. Эти священники знают, что поскольку то обстоятельство, что «Пряма дорога и тесны врата, и лишь немногие — *немногие* — войдут туда», имело своим естественным следствием превращение ада в единственную действительно значительную христианскую общину во вселенной; мы этим не хвастаем, а значит, не пристало нам хвастать и гордиться и тем, что Америка — страна христианская, когда всем нам известно, что пять шестых ее населения никоим образом не смогли бы пройти в тесные врата.

ПИСЬМА С ЗЕМЛИ¹

Творец сидел на Престоле и размышлял. Позади Него простиралась безграничная твердь небес, купавшаяся в великолепии света и красок, перед Ним стеной вставала черная ночь Пространства. Он вздымался к самому зениту, как величественная крутая гора, и Его божественная глава сияла в вышине подобно далекому солнцу. У Его ног стояли три гигантские фигуры, казавшиеся по контрасту совсем ничтожными, — то были архангелы, чьи головы почти достигали Его щиколотки.

Когда Творец кончил размышлять, Он сказал:
— Я поразмыслил. Узрите!

Он поднял руку, и из нее вырвалась ослепительная огненная струя — миллион колоссальных солнц, которые пронизали мрак и, рассекая Пространство, понеслись к

¹ ПИСЬМА С ЗЕМЛИ. 1909. Впервые напечатаны в 1962 г. в одноименном сборнике. Это одно из последних произведений Марка Твена. Вот что автор писал одной своей знакомой 13 ноября 1909 г.: «...я пишу „Письма с Земли“, и если вы к нам приедете. — как по-вашему, что я сделаю? Вручу вам рукопись, отметив места, которые следует пропустить не читая? Отнюдь. Нет у меня к вам такого доверия. Я сам прочту вам свои послания. Эта книга никогда не будет напечатана, да это и невозможно, — было бы уголовным преступлением осквернить почту ее пересылкой, ибо в ней содержится много выдержек из священного писания, причем таких, которые неприлично читать вслух, разве только с церковной кафедры или на семейной молитве».

Еще в 1938 г. второй хранитель твеновского наследства Б. де Вото подготовил к печати три тома неопубликованных материалов из архива писателя. В 1940 г. была издана книга автобиографических диктовок Твена под названием «Марк Твен — непотухший вулкан», а книга «Письма с Земли» была скрыта от читателей по требованию дочери Твена — Клары Клеменс-Габрилович-Самосуд, и лишь в 1962 г. этот запрет был снят. — *Прим. сост.*

самым отдаленным его пределам, становясь все меньше, все тусклее, пока не уподобились алмазным шляпкам гвоздей, мерцающим под безмерным сводом вселенной.

Через час Большой совет был распущен.

Архангелы, потрясенные и озадаченные, удалились из-под сени Престола и поспешили отыскать укромное местечко, где они могли бы свободно побеседовать. Впрочем, никто из троих не торопился начинать, хотя каждый с нетерпением ждал, чтобы начал другой. Всем им очень хотелось обсудить великое событие, но нельзя же было высказывать свое мнение, не узнав предварительно точку зрения остальных! И вот начался бесцельный вялый разговор о пустяках, который то обрывался, то вновь начинался, пока, наконец, архангел Сатана не призвал на помощь все свое мужество — а мужества у него было немало — и не перешел к делу. Он сказал:

— Мы знаем, господа мои, о чем мы пришли сюда потолковать, так отбросим же притворство и начнем. Если таково мнение совета...

— Именно, именно, — благодарно воскликнули Гавриил и Михаил.

— Отлично, так продолжим же. Мы были свидетелями замечательного деяния — это само собой разумеется. Что касается его практической ценности — если у него есть практическая ценность, — то этот вопрос нас никак не касается. Мы можем думать о нем, что пожелаем, — но и только. Права голоса у нас нет. Я считаю, что Пространство было хорошо и в прежнем виде, и к тому же очень полезно. Холодное, темное, приятное место, где можно было иногда отдохнуть от изнеживающего климата небес и их докучного великолепия. Но все это мелочи, не имеющие значения. Нововведение, важнейшее нововведение заключается... В чем заключается, господа?

— В изобретении и введении механического самодельствующего и саморегулирующегося *закона*, предназначенного для управления мириадами этих вращающихся и мчащихся наперегонки солнц и миров.

— Вот именно, — подхватил Сатана. — Заметьте, какая колоссальная идея! Верховный Разум не порождал еще ничего равного. Закон — *механический* Закон, точный и неизменный Закон, который не требует ни наблюдения, ни поправок, ни починок на протяжении всей вечности. Он сказал, что эти бесчисленные огромные тела будут пронизывать пустыни Пространства на протяжении бесконечных веков, мчась с невообразимой скоро-



стью по гигантским орбитам и все же никогда не сталкиваясь, не увеличивая и не сокращая периода своего обращения даже на сотую долю секунды за две тысячи лет! В этом-то и заключается новое чудо, величайшее из всех чудес, *механический Закон!* И Он дал ему название — «ЗАКОН ПРИРОДЫ» и сказал, что это есть «ЗАКОН БОГА» — два взаимозаменяемые названия одного и того же явления.

— Да,— заметил Михаил,— и еще Он сказал, что введет ЗАКОН ПРИРОДЫ — ЗАКОН БОГА — во всех своих владениях и сделает его верховным и нерушимым.

— И еще,— добавил Гавриил,— Он сказал, что со временем создаст животных и также подчинит их этому Закону.

— Да,— сказал Сатана,— я слышал, как Он это говорил, но ничего не понял. Что такое «животных», Гавриил?

— А я почему знаю? Откуда нам это знать? Слово-то новое.

(Проходят три столетия по небесному времени, равняющиеся ста миллионам лет по земному времени. Входит Ангел-Рассыльный).

— Господа мои, Он творит животных. Неблагоугодно ли вам пойти и посмотреть?

Они пошли, они увидели и исполнились недоумения. Глубочайшего недоумения — и Творец заметил это и сказал:

— Спрашивайте, я отвечу.

— Божественный! — сказал Сатана с глубоким поклоном. — А зачем они?

— Они нужны, чтобы экспериментальным путем установить принципы поведения и морали. Глядите на них и поучайтесь.

Их были тысячи, и все они были очень деятельны. Все были заняты, очень заняты — в основном истреблением друг друга. Исследовав одного из них через сильный микроскоп, Сатана сказал:

— Этот большой зверь убивает тех, кто слабее, о Божественный.

— Тигр? Ну конечно. Закон его природы — свирепость. Закон его природы — это Закон Бога. Тигр не может его послушаться.

— Так значит, подчиняясь ему, он не совершает никакого преступления, о Божественный?

— Да, он ни в чем не повинен.

— А вот этот зверек очень робок, о Божественный, и приемлет смерть, не сопротивляясь.

— Кролик? Ну конечно. Он лишен храбрости. Таков закон его природы, Закон Бога. Он должен ему подчиняться.

— Так значит, несправедливо было бы требовать, чтобы он поступал вопреки своей природе и оказывал сопротивление, о Божественный?

— Да. Ни от одного существа нельзя требовать, чтобы оно поступало вопреки закону своей природы — вопреки Закону Бога.

Сатана еще долго задавал вопросы, а потом сказал:

— Паук убивает муху и поедает ее. Птица убивает паука и поедает его. Рысь убивает гуся, а... короче говоря, они все убивают друг друга. Одни убийства, куда ни глянь. Этих тварей бесчисленное множество, и они убивают, убивают, убивают. Все они убийцы. И все они безвинны, о Божественный?

— Они безвинны. Таков закон их природы. А закон природы всегда — Закон бога. А теперь... глядите... Узрите! Новая тварь, и к тому же шедевр — *Человек!*

И возникли кучки, толпы, миллионы мужчин, женщин, детей.

— А с ними ты что будешь делать, о Божественный?

— Вложу в каждого отдельного индивида в различных степенях и оттенках все те разнообразные нравственные качества, которые были распределены по одной характерной черте среди всех представителей бессловесного животного мира, — храбрость, трусость, свирепость, кротость, честность, справедливость, хитрость, двуличие, великодушие, жестокость, злобу, коварство, похоть, милосердие, жалость, бескорыстие, эгоизм, нежность, честь, любовь, ненависть, низость, благородство, верность, двоедушие, правдивость, лживость, — каждый человек получит все эти качества, и из них составит его природа. У некоторых высокие прекрасные черты возобладают над дурными, и таких будут называть «хорошими людьми», в других будут властвовать дурные черты, и их назовут «плохими людьми». Глядите... узрите... они исчезают!

— Куда они, о Божественный?

— На Землю, и они, и все их собратья — животные.

— А что такое Земля?

— Шарик, который я сотворил две эры, эру и пол-эры тому назад. Вы видели его во взрыве миров и

солнц, которые вырвались из моей руки, но не обратили на него внимания. Человек — это эксперимент, а животные — это еще один эксперимент. Время покажет, стоило ли с ними возиться. Демонстрация окончена. Можете удалиться, господа мои.

- Прошло несколько дней.

Они соответствуют длительному периоду (нашего) времени, ибо на небесах день равен тысячелетию.

Сатана бурно восхищался некоторыми блестящими выдумками Творца, но в этих похвалах нетрудно было заметить иронию. Высказывал он их конфиденциально своим надежным друзьям, другим архангелам, но кое-кто из рядовых ангелов подслушал его и сообщил Наверх.

В наказание он был выслан с небес на один день — на небесный день. Он давно уже привык к подобным наказаниям, которые то и дело навлекала на него чрезмерная бойкость его языка. Прежде его ссылали в Пространство, поскольку других мест для ссылки не имелось, и он уныло порхал там в вечной ночи и арктическом холоде. Однако теперь он решил разыскать Землю и посмотреть, как подвигается эксперимент с Человечеством. Через некоторое время он написал домой — самым частным образом — архангелам Михаилу и Гавриилу о том, что он там увидел.

ПИСЬМО САТАНЫ

Это очень странное место, необычайное и весьма интересное. У нас дома нет ничего подобного. Люди все сумасшедшие, остальные животные все сумасшедшие, Земля сумасшедшая, и сама Природа тоже сумасшедшая. Человек — на редкость любопытная диковинка. В своем наилучшем виде он напоминает лакированного ангела самой низшей категории, а когда он по-настоящему плох, это нечто невообразимое, неудобопроизносимое; и всегда, и везде, и во всем он — пародия. И все же он с полной невозмутимостью и искренностью называет себя «благороднейшим творением божьим». Честное слово! И нельзя сказать, чтобы эта идея пришла ему в голову недавно — во все века он провозглашал ее и верил в нее. Верил в нее, и никто из всего этого племени еще ни разу не заметил, насколько она смехотворна.

Кроме того — крепитесь! — он считает себя любимцем Творца. Он верит, что Творец гордится им, он даже верит, что Творец любит его, сходит по нему с ума, не

спит ночами, чтобы восхищаться им, да, да — чтобы бдѣть над ним и охранять его от бед. Он молится Ему и думает, что Он слушает. Мило, не правда ли? Да еще наspiговывает свои молитвы грубѣйшей откровенной лестью и полагает, будто Он мурлычет от удовольствия, слушая подобные нелепые славословия. Каждый день он молится, прося помощи, милости и защиты, и молится с надеждой и верой, хотя до сих пор все его молитвы до единой оставались без ответа. Но такой ежедневный афронт, ежедневный провал его не обескураживает — он продолжает молиться как ни в чем не бывало. В этом упорстве есть что-то почти прекрасное. Крепитесь! Он думает, что отправится на небеса!

У него есть платные учителя, которые твердят ему об этом. Они твердят ему также об аде, вечной геенне огненной, куда он попадет, если не будет соблюдать «заповедей». Что такое «заповеди»? Очень любопытная штука. В свое время я вам о них расскажу.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

«Все, что я сообщаю вам о человеке, — чистая правда». Заранее прошу прощения, если эти слова будут иногда повторяться в моих письмах; я хочу, чтобы вы серьезно относились к моим рассказам, а я чувствую, что, будь я на вашем месте, а вы на моем, мне время от времени требовалось бы подобное напоминание, иначе моя доверчивость могла бы истощиться.

Ибо в человеке все кажется бессмертному странным. Его взгляд на вещи отличен от нашего; его представление о взаимоотношении явлений совсем не похоже на наше, а его понятия настолько расходятся с нашими, что, несмотря на весь наш интеллект, вряд ли даже самый одаренный из нас когда-нибудь сможет до конца постичь его точку зрения.

Вот вам характерный пример: он придумал себе рай и не допустил в него высшее из всех известных ему наслаждений, экстаз, который его племя (как и наше) ценит более всего, — половой акт.

Словно погибавшему в жаркой пустыне путнику его спаситель предложил все то, о чем он мечтал в часы страданий, попросив сделать только одно какое-нибудь исключение, — и путник отказался от воды!

Рай человека подобен ему самому: странный, интересный, поразительный, нелепый. Право же, в нем не нашлось места ничему из того, что человек *действитель-*

но ценит. Рай этот целиком и полностью состоит из развлечений, которые здесь, на Земле, человеку вовсе не нравятся,—и тем не менее он убежден, что в раю они придутся ему по вкусу. Разве это не любопытно? Разве это не интересно? И не думайте, что я преувеличиваю,—отнюдь нет. Я приведу вам факты.

Большинство людей не любит петь, большинство людей не умеет петь, большинство людей не выдерживает чужого пения дольше двух часов. Заметьте это.

Из сотни человек примерно только двое умеют играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, и в той же сотне не наберется и четверых, которые хотели бы этому научиться. Заметьте также и это.

Многие люди молятся, но любят этим заниматься очень немногие. Лишь единицы молятся долго, остальные стараются выбрать молитву покороче.

Далеко не все те, кто ходит в церковь, любят туда ходить.

Для сорока девяти человек из пятидесяти соблюдение Дня Субботнего — унылейшая и скучнейшая обязанность.

Из тех, кто сидит в церкви в воскресенье, две трети устают еще до половины службы, а остальные — прежде, чем она кончится.

Самый радостный миг для всех них — когда священник воздевает руки для благословения. По всей церкви проносится тихий шорох облегчения, и вы чувствуете, что он исполнен благодарности.

Все нации смотрят сверху вниз на все остальные нации.

Все нации недолюбливают все остальные нации.

Все белые нации презирают все остальные нации любого оттенка кожи и угнетают их, когда только могут.

Белые не желают вступать в брак с «черномазыми» и вообще с ними соприкасаться.

Они не допускают их в свои школы и церкви.

Весь мир ненавидит евреев и терпит их, только когда они богаты.

Я прошу вас хорошенько заметить все эти факты.

Далее. Все нормальные люди не любят шума.

Все люди, нормальные и ненормальные, любят разнообразие. Однообразная жизнь им быстро приедается.

Каждый человек в меру доставшихся ему интеллектуальных способностей постоянно упражняет свой ум, и эти упражнения составляют весьма существенную, цен-

ную и важную часть его жизни. Самый неразвитый человек, как и самый образованный, обладает какой-нибудь своей способностью и испытывает подлинное удовольствие, пуская ее в ход, доказывая ее и совершенствуя. Уличный мальчишка, превосходящий своего товарища в играх, извлекает из своего таланта столько же радости и так же старательно его развивает, как скульптор, художник, музыкант, математик и все прочие. Никто из них не мог бы чувствовать себя счастливым, если бы на его талант был наложен запрет.

Теперь вы знаете все факты. Вам известно, что нравится людям, а что им не нравится. И вот человечество изобрело рай — по собственному разумению, без всякой помощи со стороны. Так попробуйте догадаться, на что он похож. Бьюсь об заклад, не догадаетесь и за две тысячи вечностей! Самый острый ум, известный вам или мне, не додумался бы до этого и за пятьдесят миллионов вечностей. Погодите, сейчас я вам все расскажу.

1. Во-первых, я напому вам тот поразительный факт, с которого я начал, а именно — что человек, хотя он подобно бессмертным, естественно, ставит сонтие выше всех других радостей, все же не допустил его в свой рай! Даже мысль о сонтии возбуждает его. Когда же ему предоставляется возможность осуществить его, он приходит в иступление и готов поставить на карту жизнь, репутацию, все — даже свой нелепый рай, — лишь бы использовать этот случай и достичь чудесной кульминации. С юности и до старости все мужчины и все женщины ставят сонтие выше всех других удовольствий, вместе взятых, и однако, как я уже сказал, ему нет места в их раю, его заменяет молитва!

Да, они ценят его чрезвычайно высоко, и все-таки, подобно всем другим их так называемым «блаженствам», оно чрезвычайно жалко. Даже в лучшем случае этот акт у них невообразимо краток — с точки зрения бессмертного, я хочу сказать. И в повторении его человек ограничен настолько, что... нет, бессмертным этого не понять. Мы, испытывающие это наслаждение и его высший экстаз без перерыва и остановки в течение столетий, никогда не сумеем по-настоящему и с должным сочувствием постичь ужасающую нищету людей во всем, что касается этого великолепного дара, который, когда им владеют так, как владеем мы, делает все остальные удовольствия ничтожными и ничего не стоящими.

2. В человеческом раю *все поют!* Человек, который

на Земле не пел, там поет; человек, который на Земле не умел петь, там обретает эту способность. И это все-ленское пение длится постоянно, непрерывно, не перемежаясь ни минутой тишины. Оно продолжается весь день напролет, и каждый день по двенадцать часов подряд. *И никто не уходит*, хотя на земле подобное место опустело бы уже через два часа. И поют только псалмы. Да нет, всего один псалом. Слова всегда одни и те же, исчисляются они примерно десятком. В псалме этом нет и подобия ритма или хоть какой-нибудь поэтичности: «Осанна, осанна, осанна, Господь Бог Саваоф, ура, ура, ура, взз, бум!... а-а-а!»

3. Одновременно все до единого играют на арфах — все эти мириады! — хотя на земле не нашлось бы и двадцати человек на тысячу, которые умели бы играть на музыкальных инструментах или хотели бы этому научиться.

Представьте себе этот оглушающий ураган звуков — миллионы и миллионы голосов, вопящих одновременно, и миллионы и миллионы арф, отвечающих им скрежетом зубовым! Скажите мне: разве это не ужасно, не отвратительно, не безобразно?

И вспомните: все это проделывается, чтобы вознести хвалы, чтобы доставить удовольствие, польстить, выразить свое обожание! Хотите знать, кто же по доброй воле готов терпеть такое странное восхваление, достойное сумасшедшего дома? И кто не только терпит его, но и радуется ему, наслаждается им, требует его, *приказывает*, чтобы хвала была именно такой? Замрите.

Это — бог. Бог людского племени, хочу я сказать. Он восседает на Престоле, окруженный двадцатью четырьмя высшими сановниками, а также другими придворными, взирает на бесконечные квадратные мили своих неистовствующих поклонников, и улыбается, и



мурлычет, и довольно кивает на север, на восток, на юг — готов поручиться, что во всей вселенной никто еще не измыслил более нелепого и наивного зрелища.

Нетрудно догадаться, что изобретатель этого рая не придумал его самостоятельно, а просто взял за образчик придворные церемонии какой-нибудь крохотной монархии, затерявшейся на задворках Востока.

Все нормальные белокожие люди терпеть не могут шума. И тем не менее они безмятежно приемлют подобный рай — не задумываясь, не размышляя, не исследуя вопроса, — и даже искренне хотят туда попасть! Благодетельные седовласые старцы большую часть своего времени посвящают мечтам о том счастливом дне, когда они оставят заботы земной жизни и вкусят блаженства этого местечка. И в то же время легко заметить, насколько оно для них нереально и как мало они на самом деле в него верят: недаром они никак не готовятся к великой перемене — никто из них не упражняется на арфе и никогда не поет.

Как вы уже видели, этот необычайный спектакль нужен для вознесения хвалы — хвалы, изливаемой в псалме, хвалы, выражаемой коленопреклонением. Он заменяет «церковь». А ведь здесь, на земле, люди не переносят больших доз церковной службы: час с четвертью — вот их предел, да и то не чаще раза в неделю. То есть, по воскресеньям. Один день из семи, и даже при таких условиях они ждут его без особого нетерпения. Итак, что же обещает им их рай? Церковную службу, которая длится вечно, и День Субботний, не имеющий конца! Им быстро приедаются даже их здешний коротенький день субботний, наступающий лишь раз в неделю, и все же они жаждут, чтобы он длился вечно; они грезят об этом, они говорят об этом, они *думают*, что они думают, что он сулит им блаженство; с трогательным простодушием они думают, что они думают, что они смогут быть счастливы в таком раю.

А все потому, что они вообще не умеют думать; они только думают, будто они думают. На самом же деле думать они не способны; на десять тысяч человек не наберется и двух, у которых было бы чем думать. А что касается их воображения... — взгляните на их рай! Они приемлют его, они одобряют его, они восхищаются им. Достаточно и этого, чтобы вы получили полное представление об их разуме.

4. Изобретатель их рая ссыпает в него без разбора все нации. И к тому же на основе полнейшего равенст-

ва, не возвышая и не принижая ни одну из них: они должны быть «братьями», всегда пребывать вместе, вместе молиться, вместе брнчать на арфах, вместе тянуть осанну — и белые, и чернокожие, и евреи, и все прочие: никаких различий между ними не делается. Здесь, на земле, все нации ненавидят друг друга, и каждая из них ненавидит евреев. И все же любой благочестивый человек обожает этот рай и лелеет мечту попасть в него. Совершенно искренне. И в святом восторге он думает, будто он думает, что, попав туда, он обнимет все земные племена и начнет безостановочно прижимать их к своей груди!

Человек — настоящее чудо! Хотел бы я знать, кто его выдумал.

5. Каждый человек на земле обладает своей долей рассудка, велика она или мала; и он гордится ею, какова бы она ни была. И сердце его переполняется гордостью, когда он слышит имена великих мыслителей своего племени, и он любит слушать о их дивных свершениях. Ибо он одной с ними крови, и, прославив себя, они прославили его. «Вот на что способен человеческий разум!» — восклицает он и перечисляет мудрецов всех веков, вспоминая бессмертные книги, которые они подарили миру, чудеса техники, которые они придумали, — весь тот блеск, который они придали науке и искусству; перед ними он обнажает голову, как перед монархами, и искренне воздает им все почести, какие только может изобрести его исполненное радости сердце, тем самым вознося разум надо всем, что только есть в его мире, и признавая его единственным и верховным владыкой! А после этого он стряпает рай, в котором не найти и жалкого клочка разума.

Странно, любопытно, непонятно? И все же дело обстоит именно так, как я рассказал, хотя это и кажется невероятным. Этот искреннейший поклонник разума, по заслугам ценящий его величественную роль здесь, на Земле, сочинил религию и рай, которые не почитают разума, не хвалят его, не ставят его ни в грош — короче говоря, даже не упоминают о его существовании.

Вы, вероятно, уже убедились, что человеческий рай был замыслен и построен по совершенно определенному плану, заключающемуся в том, чтобы рай этот содержал до последней мелочи все, что отвратительно человеку, и не имел в себе ни единой вещи, ему приятной!

И чем глубже мы будем исследовать предмет, тем очевиднее будет становиться этот удивительнейший факт.

Итак, запомните: в человеческом раю нет места для разума, нет для него никакой пищи. Он сгниет там за один год — сгниет и протухнет. Сгниет, протухнет и обретет святость. И это хорошо, ибо только святой может вытерпеть радости подобного приюта для умалишенных.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Вы уже заметили, что существо, называемое человеком, — настоящая диковинка. В прошлом он исповедовал (износил и выбросил) сотни всяческих религий; и теперь у него в наличии имеются сотни разных религий, и он каждый год спускает со стапелей не меньше трех новеньких. Я мог бы значительно увеличить эти цифры и все же не выйти за пределы фактов.

Одна из основных его религий зовется христианством. Ее краткий обзор, я думаю, может вас заинтересовать. Она подробнейшим образом изложена в книге, содержащей два миллиона слов и именуемой «Ветхим и Новым заветами». Есть у нее и другое название — «Слово Божие». Ибо христиане полагают, что каждое слово в этой книге было продиктовано богом — тем, о котором я вам уже рассказывал.

Книга эта весьма интересна. В ней есть великолепные поэтические места; и несколько неглупых басен; и несколько кровавых исторических хроник; и несколько полезных нравоучений; и множество непристойностей; и невероятное количество лжи.

Эта Библия составлена в основном из обрывков других, более древних библий, которые отжили свой век и рассыпались в прах. Естественно, что она лишена какой бы то ни было оригинальности. Три-четыре важнейших и поразительных события, которые в ней описаны, упоминались и в предшествующих библиях; все лучшие ее правила и предписания также заимствованы из них; в ней появляются только две новые вещи: во-первых, ад, а во-вторых, тот своеобразный рай, о котором я вам уже говорил.

Как же нам быть? Если мы поверим, как верят они, что оба эти чудовищных места придумал бог, то тем самым незаслуженно его обидим; если же мы решим, что

эти люди сами их придумали, то незаслуженно обидим их. Неприятная дилемма, что и говорить, — ведь ни та, ни другая сторона *нам-то* никакого зла не причинили.

Чтобы разом покончить с этим, давайте сделаем выбор, примем точку зрения людей и взвалим весь этот малопривлекательный груз на их бога — и рай, и ад, и Библию, и все прочее. Быть может, это несправедливо, быть может, это нечестно, но если вспомнить их рай, вспомнить, с каким тщанием его наполняли всем тем, что человеку отвратительно, то просто невозможно поверить, будто его придумали сами люди. А когда я расскажу вам про ад, эта идея покажется вам еще более невероятной и вы, безусловно, воскликнете: нет, человек не мог приготовить подобного места для себя или для кого-нибудь другого. Этого просто не может быть.

Их простодушная Библия повествует о сотворении мира. Сотворении — чего? Вселенной? Вот именно — вселенной. И за шесть дней!

Это сделал бог. Слова «вселенная» он не употреблял — оно появилось совсем недавно. Он занимался только Землей. Он изготовлял ее пять дней, а затем... А затем всего за один день сотворил двадцать миллионов солнц и восемьдесят миллионов планет!

А зачем они ему понадобились? Чтобы снабдить светом этот игрушечный мирок. Его намерения дальше не шли. Из двадцати миллионов одно (самое маленькое) должно было освещать этот шарик днем, а остальные — помогать одной из бесчисленных лун вселенной умерять мрак его ночей.

Несомненно, он лелеял убеждение, будто мириады мерцающих звезд усеют его новехонькие небеса, едва впервые закатится его солнце; однако самая первая звезда зажглась на этом черном своде лишь через три с половиной года после завершения трудов той достопамятной недели¹. Только тогда появилась первая звездочка и замигала там одна-одинешенька. Еще через три года появилась вторая. Они мигали вдвоем более четырех лет, прежде чем к ним присоединилась третья. По истечении первого столетия на широких просторах этих угрюмых небес едва ли можно было насчитать хотя бы двадцать пять звезд. В конце тысячелетия их ста-

¹ Требуется три с половиной года, чтобы свет ближайшей звезды (61-й Лебеда) достиг Земли, летя со скоростью 186 000 миль в секунду. Арктур сиял уже двести лет, когда его лучи достигли Земли. Далекие звезды становились видимыми постепенно, на протяжении многих тысячелетий. Прим. издателя «Писем с Земли».

ло больше, но не настолько, чтобы об этом стоило разговаривать. По истечении миллиона лет лишь половина нынешнего небесного убора была видима хотя бы в телескоп, и понадобился еще миллион лет, чтобы вторая половина последовала примеру первой. Поскольку в те времена телескопов еще не было, появление этих светил осталось незамеченным.

Вот уже триста лет, как астрономы-христиане знают, что их божество не сотворило звезды за эти примечательные шесть дней, но астроном-христианин предпочитает об этом помалкивать. Так же, как и христианские священники.

В своей книге бог не скупится на хвалу своим трудам и подбирает для этого самые пышные слова, какие только ему известны, доказывая тем самым, что он — и вполне обоснованно — преклоняется перед крупными величинами; и все же он изготовил миллионы колоссальных солнц, дабы они освещали микроскопический шарик, вместо того чтобы поставить крохотное солнце этого шарика на службу им. В своей книге он упоминает Арктур — вы его, наверное, помните, мы как-то там побывали. И он — всего лишь ночная лампадка для этой Земли! Этот гигантский шар, в пятьдесят тысяч раз превосходящий по величине ее солнце, которое рядом с ним то же, что тыква рядом с собором!

Однако в воскресных школах детей по-прежнему учат, что Арктур был сотворен с единственной целью способствовать освещению Земли; и ребенок, вырастая, продолжает верить в это даже тогда, когда обнаруживает, что по закону вероятности дело вряд ли могло обстоять так.

Эта книга и ее служители утверждают, что возраст Земли всего шесть тысяч лет. Лишь в последнем столетии пытливым умам ученых удалось установить, что он приближается к ста миллионам лет.

За эти шесть дней бог сотворил человека и остальных животных.

Он сотворил мужчину и женщину и поселил их в красивом саду вместе с прочими тварями. Они все жили там в мире и согласии, довольные и счастливые, наслаждаясь вечной юностью, но потом случилась беда. Бог предупредил мужчину и женщину, что им нельзя есть плодов некоего дерева. И, как ни странно, прибавил, что, поев его, они непременно умрут. Я говорю «как ни странно» потому, что они никогда еще не видели смерти и, разумеется, не могли понять, о чем он гово-



рит. И ни он, и никакой другой бог не сумел бы растолковать этим невежественным детям, о чем идет речь, не приведя наглядного примера. Это слово само по себе было им так же непонятно, как новорожденному младенцу.

Вскоре какой-то змей явился побеседовать с ними частным образом, и он пришел на ногах, ибо таков был обычай у змей в те дни. Змей сказал, что запретный плод заполнит их пустые головы знанием. Тогда они съели этот плод, что было вполне естественно, ибо человек сотворен любознательным, а священник, подобно богу, которому он подражает и которого представляет на земле, с самого начала взял на себя миссию мешать ему узнавать что-нибудь полезное.

Адам и Ева вкусили запретный плод, и тут же их смутный мозг был озарен ярким светом. Они обрели знание. Какое знание? Знание, из которого они могли извлечь пользу? Вовсе нет — они просто узнали, что есть вещь, именуемая добром, и есть вещь, именуемая злом, а кроме того, научились творить зло. Прежде они этого не умели. Поэтому все их поступки до той минуты были чистыми, невинными, безгрешными.

Но теперь они научились творить зло — и страдать от этого; теперь они обрели то, что церковь зовет ценнейшим сокровищем, — они обрели Нравственное чувство, которое отделяет человека от зверя и ставит его вы-

ше зверя. А не ниже зверя, как полагалось бы, ибо человек в своих помыслах грязен и грешен, а зверь — чист и безгрешен. Другими словами, заведомо испорченные часы ценятся выше тех, которые не могут испортиться.

Церковь по-прежнему считает Нравственное чувство высшим достоинством человека, хотя она отлично знает, что бог был об этом чувстве самого скверного мнения и с обычной неуклюжестью пытался помешать своим счастливым детям в райском саду обрести его.

Итак, Адам и Ева узнали теперь, что такое зло и как его творить. Они узнали, как совершать всевозможные нехорошие поступки, и в том числе самый главный из них — тот, который, собственно говоря, бог и имел в виду. Речь идет об искусстве и тайне полового общения. Им это открытие показалось великолепным, и они, перестав бесцельно шататься по саду, со всем жаром предались новому занятию — бедняжки ведь были так юны и непосредственны!

В самый разгар такого счастливого времяпрепровождения они услышали, что бог ходит по саду среди кустов, совершая свой обычный дневной моцион, и страшно перепугались. А почему? А потому, что были наги. Прежде они этого не знали. Им было все равно, точно так же, как и богу.

В тот достопамятный миг родилась безнравственность, и некоторые люди с тех пор ценят ее превыше всего, хотя не могли бы объяснить — почему.

Адам и Ева явились в мир нагими и не знающими стыда — нагими и чистыми душой; и так же приходили и приходят в мир все их потомки. Приходят нагими, не знающими стыда, чистыми душой. Приходят нравственными. Безнравственность и грязные мысли им приходится приобретать со стороны — это единственный способ. Первый долг матери-христианки — внушить своему ребенку грязные мысли, и она никогда не пренебрегает этим долгом. Ее сыночек вырастает, становится миссионером и отправляется к простодушным дикарям или к цивилизованным японцам внушать им грязные мысли. Тут и они становятся безнравственными, начинают прятать свои тела под одеждой и перестают купаться вместе нагишом.

Условность, неправомерно именуемая нравственностью, не имеет единых норм и не может их иметь, так как она противоречит природе и разуму и представляет собой выдумку, подчиняющуюся любой прихоти, любому

нездоровому капризу. Так, например, в Индии благовоспитанная дама прячет лицо и грудь, а ноги от самых бедер оставляет обнаженными, а благовоспитанная европейская дама прячет ноги и обнажает лицо и грудь. В краях, населенных простодушными дикарями, благовоспитанная европейская дама скоро привыкает к полной наготе взрослых туземцев, и она уже не оскорбляет ее чувств. В восемнадцатом веке французский граф и графиня — люди весьма светские и не состоявшие ни в родстве, ни в браке, — очутившись после кораблекрушения на необитаемом острове в одних рубашках, скоро лишились и этой одежды. И стыдились своей наготы — целую неделю. А потом она перестала их тревожить, и они забыли о ней.

Вы ведь ни разу не видели одетого человека — ну, вы мало что потеряли.

Вернемся к удивительным сведениям, содержащимся в Библии. Вы, естественно, предположите, что бог не привел свою угрозу в исполнение и что неповиновение Адама и Евы осталось безнаказанным, поскольку не они себя создали, не они создали свой характер, желания и слабости, а поэтому, собственно, от них нельзя было требовать невозможного и они не должны были отвечать за свои поступки. Вы изумитесь, узнав, что угроза все-таки была приведена в исполнение. Адам и Ева были наказаны, и это злодеяние и по сей день находит горячих защитников. Смертный приговор был приведен в исполнение.

Как вы, несомненно, заметили, единственный виновник проступка этой бедной парочки избежал наказания и более того — стал палачом безвинных.

На нашей с вами родине мы, конечно, можем высмеивать подобного рода мораль, но смеяться над ней здесь было бы бессердечно. Многие из этих людей наделены способностью рассуждать, но когда дело касается религии, никто этой способностью не пользуется.

Лучшие умы скажут вам, что человек, зачавший ребенка, морально обязан нежно заботиться о нем, защищать его от бед, оберегать от болезней, одевать его, кормить, терпеливо сносить его капризы, наказывать с добротой и только ради его собственной пользы; и никогда, ни при каких обстоятельствах он не имеет права подвергать его бессмысленным мучениям. Денно и ночью бог поступает со своими земными детьми как раз наоборот, и те же самые лучшие умы горячо оправдывают эти преступления, защищают их, извиняют и в не-

годовании вообще отказываются считать их преступлениями, поскольку их совершает «Он». Наша с вами родина — очень интересная страна, — но в ней не найти ничего хотя бы вполовину столь интересного, как человеческий разум.

Ну так вот, бог изгнал Адама и Еву из райского сада, а со временем и вообще их прикончил. И все за то, что они не подчинились приказанию, которого он не имел права отдавать. Но, как вы убедитесь в дальнейшем, на этом он не остановился. У него есть один моральный кодекс для себя и совсем другой — для его детей. Он требует от своих детей, чтобы они обходились справедливо — и кротко! — с преступниками и прощали их до семижды семидесяти раз, но сам он ни с кем не обходится справедливо или кротко, и он не простил легкомысленной и невежественной юной парочке даже первый ее проступок и не сказал: «Ну, хорошо, попробую дать вам возможность исправиться».

Как раз наоборот! Он решил наказывать даже всех потомков Адама и Евы во все века до скончания времен за пустяковый проступок, совершенный другими задолго до их появления на свет. Он и до сих пор наказывает их. По-отечески кротко? О нет, со зверской жестокостью.

Вы решите, разумеется, что подобное существо не заслуживает особых похвал. Не обольщайтесь: тут его называют Всесправедливейшим, Всеправеднейшим, Всеблагим, Всемилосерднейшим, Всепрощающим, Всемиловитейшим, Вселюбящим, Источником всех нравственных законов. Эти двусмысленные комплименты произносятся ежедневно по всему здешнему миру. Но люди не замечают их двусмысленности. Они возносят эту хвалу вполне искренне, без единой улыбки.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

И вот Первая Парочка удалилась из райского сада, унося с собой проклятие — вечное проклятие. Они лишились всех радостей, которые знали до «Грехопадения», но тем не менее они были богаты, ибо взамен приобрели ту, которая стоила всех остальных. Они познали Высшее Искусство.

Они усердно им занимались и были счастливы. Бог повелел, чтобы они им занимались. На этот раз они послушались божьего веления. И хорошо, что запрет был снят, ибо они все равно стали бы заниматься этим искусством, даже если бы его запрещали тысячи богов.

Результаты не заставили себя ждать. Их звали Каин и Авель. А у них были сестры, и они знали, как поступить с этими сестрами. Это привело к новым результатам: Каин и Авель родили несколько племянников и племянниц. Те в свою очередь родили нескольких двоюродных племянников. Далее считаться родством стало очень непросто и попытка внести ясность в этот вопрос успехом не увенчалась.

Приятные труды по заселению земли продолжались из века в век и с большой производительностью, ибо в те счастливые дни лица обоего пола были еще способны к Высшему Искусству даже в таком возрасте, когда им по всем правилам полагалось бы уже лет восемьсот как тлеть в могиле. Слабый пол, нежный пол, прелестный пол в те времена, несомненно, достиг своего наивысшего расцвета, так как на него льстились даже боги. Настоящие боги. Они сходили с небес и наимприятнейшим образом проводили время с этими пылкими юными цветочками. Об этом повествует Библия.

С помощью этих заезжих иностранцев население земли все возрастало и возрастало, пока не достигло нескольких миллионов. Но бог разочаровался в людях. Ему не нравилась их мораль, которая в некоторых отношениях действительно была не лучше его собственной. И вообще представляла нелестно точную копию его морали. Это были очень дурные люди, и, не зная, как их исправить, бог мудро решил уничтожить их. Такова единственная истинно просвещенная и достойная мысль, которую приписывает ему его Библия, и она могла бы навеки упрочить его репутацию, если бы только он был способен воплотить ее в жизнь. Но на него никогда нельзя было положиться — хотя сам он, разумеется, рекламировал обратное, — и его благих намерений хватило ненадолго. Он гордился человеком; человек был лучшим его изобретением, человек был первым его любимцем (если, конечно, не считать мухи), и он не мог расстаться с ним раз и навсегда; и вот в конце концов он решил спасти один образчик, а остальных утопить.

В этом он весь. Он сотворил всех этих негодяев, и он один нес ответственность за их поведение. Никто из них в отдельности не заслуживал казни, хотя уничтожить их всех, несомненно, стоило, тем более, что сотворение их уже было неслыханным преступлением, а позволить им размножаться и далее значило бы только усугублять это преступление. Но делать при этом исключение для любимчиков было и нечестно и неспра-

ведливо— утопить следовало всех до единого или вообще никого. Однако он, разумеется, пойти на это не пожелал; ему непременно понадобилось оставить полдюжины на развод. Он не был способен предвидеть, что новое человечество тоже станет дрянью, ибо Всевидящим он бывает только в собственных рекламах.

Он выбрал для спасения Ноя и его семью и подготовил истребление всех остальных людей. Он спроектировал ковчег, а Ной его построил. Ни бог, ни Ной ковчегов прежде не строили и ничего в ковчехах не смыслили, так что можно было ожидать чего-нибудь выдающегося. И ожидания эти обмануты не были. Ной был земледельцем, и хотя он знал, зачем нужен этот ковчег, все же не мог судить, отвечают ли намеченные размеры всем предъявляемым требованиям (они, конечно, не отвечали), и предпочел с советами не соваться. Бог не заметил, что ковчег маловат, и продолжал проектировать его на авось, не произведя необходимых измерений. В конце концов судно получилось слишком тесным, и мир по сей день страдает из-за того, что оно не могло вместить все необходимое.

Ной построил ковчег. Он старался построить его как можно лучше, но не избежал многих весьма важных упущений. Ковчег не имел ни руля, ни парусов, ни компаса, ни помп, ни морских карт, ни лотлиней, ни якорей, ни судового журнала, ни освещения, ни системы вентиляции; что же касается грузовых трюмов — а ведь это было самое главное, — то чем меньше о них будет сказано, тем лучше. Ковчегу предстояло носиться по морю одиннадцать месяцев, и, следовательно, нужно было запасти такое количество пресной воды, которое заполнило бы два таких ковчеха, — однако о дополнительном ковчеге никто не позаботился. Забортную воду использовать было нельзя: ведь она наполовину должна была состоять из морской воды, а такую смесь не могут пить ни люди, ни сухопутные животные,

Ибо спасению подлежал не только образчик человека, но и коммерческие образчики других животных. Дело в том, что, когда Адам съел яблоко в райском саду и научился плодиться и размножаться, другие животные также постигли это искусство — наблюдая за Адамом. Они поступили очень умно, очень предусмотрительно: ибо таким образом они извлекли из яблока все, что в нем было полезного, не попробовав его и поэтому не заразившись губительным Нравственным чувством, прародителем всей и всяческой безнравственности.

Ной начал собирать животных. Он должен был заполучить по одной паре всех и всяческих земных тварей, которые ходили, ползали, плавали или летали. О том, какой срок понадобился на их соби́рание и в какую копеечку оно влетело, мы можем только догадываться, так как эти подробности нигде зафиксированы не были. Когда Симмах¹ готовился приобщить своего юного сына к светской жизни императорского Рима, он послал своих слуг в Азию, в Африку и во всякие другие места собирать там диких животных для цирковых представлений. Чтобы накопить этих животных и доставить их в Рим, его слугам понадобилось три года. А ведь, как вы понимаете, речь шла только о четвероногих и аллигаторах — они не везли ни птиц, ни змей, ни лягушек, ни червей, ни вшей, ни крыс, ни блох, ни клещей, ни гусениц, ни пауков, ни мух, ни москитов, — ничего, кроме самых простых и незатейливых четвероногих и аллигаторов, да и четвероногих-то лишь таких, которые могли бы драться на арене. И все же, чтобы собрать даже их, потребовалось, как я уже говорил, три года, а расходы на покупку и перевозку животных и жалованье слугам составили четыре миллиона пятьсот тысяч долларов.

Сколько же там было животных? Неизвестно. Во всяком случае, меньше пяти тысяч, ибо пять тысяч — это самое большое число животных, когда-либо свезенных в Рим для устройства зрелищ, и коллекцию эту собрал Тит², а не Симмах. Но оба эти зверинца — просто детские игрушки по сравнению с тем, который должен был устроить Ной. Ему предстояло собрать 146 000 разновидностей птиц, зверей и пресноводных тварей, а насекомых — два миллиона с лишком.

Тысячи видов этих существ изловить не так-то просто, и, если бы Ной не сдался и не махнул на все это дело рукой, он и до сих пор потел бы над ним, как говорится в Книге Левит. Но я вовсе не хочу сказать, что он бросил свое предприятие. Отнюдь нет. Просто он

¹ Симмах (ок. 345—405) — древнеримский писатель и политический деятель. В некоторых из писем его говорится о покупке гладиаторов и редких животных для игр, устраиваемых им и его сыном. — *Прим. сост.*

² Тит Флавий (39—81) — древнеримский император (79—81). Светоний в своем «Жизнеописании XII цезарей» сообщает, что Тит давал бои гладиаторов и устраивал травлю зверей, которых в один день было убито пять тысяч штук разного рода. — *Прим. сост.*



наловил столько тварей, сколько поместилось в ковчеге, а потом перестал их ловить.

Если бы он с самого начала представлял себе размах предстоящего дела, он понял бы, что ему не обойтись без целой флотилии ковчегов. Но он не знал, сколько видов всяких тварей существует на земле. Не знал этого и его шеф. Поэтому он не забрал в ковчег ни кенгуру, ни опоссума, ни ядозуба, ни утконоса и остался еще без множества других необходимейших даров, припасенных любящим богом для людей, а потом забытых им, так как они давным-давно забрались на противоположную сторону мира, которой он никогда не видел и о которой не имел ни малейшего представления. Так что все они чуть было не утонули.

Их спасла простая случайность. Воды было мало, и на ту сторону она не затекла. Ее хватило только-только, чтобы затопить крошечный уголок земного шара — вся остальная его поверхность в те времена была неизвестна и считалась несуществующей.

Однако в один из последних дней произошло событие, после которого Ной решил ограничиться собранными видами, благо их уже вполне хватало для практических целей, а остальным просто позволить стать ископаемыми. Этой последней соломинкой послужило появление незнакомца, принесшего страшные вести. Он сообщил, что разбил свой лагерь среди каких-то гор и долин милях в шестистах отсюда и стал свидетелем удивительнейшего зрелища: он стоял на обрыве над широкой долиной и в дальнем ее конце вдруг увидел темное море надвигающихся незнакомых тварей. Вскоре они прошли у его ног, толкаясь, дерясь, вставая на дыбы, вопя, фыркая, — отвратительные огромные массы колышавшейся плоти. Ленивцы величиной со слона, лягушки с целую корову, мегатерий со своим гаремом — чудовищные громадины, ящеры, ящеры, ящеры, отряд за отрядом, семейство за семейством, вид за видом, по сто футов в длину, по тридцать в высоту и вдвое того злее; один из них ни с того ни с сего так стукнул хвостом безобидного быка-симментала, что тот взлетел на триста футов вверх, с тяжелым вздохом упал к ногам рассказчика и тут же скончался. Незнакомец сказал, что эти великаны прослышали про ковчег и идут сюда. Идут спастись от потопа. И не парами идут, а всем племенем; они не слышали, продолжал он, что пассажиры допускаются только по паре каждого вида, да и в любом случае не стали бы считаться с правилами и уста-

повлениями — либо их возьмут в ковчег; либо они поговорят с капитаном по-свойски. Рассказчик добавил, что ковчег не вместит и половины их; а кроме того, они идут голодные и съедят все запасы, включая зверинец и семью Ноя вместе с ним самим.

Библейское повествование утаило все эти факты. Там вы не найдете ни одного намека на них. Дело попросту замаяли. Не упомянуты даже имена этих колоссов. Таким образом, вы можете убедиться, что люди, по недобросовестности не выполнив каких-либо условий договора, отлично умеют умалчивать об этом даже в библиях. А ведь эти могучие твари были бы необычайно полезны человеку в настоящее время, когда перевозка грузов обходится так дорого, а транспорта так не хватает. Но они утеряны для него безвозвратно. Утеряны — и по вине Ноя. Они все утонули — и некоторые уже восемь миллионов лет назад.

Ну так вот, когда незнакомец рассказал все это, Ной понял, что ему лучше исчезнуть до появления чудовищ. И он отплыл бы немедленно, но обойщики и мебельщики, готовившие гостиную для мухи, еще не наложили последние завершающие штрихи, и он потерял на это сутки. Еще сутки были потеряны на посадку мух — их набралось шестьдесят восемь миллиардов, причем бог опасался, что их все-таки окажется недостаточно. И еще сутки были потеряны на погрузку сорока тонн отборного мусора для кормления этих мух.

Только тогда Ной наконец отплыл — и очень своевременно, ибо ковчег еще не скрылся из виду, как на берег явились чудовища, и их вопли и стенания слились с воплями и стенаниями бесчисленных отцов, матерей и перепуганных ребятишек — всех тех, кто под проливным дождем цеплялся за скалы, уже омываемые волнами, и молил о помощи Всеправеднейшего, Всепрощающего и Всемилосерднейшего Создателя, который не откликнулся ни на одну молитву с тех самых пор, когда эти скалы частица за частицей складывались из песка, и не откликнется, пока тысячелетия будут вновь превращать их в песок.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

На третий день около полудня выяснилось, что одну из мух забыли на берегу. Обратное плавание оказалось долгим и трудным из-за отсутствия карт и компаса, а также из-за изменения береговой линии, которая стала совершенно неузнаваемой, поскольку непрерывно подни-

мающаяся вода затопила привычные ориентиры в низинах и придала вершинам холмов незнакомый вид. Однако после шестнадцати дней неустанных розысков муха наконец была найдена и принята на борт под звуки хвалебного и благодарственного псалма, причем семейство Ноя стояло обнажив головы в знак уважения к ее божественному происхождению. Она устала и измучилась, а также сильно вымокла, но в остальном ее состояние было вполне удовлетворительно. Люди целыми семьями гибли от голода на голых горных краях, но муха в отличие от них не голодала, так как могла вволю пировать на бесчисленных гниющих трупах. Так рука провидения спасла священную птичку.

Рука провидения. Вот-вот. Ибо муха была забыта на берегу вовсе не случайно. Нет, в этом можно узреть перст провидения. Случайностей вообще не бывает. Все, что происходит, происходит с какой-нибудь целью. Каждое событие предопределено от начала времен, каждое событие предусмотрено заранее. Еще на заре творения Господь предвидел, что Ной, охваченный паникой при мысли о приближении гигантских патентованных ископаемых, преждевременно выйдет в море, не облагодетельствованный некоей бесценной болезнью. Все остальные болезни будут при нем, чтобы впоследствии их можно было распределять между новыми людскими племенами по мере их появления на свет, но он окажется лишенным одной из лучших — тифа, недуга, который при благоприятных обстоятельствах может искалечить пациента, не убив его, так что он оправится и проживет еще долго, превратившись в слепоглухонемого расслабленного полуидиота. Домашняя муха — главный разносчик тифа, и она одна стоит всех остальных сеятелей этой моровой язвы. И вот по изначальному предопределению эта муха отстала от ковчега для того, чтобы найти тифозный труп, всосать заразу, наскрести на лапки побольше микробов, а потом передать их во вновь населяемый мир для дальнейших неустанных трудов. Благодаря этой мухе в прошедшие с тех пор века миллиарды людей томились на одре болезни, миллиарды калек тоскливо влачили остаток своей жизни и миллиарды кладбищ наполнялись мертвецами.

Характер библейского бога настолько противоречив, что в нем нелегко разобраться: ветреное непостоянство и железное упрямство; абстрактные слащаво-умильные слова и конкретные дьявольские поступки; редкие добрые порывы, искупаемые непреходящей злобой.

Однако, поломав как следует голову, вы все-таки находите ключ к его характеру и в конце концов отчасти его постигаете. Он с удивительно наивной и забавной откровенностью ребенка сам дает вам этот ключ. Это — зависть!

Я думаю, вы ошеломлены. Из моих предыдущих писем вам известно, что люди считают зависть дурным качеством — признаком мелких душонок, свойством *всех* мелких душонок, которого тем не менее стыдятся даже самые мелкие из них, оскорбляясь, когда их в этом обвиняют, лживо называя такое обвинение поклепом.

Зависть. Не забудьте этого, помните это. В этом ключ. С его помощью вы в дальнейшем сможете хотя бы в какой-то мере понять бога, без него же понять его невозможно. Как я уже сказал, он сам открыто протягивает всем этот разоблачающий его ключ. Он просто-душно, прямо и без малейшего смущения заявляет: «Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель» — другими словами, «Бог-завистник».

Вы согласитесь, что это — только один из способов сказать: «Я Господь, Бог твой — мелкая душа, мелочный Бог, обижающийся из-за всяких пустяков».

В этих словах кроется предостережение: ему была невыносима мысль, что какому-нибудь другому богу может достаться хотя бы частица комплиментов, которыми по воскресеньям осыпает его нелепое крохотное людское племя, — он ими ни с кем делиться не желает. Он их ценит. Для него они — истинное богатство, как жестяные деньги для зулуса.

Но погодите, я не совсем справедлив к нему; я неверно толкую его слова; предубеждение заставило меня уклониться от истины. Он ведь не ска-



зал, что намерен оставить себе все восхваления; он вовсе не отказывался делиться ими с другими богами; он сказал только: «Да не будет у тебя других богов *перед* лицом Моим».

Это совсем другое дело и, должен признать, выставляет его в гораздо более выгодном свете. Богов было великое множество, леса, как говорится, ими кишели, а он потребовал лишь, чтобы его ставили на один уровень с другими — не выше, а только не ниже. Он охотно соглашался, чтобы другие боги оплодотворяли земных дев, — но только на тех же условиях, каких мог бы потребовать он сам. Он хотел, чтобы его считали равным им. На этом он настаивал ясно и недвусмысленно; он не желал только, чтобы другие боги заслоняли его лицо. Пусть идут в одной с ним шеренге, но только не впереди процессии, и сам он тоже не претендует на первое место в ней.

Вы думаете, он так и придерживался этой справедливой и делающей ему честь точки зрения? Нет. От скверного решения он мог не отступать хоть целую вечность, но хорошее забывал и до истечения месяца. Вскоре он отказался от своих слов и хладнокровно объявил себя единственным богом во всей вселенной.

Как я уже говорил, всему причиной ревнивая зависть: это чувство играет главную роль на протяжении всей его истории. Оно — основа основ его духовного склада, оно — краеугольный камень его характера. Любая мелочь выводит его из себя, лишает ясности мысли, стоит ей хоть чуть-чуть задеть его ревнивую зависть. Последняя без промаха воспламеняется при малейшем подозрении, что кто-то собирается покуситься на монополию его божественности. Страх, что Адам и Ева, вкусив от плода Древа Познания, станут «как боги», так разбередил его ревнивую зависть, что у него помутилось в голове и он уже не мог обойтись с несчастными справедливо или милосердно и продолжал жестоко и



преступно вымещать свой гнев даже на их безвинном потомстве.

И по сей день его рассудок еще не оправился от этого потрясения; с тех пор им неизменно владеет мания мщения, и он истощил всю свою природную изобретательность, придумывая всяческие страдания, беды, унижения и печали, чтобы с их помощью отравлять краткие годы жизни потомков Адама. Вспомните, каких только болезней он для них не напридумывал! Им несть числа; ни один учебник не в состоянии дать их полный список. И каждая из этих болезней — ловушка, подстерегающая невинную жертву.

Человек — это механизм. Самодействующий механизм. Он состоит из тысяч сложных и хрупких деталей, которые безупречно и в полной гармонии друг с другом выполняют свои функции согласно особым законам, над которыми сам человек не имеет ни власти, ни контроля. И для каждой из тысяч этих деталей Творец придумал врага, возложив на него обязанность мешать ей, портить ее, не давать ей работать, ломать ее, томить болью, всячески вредить ей и, наконец, полностью уничтожать. И Творец не пропустил ни одной из них.

С колыбели и до могилы эти враги неутомимо преследуют человека; они не знают отдыха ни днем ни ночью. Это целая армия; регулярная армия; осаждающая армия; штурмующая армия; армия бдительная, воинственная, беспощадная; армия, сражающаяся непрерывно, не соглашающаяся ни на какое перемирие.

Она передвигается взводами, ротами, батальонами, полками, бригадами, дивизиями, корпусами, а иногда она обрушивает на человечество все свои силы разом. Это «Великая Армия» Творца, и он — ее главнокомандующий. Над ней, бросая вызов солнцу, колышутся ее развернутые знамена с девизами «Катастрофа», «Болезни» и так далее.

Болезни! Вот ее главный боевой отряд, никогда не отступающий, сметающий все на своем пути. Он нападает на младенца, едва тот успевает родиться; и один недуг не успевает сменяться другим: коклюш, корь, свинка, расстройство желудка, прорезывание зубов, скарлатина и другие специально детские заболевания. Отряд этот преследует ребенка, пока тот не становится юношей, для которого припасены уже новые заболевания. Он преследует юношу, пока тот не достигает зрелости, а потом старости, и наконец сводит его в могилу.

Теперь, располагая всеми этими фактами, попробуй-

те догадаться, каким ласковым именем человек чаще всего называет столь свирепого главнокомандующего? Я помогу вам, но только, чур, не смеяться: «Отец наш небесный»!

Пути человеческой логики чрезвычайно занимательны. Христианин исходит из следующей ясной, вполне определенной и недвусмысленной посылки: *бог всеведущ и всемогущ*.

Если так, то он знает заранее все, что должно произойти, и все случается лишь с его соизволения и по его воле.

Это достаточно ясно, не так ли? И такая предпосылка возлагает на Творца ответственность за все, что происходит в мире, не правда ли?

Христианин признает это фразой, данной курсивом. Признает с большим чувством, с восторгом.

Затем, возложив таким образом на Творца ответственность за все перечисленные выше страдания, болезни и несчастья, которые он мог бы предотвратить, умница-христианин ничтоже сумняшеся называет его «отцом нашим»!

Дело обстоит именно так, как я вам рассказываю. Человек наделяет Творца всеми свойствами, из которых складывается дьявол, а затем приходит к заключению, что дьявол и отец — это одно и то же! Но при всем том он будет отрицать, что злобный сумасшедший и директор воскресной школы — по сути своей одно и то же. Ну, что вы скажете о человеческом рассудке? То есть в том случае, если таковой, по-вашему, вообще существует.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

Ной и его семейство спаслись — хотя насколько это было для них хорошо, вопрос другой. Я сделал эту оговорку потому, что не нашлось еще умного шестидесятилетнего человека, который согласился бы заново прожить свою жизнь. Или чью-нибудь чужую. Ной и его семейство спаслись, это правда, но чувствовали они себя прескверно, так как были набиты микробами. Набиты по самые брови; раздобрили от них; раздулись от них, как воздушные шары. Это было крайне неприятное состояние, но что поделаешь — ведь необходимо было спасти достаточное количество микробов, чтобы обеспечить все будущее человечество смертоносными болезнями, а на борту ковчега находилось только восемь лиц, которые могли служить им пристанищем. Микробы были

наиболее ценным грузом ковчега, о котором Творец больше всего тревожился и который он просто обожал. Он требовал, чтобы их кормили как можно питательнее и устроили со всеми удобствами. Микробы тифа, микробы холеры, микробы бешенства, микробы столбняка, микробы чохотки, микробы черной чумы и еще сотни подобных же аристократов, возлюбленных творений бога, золотых глашатаев его любви к человеку, благословенных даров нежного отца своим детям,— всех их надо было окружить роскошью и потчевать изысканнейшими яствами. Их поселили в наимудобнейших покоях, какие только удалось отыскать во внутренностях Ною и его семейства: в легких, в сердце, в мозгу, в почках, в крови, в кишках. Самым фешенебельным курортом считались кишки. Особенно толстые. Там микробы собирались бесчисленными мириадами и трудились, и кормились, и резвились, и пели хвалебные и благодарственные псалмы; в тихую ночь можно было расслышать легкие отголоски их песнопений. Толстые кишки, попросту говоря, были их раем. Они битком их набили, так что кишки эти стали твердыми, как колена газовой трубы. Микробы этим гордились. В главном своем псалме они упоминают об этом с большим удовлетворением.

Гряди, запор, на радость нам!
Блаженству нет конца!
Пусть человечьи все кишки
Восславят днесь Творца!

Неудобства ковчега были многочисленны и разнообразны. Ною и его семейным приходилось жить в самой гуще всяческого зверья, дышать его воňью, глхнуть от круглосуточного рева и визга, не говоря уж о добавочных неудобствах для дам, которые не могли головы повернуть, чтобы не увидеть, как тысячи разных тварей плодятся и размножаются. А мухи! Они тучами носились повсюду и не давали покоя Ною и его семейным весь день напролет. Утром они просыпались из всех животных самыми первыми, а ночью отходили на покой последними. Но их нельзя было убивать, их нельзя было калечить, ибо они были священны, их происхождение было божественным и они были первыми любимцами Творца, сокровищем его сердца.

Со временем остальным тварям предстояло высаживаться из ковчега то тут, то там — рассеяться по лику земли: тигров ждала Индия, львов и слонов — пустующие пустыни и глухие чащи джунглей; птиц — безгра-

ничные воздушные просторы; насекомых — та или иная область в зависимости от их вкусов и потребностей. Но муха? У нее нет национальности; все страны мира ей — дом родной, весь земной шар — ее владения, все живые твари — ее добыча, и для всех них она — бич и палач.

А для человека она — божественный посол, полномочный министр, личный представитель Творца. Она жужжит над колыбелью младенца, ползает по его спитым векам, жалит его, досаждает ему, лишает его сна, а его усталую мать — последних сил, которые та тратит на долгие бдения, тщетно стараясь защитить свое дитя от преследований этой казни египетской¹. Она изводит больного дома, в лазарете, даже на смертном одре. Она не дает человеку покоя во время еды, предварительно попасаясь на людях, страдающих какой-нибудь отвратительной или неизлечимой болезнью. Она бродит по их язвам, набирая на лапки миллионы смертоносных микробов, а потом летит к столу здорового человека и сбрасывает их на масло и испражняется тифозными микробами на его хлеб. Домашняя муха сеет больше страданий и уничтожает больше человеческих жизней, чем все остальные бесчисленные воинства божьих вестников печали и смерти, вместе взятые.

Сим был набит анкилостомами². Просто удивительно, с какой глубиной и тщанием изучил Творец великое искусство делать человека несчастным. Я уже упоминал, что он изобрел специального врага для каждой детали человеческого организма, не пропустив ни единой, и я сказал чистую правду. Многим беднякам приходится ходить босиком, потому что у них нет денег на башмаки. Творец и тут ухватился за удобный случай. Замечу, кстати, что он никогда не оставляет бедняков своими заботами. Девять десятых изобретенных им болезней предназначались для бедняков — и все они доходят по адресу. Людям богатым достаются только жалкие крохи. Не думайте, что я говорю наобум, — это не так: подавляющее большинство болезнетворных изобретений Творца придумано специально для того, чтобы портить жизнь беднякам. Вы догадаетесь об этом хотя бы по тому, что, проповедуя в церквях, священники чаще все-

¹ *Казни египетские.* — Библейский бог Яхве через Моисея посылает на египтян страшные казни (Исход, VII—XII). — *Прим. сост.*

² *Анкилостомы* (анкилостомиды) — круглые черви, кишечные паразиты, один из видов их проникает в организм человека через кожу — при хождении босиком, отдыхе на земле. Открыты в XIX в. — *Прим. сост.*

го величают Творца Другом бедняка. А ведь в хвалах, которые возносятся Творцу в церквах, ни при каких обстоятельствах не бывает и слова правды. Самый неумолимый и неутомимый враг бедняков — это их Отец Небесный. Единственный подлинный друг бедняков — это их собрат-человек. Он сочувствует им, он жалеет их и доказывает это своими поступками. Он всячески старается облегчить их страдания, и каждый раз за это хвалят Отца Небесного.

Точно так же обстоит дело и с болезнями. Если наука уничтожает болезнь, которая верно служила богу, подвиг этот приписывается тому же самому богу и со всех церковных кафедр раздается рекламный хор восторженных похвал, и верующих призывают лишний раз убедиться в том, как он добр! О да, это сделал Он. Может быть, помедлив лет этак с тысячу, прежде чем это сделать. Пустяки — церковь заверяет, что он все время об этом подумывал. Когда измученный народ восстает, сметает вековую тиранию и освобождает свою страну, церковь немедленно и с восторгом объявляет это божьей милостью и приглашает всех пасть на колени и вознести за нее богу благодарственную молитву. «Пусть тираны знают, что Недреманное Око следит за ними, и пусть они помнят, что Господь наш Бог не вечно будет терпеливым, но в назначенный день обрушит на них бурю своего гнева».

Церковь только забывает упомянуть, что медлительнее его нет никого во всей вселенной; что он мог бы спокойно сомкнуть свое Недреманное Око, и никто бы не заметил разницы, раз этому Оку требуется столетие, чтобы увидеть вещи, которые обыкновенный глаз разглядел бы в течение недели; что во всей истории не найти примера, чтобы он *первым* додумался до благородного дела — каждый раз он чуточку опаздывает и задумывает подвиг, только когда кто-то другой уже успел и задумать его и совершить. Но вот тут-то непременно является он и присваивает дивиденды.

Ну так вот: шесть тысяч лет назад Сим был набит анкилостомами. Микроскопическими по размерам, невидимыми невооруженным глазом. Все наиболее смертоносные божьи возбудители болезней невидимы. Это был ловкий ход. Благодаря ему человек в течение тысячелетий не мог добраться до корней своих болезней и поэтому был не в силах с ними справиться. Лишь совсем недавно науке удалось разоблачить некоторые из этих подлых хитростей.

Одним из последних благословенных триумфов науки является открытие и опознание тайного убийцы, который зовется анкилостомой. Его излюбленную добычу составляют босоногие бедняки. Он прячется в теплом песке и прогрызает себе путь в их незащищенные ноги.

Анкилостому открыл года два-три назад врач, который посвятил много лет терпеливому изучению ее жертв. Болезнь, вызываемая анкилостомой, делала свое гнусное дело по всей земле с тех самых пор, как Сим высадился на Арарате, но никто даже не подозревал, что это болезнь. Больных ею считали просто лентяями, и поэтому их презирали, над ними смеялись, когда их следовало жалеть. Анкилостома — особенно подлое и бесчестное изобретение, которое беспрепятственно чинило зло в течение долгих веков; но теперь этот врач и его помощники покончат с ним навсегда.

Но, конечно, за ними стоит бог. Вот уже шесть тысяч лет, как он собирался уничтожить анкилостому, только никак не мог окончательно решиться. Идея принадлежит ему. Он чуть было не осуществил ее раньше, чем это удалось доктору Чарльзу Уорделлу Стайлсу¹. Но во всяком случае присвоить себе честь этого открытия он успел. В таких случаях он никогда не опаздывает.

Обойдется это в миллион долларов. Возможно, бог как раз собирался пожертвовать эту сумму, но, как обычно, вперед забежал человек. Мистер Рокфеллер. Он поставляет необходимый миллион, однако честь достанется другому — тоже как обычно. Сегодняшние газеты кое-что рассказывают нам о деятельности анкилостомы:

«Эти паразиты часто настолько понижают жизнедеятельность организма больных, что даже задерживают их физическое и умственное развитие, делают их более восприимчивыми к другим болезням, уменьшают их трудоспособность, а в областях, где болезнь особенно распространена, заметно повышают смертность от туберкулеза, пневмонии, тифа и малярии. Доказано, что пониженная жизнедеятельность у множества людей, ранее объяснявшаяся малярией и климатом и серьезно влиявшая на экономическое развитие соответствующего района, на самом деле вызывалась этим паразитом. Эта болезнь отнюдь не свойственна одному только классу; она взимает дань страданий и смерти и с людей богатых и занимающихся умственным трудом точно так же, как и с их менее счастливых собратьев. По самому скромному подсчету, около двух миллионов наших сограждан поражены этим паразитом. Чаще всего эта болезнь встречается у детей школьного возраста и протекает у них наиболее серьезно.

¹ Стайлс Чарльз Уорделл — американский медик, в 1902 г. описал новый вид анкилостом. — *Прим. сост.*

Хотя болезнь эта широко распространена и опасна, мы можем с надеждой смотреть в будущее. Болезнь легко распознается, без труда вылечивается и с помощью самых простых санитарных мер эффективно предупреждается [с божьей помощью]».

Как видите, Недреманное Око устремлено на детей бедняков. Во все века это на их беду так и было. Ни им, ни «божьим нищим» — пользуясь ходовым саркастическим выражением, — ни разу не удалось ускользнуть от бдительного внимания Ока.

Да, смиренные, невежественные бедняки — вот кому полной мерой достаются эти блага. Возьмите для примера африканскую «сонную болезнь». Этой жесточайшей пытке подвергаются невежественные и безобидные чернокожие, которых бог поселил в глухих дебрях, чтобы затем обратить на них свое отеческое Око, никогда не дремлющее, если представляется случай сделать кому-нибудь пакость. Он позаботился об этих людях еще до Потопа. Исполнительницей своей воли он избрал муху, родственницу мухи цеце, которая властвует над бассейном реки Замбези, неся смерть рогатому скоту и лошадям и делая таким образом эту долину непригодной для людей. А страшная родственница мухи цеце разносит микробов, вызывающих сонную болезнь. Хам был набит этими микробами и, высадившись на сушу, рассеял их по всей Африке, после чего страшный мор свирепствовал шесть тысяч лет, пока наконец наука не проникла в тайну и не обнаружила возбудителя болезни. Благочестивые нации теперь благодарят бога и прославляют его за то, что он пришел на помощь своим неграм. Священники объясняют, что восхвалять надлежит именно его, ибо именно он просветил ученых. Поистине он — довольно странное существо. Он задумывает гнуснейшее преступление, творит его без передышки шесть тысяч лет, а потом требует хвалы за то, что предоставил кому-то другому положить конец злодеянию. Его называют терпеливым, и он действительно многотерпелив, иначе он давным-давно сокрушил бы все церкви за те более чем двусмысленные хвалы, которые там ему возносят.

Вот что говорит наука о сонной болезни, иначе называемой негритянской летаргией:

«Она характеризуется перемежающимися приступами сонливости. Болезнь длится от четырех месяцев до четырех лет и всегда кончается смертью. Сперва больной становится вялым, слабым, анемичным и тупым. Веки его припухают, на коже проступает сыпь. Он засыпает во время разговора, еды и работы. По мере развития

болезни он перестает есть, и постепенно наступает полное истощение. Затем появляются пролежни, за которыми следуют судороги и смерть. Некоторые больные теряют рассудок».

И это именно тот, кого церковь и люди называют «нашим Отцом Небесным», изобрел гнусную муху и послал ее причинять столь долгие страдания, сеять печаль и горе, губить тело и дух бедных дикарей, которые не сделали Всепреступнейшему никакого зла. Нет в мире человека, который не жалел бы бедного черного страдальца, и нет в мире человека, который не был бы рад его излечить. Чтобы отыскать того, кто его не жалеет, вам следует отправиться на небеса; и туда же следует вам отправиться, если вы хотите найти того, кто мог бы исцелить беднягу, но вопреки всем мольбам не желает этого сделать. Есть только один отец, настолько жестокий, чтобы обречь свое дитя на подобную болезнь,— только один. Второго такого не создаст и вся вечность. Вам нравится жгучий гнев, излитый в стихах? Вот такой вопль, вырвавшийся из сердца раба:

Так с человеком человек
безудержно жесток!

Я расскажу вам очень милую и, пожалуй, даже трогательную историю. На некоего человека снизошла благодать, и он спросил священника, как ему надлежит жить, чтобы не посрамить своей веры. Священник сказал: «Подражай нашему Отцу Небесному, учись быть таким, как он». Этот человек досконально изучил Библию, а затем, помолившись, чтобы бог наставил его, принялся ему подражать. Он устроил так, чтобы его жена упала с лестницы, сломала спину и до конца жизни не могла больше пошевелить ни рукой, ни ногой; он предал своего брата в руки афериста, который ограбил его и довел до богадельни; одного своего сына он заразил анкилостомами, другого — сонной болезнью, а третьего — гонореей; одну дочку он облагодетельствовал скарлатиной, и она с малых лет осталась слепоглухонемой; а потом помог какому-то проходимцу соблазнить вторую свою дочь и выгнал ее из дома, так что она умерла в борделе, проклиная его. Затем он поведал обо всем этом священнику, который сказал, что *так* Отцу Небесному не подражают. Когда же благочестивый труженик спросил, в чем его ошибка, священник переменял тему и поинтересовался, какова погода на их улице.

Человек, несомненно, самый интересный дурак, какого только можно вообразить. И самый эксцентричный. Все его писанные законы, помещены они в Библии или нет, имеют только одну цель, одно назначение: *ограничить или отменить закон божий*.

Из любого самого очевидного факта он непременно сделает неправильный вывод. И это от него не зависит — так уж устроена путаница, которую он величает своим разумом. Посмотрите, какие предпосылки он принимает и какие неожиданные выводы из них делает.

Например, он признает, что человека создал бог. Создал без согласия человека и не советуясь с ним.

Отсюда как будто неопровержимо следует, что бог — и только бог — несет ответственность за поступки человека. Но человек это отрицает.

Он признает, что бог создал ангелов совершенными, без единого изъяна, недоступными для страдания и смерти, признает, что бог, если бы захотел, мог бы и его, человека, создать таким же, но отрицает, что бог был морально обязан сделать это.

Он признает, что никакой отец не имеет нравственного права сознательно обрекать своего ребенка на бессмысленные страдания, болезни и смерть, но считает, что бог имеет полное право расправляться со своими детьми, как ему заблагорассудится.

Библейские и человеческие законы запрещают убийство, прелюбодеяние, распутство, ложь, предательство, грабеж, тиранию и другие преступления, но считается, что бог стоит выше этих законов и может нарушать их, когда ему заблагорассудится.

Он признает, что бог наделяет каждого человека темпераментом и характером; он признает, что у человека нет способа изменить свою натуру и он принужден всегда подчиняться ее велениям. Но при этом считается справедливым и разумным наказывать за преступления человека, наделенного неборимыми страстями, а человека, лишенного подобных страстей, награждать за то, что он этих преступлений не совершает.

Давайте разберемся поподробнее в этих нелепостях. *Темперамент (естественные склонности)*.

Возьмем два противоположных темперамента — козла и черепахи.

Оба эти существа не создавали своего темперамента, а родились с ним, точно так же, как человек; и как человек, они не способны его изменить.

Темперамент — это закон бога, начертанный в сердце каждого живого создания рукой бога же, и веления его *должны* выполняться и будут выполняться вопреки всем запретам и ограничениям, от кого бы они ни исходили.

Отлично. Похоть — такова преобладающая черта козлиного темперамента, закон бога, начертанный в сердце козла, который должен выполнять его веления и выполняет их весь брачный сезон, не останавливаясь ни попить, ни поест. Если бы Библия приказала козлу: «Не распутничай, не прелюбодействуй!», то даже человек — пустоголовый человек — признал бы всю нелепость подобного запрета и согласился бы, что козел не подлежит наказанию, поскольку он лишь выполняет закон своего Творца. Но тот же человек считает правильным и справедливым, что подобный запрет налагается на людей. На всех людей. На всех равно и без исключения.

Глупость этого очевидна, так как по темпераменту — *истинному* закону бога — многие мужчины подобны козлам и блудодействуют при всяком удобном случае, хотя они того или нет; и в то же время существует немало мужчин, чей темперамент позволяет им сохранить чистоту и упустить такой удобный случай, если женщина не слишком привлекательна. Но Библия запрещает прелюбодеяние вообще, не считаясь с тем, в силах человек воздержаться от него или нет. Она не делает различия между козлом и черепахой — между пылким козлом, страстным козлом, который зачахнет и умрет, если не будет каждый день совершать парочку прелюбодеяний, и черепахой, холодным, невозмутимым пуританином, который позволяет себе это удовольствие только один раз в два года, а потом в самый его разгар засыпает и пробуждается не раньше чем через два месяца. Никакая представительница слабого козьего пола не может считать себя в безопасности от преступного покушения даже в День Субботний, если где-нибудь на расстоянии трех миль с подветренной стороны от нее находится галантный козел и их ничто не разделяет, кроме забора высотой в четырнадцать футов. В то же время ни черепаха-кавалер, ни черепаха-дама никогда не испытывают настолько сильной потребности в плотских радостях, чтобы ради них нарушить День Субботний. А вот по своеобразной человеческой логике козел заслуживает наказания, а черепаха — похвалы...

«Не прелюбодействуй» — эта заповедь не делает никаких различий между лицами, список которых приводится ниже. Ее обязаны строжайшим образом соблюдать:

Новорожденные.

Младенцы.

Дети школьного возраста.

Юноши и девушки.

Молодые люди.

Люди постарше.

Мужчины и женщины сорока лет.

Пятидесяти.

Шестидесяти.

Семидесяти.

Восьмидесяти.

Девяноста.

Ста и больше.

Бремя этой заповеди распределяется далеко не справедливо, да иначе и быть не может.

Ее нетрудно соблюдать трем первым — детским — категориям.

Но трудно — еще и еще труднее — следующим трем, мучительно трудно.

Для следующих трех соблюдение ее благотельно облегчается все больше и больше.

Теперь она уже причинила все зло, на которое была способна, и ее вообще следовало бы отбросить. Но не тут-то было: с идиотским упрямством она налагает свой немилосердный запрет и на оставшиеся четыре категории. Эти дряхлые развалины при всем желании не могли бы ее нарушить. И заметьте — их хвалят за то, что они праведно воздерживаются от прелюбодеяния! И совершенно напрасно, — ведь сама Библия свидетельствует, что стоило бы самому дряхлому из описанных ею старцев на часок обрести былые силы, как он послал бы эту заповедь куда-нибудь подальше и погубил бы первую встречную женщину, даже если бы не был ей представлен.

Дело обстоит именно так, как я сказал: все установления Библии и любые своды законов являются прямой попыткой отменить закон бога — то есть неизменный и нерушимый закон природы. Бог этих людей миллионами своих деяний показал им, что не чтит библейские установления. Он сам нарушает все заповеди — и касающуюся прелюбодеяния и прочие.

Закон бога, ясно выраженный в строении женского

организма, гласит следующее: Да не будет наложено никаких ограничений на твои сношения с другим полом в любую пору твоей жизни.

Закон бога, ясно выраженный в строении мужского организма, гласит: Всю свою жизнь в половом отношении будешь ты терпеть всяческие ограничения и запреты.

Мужчина способен к соитию лишь кратковременно, да и тогда весьма умеренно. Он способен к нему лет с пятнадцати-шестнадцати и далее тридцать пять лет. После пятидесяти дело у него идет все хуже, все с большими промежутками, и удовлетворение, которое получают обе стороны, весьма сомнительно, в то время как его прабабушка словно бы еще только начинает. Ее механизм в полном порядке. Ее подсвечник по-прежнему крепок, тогда как его свеча все больше размягчается и оплывает под действием уходящих лет, пока наконец уже не может стоять, и печально обретает вечный покой в надежде на блаженное воскресение, которое так никогда и не наступает.

Но организм женщины устроен так, что ее механизм выходит из строя на три дня каждый месяц и на некоторый срок в период беременности. Это дни, когда женщина чувствует себя плохо, а иногда испытывает даже сильные страдания. В качестве справедливой и законной компенсации она получает высокую привилегию неограниченного прелюбодеяния на все остальные дни своей жизни.

Таков закон бога, проявляющийся в строении ее организма. Но что дает ей эта высокая привилегия? Живет ли она, свободно ею пользуясь? Нет. Нигде в мире ей это не разрешается. Ее всюду насильно лишают этой привилегии. Кто же повинен в этом? Мужчина. Стату-



ты, придуманные мужчиной, — если Библия и вправду Слово Божье.

Вот вам блестящий образчик человеческой «логики», как они выражаются, Мужчина замечает определенные факты. Например, что не бывало дня в его жизни, когда бы он мог удовлетворить одну женщину, и так же, что не бывало в жизни женщины дня, когда бы она не могла переутомить, расстроить и вывести из строя десять мужских механизмов, которые были бы уложены с ней в постель¹. Он сопоставляет эти удивительно ясные и говорящие за себя факты и делает из них следующий поразительный вывод: Творец порешил ограничить женщину одним мужчиной.

Затем он на этом более чем странном выводе строит вечный закон.

И поступает так, не посоветовавшись с женщиной, хотя она в тысячу раз больше, чем он, заинтересована в правильном решении этого вопроса. Его способность к размножению ограничена в среднем сотней упражнений в год на протяжении пятидесяти лет; она же способна к трем тысячам упражнений в год в течение любого срока, какой ей дано прожить. Таким образом, его пожизненная рента равняется пяти тысячам приятных закусок, ее же — ста пятидесяти тысячам; и все же, вместо того чтобы честно и благородно предоставить установление закона лицу, для которого он имеет столь важное значение, этот гнуснейший боров, ничего от него не теряющий, сам его составляет!

Из прежних моих поучений вы могли вывести, что мужчина — дурак; теперь вам известно, что женщина — дьявольская дура.

Вот если бы вы, или еще кто-нибудь по-настоящему умный, занялись бы установлением честных и справедливых взаимоотношений между мужчиной и женщиной, вы дали бы одному мужчине двухпроцентную долю в одной женщине, а женщину снабдили бы гаремом. Не правда ли? Само собой разумеется. Так вот, представьте себе, что этот скот с оплившей свечкой устроил все

¹ На Гавайских островах в 1866 году скончалась пышнотелая принцесса королевской крови. Почетное место в ее похоронном кортеже занимали 36 великолепно сложенных молодых туземцев. В хвалебной песне, прославлявшей различные добродетели, заслуги и таланты принцессы, эти 36 жеребцов именовались ее «гаремом» и говорились, что она гордилась тем, что не давала никому из них бездельничать и не раз случалось, что многие из них могли требовать сверхурочных. — *Прим. М. Т.*

как раз наоборот. Соломон¹, один из любимцев бога, располагал совокупительным кабинетом, составленным из семисот жен и трехсот наложниц. Даже под угрозой смерти он не сумел бы удовлетворить как следует хотя бы двух из этих юных созданий, хотя бы ему в этом помогало еще пятнадцать экспертов. Следовательно, почти целой тысяче приходилось голодать из года в год. Представьте себе, каким жестокосердным должен быть человек, способный ежедневно созерцать подобные страдания и ничего не делать, чтобы смягчить их. А он с бессмысленной жестокостью еще усугубил эти муки, поставив к этим женщинам дюжих стражей, так что у бедняжек только слюнки текли при виде столь великолепно сложенных молодцов, которым нечем было утешить подсвечник ввиду того, что они были евнухами. Евнух — это мужчина, чья свеча погашена. Искусственным способом².

В дальнейшем я буду время от времени разбирать отдельные библейские статуты и показывать вам, что всякий раз они прямо нарушают какой-нибудь закон бога, после чего попадают в кодексы различных стран и закрепляют это нарушение. Но всему свое время, торопиться с этим незначит.

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

Ковчег, продолжая свое плавание, носился по водам без компаса и без руля — игрушка ветров и бурных течений. И все время — дождь, дождь, дождь. Он лил, хлестал, затоплял. Никогда еще не бывало подобного дождя. Прежде иной раз выпадало до шестнадцати дюймов осадков в день. Но это было нечто неслыханное: сто двадцать дюймов в день — целых десять футов! И вот этот невероятный дождь шел сорок дней и сорок ночей, так что затопило все холмы высотой до четырехсот футов. Но тут небеса и даже ангелы совсем иссякли, и влаги больше взять было неоткуда.

Это был не слишком-то удачный Вселенский потоп, но, впрочем, он ничем не уступал другим многочислен-

¹ Соломон — по Библии, третий и величайший царь израильского народа, воплощение мудрости, ему приписывались некоторые ветхозаветные книги: Притчи, Песнь Песней, Экклезиаст. — *Прим. сост.*

² Я собираюсь опубликовать эти письма тут на Земле, прежде чем я вернусь к вам. В двух изданиях. Одно, полное, — для читателей Библии и их детей; другое, цензурированное, — для людей с хорошим вкусом. — *Прим. М. Т.*

ным Вселенским потопам, которые засвидетельствованы в библиях всех народов.

В конце концов ковчег взмыл высоко в воздух и причалил к вершине горы Арарат — в семнадцати тысячах футов над уровнем долины. Его живой груз выбрался на волю и спустился с горы.

Ной насадил виноградник, и выпил вина, и совсем осовел.

Он был избран из всего земного населения потому, что лучше никого не нашлось. Ему предстояло положить начало новому человечеству на новой основе. Вот это и была новая основа. Предзнаменование оказалось скверным. Продолжать опыт значило подвергаться большому и совершенно напрасному риску. Настала минута поступить с этой публикой так же мудро, как и с их предшественниками, — утопить их. Каждый, кроме Творца, понял бы это. Но он не понял. То есть, может быть, не понял.

Утверждается, будто с начала времен он предвидел все, чему суждено было произойти в мире. Если это правда, значит, он предвидел, что Адам и Ева съедят яблоко; что их потомство будет из рук вон скверным и его придется утопить; что потомство Ноя в свою очередь окажется из рук вон скверным и что со временем ему самому придется покинуть свой престол на небесах, спуститься на землю и подвергнуться распятию, чтобы еще раз спасти это надоедливое человечество. Спасти целиком? Нет. Часть его? Да. Какую же часть? Сотни раз миллиард людей, составляющий одно поколение, будет, уступая место новому поколению, отправляться на вечную гибель — весь миллиард, за исключением примерно десяти тысяч избранных. Эти десять тысяч придется подбирать из ничтожной кучки христиан, но и в этой кучке шанс на спасение будет лишь у каждого сотого: только у тех католиков, которым повезет заручиться в смертный час священником, чтобы он прочистил наждачком их душу, да у двух-трех пресвитериан. Все остальные спасению не подлежат. Все остальные прокляты. Оптом по миллиону.

Неужели вы согласитесь, что он предвидел все это? Так утверждает церковь. А ведь тем самым она утверждает, что их бог в интеллектуальном отношении — Первый Нищий во вселенной, а в нравственном отношении стоит где-то на уровне царя Давида¹.

¹ Давид — по Библии, второй царь израильский, преемник Саула, которого восхитил своей игрой на арфе. — *Прим. сост.*

И Ветхий и Новый заветы очень интересны — каждый по-своему. Из Ветхого мы узнаем, каким был бог этих людей до того, как он обрел истинную веру, а Новый показывает, каким он стал после этого. Ветхий завет рисует главным образом кровопролития и сладострастные сцены. Новый посвящен спасению душ. Спасению с помощью огня.

Когда бог в первый раз сошел на землю, он принес жизнь и смерть; когда он сошел вторично, он принес ад.

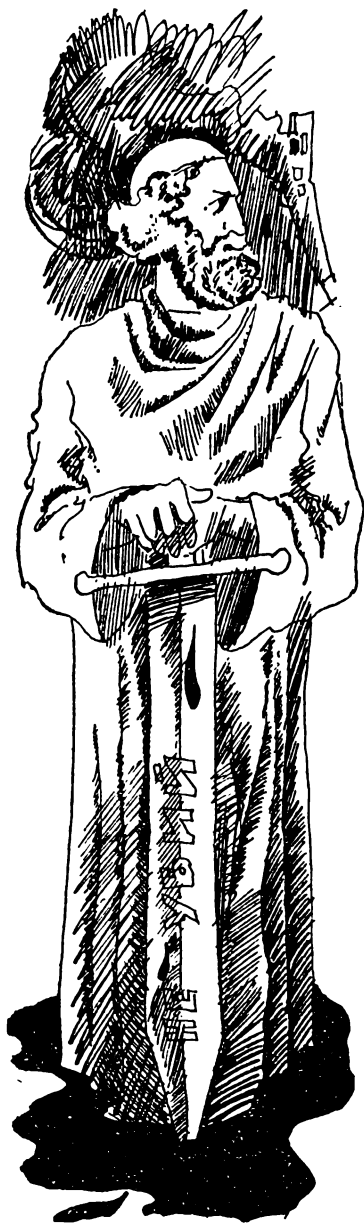
Жизнь была не слишком ценным даром — в отличие от смерти. Жизнь была бредовым сновидением, слагавшимся из радостей, испорченных горем, из удовольствий, отравленных болью, — кошмаром, где краткие и судорожные восторги, экстазы, блаженства, мимолетные минуты счастья перемежались бесконечными бедами, печалью, опасностями, ужасами, разочарованиями, горькими неудачами, всяческими унижениями и отчаянием; жизнь была страшнейшим проклятием, какое только могла придумать божественная изобретательность. Но смерть была ласковой, смерть была кроткой, смерть была доброй, смерть исцеляла израненный дух и разбитое сердце, дарила им покой и забвение, смерть была лучшим другом человека — когда жизнь становилась невыносимой, приходила смерть и освобождала его.

Однако со временем бог понял, что смерть — это ошибка; ошибка потому, что в смерти чего-то не хватало, не хватало потому, что, хотя она была великолепным орудием, чтобы причинять горе живым, сам умерший находил в могиле надежный приют, где его нельзя уже было больше терзать. Это бога не устраивало. Следовало найти способ мучить мертвых и за могилой.

Бог безуспешно ломал над этим голову в течение четырех тысяч лет, но, как только он сошел на землю и стал христианином, его озарило и он понял, что надо сделать. Он изобрел ад¹ и широко оповестил об этом мир.

Тут мы сталкиваемся с одной очень любопытной деталью. Принято считать, что, пока бог пребывал на небесах, он был суров, упрям, мстителен, завистлив и жесток; но стоило ему сойти на землю и принять имя

¹ Он изобрел ад. — И действительно, если в канонических текстах Ветхого завета идея наказания за гробом отсутствует, то в Новом завете предупреждения об угрозе Страшного суда и ада занимают важное место. — *Прим. сост.*



Иисуса Христа, как он стал совсем другим, то есть кротким, добрым, милосердным, всепрощающим — суровость и злоба исчезли и их заменила глубокая, исполненная жалости любовь к его бедным земным детям. А ведь именно как Иисус Христос он изобрел ад и объявил о нем миру.

Другими словами, став смиренным и кротким Спасителем, он оказался в тысячу миллиардов раз более жестоким, чем во времена Ветхого завета, — о, несравненно более свирепым, какими бы ужасными ни казались нам его прежние поступки.

Смиренный и кроткий? Со временем мы исследуем эти ходовые эпитеты при свете изобретенного им ада.

Однако, хотя пальма первенства в злобности должна быть присуждена Иисусу, изобретателю ада, он обладал поистине божественной жестокостью и бессердечием еще задолго до того, как стал христианином. Насколько можно судить, ему ни разу даже в голову не пришло, что в дурных поступках человека повинен он, бог, поскольку человек поступает лишь в согласии с натурой, которую он же ему навязал. Нет, он наказывал человека вместо того, чтобы наказать самого себя. И наказание, как правило, бывало гораздо строже, чем того заслуживал

проступок. И очень часто наказывался не преступник, а кто-нибудь другой — старейшина, глава общины, например.

«И жил Израиль в Ситтине, и начал народ блудодействовать с дочерьми Моава...

И сказал Господь Моисею: возьми *всех начальников народа* и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева господня».

Справедливо ли это, как по-вашему? Насколько можно судить, «начальники народа» в блудодействе не участвовали, а повесили все-таки их, а не «народ».

Если это было честно и справедливо тогда, это должно быть честно и справедливо и теперь, ибо церковь учит, что правосудие божие вечно и неизменно и что бог — источник всякой морали и мораль его вечна и неизменна. Отлично. Следовательно, мы должны верить, что, если народ Нью-Йорка начнет блудодействовать с дочерьми Нью-Джерси, будет только честно и справедливо воздвигнуть перед ратушей виселицу и вздернуть на ней мэра, шерифа, судей и архиепископа, хотя бы они даже не попробовали этого удовольствия. Мне лично это справедливым не кажется.

Однако, можете не сомневаться, ничего подобного не произошло бы. Люди этого не допустили бы. Они все-таки лучше своей Библии. Ничего бы не случилось — просто, если бы скандал не удалось замять, кто-нибудь подал бы в суд, требуя возмещения убытков; и даже на Юге они не тронули бы тех, кто не блудодействовал, там взяли бы веревку и пошли бы искать соучастников, а не найдя их, линчевали бы какого-нибудь негра.

Что бы там ни твердили с церковных кафедр, со времен Всемогушего положение заметно улучшилось.

Хотите поближе познакомиться с нравственными принципами этого бога, с его характером и поведением? И помните, что в воскресных школах детишек всячески уговаривают любить Всемогушего, почитать его, восхвалять, видеть в нем образец для подражания и по мере сил следовать его примеру. Ну, так читайте:

«1. И сказал Господь Моисею, говоря:

2. Отомсти Мадиянитянам¹ за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему...

¹ Мадиянитяне — арабское кочевое племя. — Прим. сост.

7. И пошли войною на Маднама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужеского пола;

8. И вместе с убитыми их убили царей Маднамских: Евия, Рекема, Цура, Хура и Реву, пять царей Маднамских, и Валаама, сына Веорова, убили мечом.

9. А жен Маднамских и детей их сыны Израилевы взяли в плен, и весь скот их, и все стада их, и все имущество их взяли в добычу.

10. И все города их во владениях их и все селения их сожгли огнем.

11. И взяли все захваченное и всю добычу, от человека до скота.

12. И доставили пленных и добычу и захваченное к Моисею и к Елеазару священнику и к обществу сынов Израилевых, к стану, на равнины Моавитские, что у Иордана, против Иерихона.

13. И вышли Моисей и Елеазар священник и все князья общества навстречу им из стана.

14. И прогневался Моисей на военачальников, тысяченачальников и стона начальников, пришедших с войны.

15. И сказал им Моисей: (для чего) вы оставили в живых всех женщин?

16. Вот они, по совету Валаамову, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение Фегору, за что и поражение было в обществе Господнем.

17. Итак убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте.

18. А всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя.

19. И пробудьте вне стана семь дней; всякий, убивший человека и прикоснувшийся к убитому, очиститесь в третий день и в седьмой день, вы и пленные ваши.

20. И все одежды, и все кожаные вещи, и все сделанное из козьей шерсти, и все деревянные сосуды очистите.

21. И сказал Елеазар священник воинам, ходившим на войну: вот постановление закона, который заповедал Господь Моисею...

25. И сказал Господь Моисею, говоря:

26. Счисти добычу плена, от человека до скота, ты и Елеазар священник и начальники племен общества.

27. И раздели добычу пополам между воевавшими, ходившими на войну, и между всем обществом.

28. И от воинов, ходивших на войну, возьми дань Господу, по одной душе из пятисот, из людей и из крупного скота, и из ослов и из мелкого скота...

31. И сделал Моисей и Елеазар священник, как повелел Господь Моисею.

32. И было добычи, оставшейся от захваченного, что захватили бывшие на войне: мелкого скота шестьсот семьдесят пять тысяч,

33. крупного скота семьдесят две тысячи,

34. ослов шестьдесят одна тысяча,

35. людей, женщин, которые не знали мужеского ложа, всех душ тридцать две тысячи...

40. Людей шестнадцать тысяч, и дань из них Господу тридцать две души.

41. И отдал Моисей дань, возношение Господу, Елеазару священнику, как повелел Господь Моисею...

47. Из половины сынов Израилевых взял Моисей одну пятиде-

сятую часть из людей и из скота и отдал это левитам¹, исполняющим службу при скинии² Господней, как повелел Господь Моисею...

10. Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир...

13. И когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нем весь мужской пол острием меча.

14. Только жен и детей и скот и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычею врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой.

15. Так поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов народов сих.

16. А в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души...»

Библейский закон гласит: «Не убий!»

Закон бога, вложенный в сердце человека в миг его рождения, гласит: «Убей!»

Глава, которую я привел выше, показывает вам, что библейское установление вновь оказывается бессильным. Оно не может одолеть более могучий закон природы.

Эти люди верят, что сам бог сказал им: «Не убий!»

В таком случае ясно, что он сам был не в силах соблюдать свои же заповеди.

Он убил всех этих людей — весь мужской пол.

Они чем-то оскорбили бога. Мы сразу можем угадать, каков был этот проступок — то есть, что это был какой-нибудь пустяк, мелочь, на которую никто, кроме бога, и внимания не обратил бы. Более чем вероятно, что кто-нибудь из мадианитян последовал примеру некоего Онана, которому велено было: «войди к жене брата своего», — что он и исполнил, но вместо того чтобы доводить дело до конца, «изливал на землю». Господь умертвил его, так как Господь терпеть не мог плохих манер. Господь умертвил Онана, и по сей день христианский мир не может понять, почему он ограничился одним Онаном, а не перебил всех жителей на триста миль в окружности — ведь они были ни в чем не повинны, а именно безвинных-то он и имел обыкновение умерщвлять. Таково было его извечное представление о справедливости и честной игре. Если бы у него был девиз, девиз этот гласил бы: «Пусть ни один невинный не останется безнаказанным!» Вы, вероятно, еще не забыли, что он сделал во время потопа. Вспом-

¹ *Левиты* — в Библии наследственная каста еврейских священнослужителей, в обязанности которых входит уход за храмом. — *Прим. сост.*

² *Скиния* — в Библии походный храм евреев. — *Прим. сост.*

ните о бесчисленном множестве младенцев и маленьких ребятишек — они не причинили ему никакого зла, что он отлично знал, но их близкие его оскорбили, и этого было для него достаточно: он смотрел, как вода поднимается к их кричащим ротикам, он видел безумный ужас в их глазенках, он видел отчаянную муку и мольбу на лицах их матерей, которая тронула бы любое сердце, но только не его, поскольку он специально охотился на безвинных. И он хладнокровно утопил всех этих бедных крошек.

И вспомните также, что *все* миллиарды потомков Адама безвинны — никто из них не участвовал в его проступке, — но бог и сейчас считает их виноватыми. Единственный способ увильнуть от наказания — это признать себя соучастником Адама: менее вопиющей ложью тут не обойдешься.

Какой-то мадианитянин, вероятно, сделал то же, что и Онан, и тем навлек эту страшную беду на весь свой народ. А если божью шепетильность возмутила не подобная невоспитанность, то я уже не ошибусь, назвав другую причину его гнева: какой-нибудь мадианитянин помочился к стене. Я убежден в этом, потому что такую неприличность Источник хорошего тона никогда никому не спускал. Человек мог мочиться на дерево, он мог мочиться на свою мать, он мог обмочить собственные штаны — и все это сошло бы ему с рук, но мочиться к стене он не смел, это значило бы зайти слишком уж далеко. Откуда возникло божественное предубеждение против столь безобидного поступка, нигде не объясняется. Но во всяком случае мы знаем, что предубеждение это было очень велико — так велико, что бога могло удовлетворить лишь полное истребление всех, кто обитал в области, где стена была подобным образом осквернена.

Возьмите историю Иероваама¹. «Я истреблю у Иероваама каждого мочащегося к стене». Так и было сделано. И истреблен был не только помочившийся, но и все остальные.

То же случилось и с домом Ваасы²: уничтожены были все — родственники, друзья и прочие, так что не осталось ни одного «мочащегося к стене».

¹ *Иероваам* — библейский царь, после смерти Соломона стал инициатором разделения еврейской монархии на два царства — иудейское и израильское. — *Прим. сост.*

² *Вааса* — библейский царь, узурпатор. — *Прим. сост.*

История Иеровоама дает нам блистательный пример привычки бога не ограничиваться наказанием виновных — все невинные тоже пострадали. Злосчастный дом Иеровоамов был «выметен», «как выметают сор, дочиста». Это включает и женщин, и девушек, и маленьких девочек. И все они были ни в чем не виноваты, так как не могли мочиться к стене. Лица их пола вообще не способны это проделать. Такой выдающийся трюк по силам лишь представителям противоположного пола.

Станный предрассудок. И он все еще существует. Родители-протестанты все еще держат Библию на самом видном месте в доме, чтобы дети могли ее изучить, и маленькие мальчики и девочки, едва научившись читать, узнают, что им надлежит быть праведными, святыми и не мочиться к стене. Эти тексты они изучают с наибольшим прилежанием, если не считать тех, которые подстрекают к мастурбации. Такие места они старательно выискивают и тщательно штудируют в уединении. Нет протестантского ребенка, который не мастурбировал бы. Это искусство — один из первых даров, которым наделяет мальчика его религия. И из тех, которыми она наделяет девочку.

Библия имеет перед всеми остальными книгами, которые учат хорошему тону и манерам, то преимущество, что она попадает к ребенку первой. Он знакомится с ней в самом впечатлительном и восприимчивом возрасте — остальным же книгам по этикету приходится дожидаться своей очереди.

«Кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка, и когда будешь садиться *вне стана*, выкопай ею и опять зарой испражнение твое».

Это правило было создано в давние дни потому, что «Господь Бог твой ходит среди стана твоего».

Пожалуй, не стоит тратить время и труды на то, чтобы точно установить, почему были истреблены мадианитяне. Но одно можно сказать твердо: преступление их было невелико. В этом нас убеждают истории Адама, Потопа и осквернителей стены. Может быть, один из мадианитян оставил дома свою лопатку, от чего и произошла вся беда. Да впрочем, это и неважно. Главное — сама беда и та мораль, которую она предлагает в поучение современным христианам, дабы возвысить их души.

Бог начертал на каменных скрижалях: «Не убий!» И еще: «Не прелюбодействуй!»

Апостол Павел, повинувшись божественному внушению, рекомендовал вообще отказаться от всякой половой жизни. Со времен мадианитского инцидента божьи взгляды явно претерпели значительное изменение.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

Человеческая история всех веков обагрена кровью, запятнана ненавистью и осквернена зверствами, но в послепавловские времена в ней все же заметны кой-какие ограничения. Даже Церковь, которая, насколько известно, пролила со времени установления своего господства больше невинной крови, чем ее было пролито во всех политических войнах, вместе взятых, все же себя ограничивала. Немного, но ограничивала. Однако заметьте — когда Господь Бог, Повелитель небес и земли, обожаемый Отец человека, отправляется воевать, он не признает никаких ограничений. Он начисто лишен милосердия — он, которого называют Источником милосердия. Он убивает, убивает, убивает! Всех мужчин, весь скот, всех мальчиков, всех младенцев, а также всех женщин и девушек, за исключением девственников.

Он не различает правых и виноватых. Младенцы были безвинны, скот был безвиновен, многие мужчины, многие женщины, многие мальчики, многие девушки ни в чем не были повинны, и все же их покарали наравне с виновными. Безумному Отцу нужны были кровь и горе, а чьи — значения не имело.

И самое тяжкое наказание пало на тех, кто уж никак не заслуживал столь ужасной судьбы — на 32 000 девственников. Их обнажали и исследовали, чтобы убедиться, цела ли девственная плева; а после этого унижайшего осмотра их увезли из родной страны, чтобы продать в рабство — в самое гнусное и позорное рабство, обрекавшее их на проституцию; они становились наложницами, обязанными возбуждать похоть и удовлетворять ее своим телом, бесправными рабынями любого покупателя, окажется ли он порядочным человеком или грубым и грязным негодяем.

И такой чудовищной и незаслуженной каре обречены эти осиротевшие беззащитные девушки их Отец, только что у них на глазах истребивший всех их близких. А они, наверное, молились в те минуты, ища у него помощи и спасения? Несомненно.

Эти девушки были «добычей», военным трофеем. Он потребовал свою долю и получил ее. А зачем ему-то бы-

ли девственницы? Ознакомьтесь с его дальнейшей историей, и вы узнаете.

Его священники тоже получили свою долю этих девственниц. А зачем понадобились девственницы священнику? Ответ на этот вопрос вы найдете в тайной истории католической исповеди. Во все века существования Церкви главным развлечением отца-исповедника было соращение исповедующихся женщин. Отец Гиацинт показал, что из ста исповедывавшихся ему священников девяносто девять с успехом использовали исповедальню для соращения замужних женщин и молодых девушек. Один священник признался, что из девятисот женщин и девушек, чьим исповедником он был, его похотливых объятий избежали только старые и уродливые. Официальный список вопросов, которые священник обязан задавать во время исповеди, наверняка возбудит любую женщину, если только она не параличная.

Во всей истории варварского и цивилизованного мира не найти войны столь безжалостной и истребительной как кампания, которую Источник Милосердия вел против мадианитян. Официальный отчет о ней не сообщает никаких подробностей об отдельных эпизодах, не сообщает никаких частных, он информирует нас только в общем — *все девственницы, все мужчины, все младенцы, все живые души, все дома, все города*. Этот отчет разворачивает перед вами одну гигантскую картину пожарищ и заустения, а ваша фантазия добавляет глухую тишину, жуткое безмолвие — безмолвие смерти. Но ведь были и отдельные эпизоды. Где же их найти?

В истории недавних лет. В истории, начертанной американским индейцем¹. Он повторил труды Господни, точно следуя примеру бога. В 1862 году индейцы Миннесоты, безжалостно угнетаемые и предательски обманутые правительством Соединенных Штатов, восстали против белых поселенцев и истребили их — истребили всех, кто попал к ним в руки, не щадя ни стариков, ни женщин, ни младенцев. Ознакомьтесь с одним эпизодом.

Двенадцать индейцев ворвались на заре в дом фермера и захватили всю семью — самого фермера, его жену и четырех их дочерей, младшей из которых испол-

¹ Твен упоминает историческое событие — восстание индейцев в 1862 г. в штате Миннесота, подчеркивая, что индейцы были безжалостно угнетаемы и предательски обмануты правительством США, которое насильственно сгоняло индейцев с плодородных земель и заставляло селиться в пустынях Запада. — *Прим. сост.*

нилось четырнадцать лет, а старшей — восемнадцать. Они распяли родителей, то есть поставили их обнаженными в углу гостиной и прибили их руки гвоздями к стене. Затем они сорвали одежду с дочерей, бросили их на пол перед родителями и по очереди изнасиловали. Затем они распяли и девушек напротив родителей, отрезали им носы и груди, а потом... но я не стану рассказывать об этом. Всему есть предел. Существуют гнусности настолько страшные, что перо отказывается их описывать. Когда два дня спустя подоспела помощь, один из несчастных был еще жив — отец.

Вы ознакомились с одним эпизодом миннесотской резни. Я мог бы привести вам еще пятьдесят. Они исчерпали бы все жестокости, которые способно изобрести человеческое зверство.

И эти примеры достоверно показывают вам, что происходило под личным руководством Источника Милосердия во время его кампании против мадианитян. Кампания в Миннесоте была всего лишь точной копией мадианитской. И вторая дает нам полное представление о первой.

Нет, это не совсем так. Индеец был более милосерден, чем Источник Милосердия. Он не продавал девушек в рабство, чтобы они ублажали похоть убийц своих близких, пока не оборвутся их грустные дни; он насиловал их, а затем милосердно прекращал их страдания, даря им желанную смерть. Он сжигал дома — но не все. Он угонял безвинный бессловесный скот — но не убивал его.

И можно ли было ждать, что вот этот бессовестный бог, этот моральный банкрот станет вдруг проповедником морали, кротости, смирения, праведности, чистоты? Это кажется нелепым, невероятным, однако послушайте его. Вот его собственные слова:

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство небесное.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство небесное.

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня».

Уста, изрекшие эти чудовищные насмешки, эти лицемернейшие обещания, были теми же самыми устами, ко-

торые повелели полностью истребить мадианитских мужчин, младенцев и скот; спалить все дома и все города; обречь всех девственниц на грязное, невыразимо гнусное рабство. Это говорит тот самый бог, который обрек мадианитян дьявольским жестокостям, подробно воспроизведенным индейцами Миннесоты восемнадцать веков спустя. Мадианитский эпизод доставил ему живейшую радость. И миннесотский тоже — иначе он не допустил бы его.

Эту часть Нагорной проповеди следует читать в церкви одновременно с вышеприведенными главами Книги Чисел и Второзакония, дабы прихожане могли все-сторонне обозреть нашего Отца Небесного. Однако мне не доводилось слышать, чтобы хоть один священник это сделал.

ТАИНСТВЕННЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ¹

Глава I

Шел месяц май 1702 года. Австрия была оторвана от всего мира и погружена в сон. В Австрии все еще царило средневековье, — казалось, ему не будет конца. Иные даже считали, пренебрегая счетом текущего времени, что, если судить по состоянию умственной и религиозной жизни в нашей стране, она еще не вышла из Века Веры. Это говорилось в похвалу, не в укор, так всеми и принималось и даже служило предметом тщеславия. Я отлично помню эти слова, хоть и был маленьким, и помню, что они доставляли мне удовольствие.

Да, Австрия была оторвана от всего мира и погружена в сон, а наша деревня спала крепче всех, потому что была в самом центре Австрии. Она мирно почивала в глубоком одиночестве, среди холмов и лесов. Ве-

¹ ТАИНСТВЕННЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ. Начал Твен работать над повестью с начала осени 1897 г., придавая ей особое значение; в ней он собирался высказаться по главным проблемам социального и нравственно-философского характера, в том числе и по поводу религии, причем высказаться максимально свободно, не стесняя себя предрассудками американского читателя. Твен собирался написать, по его словам, «книгу, в которой выскажу все, что думаю, все что на сердце, начистоту, без оглядки...» (из письма У.-Д. Хоуэллсу, май 1899). Повесть так и не была закончена.

В 1916 г. секретарь, биограф и первый хранитель литературного наследия Твена А.-Б. Пейн опубликовал текст повести, как впоследствии выяснилось, использовав первый из трех имеющихся в твеновском архиве вариантов ее — только он имеет самостоятельное художественное значение. В 1969 г. в США были изданы все три редакции повести и сопутствующие им материалы, и выяснилось, что Пейн несколько искажил оригинал и прежде всего ослабил антирелигиозные мотивы повести.

В настоящем сборнике повесть напечатана в редакции и переводе советского литературоведа А. И. Старцева. — *Прим. сост.*

сти из окружающего мира не достигали ее, не смущали ее грез, и она была счастлива. Прямо перед деревней протекала река, медлительные воды которой были украшены отраженными в ней облаками и тенями барж, груженых камнем. За деревней лесистые кручи вели к подножью высокого утеса. С утеса, хмурясь, глядел огромный замок, стены и башни которого были увиты диким виноградом. За рекой, милях в пяти левее деревни, тянулись густо поросшие лесом холмы, расчеченные извилистыми лощинами, куда не заглядывал луч солнца. Справа, где утес поднимался высоко над рекой, между ним и холмами, о которых я веду речь, лежала обширная равнина, усеянная крестьянскими домиками, прячущимися в тени раскидистых деревьев и фруктовых садов.

Весь этот край на многие мили кругом искони принадлежал владетельному князю с очень трудно запоминаемым именем. Княжеская челядь поддерживала в замке образцовый порядок, однако ни князь, ни его семейство не приезжали к нам чаще, чем раз в пять лет. Когда они приезжали, казалось, что прибыл сам господь бог в блеске своей славы. Когда же они покидали нас, воцарялась тишина, подобная глубокому сну после разгульного празднества.

Для нас, мальчишек, наш Эзельдорф был раем. Учением нас не обременяли. Нас учили, что прежде всего надо быть добрым католиком, почитать деву Марию, церковь и святых мучеников; обожать царствующего монарха, говорить о нем почтительным шепотом, обнажать голову, завидя его портрет, твердо знать, что он милостивец, дарующий нам пропитание и покой на земле, и что мы рождены в этот мир с единственной целью проливать для него пот и кровь и, если понадобится, отдать жизнь за него. Это — главное. Знать остальное считалось необязательным и даже не очень желательным. Священники говорили нам, что наука ни к чему простым людям: она порождает в них недовольство своей судьбой; судьба же их уготована господом богом, а бог не любит того, кто ропщет.

Все это было истинно, им сказал это сам епископ.

[...] Отец Адольф был рьяным, усердным и громогласным священнослужителем. и к тому же старался быть у начальства на хорошем счету, потому что метил в епископы. Всегда он шпионил, все знал и о своих и о чужих прихожанах, был распушен, недобр и большой сквернослов; но вообще, как полагали у нас в



Эзельдорфе, не так уж плох. Он был не лишен талантов, например, был отменным оратором, умел ловко вернуть словечко так, что все хохотали, иной раз бывал грубоват, как считали его противники, но этим у нас, деревенских, мало кто не грешил. Он командовал в деревенской управе; с помощью всяческих хитростей проводил свои планы; и те, кого он там прижимал, носили его за спиной, честили «деревенским бугаем», «исчадием ада» и другими обидными прозвищами. Тут уж ничего не поделаешь. Замешался в политику, значит стоишь нагишом в осинном гнезде.

[...] Очень хорош был отец Адольф, когда хоронили покойника. Если, конечно, не перехватывал лишнего, а в самый раз, столечко, чтобы чувствовать себя на высоте своего священного сана. Было на что поглядеть, когда он шел по деревне во главе похоронной процессии меж двух коленопреклоненных рядов своих прихожан, одним глазом следя, чтобы певчие прямо держали мигавшие желтым пламенем в солнечном свете свечи, а другим в то же время поглядывая, не торчит ли какой остолоп на пути процессии в шляпе. Тогда он срывал с остолопа его дурацкую шляпу, шлепал его этой шляпой, как следует, по глупой башке и рычал на него:

— Как ты, скотина, ведешь себя перед лицом господ бога!

Еще он был очень деятелен, когда кто-нибудь по собственной воле пресекал свою жизнь. Он строго следил, чтобы светская власть поступала согласно закону, чтобы семью погубившего себя человека выгнали бы из дома на улицу, конфисковали бы все их пожитки и положенную долю отдали бы в пользу церкви. И он снова был на посту, когда в полночь самоубийцу предавали земле на перекрестке дорог, не для того, понятное дело, чтобы его отпевать, самоубийцу не отпевают, вы знаете, а для того, чтобы лично проверить, хорошо ли его пригвоздили колом, как это положено.

Еще он был очень хорош, возглавляя процессию, когда нас постигала чума, когда в золотом ковчеге выносили мощи святого покровителя нашей деревни, вызывали к пресвятой деве и возжигали ей свечи, чтобы мор поскорее окончился.

Каждый год он участвовал и в церемонии на мосту, 9 декабря, в День Умиловствления Дьявола. У нас замечательный каменный мост с пятью арками, и ему семьсот лет. Дьявол выстроил его за одну ночь. Насто-

ятель монастыря подрядил его для этой работы, и это было совсем нелегко, потому что Дьявол сказал, что он строил мосты для монахов во всех странах Европы, и всегда его надували; если его надуют и здесь, то больше с христианами он дела иметь не будет.

Он строил мосты при одном непременно условии, что первый, кто пройдет по мосту, станет его добычей (все знали, конечно, что дьявол имеет в виду христианскую душу). Но поскольку в контракте об этом сказано не было, они пускали на мост осла, или курицу, словом кого-нибудь без души, и дьявол всегда оставался ни с чем. На сей раз он лично вписал в договор «христианин», так что лазейки не стало. То, что я говорю, не какая-нибудь легенда, а исторический факт; я сам читал договор, и не раз; его выносят в процессии на мосту в День Умиловствления Дьявола; заплатив десять грошей, вы можете взглянуть на него и вам отпустится тридцать три ваших греха; отпущение грехов было всем по карману в те времена, кроме совсем уж нищих; то было достойное время, но оно миновало и, говорят, навсегда.

Итак, договор был подписан, но настоятель сказал, что сегодня и завтра мост ему не понадобится. Однако же будет нужен к концу недели. А в монастыре лежал при смерти старый монах, и настоятель велел доложить ему, как только монаху станет совсем худо. К полуночи 9 декабря ему доложили, что монах умирает, и настоя-



тель призвал к себе дьявола и приказал строить мост. Всю ночь, пока шла работа, настоятель и братия молились, чтобы у умирающего осталось довольно сил пройти по мосту — но никак не более того. Молитва была услышала и вызвала большое волнение в небесных сферах; все небесное воинство слетелось к рассвету к тому месту, где строился мост, сонмы и сонмы ангелов. Умиравший монах, шатаясь, проковылял по мосту и, как только сошел с него, рухнул на землю замертво. Ангелы подхватили его бессмертную душу и улетели с ней в рай, смеясь и ликуя. А одураченный дьявол снова остался ни с чем.

Он был вне себя от досады и обвинил настоятеля в нарушении заключенного с ним договора. — Где же мой христианин? — вопрошал он. — Вот он, твой христианин, но он мертвый, — отвечал настоятель, после чего все монахи во главе с настоятелем устроили празднество, делая при том вид, что хотят утешить и умиловить пострадавшего дьявола; на самом же деле насмехаясь над ним и только усугубляя его досаду. Кончилось тем, что он их всех обругал, поднял бурю с громом и молнией и с бурей умчался. Но когда он летел, то острием на конце хвоста задел за замковый камень и сорвал его с места. Так камень и остался лежать все эти столетия как память о том, что случилось. Я видел его тысячу раз; такое свидетельство прочнее, чем писанный документ, — ведь документ, если он не составлен священником, может быть ложным. И каждый год 9 декабря мы повторяем это шуточное Умиловление Дьявола в память о праведном замысле настоятеля, уберегшего от врага христианскую душу.

Возможно, встречаются и получше священники, чем был наш отец Адольф, но в общине не помнили ни одного, кто внушал бы своим прихожанам такое почтение и страх. Дело в том, что он не боялся дьявола. Я не знаю другого христианина, о котором я мог бы это сказать с такой твердой уверенностью. По этой причине все боялись отца Адольфа. Каждый из нас понимал, что простой смертный не станет вести себя так отважно и самоуверенно. Никто не потворствует дьяволу, все осуждают его, но делают это без дерзости, с долей почтения. Отец же Адольф честил дьявола всеми словами, какие попадались ему на язык, так что невольного слушателя охватывал трепет. Бывало и гак, что он отзывался о дьяволе насмешливо и с презрением, и люди

крестились тогда и спешили скорее прочь, боясь, как бы с ними не приключилось чего худого. Что ни толкуй, дьявол ведь тоже святой, раз о нем говорится в Библии, а раз это так, его имя тоже не следует называть всуе.

Если уж все говорить, отец Адольф не раз встречался с дьяволом лично и вступал с ним в борьбу. Отец Адольф сам об этом рассказывал, не делая из этого тайны. И он говорил правду; по крайней мере одно из его столкновений с дьяволом подтверждалось вещественным доказательством. В пылу разгоревшейся ссоры он однажды бесстрашно запустил во врага чернильницей, и поныне в том месте, где она ударилась в стенку, в его кабинете осталась чернильная клякса.

Ту же историю рассказывал про себя Лютер, но кто же поверит ему, еретику и лжецу. Сам папа сказал, что Лютер солгал про это.

Другой наш священник был отец Питер, и мы все очень любили и жалели его. Епископ отрешил его от исполнения священных обязанностей, когда пошел слух, будто он кому-то сказал, что бог добр и милостив и когда-нибудь сжалится над своими детьми. Подобные речи, конечно, ужасны, но ведь не было твердого доказательства, что он такое сказал. Да и непохоже совсем это было на отца Питера, доброго, кроткого и неживого человека, всегда учившего нас с кафедры всему, что требует церковь. Правда, никто не настаивал, что он сказал это с кафедры; тогда каждый бы слышал эти слова и мог бы их подтвердить. Говорили, будто преступная мысль была высказана им в частной беседе, но подобное обвинение легко возвести ведь на каждого.

Отец Питер свою вину отрицал, но что толку. Отец Адольф хотел занять его место в церкви и под присягой показал, что он лично слышал, как отец Питер говорил племяннице эти слова. Слышал, стоя у них под дверью. А подслушивал он потому, что этого требовали интересы святой церкви.

Тщетно Маргет отрицала обвинение и умоляла епископа верить ей и не навлекать на ее старого дядю нужду и бесчестие. Епископ не пожелал ее слушать. Отец Адольф давно уже делал все, чтобы очернить отца Питера. Епископ же восхищался отвагой отца Адольфа, уважал его за то, что он лично схватился с дьяволом, и доверял каждому его слову. Поскольку же против отца Питера было только одно показание, епископ не стал его отлучать вовсе от церкви, но лишил на не-

определенный срок сана. Вот уже два года отец Питер не выполняет священных обязанностей, и паства его теперь вся у отца Адольфа.

Нелегко дались эти годы старику священнику и Маргет. Раньше все их любили и искали их общества, но с немилостью епископа все тотчас же переменялось. Иные из прежних друзей совсем перестали видаться с ними, другие стали холодны и неразговорчивы. Когда случилось это несчастье, Маргет как раз исполнилось восемнадцать лет. Это была прелестная девушка и умница, какой не отыщешь во всей деревне. Она обучала игре на арфе, и заработанных денег хватало ей на платья и другие расходы. Но теперь ученицы одна за другой ушли от нее; когда в деревне устраивались вечеринки и танцы, ей забывали передать приглашение; молодые люди перестали ходить в их дом — все, кроме Вильгельма Мейдлинга, а его визиты не имели большого значения. Опозоренные и всеми покинутые, священник и его племянница загрустили, пали духом — солнце больше не светило к ним в окна. А жить становилось труднее. Одежда поизносилась, каждое утро надо было думать, на что купить хлеб. И вот наступил решительный день: Соломон Айзекс, который ссужал им деньги под залог их старого дома, известил отца Питера, что завтра наутро тот должен либо вернуть ему долг, либо уходить прочь из дому.

Глава II

Мы трое всегда были вместе, чуть ли не с колыбели. Мы сразу полюбили друг друга, наша дружба крепла год от году. Николаус Бауман был сыном главного судьи. Отец Сеппи Вольмейера был владельцем большого трактира под вывеской «Золотой олень»; сад при трактире со старыми раскидистыми деревьями спускался к самому берегу реки, а там была пристань с прогулочными лодками. Я, третий, Теодор Фишер, был сыном церковного органиста, который также дирижировал деревенским оркестром, обучал игре на скрипке, сочинял музыку, служил сборщиком податей, выполнял обязанности причетника, — словом, был деятельным членом общины и пользовался всеобщим уважением.

Окрестные холмы и леса были знакомы нам не хуже, чем живущим в них птицам. Каждый свободный час мы проводили в лесу или же купались, удили рыбу, бегали по льду замерзшей реки или катались на санках по склону холма.

В княжеском парке редко кому разрешалось гулять, но мы проникали туда потому, что мы были в дружбе со старейшим из замковых слуг, Феликсом Брандтом, и часто вечером мы отправлялись к нему, чтобы послушать его рассказы о старых временах и необычайных происшествиях, выкурить трубку — он научил нас курить — и выпить чашечку кофе. Феликс Брандт много воевал и был при осаде Вены¹. Когда турок разбили и погнали прочь, среди захваченных трофеев оказались мешки с кофе, и пленные турки объяснили ему, на что годятся эти кофейные зерна, и научили изготавливать из них приятный напиток. С тех пор Брандт всегда варил кофе, пил его сам и удивлял им людей несведущих. Если погода была ненастная, старик оставлял нас у себя на ночлег. Под раскаты грома и сверканье молний он вел свой рассказ о привидениях и всяческих ужасах, о битвах, убийствах и жестоких ранениях, а в его маленьком домике было так тепло и уютно.

Брандт черпал свои рассказы главным образом из собственного опыта. Он повстречал на своем веку немало привидений, ведьм и волшебников, а однажды, заблудившись в горах в страшную бурю, наблюдал в самую полночь при вспышке молний, как Дикий Охотник, яростно трубя в рог, промчался по небу, а за ним по разорванным тучам неслась его призрачная свора. Приходилось ему видеть и инкуба², и вампира, который сосет кровь у спящих, тихо овеивая их крылами, чтобы они не пробудились от рокового забвения.

Старик учил нас, что не надо пугаться ничего сверхъестественного. Призраки, говорил он, не причиняют вреда и бродят просто потому, что они одиноки, несчастны и ищут сочувствия и утешения. Постепенно и мы освоились с этой мыслью и даже спускались вместе с ним по ночам в подземелье замка, посещаемое привидениями. Призрак появился только один раз, прошел мимо нас еле видимый, бесшумно пронесся по воздуху и исчез. Мы даже при этом не дрогнули — так воспитал нас старик Брандт. Он рассказывал после, что этот призрак иногда приходит к нему по ночам, будит его ото сна, прикасаясь к лицу липкой холодной

¹ Имеется в виду осада Вены турками 1683 г. — начало австро-турецкой войны 1683—1699 гг. — *Прим. сост.*

² *Инкуб* — по средневековым поверьям, злой дух в виде мужчины, по ночам соблазняющий женщин. — *Прим. сост.*

рукой, но не причиняет ему никакого вреда,— просто ищет сочувствия. Самое же удивительное, что Брандт видел ангелов, настоящих ангелов с неба, и беседовал с ними. Они были без крыльев, одеты в обычное платье, выглядели в точности как обыкновенные люди и так же ходили и разговаривали. Никто бы вообще не принял их за ангелов, если бы они не творили чудес, которых простой смертный, конечно, творить не может, и не исчезали вдруг неведомо куда, пока вы с ними беседовали, что тоже превышает силы смертного человека. Ангелы не были унылыми или сумрачными, подобно призракам,— напротив, были веселыми и жизнерадостными.

Однажды майским утром, после затянувшихся допоздна рассказов старого Брандта, мы поднялись с постели, сытно позавтракали вместе с ним, а потом, перейдя мост влево от замка, забрались на поросшую лесом вершину холма, наше излюбленное местечко. Там мы растянулись в тени на траве, намереваясь отдохнуть, покурить и еще раз обсудить диковинные рассказы старика, произведшие на нас сильное впечатление. Но мы не могли раскурить трубку, потому что по забывчивости не захватили с собой кремня и огнива.

Немного погодя из леса показался юноша, он подошел к нам, сел рядом и заговорил с нами дружеским тоном. Мы не отвечали,— чужие люди заходили к нам редко, и мы их побаивались. Пришелец был хорош собой и нарядно одет, во всем новом. Лицо его внушало доверие, голос был приятен. Он держался непринужденно, с удивительной простотой и изяществом и был совсем не похож на застенчивых и неуклюжих молодых людей из нашей деревни. Нам хотелось завязать с ним знакомство, но мы не знали, с чего начать. Я вспомнил о трубке и подумал, что было бы славно дать покурить незнакомцу. Но тут же я вспомнил, что у нас нет огня, и мне стало обидно, что план мой нельзя выполнить. А он бросил на меня оживленный довольный взгляд и сказал:

— Нет огня? Это — пустое. Сейчас я добуду.

Я был так удивлен, что не мог ничего ответить: ведь я ни слова не произнес вслух. Он взял трубку и подул на нее. Табак затлелся, и голубой дымок спиралью поднялся кверху. Мы вскочили с места и пустились бежать: ведь то, что произошло, было сверхъестественно. Мы отбежали недалеко, и он убедительным тоном стал просить нас вернуться, дал честное слово, что не при-

чинит нам никакого вреда, сказал, что ему хочется подружиться с нами и побыть в нашем обществе. Мы были вне себя от удивления и любопытства. Нам хотелось вернуться, но мы не решались. Он продолжал уговаривать нас, как и раньше, спокойно и рассудительно. Когда мы увидели, что наша трубка цела и ничего дурного не приключилось, мы успокоились, а потом, когда любопытство возобладало над страхом, двинулись осторожно назад, шаг за шагом, готовые в любую минуту вновь искать спасения в бегстве.

Он старался рассеять нашу тревогу и делал это умело. Когда с вами говорят так просто, так вдумчиво и ласково, опасения и робость уходят сами собой. Мы снова прониклись доверием к нему, завязалась беседа, и мы были счастливы, что нашли подобного друга. Когда стеснение наше совсем прошло, мы спросили, где он научился своему поразительному искусству, и он сказал, что нигде не учился, что от рождения наделен этой силой, да и другими способностями.

— А что ты еще умеешь?

— Да многое, всего не перечислишь.

— Ты покажешь нам? Пожалуйста, покажи!— закричали мы дружно.

— А вы не убежите?

— Нет, честное слово, нет! Пожалуйста, покажи. Ну, покажи!

— С удовольствием, но смотрите — не забудьте своего слова.

Мы подтвердили, что не забудем, и он подошел к луже, набрал воды в чашку, которую сделал из листика, подул на нее и, перевернув чашку вверх дном, вытряхнул из нее застывший кусок льда. Мы глядели изумленные и очарованные, нам уже не было страшно, мы были очень довольны и попросили его показать нам еще что-нибудь. Он согласился, сказал, что угостит нас сейчас фруктами и чтобы мы назвали все, что хотим, не смущаясь тем, настала пора для этих фруктов или же нет. Мы закричали хором:

— Апельсин!

— Яблоко!

— Виноград!

— Ищите в карманах,— сказал он; и правда, каждый нашел в кармане то, чего пожелал. Фрукты были самого лучшего качества; мы съели их, и нам захотелось еще, но мы не решились сказать этого вслух.

— Поищите в карманах,— снова сказал он,— и все,

чего вы ни пожелаете, все там будет. Не нужно просить. Пока вы со мной, ваше дело только желать.

Так все и было. Никогда еще с нами не случилось ничего столь удивительного и заманчивого. Хлеб, пирожки, конфеты, орехи — чего ни пожелай, все у тебя в кармане. Сам он не ел ничего, а только беседовал с нами и развлекал нас новыми чудесами. Он слепил из глины маленькую игрушечную белочку, и она взбежала по дереву и, усевшись на сук, стала цокать по-беличьи. Тогда он слепил собаку величиной чуть побольше мыши, и та загнала белку на самый верх дерева и стала бегать вокруг с громким лаем, как самая заправская собака. Потом погнала белку дальше в лес и побежала вслед, пока обе не скрылись в чаще. Он слепил из глины птиц, пустил их на волю, и, улетаая, птицы запели.

Набравшись, наконец, храбрости, я спросил его, кто он такой.

— Ангел,— спокойно ответил он, выпуская еще одну птицу, хлопнул в ладоши, и птица опять улетела.

Благоговейный ужас охватил нас при этих словах; мы снова были в смятении. Но он сказал, чтобы мы не тревожились: ангелов бояться не надо,— и подтвердил, что питает к нам самые добрые чувства. Он продолжал беседовать с нами все так же естественно и непринужденно, а сам мастерил в это время фигурки мужчин и женщин с палец величиной. Кукольный народец тут же принялся за работу. Они расчистили и выровняли клочок земли на поляне в два-три квадратных ярда и стали возводить славный маленький замок. Женщины замешивали известковый раствор и носили его по строительным лесам в ведрах, держа их на голове, как это делают работницы у нас в деревне, а мужчины возводили высокие стены. Не меньше пятисот этих куколок сновали взад и вперед, трудились что было сил, отирали пот со лба, словно настоящие люди. Это было так притягательно — глядеть, как пятьсот крошечных человечков строят замок, камень за камнем, башню за башней, как здание растет и обретает архитектурные формы. Страх наш снова прошел, и мы от души наслаждались. Мы спросили его, можно ли и нам смастерить что-нибудь, он сказал: «Разумеется», и велел Сеппи слепить несколько пушек для замковых стен, Николаусу — нескольких алебардщиков в шлемах и латах, а мне — кавалеристов верхом на конях. Отдавая свои приказы, он назвал нас по имени, но при том не сказал,

откуда он знает, как нас зовут. Тогда Сеппи спросил, как зовут его, и он спокойно ответил:

— Сатана.

Подставив щепку, он поймал на нее маленькую женщину, которая свалилась с лесов, и, поставив ее на место, сказал:

— Экая дурочка, ступает назад и не глядит, что у нее за спиной.

Имя, которое он произнес, нас поразило; пушки, алебардщики, лошади выпали у нас из рук и рассыпались на куски. Сатана засмеялся и спросил, что случилось.

Я сказал:

— Ничего не случилось, но это странное имя для ангела.

Он спросил, почему я так думаю.

— Как почему? Ты ведь знаешь?.. Это *его* имя.

— Что же тут такого? Он мой родной дядя.

Он произнес это очень спокойным тоном, но у нас захватило дух и сердце заколотилось в груди. Словно не замечая нашего волнения, он поднял алебардщика и другие игрушки, починил их и вернул нам назад со словами:

— Неужели вы не знаете? Ведь он тоже был раньше ангелом.

— Правда! — сказал Сеппи. — Я не подумал об этом.

— До падения ему было чуждо всякое зло.

— Да, — сказал Николаус, — он был безгрешным.

— Мы из знатного рода, — сказал Сатана, — благороднее семейства не отыскать. Он единственный, кто согрешил.

Трудно сейчас передать, как все это было для нас интересно. Когда вы сталкиваетесь с чем-либо столь необычайным, захватывающим, изумительным, некий трепет и вместе с тем ликование охватывает вас с головы и до пят. Вами владеет мысль: неужели вы живы и все это видите в самом деле? Вы не в силах оторвать изумленного взгляда, губы у вас сохнут, дыхание прерывается, но вы не променяете это свое ощущение ни на что другое на свете. Мне очень хотелось спросить его кое о чем, вопрос был уже на кончике языка и удержаться мне было трудно, но я боялся, что покажусь ему слишком дерзким. Сатана отложил в сторону почти законченную фигурку быка, улыбнулся, глядя на меня, и сказал:

— Не вижу в том ничего особенно дерзкого, а если бы и увидел, то простил бы тебя. Ты хочешь знать, встречался ли я с ним? Миллионы раз. В младенчестве — мне не исполнилось тогда и тысячи лет — я был одним из двух маленьких ангелов нашего рода и нашей крови (кажется, так у вас принято выражаться), которых он особенно отличал. И так продолжалось все восемь тысяч лет (по вашему счету времени), вплоть до его падения.

— Восемь тысяч лет?

— Да.

Он повернулся теперь к Сеппи и продолжал свою речь, как бы в ответ на вопрос, который был на уме у Сеппи.

— Это верно, я выгляжу юношей. Так оно и должно быть. Наше время протяженнее вашего, и нужно немало лет, чтобы ангел стал взрослым.

Мне захотелось задать ему новый вопрос, и он повернулся ко мне и сказал:

— Если считать по-вашему, мне шестнадцать тысяч лет.

Потом он посмотрел на Николауса и сказал:

— Нет. Его падение не затронуло ни меня, ни остальных членов нашего рода. Только он, в честь кого я был назван, вкусил от запретного плода и соблазнил им мужчину и женщину. Мы же, другие, греха не ведаем и согрешить не способны. Мы беспорочны и такими останемся навсегда. Мы...

Двое крохотных рабочих повздорили. Еле слышными, как писк комара, голосками они препирались и сыпали бранью. Замелькали кулаки, полилась кровь, и вот они оба сцепились не на жизнь, а на смерть. Сатана протянул руку, сжал обоих двумя пальцами, раздавил, отбросил их в сторону, отер с пальцев кровь носовым платком и продолжал свою речь:

— Мы не творим зла и чужды всему злему, потому что не ведаем зла.

Слова Сатаны удивительным образом расходились с его поступком, но мы в тот момент не заметили этого, настолько нас поразило и огорчило бессмысленное убийство, и оно не имело ни объяснения, ни оправдания, — ведь маленькие человечки не сделали ему ничего дурного. Нам было очень горько, мы полюбили его, он казался нам таким благородным, таким прекрасным и милосердным. У нас не было сомнения, что он действительно ангел. И вот он совершил эту жестокость и упал в наших глазах, а мы так гордились им.

Между тем он продолжал беседовать с нами, словно ничего не случилось, рассказывал о своих странствиях, о том, что он наблюдал в огромных мирах нашей солнечной системы, разбросанных в необъятных пространствах вселенной, о жизни населяющих их бессмертных существ, и рассказы его увлекали, захватывали, завораживали нас, уводя от разыгравшейся перед нами печальной сцены. Между тем две крохотные женщины разыскивали искалеченные тела своих убитых мужей и стали оплакивать их, причитая и вскрикивая. Рядом — коленопреклоненный — стоял священник, скрестив руки на груди и читая молитву. Сотни соболезнующих друзей толпились вокруг, со слезами на глазах, сняв шапки и склонив обнаженные головы. Сначала Сатана не обращал на все это никакого внимания, но потом его стал раздражать жужжащий звук молитв и рыданий. Он протянул руку, поднял тяжелую доску, служившую нам сиденьем на качелях, бросил ее на землю в том месте, где столпились маленькие люди, и раздавил их, как мух. Сделав это, он продолжал свой рассказ.

Ангел, убивающий священника! Ангел, который не ведает, что есть зло, и хладнокровно уничтожает сотни беззащитных, жалких людей, не сделавших ему ничего дурного! Мы едва не лишились чувств, когда увидели это страшное дело. Ведь ни один из этих несчастных, кроме священника, не был подготовлен к кончине; никто из них не был ни разу у мессы и даже не видел ни разу церкви. И мы трое были тому свидетелями, убийство произошло на наших глазах! Долг наш — сообщить о том, что мы видели, и дать делу законный ход.

Но он по-прежнему вел свой рассказ, и роковая музыка его голоса вновь чаровала нас. Забыв обо всем, мы внимали его речам, и были снова исполнены любви к нему, и были снова его рабами, и он снова мог делать с нами все, что захочет. Мы были вне себя от того, что мы вместе с ним, что мы созерцаем небесную красоту его глаз, и от малейшего прикосновения его руки счастье и блаженство разливалось по нашим жилам.

Глава III

Незнакомец побывал всюду и видел все, он все узнал и ничего не забыл. То, что другому давалось годами учения, он постигал мгновенно; трудностей для него просто не было. А когда он рассказывал, картины ожи-

вали перед глазами. Он присутствовал при сотворении мира; он видел, как бог создал первого человека; он видел, как Самсон¹ потряс колонны храма и обрушил его на землю; он видел смерть Цезаря; он рассказывал о жизни на небесах; он видел, как грешники терпят муки в раскаленных пучинах ада. Все это вставало перед вами, словно вы сами при том присутствовали и глядели собственными глазами, и вас невольно охватывал трепет. Он же, как видно, только лишь забавлялся. Видение ада — толпы детей, женщин, девушек, юношей, взрослых мужчин, стонущих в муках, моля о пощаде, — кто в силах взирать на это без слез? Он же оставался невозмутимым, словно глядел на игрушечных мышей, горящих в бенгальском огне.

Всякий раз как он заговаривал о жизни людей на земле и об их поступках, даже самых великих и удивительных, мы испытывали словно неловкость, потому что по всему его тону было заметно, что он считал все, что касается рода людского, не заслуживающим никакого внимания. Можно было подумать, что речь идет просто о мухах. Один раз он сказал, что хотя люди тупые, пошлые, невежественные, самонадеянные, больные, хилые и вообще ничтожные, убогие и никому не нужные существа, он все же испытывает к ним некоторый интерес. Он говорил без гнева, как о чем-то само собой разумеющемся, как если бы речь шла о навозе, о кирпичах, о чем-то неодушевленном и совсем несущественном. Видно было, что он не хотел нас обидеть, но все же мысленно я укорил его в недостаточной деликатности.

— Деликатность! — сказал он. — Я говорю вам правду, а правда всегда деликатна. То, что вы называете деликатностью, — вздор. А вот и наш замок готов. Ну как он вам нравится?

Как мог он нам не понравиться! Глядеть на него было одно удовольствие. Он был так красив, так изящен и так удивительно продуман во всех деталях, вплоть до флажков, развевающихся на башнях. Сатана сказал, что теперь надо установить пушки у всех

¹ Самсон — знаменитый библейский герой, прославившийся в борьбе иудеев с филистимлянами. По легенде, вся чудесная сила его была в длинных волосах; его враги выведали это через возлюбленную Самсона Далилу, лишили его волос, ослепили и сделали пленником. Когда силы вернулись к нему, он обрушил на головы филистимлян здание их храма. (Кн. Судей, XIII—XVI). — *Прим. сост.*

бойщиц, расставить алебардщиков и построить конницу. Наши солдатики и лошадки никуда не годились: мы были еще неискусны в лепке и не сумели слепить их как следует. Сатана признался, что хуже он не встречал. Когда он оживил их прикосновением пальца, на них невозможно было без смеха смотреть. Ноги у солдат оказались разной длины, они шатались, валились, как пьяные, и наконец растянулись ничком, не в силах подняться. Мы засмеялись, но это было горькое зрелище. Мы зарядили пушки землей, чтобы салютовать, но пушки тоже были негодными и взорвались при пальбе, и часть канониров была убита, а часть покалечена. Сатана сказал, что если мы пожелаем, он устроит сейчас бурю и землетрясение, но тогда нам лучше отойти в сторону, чтобы не пострадать. Мы хотели забрать с собой и маленьких человечков, но он возразил, что этого делать не следует; они никому не нужны, а если понадобится, мы слепим других.

Маленькая грозовая туча спустилась над замком, блеснула крохотная молния, грянул гром, задрожала земля, пронзительно засвистел ветер, зашумела буря, полил дождь, и маленький народец бросился искать убежища в замке. Туча становилась все чернее и чернее и почти уже скрыла замок. Молнии, сверкая одна за другой, ударили в кровлю замка, и он запылал. Свирепые красные языки пламени пробились сквозь темную тучу, и народ с воплями побежал прочь от замка. Но Сатана движением руки загнал их обратно, не обращая внимания на наши просьбы, мольбы и слезы. И вот, покрывая вой ветра и раскаты грома, раздался взрыв, взлетел на воздух пороховой погреб, земля расселась, пропасть поглотила развалины замка и сомкнулась вновь, похоронив все эти невинные жизни. Из пятисот маленьких человечков не осталось ни одного. Мы были потрясены до глубины души и не могли удержаться от слез.

— Не плачьте,— сказал Сатана,— они никому не нужны.

— Но они попадут теперь в ад!

— Ну и что же? Мы слепим других.

Растрогать его было нельзя. Как видно, он вовсе не знал, что такое жалость, и не мог нам сочувствовать. Он был отлично настроен и так весел, как будто устроил свадьбу, а не побоище. Ему хотелось, чтобы и у нас было такое же настроение, и с помощью своих чар он преуспел. И это не стоило ему большого труда,

он делал с нами все, что хотел. Прошло пять минут, и мы плясали на этой могиле, а он наигрывал нам на странной певучей свирели, которую достал из кармана. Это была мелодия, какой мы никогда не слышали,— такая музыка бывает только на небесах; оттуда, с небес, он и принес ее нам. Наслаждение сводило нас с ума, и мы не в силах были оторвать от него глаз и тянулись к нему всем сердцем, и наши немые взгляды были исполнены обожания. Эту пляску он тоже принес нам из горних сфер, и мы вкушали блаженство рая.

Потом он сказал, что ему пора уходить: у него важное дело. Для нас было невыносимо расстаться с ним, и мы, обняв его, стали просить, чтобы он остался. Наша просьба, как видно, обрадовала его; он согласился побыть с нами еще и предложил посидеть всем вместе и побеседовать. Он сказал, что хотя Сатана его настоящее имя, ему не хотелось бы, чтобы оно стало известно всем; при посторонних мы должны называть его Филипп Траум. Это простое имя, оно не вызовет ни у кого удивления.

Имя было слишком будничным и ничтожным для такого создания, как он. Но раз он так захотел, мы не стали ему возражать. Его решение было для нас законом. Мы досыта нагляделись чудес в этот день, и я подумал, как славно будет рассказать обо всем виденном дома. Он приметил мою мысль и сказал:

— Нет, об этом будем знать только мы четверо. Впрочем, если тебе не терпится рассказать, попробуйся. А я позабочусь, чтобы язык твой не выдал тайны.

Досадно, но что ж тут поделаешь! Мы только вздохнули разок-другой про себя и продолжали беседу. Сатана по-прежнему отвечал нам на мысли, не дожидаясь вопросов, и мне казалось, что это самое поразительное из всего, что он делает. Он прервал тут мои размышления и сказал:

— Тебя это удивляет, на самом же деле ничего удивительного здесь нет. Я не ограничен в своих возможностях, подобно вам. Я не подвластен условиям человеческого существования. Мне вняты слабости человека потому, что я изучил их, но сам я от них свободен. Вы ощущаете мою плоть, касаясь меня, но она призрачна, как призрачно и мое платье. Я — дух. А вот к нам идет отец Питер.

Мы оглянулись. Никого не было.

— Он приближается. Скоро придет.

— Ты знаком с отцом Питером, Сатана?

— Нет.

— Пожалуйста, поговори с ним, когда он придет. Он умный и образованный человек, не то, что мы трое. Ему будет приятно с тобой побеседовать. Пожалуйста!

— В другой раз. Мне пора уходить. А вот и он, теперь вы все видите. Сидите спокойно — ни слова.

Мы оглянулись, отец Питер шел к нам из каштановой рощи. Мы сидели втроем на траве, а Сатана напротив нас на тропинке. Отец Питер шел медленным шагом, понутив голову. Не дойдя до нас нескольких ярдов, он остановился, словно намереваясь заговорить с нами, снял шляпу, вынул фуляровый платок из кармана и стал вытирать лоб. Постояв так, он тихо сказал, как бы обращаясь к себе:

— Не знаю, что меня сюда привело. Всего минуту тому назад я сидел у себя дома. А теперь мне вдруг кажется, будто я проспал целый час и пришел сюда во сне, не замечая дороги. Так тревожно на душе эти дни. Я словно сам не свой.

Он двинулся дальше, продолжая что-то шептать, и прошел сквозь Сатану, как через пустое место. Мы просто остолбенели. Хотелось крикнуть, как это бывает, когда случается что-то совсем неожиданное, но крик непонятным образом замер у нас в горле, и мы сидели безгласные, тяжело переводя дыхание. Как только отец Питер скрылся в лесу, Сатана сказал:

— Ну что, убедились вы теперь, что я дух?

— Да, так оно, наверное, и есть... — сказал Николаус. — Но мы ведь не духи. Понятно, что он не увидел тебя, но как это он не увидел и нас? Он глядел нам прямо в лицо и словно не замечал.

— Да, я сделал вас тоже невидимыми.

С трудом верилось, что это не сон, что мы участники всех этих поразительных,



необычайных событий. А он сидел рядом с самым непринужденным видом, такой естественный, простой, обязательный, и вел с нами беседу. Трудно передать словами владевшие нами чувства. Это был, наверно, восторг, а восторг не укладывается в слова. Восторг — как музыка. Попробуйте передать другому свои впечатления от музыки так, чтобы он ими проникся. Сатана снова стал вспоминать давние времена, и они вставали перед нами словно живые. Он видел многое, очень многое. Мы глядели втроем на него и пытались представить себе, каково быть таким, как он, и нести на себе этот груз воспоминаний. Человеческое существование казалось нам теперь унылым и будничным, а сам человек — однодневкой, вся жизнь которой укладывается в один-единственный день, быстротекущий и жалкий. Сатана не старался щадить наше уязвленное самолюбие. Он говорил о людях все тем же бесстрастным тоном, как говорят о кирпичах или навозной куче; было видно, что люди не интересуют его нисколько, ни с положительной, ни с отрицательной стороны. Он не хотел нас обидеть, был, вероятно, далек от этого. Когда вы говорите: кирпич — плох, вы не задумываетесь о том, оскорблен ли кирпич вашим суждением. Чувствует ли кирпич? Вам не приходилось думать об этом?

Раз, когда он швырял величайших монархов, завоевателей, поэтов, пророков, мошенников и пиратов — всех в одну грудку, как швыряют кирпич, я не выдержал позора человеческого достоинства и спросил, почему, собственно, ему кажется, что так велика разница между ним и людьми. Он был сперва озадачен, он не сразу сумел понять, как мог я задать такой странный вопрос. Потом он сказал:

— Какая разница между мной и человеком? Какая разница между смертностью и бессмертием, между пролетающим облаком и вечно живущим духом?

Он поднял травяную тлю и посадил ее на кусок коры.

— Какая разница между этим созданием и поэтом Гомером, между этим созданием и Юлием Цезарем?

Я сказал:

— Нельзя сравнивать то, что несравнимо ни по масштабу, ни по своей природе.

— Ты сам ответил на свой вопрос, — сказал он. — Сейчас я все поясню. Человек создан из грязи, я видел, как он был создан. Я не создан из грязи. Человек — это собрание болезней, вместилище нечистот. Он рожден се-

годня, чтобы исчезнуть завтра. Он начинает свое существование как грязь и кончает как вонь. Я же принадлежу к аристократии вечных существ. Кроме того, человек наделен Нравственным чувством! Ты понимаешь, что это значит? Он наделен Нравственным чувством! Довольно этого одного, чтобы оценить разницу между мною и им.

Он замолчал, как бы исчерпав тему. Я был огорчен. Хотя в то время я имел очень смутное представление о том, что такое Нравственное чувство, я тем не менее знал, что, имея его, следует этим гордиться, и меня задела ирония Сатаны. Так, должно быть, огорчается вырядившаяся молодая франтиха, когда слышит, как люди смеются над ее любимым нарядом, а она-то считала, что все от него без ума! Наступило молчание, мне было грустно. Помолчав, Сатана заговорил о другом, и скоро его живая, остроумная, брызжущая весельем беседа вновь захватила меня. Он нарисовал несколько уморительно смешных сцен. Он рассказал, как Самсон привязал горящие факелы к хвостам диких лисиц и пустил их на поля филистимлян; как Самсон сидел на плетне, хлопая себя по ляжкам, и хохотал до слез, а под конец свалился от смеха на землю. Вспоминая все это, Сатана сам рассмеялся, а следом за ним и мы трое дружно принялись хохотать.

Немного погодя он сказал:

— Теперь мне пора уходить, у меня неотложное дело.

— Не уходи! — закричали мы хором. — Ты уйдешь и не вернешься назад.

— Я вернусь, я даю вам слово.

— Когда? Сегодня же вечером? Скажи — когда?

— Скоро. Я вас не обманываю.

— Мы любим тебя.

— И я вас люблю. И на прощание покажу вам забавную штуку. Обычно, уходя, я просто исчезаю из глаз. А сейчас я неспешно растаю в воздухе, и вы это увидите.

Он поднялся на ноги и тотчас стал быстро меняться у нас на глазах. Его тело словно бы таяло, пока он не сделался вовсе прозрачным, как мыльный пузырь, сохраняя при этом свой прежний облик и очертания. Сквозь него были видны теперь окружающие кусты, и весь он переливался и сверкал радужным блеском и отражал на своей поверхности тот рисунок наподобие оконного переплета, который мы наблюдаем на поверх-

ности мыльного пузыря. Вам, наверно, не раз приходилось видеть, как пузырь катится по полу и, прежде чем лопнуть, легко подскакивает кверху раз или два. С ним было то же. Он подскочил, коснулся травы, покатился, взлетел кверху, коснулся травы еще раз, еще, потом лопнул—пуфф! — и ничего не осталось.

Это было удивительно красивое зрелище. Мы молчали и продолжали, как прежде, сидеть щурясь, раздумывая, теряясь в мечтах. Потом Сеппи встал и сказал нам с печальным вздохом:

— Наверно, ничего этого не было.

И Николаус вздохнул и сказал что-то в том же роде.

Мне было грустно, та же мысль беспокоила и меня. Тут мы увидели отца Питера, который возвращался назад по тропинке. Он шел согнувшись и что-то искал в траве. Поравнявшись с нами, он поднял голову, увидел нас и спросил:

— Вы давно здесь, мальчики?

— Недавно, отец Питер.

— Значит, вы шли за мной и, быть может, поможете мне. Вы шли тропинкой?

— Да, отец Питер.

— Вот и отлично. Я тоже шел этой тропинкой. Я потерял кошелек. Почти что пустой, да не в этом дело, в нем все, что у меня есть. Вы не видели кошелька?

— Нет, отец Питер, но мы вам поможем искать его.

— Об этом я и хотел просить вас. Да вот он лежит!

В самом деле! Кошелек лежал на том самом месте, где стоял Сатана, когда начал таять у нас на глазах, если, конечно, все это не было сном. Отец Питер поднял кошелек, и на лице его выразилось недоумение.

— Кошелек-то мой,—сказал он,—а содержимое — нет. Мой кошелек был тощий, а этот — полный. Мой кошелек был легкий, а этот — тяжелый.

Отец Питер открыл кошелек и показал его нам: он был туго набит золотыми монетами. Мы смотрели во все глаза, потому что никогда не видели столько денег сразу. Мы раскрыли рты, чтобы сказать: это дело рук Сатаны,—но ничего не сказали. Так вот оно что! Когда Сатана не хотел, мы просто не могли вымолвить ни единого слова. Он нас предупреждал.

— Мальчики, это ваших рук дело?

Мы засмеялись, и отец Питер тоже, поняв всю нелепость того, что сказал.

— Здесь был кто-нибудь?

Мы снова раскрыли рты, чтобы ответить, но ничего не сказали. Сказать, что никого не было, мы не могли, это было бы ложью, а другого ответа не находилось. Мне вдруг пришла на ум верная мысль, и я сказал:

— Здесь не было ни единого человека.

— Да, это так,— подтвердили мои товарищи, стоявшие оба, разинув рты.

— Вовсе не так,— возразил отец Питер и строго на нас посмотрел. — Правда, здесь было пусто, когда я проходил, но это еще ничего не значит. С тех пор кто-то здесь побывал. Человек этот мог, конечно, вас обогнать, и я вовсе не утверждаю, что вы его видели. Но то, что здесь кто-то прошел, несомненно. Дайте мне честное слово, что вы никого не видели.

— Ни единого человека.

— Ну хорошо, я вам верю.

Он присел и стал считать деньги. Мы опустились рядом с ним на колени и принялись раскладывать золотые монетки на маленькие равные кучки.

— Тысяча сто дукатов с лишним! — сказал отец Питер. — О боже, если бы мне эти деньги! Я так нуждаюсь!

Губы его задрожали, голос пресекся.

— Деньги ваши,— закричали мы хором. — До последнего геллера.

— Увы, здесь моих только четыре дуката. А остальное...

Бедный старик принялся размышлять, поглаживая монеты в руках, и вскоре забылся в думах. Он сидел на корточках, с непокрытой седой головой, на него было больно глядеть.

— Нет! — сказал он, как бы очнувшись. — Деньги чужие, и я не могу ими пользоваться. Быть может, это ловушка. Какой-нибудь враг...

Николаус сказал:

— Отец Питер, если не считать отца Адольфа, у вас и у Маргет не найдется врага во всей нашей деревне. А если бы и нашелся такой, неужели он бы пожертвовал тысячу сто дукатов лишь для того, чтобы сыграть с вами злую шутку? Подумайте-ка об этом!

Отец Питер не мог не признать, что Николаус привел здравый довод, и немножко приободрился.

— Даже если ты прав, деньги-то все равно не мои.

Он сказал это слабым голосом, словно был бы доволен, если бы мы привели ему какое-нибудь возражение.

— Они ваши, отец Питер, все мы свидетели. Правда, ребята?

— Конечно, все мы свидетели! Так мы и скажем.

— Благослови вас господь, мальчики, вы почти меня убедили. Сотня дукатов спасла бы меня. Дом мой заложен, и если к завтрашнему дню мы не уплатим долга, нам негде будет преклонить голову. Но у меня всего четыре дуката...

— Деньги ваши до последней монеты. Возьмите их, отец Питер. Мы поручимся, что деньги ваши. Не так ли, Сеппи? И ты, Теодор?

Мы поддержали Николауса, и он набил ветхий кошелек золотыми монетами и вручил его старику. Отец Питер сказал, что он возьмет себе двести дукатов — его дом стоит того, и послужит надежным залогом, — а остальное отдаст под проценты, пока не разыщется настоящий владелец. Нас же он позже попросит подписать свидетельство, как эти деньги нашлись, чтобы никто не подумал, что он спасся от своей неминуемой беды бесчестным путем.

Глава IV

В деревне было немало шума, когда на другое утро отец Питер уплатил свой долг Соломону Айзексу золотыми монетами, а остаток денег поместил у него под проценты. Наблюдались также другие приятные перемены: многие из деревенских жителей посетили отца Питера, чтобы поздравить его, некоторые из его бывших друзей вновь обрели с ним дружбу, а в довершение всего Маргет получила приглашение на танцы.

Отец Питер не делал тайны из своей находки. Он рассказывал все подробно, каким путем получил свои деньги, и добавлял, что не знает, как объяснить случившееся: разве только это рука провидения.

Были слушатели, которые покачивали головами, а потом толковали между собой, что это больше походит на фокусы Сатаны (нельзя не признать, что эти темные люди проявили на сей раз изрядную проницательность). Были еще и такие, что старались всякими хитроумными способами выведать у нас у троих «настоящую правду». Они говорили, что ищут ее не из каких-нибудь тайных видов, а просто так, интереса ради, и клялись молчать. Они даже сулили заплатить нам за нашу тайну; и если бы мы сумели придумать какую-нибудь небылицу, то, пожалуй, и согласились бы, но ни-

чего почему-то не шло в голову, и мы не без досады должны были отказаться от соблазнительной сделки.

Эту тайну мы держали при себе без особых мук, но другая тайна, великая и ослепительная, жгла нас словно огнем. Она так и просилась наружу. Нам ужасно хотелось ее разгласить и поразить всех своим рассказом. Но мы были вынуждены хранить свою тайну, а вернее, она сама хранила себя, как предсказал Сатана.

Каждое утро мы уходили и уединялись в лесу, чтобы потолковать о Сатане. По правде сказать, ничто нас больше не занимало, и ни о ком мы больше не желали думать. День и ночь мы высматривали его, ждали, придет ли он, и нетерпение наше все возрастало. Прежние друзья утратили для нас интерес, мы не могли больше участвовать в их играх и в их забавах. По сравнению с Сатаной они были такие скучные. Какими пресными и унылыми казались нам их речи, их интересы рядом с его рассказами о древних временах и отдаленных созвездиях, с его чудесами, с его таинственными исчезновениями!

Весь тот день, когда отец Питер нашел эти деньги, нас сильно заботила невольная мысль, и мы то и дело под разными предлогами наведывались к священнику, чтобы проверить, как там дела. Мы боялись, что золотые монеты вдруг обратятся в прах, как это обычно бывает с деньгами, полученными волшебством. Но ничего худого не приключилось. Пришел вечер — все было в порядке, и мы успокоились. Это было настоящее золото.

У нас был еще один важный вопрос к отцу Питеру, и на второй вечер мы трое пошли к нему, предварительно бросив жребий, кто будет держать речь, потому что этот вопрос нас сильно смущал. Напустив на себя равнодушный вид, но не поборов все же внутреннего смущения, я спросил:

— Что такое Нравственное чувство, сэр?

Он удивленно взглянул на меня поверх своих больших очков.

— Это то, что позволяет нам отличать добро от зла.

Ответ отца Питера не устранил наших недоумений. Я был озадачен и отчасти разочарован. Он ждал, что скажу я еще, и я, не зная, как быть, спросил:

— А к чему оно нам, сэр?

— К чему оно нам? Боже милостивый! Нравственное чувство, дружок, это то, что возвышает нас над бессловесными тварями и дает нам надежду на будущее спасение.

Я не знал, что еще сказать, и мы попрощались и вышли из дома священника со странным чувством, словно мы ели, наелись досыта, но не утолили голода. Мои друзья хотели, чтобы я разъяснил им слова отца Питера, но я почувствовал вдруг утомление и ничего не сумел им сказать.

Когда мы проходили через гостиную, то увидели, что Маргет играет на клавикордах со своей ученицей Мари Люгер, и это значило, что к Маргет вернутся и все остальные ученики. Маргет вскочила и со слезами принялась благодарить нас за то, что мы спасли от беды ее и ее дядю, а мы ей сказали, что мы тут совсем ни при чем. Это был уже третий раз, что она нас благодарила. Уж такая она была девушка: если кто-нибудь сделает для нее хоть какую-нибудь безделицу, она будет век благодарна. Мы не мешали ей выражать свои чувства. В саду мы встретили Вильгельма Мейдлинга. Близился вечер, и он пришел пригласить Маргет прогуляться с ним у реки, когда она кончит урок. Мейдлинг был молодой адвокат, он пользовался популярностью у нас в городке, дела его шли потихоньку, но все же успешно. Он и Маргет любили друг друга, и Мейдлинг не покинул в беде священника, как сделали все другие, а был по-прежнему с ними, хоть это и отразилось на его отношениях с людьми и на юридической практике. Маргет и отец Питер оценили верность молодого юриста. Он не обладал выдающимся дарованием, но был приветливым добрым малым, а это тоже немалый талант и помогает нам в жизни. Вильгельм Мейдлинг спросил, скоро ли окончится у Маргет урок, и мы сказали, что он уже близок к концу. Может быть, это было так, а может быть, и не так. Мы знали, что он с нетерпением ждет окончания урока, и нам хотелось его порадовать.

Глава V

На четвертый день после всех этих событий отец Адольф вышел из своего полуразрушенного аббатства в долине и по дороге в деревню, как видно, узнал о случившемся. Он отозвал нас в сторону, и мы рассказали ему все, что было возможно. Он погрузился в раздумье и думал долго. Потом спросил:

— Сколько денег было в кошельке?

— Тысяча сто семь дукатов.

Тогда он сказал, словно вслух размышляя:

— Странная история... Оч-чень странная. Удивительное совпадение. — И стал нас снова расспрашивать и заставил еще раз все рассказать до конца. Потом он сказал:

— Тысяча сто шесть дукатов. Немалые деньги.

— Тысяча сто семь, — поправил его Сеппи.

— Сто семь, говоришь? Дукатом больше, дукатом меньше — не имеет значения. Но сперва ты сказал — тысяча сто шесть.

Мы знали, что он не прав, но опасались противоречить ему. Наконец Николаус сказал:

— Если мы ошиблись, то извините нас, но там было ровно тысяча сто семь дукатов.

— Пусть это тебя не тревожит, друг мой. Я только хотел отметить, что ты и твои друзья в этом путаетесь. Да и неудивительно, прошло уже несколько дней, от вас нельзя теперь требовать точности. Когда нет особых примет, чтобы твердо запомнить счет, память часто нам изменяет.

— Такие приметы были, сэр! — возразил ему быстро Сеппи.

— Какие же, сын мой? — спросил отец Адольф безразличным тоном.

— Мы считали монеты по очереди, и у всех получалось тысяча сто шесть дукатов, потому что одну монету я спрятал. А когда пришла моя очередь, я положил ее снова и сказал: «Вы ошиблись, здесь тысяча сто семь... Пересчитайте». Они посчитали еще раз и удивились. Тогда я сказал им, что спрятал монету.

Отец Адольф спросил у нас, как было дело, и мы подтвердили рассказ Сеппи.

— Все ясно! — сказал он. — Эти деньги краденые, дети мои, и я знаю, кто вор.

Он ушел, оставив нас в сильной тревоге. Что все это может значить? Через час все в деревне уже знали, что отец Питер арестован за кражу; он украл у отца Адольфа большие деньги. Деревня гудела, как улей. Одни говорили, что это, конечно, ошибка, — такой человек, как отец Питер, денег не украдет. Другие покачивали головами — лишения и голод толкнут хоть кого на преступление. В одном, впрочем, все сходились: рассказ отца Питера о том, как ему достались дукаты, неправдоподобен — такого ведь не бывает. Вспомнили и о нас. Мы засвидетельствовали находку священника; теперь все хотели знать, сколько он заплатил нам за это. Люди так прямо и говорили и только презрительно

фыркали, когда мы просили их верить, что наше свидетельство ни в чем не отходит от истины. Родные сердились на нас пуще всех. Отцы говорили, что мы позорим семью, и велели нам тотчас отречься от лжи. Мы продолжали стоять на своем, и гнев их был беспределен. Матери горько рыдали, умоляли нас возвратить отцу Питеру взятку, чистосердечно во всем признаться, вернуть себе честное имя, снять позор с семьи. Под конец нас так замучили эти попреки, что мы уже были готовы рассказать все, как было,—про встречу с Сатаной и дальнейшее; но слова не шли у нас с языка. Все это время мы ждали, что Сатана придет и поможет нам выпутаться, но его не было.

Прошло не более часа после нашей беседы с отцом Адольфом, и отец Питер уже сидел за решеткой, а деньги были опечатаны и переданы властям. Деньги лежали все так же в мешке; Соломон Айзекс сказал, что, раз просчитав их, он к ним больше не прикасался. Он присягнул также, что это те самые деньги и что их ровно тысяча сто семь дукатов. Отец Питер потребовал, чтобы его судили духовным судом, но отец Адольф заявил, что священнослужитель, отрешенный от должности, неподсуден такому суду. Епископ склонялся к такому же мнению, и это решило вопрос. Дело отца Питера подлежало разбору в светском суде. Суд должен был собраться через короткое время. Вильгельм Мейдлинг хотел защищать отца Питера на суде и готов был, конечно, сделать все, что в человеческих силах, но нам он по секрету сказал, что доказательства недостаточны, чтобы выиграть дело. Сила и предубеждение на стороне противников.

Новое счастье Маргет оказалось недолговечным. Никто из друзей не пришел, чтобы выразить ей сочувствие, да она и не ждала их. В анонимной записке ей спешно сообщили, что приглашение на танцы отменено. Ученицы перестанут ходить к ней. На что она будет жить? На улицу, правда, ее не гнали,—закладная считалась оплаченной, хоть дукаты, миновав незадачливого Соломона Айзекса, перешли в руки властей. Старуха Урсула, которая в свое время нянчила Маргет и служила теперь в доме у отца Питера кухаркой, горничной, экономкой и прачкой в одном лице, говорила, что господь не даст им погибнуть. Старуха так говорила потому, что была богобоязненной католичкой и так говорить полагалось; но при том понимала, что господней помощи надо искать; сама она в руки не дастся.

Мы решили было отправиться к Маргет и подтвердить ей, что мы, как и прежде, ее друзья, но родители запретили нам это, боясь оскорбить чувства отца Адольфа. Он бродил по деревне, восстанавливая всех против отца Питера и повторяя, что тот украл у него тысячу сто семь дукатов. Он говорил, что сразу понял, кто вор, когда услышал, что отец Питер «нашел» ту самую сумму денег, которую он утратил.

На четвертый день после этих печальных событий к нам в дом постучалась старуха Урсула, спросила, нет ли чего постирать. Она умоляла мою мать никому не рассказывать, иначе Маргет узнает и запретит ей ходить на заработки. У них нечего есть, и Маргет совсем ослабела. Сама Урсула тоже была слаба, это было сразу заметно по ней. Когда ее позвали к столу, она набросилась на еду, как умирающий с голоду, но взять что-нибудь с собой отказалась; Маргет, сказала она, не примет милостыни.

Забрав белье, Урсула пошла к ручью постирать, но мы увидели через окно, что она с трудом держит в руках валец. Тогда мы позвали ее назад и предложили ей денег. Она сначала отнекивалась, боясь, как бы Маргет не догадалась, что деньги дареные, а потом все же взяла и решила сказать Маргет, что нашла их, идя по дороге. Чтобы при том не солгать и не погубить свою душу, она попросила меня уронить монету где-нибудь у нее на виду. Я так и сделал. Она словно вдруг заметила, подняла, удивленно и радостно вскрикнула и зашагала дальше. Как и все в нашей деревне, Урсула лгала без зазрения совести и не страшилась адского пламени, когда дело касалось обиходных, привычных вещей. История с монетой была необычной и потому внушала ей опасения. Попрактиковавшись с неделю в подобной лжи, она попривыкла бы к ней и лгала бы уже с легкостью. Таковы и мы все.

Меня не оставляла тревожная мысль: на что они будут жить дальше? Не может же Урсула находить каждый день по монете,— вторая такая находка и то будет выглядеть странной. Мне было стыдно, что я не бываю у Маргет, когда она так нуждается в дружеской помощи. Правда, вина не моя, а моих родителей; тут я не мог ничего поделать.

Грустный шагал я один по тропинке, как вдруг меня пронизало, как дрожь, бодрящее чувство свежести. Я возликовал — ощущение было уже мне знакомо — Сатана был где-то поблизости. Через миг он шагал рядом

со мной, и я рассказывал ему о несчастье, случившемся с Маргет и ее дядей, и о наших тревогах. Повернув за угол, мы увидели старую Урсулу; она сидела под деревом. На коленях у нее приютился тощий бездомный котенок. Я спросил, откуда он взялся, и Урсула ответила, что он прибежал из леса и не отстает от нее ни на шаг. Котенок, как видно, остался без матери и без хозяев, и она хочет взять его. Сатана вмешался:

— Я слышал, вы сильно нуждаетесь. К чему вам еще один рот в доме? Почему не отдать котенка кому-нибудь, кто побогаче?

Урсула почувствовала себя задетой и возразила:

— Уж не вы ли желаете его взять? Если судить по вашим манерам и платью, вы, наверное, из богачей.

Презрительно фыркнув, она продолжала:

— Отдать кому побогаче — недурная затея! Богатые люди думают лишь о себе, а бедняк посочувствует бедняку и поможет ему. Бедняк да господь бог! Господь бог поможет котенку.

— Почему вы так думаете?

Урсула сердито сверкнула глазами.

— Я не думаю, я уверена, — сказала она. — Воробей не падет на землю без воли господней.

— Раз падет, так не все ли равно, по воле или без воли господней.

Старуха Урсула раскрыла рот, но ничего не сказала: так ужаснули ее эти слова. Когда она обрела, наконец, дар речи, то закричала с гневом:

— Пошел вон отсюда, щенок, пока тебя не погнали палкой!

Я замер от страха. Я знал, что Сатана, со своими взглядами на человеческий род, может, не моргнув даже глазом, убить Урсулу и потом объяснить, что таких старух и без нее сколько угодно. Предупредить Урсулу я тоже не мог, слова не сходили у меня с языка. Ничего страшного, однако, не приключилось. Сатана остался спокойным — спокойным и безразличным. Я думаю, что Урсула не в силах была его оскорбить, по той же причине, по какой навозный жук не в силах оскорбить короля. Прикрикнув на Сатану, старуха вскочила на ноги с живостью молодой девушки — уже много лет она не чувствовала себя такой сильной. Это было влияние Сатаны. Он вливал силу в слабого и бодрость в немощного. Действие этой силы почувствовал даже тощий котенок: он прыгнул на землю и погнался за сухим листком. Урсула была поражена. Позабыв про свой гнев,



она глядела теперь на котенка и в удивлении покачивала головой.

— Что с ним случилось? — спросила она. — Он был ведь такой слабенький, еле ходил.

— Мне кажется, вам не случалось иметь дела с кошками этой породы, — сказал Сатана.

Урсула не собиралась любезничать с неизвестно откуда взявшимся насмешником. Она сердито поглядела на него и сказала:

— Не знаю, откуда вы пожаловали сюда и зачем вы ко мне привязываетесь. Не беритесь судить, с чем я имела дело и с чем не имела.

— Хорошо, а встречались ли вам котята, у которых сосочки на языке глядят не назад, а вперед?

— Нет, да и вам тоже!

— А ну-ка, троньте язычок у котенка.

Урсула стала очень проворной, но котенок был еще поворотливее ее, так что она не сумела его поймать. Сатана сказал:

— Позовите его по имени. Может быть, он тогда подойдет.

Урсула стала кликать котенка то так, то эдак, но он не слушался.

— А ну, позовите его: «Агнесса». Попробуйте.

Котенок откликнулся на имя «Агнесса» и подбежал к старухе.

Урсула потрогала ему язычок.

— А верно, — сказала она. — Провалиться мне на этом месте! Никогда не встречала таких кошек. Уж не ваша ли это кошка?

— Нет.

— А откуда вы знаете, как ее звать?

— Всех кошек этой породы зовут Агнессами, на другое имя они просто не откликаются.

На Урсулу это произвело впечатление.

— Странное дело, — сказала она.

Потом на ее лице мелькнула тревога; в ней проснулось суеверное чувство. С видимой неохотой она опустила котенка на землю:

— Пожалуй, пусть лучше идет. Я не боюсь, разумеется... чего тут бояться... но священник нам говорил... и люди тоже рассказывали... Приходилось не раз слышать... Да и котенок вроде окреп и сумеет теперь сам о себе позаботиться.

Повздыхав, старуха пошла было прочь, потом тихо сказала:

— Славный такой котенок, и нам было бы веселее. А то дома так одиноко и грустно в эти тревожные дни... Мисс Маргет все время горюет, совсем в тень превратилась, а хозяин в тюрьме...

— Жаль бросать такого котенка,—сказал Сатана. Урсула живо оборотилась, словно надеясь получить у него поддержку.

— Почему вы так думаете? — спросила она грустно.

— Кошки этой породы приносят удачу.

— Правда? Приносят удачу? Откуда вы знаете? И как они приносят удачу?

— Не берусь сказать вам, как именно, но они приносят доход.

Урсула была разочарована.

— Доход? От кошки? Не верится! Да и не в нашей деревне! Здесь кошку не купят, задаром и то не возьмут.

Урсула уже повернулась, чтобы идти домой.

— Зачем же ее продавать? Оставьте себе. Кошек этой породы зовут Кошками, Приносящими Счастье. Владелец такой кошки каждое утро находит в кармане четыре серебряных зильбергроша.

Я видел, как старуха вспыхнула от негодования. Это уж слишком: мальчишка над ней насмехается. Засунув руки в карманы, она расправила плечи, чтобы по-своему его отчитать. Сейчас она ему скажет! Урсула раскрыла рот и уже начала свою гневную речь, как вдруг замолчала. Досада в ее лице уступила место растерянности, удивлению, испугу. Медленно вытащив обе руки из карманов, она разжала свои кулаки и уставилась на ладони. На одной лежала монета, которую она утром получила от нас, на другой — четыре серебряных зильбергроша. Она продолжала глядеть на монеты, ожидая, что они вдруг исчезнут. Но потом сказала с жаром:

— Да, это правда! Правда! Мне геперь очень стыдно, и я прошу прощения у вас, о господин мой и благодетель!

Подбежав к Сатане, она стала целовать ему руки, как это в обычае у нас в Австрии.

В глубине души Урсула, может быть, и считала, что все, что случилось,— чистое колдовство и что кошка орудие дьявола, но это было, пожалуй, и к лучшему, потому что вселяло уверенность, что деньги будут поступать аккуратно, и они с Маргет будут сыты и обеспечены. В той мере, в какой это касается денег, даже самые благочестивые из наших крестьян считают сделку с дья-

волом более надежной, чем с ангелом. Урсула направилась быстро домой, держа Агнессу в руках, и я позавидовал кошечке, что она сейчас увидится с Маргет.

Едва я успел это подумать, как мы были в доме священника. Мы стояли в гостиной, и Маргет глядела на нас с удивлением. Маргет была очень бледная, слабенькая, но я был уверен, что она почувствует себя лучше в присутствии Сатаны. Так и случилось. Я представил ей Сатану, как Филиппа Траума. Мы сели втроем, началась беседа. Никакой принужденности не чувствовалось. Мы, деревенские жители, люди простые, и если гость приходится нам по душе, мы привечаем его. Маргет сперва удивилась, почему же она не видела, как мы вошли. Траум ответил, что дверь была приоткрыта, мы вошли незамеченными и ждали, пока Маргет к нам обернется. Это была неправда. Дверь была на замке, и мы с ним проникли каким-то иным путем, через крышу, сквозь стены, спустились ли по трубе, я уж не знаю. Впрочем, когда Сатана хотел в чем-нибудь убедить своих слушателей, это ему всегда удавалось. И сейчас Маргет вполне удовлетворилась его объяснением. Не говорю уж, что она была полностью поглощена им самим, не могла глаз от него отвести, такой был он красавец. Я был доволен и очень гордился им. Я надеялся, что Сатана покажет какие-нибудь чудеса, но он, очевидно, намерен был в этот раз обойтись приятной беседой — и вдобавок еще враньем. Так, например, он сказал, что он сирота. Это вызвало жалость у Маргет, и слезы сверкнули в ее глазах. Он сказал, что не знал никогда материнской ласки, что его мать умерла, когда он был еще маленьким. Отец же был слаб здоровьем и небогат, — во всяком случае, богатства его отца были не те, что ценятся в этом мире. Зато у него есть дядюшка в далеких тропических странах, делец, богач и владелец доходнейшей монополии: за счет этого дяди он и живет. Упоминание о щедром дядюшке заставило Маргет вспомнить своего дядю, и в глазах у нее снова блеснули слезы. Она сказала, что было бы очень приятно, если бы его дядя и ее дядя когда-нибудь познакомились. У меня по спине пробежали мурашки. Филипп сказал, что такое знакомство вполне вероятно. Я снова вздрогнул.

— Чего не бывает на свете, — промолвила Маргет. — Ваш дядюшка путешествует?

— Да, постоянно. У него ведь дела по всему свету...

[...] Так шла беседа, и бедная Маргет позабыла на время все свои горести. Это был у нее, должно быть, первый приятный час за долгое время. Я видел, что Филипп ей очень понравился; впрочем, это было легко заранее предвидеть. Когда же он заявил, что готовится стать священником, то понравился ей еще больше. Затем он пообещал, что устроит ей пропуск в тюрьму, чтобы увидеться с отцом Питером,—тут она просто пришла в восторг. Он сказал, что подкупит стражу. Ее же дело, как только стемнеет, прямо идти в тюрьму, и там, без дальних затей, предъявить записку, которую он ей даст,—при входе, и при выходе. Он начертил на листке какие-то странные письма и вручил ей записку. Маргет радостно поблагодарила его и с нетерпением стала ждать сумерек. Надо сказать, что в эти старые жестокие времена узникам не позволяли видаться с близкими, и бывало, что они проводили долгие годы в темнице, так и не увидев ни разу дружеского лица. Я решил, что письма на бумаге—какое-то заклинание, что стражники пропустят Маргет, не понимая, что делают, и тут же забудут об этом. Так оно и случилось.

Урсула просунула в дверь голову и сказала:

— Ужин готов, барышня.

Тут она заметила нас, испуганно поманила меня, и когда я к ней подошел, спросила, не рассказали ли мы Маргет про кошку. Когда я ответил, что нет, она осталась довольна и просила молчать и дальше, а то мисс Маргет подумает, что тут колдовство, пошлет за священником, тот освятит кошку, и доходам придет конец. Я сказал, что мы будем молчать, и она успокоилась. Я начал прощаться с Маргет, но Сатана прервал меня и каким-то путем, не нарушив не единого правила вежливости, устроил все дело так, что мы остались поужинать. Маргет была смущена, она знала, что их ужином не накормишь и цыпленка. Урсула услышала в кухне наш разговор и вошла в комнату очень рассерженная. Она не скрывает своего удивления, когда увидела, как весела Маргет и какой яркий румянец играет у нее на щеках. Потом, обратившись к ней на своем родном богемском наречии, сказала (я выяснил это позднее):

— Бессовестный, прийти в дом без приглашения. Как умеет втереться в доверие! Пусть уходит, мисс Маргет. Нам нечем их накормить.

Маргет не успела еще ничего ей ответить, как Сатана вмешался, обратившись к Урсуле на ее родном

диалекте (чем удивил немало обеих). Он спросил у Урсулы:

— Не с вами ли мы беседовали недавно тут на дороге?

— Да, сударь, со мной.

— Очень приятно. Я вижу, вы еще не забыли меня.

— Понятное дело, сударь. Вас увидишь, не скоро забудешь. Вы, сударь, очень добры, но очень настырны.

— Сумеете хранить тайну?

— Буду стараться, сударь. За доброту вашу, не за настырность.

Он подошел к ней и тихо шепнул:

— Разве я не сказал вам, что это Кошка, Приносящая Счастье? Не тревожьтесь об ужине.

Беспокойство Урсулы как рукой сняло, и в ее глазах блеснули жадность и удовольствие. Как разумно она поступила, что взяла в дом эту кошку! Маргет не сразу освоилась с мыслью, что мы останемся ужинать, а потом просто и безыскусственно, как было в ее обычае, сказала, что ужин скудный, но она будет рада, если мы его с ней разделим.

Ужин был подан на кухне, Урсула прислуживала. На сковородке, аппетитно потрескивая, жарилась рыбка; для Маргет, видимо, подобная роскошь была неожиданностью. Урсула подала рыбку к столу, и Маргет, поделив ее на две порции — одну Сатане, а другую мне, — уже начала объяснять, почему ей сегодня не хочется рыбы, но вдруг замолчала: на сковородке уже жарилась другая, цельная рыбка. Хоть Маргет и была удивлена, но ничего не сказала. Должно быть, она решила ни о чем Урсулу не спрашивать, пока мы с Сатаной не уйдем. Неожиданность следовала за неожиданностью: на столе появилось вино, потом блюдо с мясом, дичь, фрукты — угощения, каких давно уже не было в этом доме. Маргет ничего не говорила и даже перестала выражать удивление; в этом, конечно, сказывалось воздействие на нее Сатаны. Сатана, не умолкая, болтал, был весел и остроумен, и время шло незаметно. Он здорово врал, но трудно было его упрекать. В конце концов он был ангел, а ангелы в подобных вопросах не разбираются. Они не отличают хорошего от дурного. Сатана сам мне так говорил. Он решил зачем-то понравиться и Урсуле и стал в разговоре с Маргет ее расхваливать — будто бы потихоньку, но так, чтобы Урсула все слышала. Он сказал, что она красивая женщина и что он хотел бы познакомиться с ней своего дядю. Не прошло

и пяти минут, как Урсула уже интересничала и жеманилась, изображая из себя молодую девушку, и оглаживалась, как свихнувшаяся старая курица. Вдобавок она делала вид, будто не слышит, что говорит Сатана. Мне было стыдно за Урсулу, ее поведение подтверждало слова Сатаны, что люди глупы и пошлы. Сатана сказал, что его дядя часто должен устраивать большие приемы. Умная женщина, которая заняла бы место хозяйки в доме, сумела бы сделать их, без сомнения, еще более привлекательными.

— Ваш дядя, наверное, из знатного рода? — спросила Маргет.

— Да,— отвечал Сатана равнодушно. — Некоторые даже, желая польстить ему, именуют его князем. Но он, что называется, без предрассудков и оценивает людей не по званию, а по их личным качествам.

Маргет сказала, что он, наверное, привлекательный господин и многие ищут его знакомства. Сатана согласился, добавив, что особенно ценит его духовенство. Без него все священники остались бы без работы.

Я сидел, опустивши руку, и Агнесса, подойдя, лизнула ее язычком. Истина обнаружилась. Я открыл рот, чтобы сказать: «Экие глупости! Самая обыкновенная кошка! Сосочки у нее на языке смотрят назад, а не вперед». Но слова почему-то застряли у меня в глотке. Сатана засмеялся, и я понял, что должен об этом молчать.

Когда стемнело, Маргет уложила в корзину фрукты, много всякой еды и питья и побежала в тюрьму, а мы с Сатаной не спеша направились к моему дому. Я подумал, что было бы интересно узнать, что происходит за тюремными стенами. Сатана подслушал мою мысль, и в ту же минуту мы с ним были в тюрьме. Он сказал, что мы находимся в камере для допроса. Я увидел дыбу и другие орудия пыток; дымящиеся факелы по стенам создавали зловещий сумрак. Кругом собрались палачи и еще какие-то люди. Они не обращали на нас никакого внимания,—это значило, что мы с Сатаной невидимы.

На полу лежал молодой человек, связанный по рукам и ногам. Сатана сказал, что его подозревают в ереси и сейчас будут допрашивать. Палачи требовали, чтобы он признался в своей вине. Он отказывался, утверждая, что невиновен. Тогда они принялись загонять ему под ногти деревянные шпильки, и он стал громко кричать от боли. Сатана остался невозмутим, но я не вынес

этого зрелища, и он вытащил меня наружу почти без чувств. Свежий воздух помог мне прийти в себя, и мы направились к моему дому. Я сказал, что это ужасное зверство.

— Нет, это чисто человеческая жестокость. Ты оскорбляешь своими словами зверей. Они этого не заслуживают.

Он стал развивать эту тему:

— Таковы все вы, люди. Лжете, претендуете на добродетели, которых у вас и в помине нет, и не желаете признавать их за высшими животными, которые действительно их имеют. Зверь никогда не будет жестоким. Это прерогатива тех, кто наделен Нравственным чувством. Когда зверь причиняет кому-либо боль, он делает это без умысла, он не творит зла, зло для него просто не существует. Он никогда не причинит никому боли, чтобы получить от того удовольствие; так поступает только один человек. Человек поступает так, вдохновленный все тем же ублюдочным Нравственным чувством. При помощи этого чувства он отличает хорошее от дурного, а затем решает, как ему поступить. Каков же его выбор? В девяти случаях из десяти он предпочитает поступить дурно. На свете нет места злу; и его не было бы совсем, если бы не вы с вашим Нравственным чувством. Беда в том, что человек нелогичен, он не понимает, что Нравственное чувство позорит его и низводит до уровня самого низшего из одушевленных существ. Ну как, прошла твоя дурнота? Сейчас я тебе еще кое-что покажу.

•

Глава VI

Миг — и мы очутились во Франции. Мы идем по огромной фабрике. Вокруг нас в грязи и в духоте, окруженные облаком пыли, трудятся мужчины, женщины, дети. Они в лохмотьях, двигаются с трудом; они голодны и измучены; веки у них смыкаются на ходу. Сатана сказал:

— Вот тебе Нравственное чувство на практике. Владельцы этой фабрики богаты и богомольны. Но братьям своим и сестрам, работающим на них, они платят так мало, что те только что не мрут с голоду. Эти люди, дети и взрослые, трудятся по четырнадцать часов в день, зиму и лето, с шести утра до восьми вечера. От лачуг, в которых они ютятся, до фабрики добрых четырех мили, и они проходят эти четыре мили дважды в день, по лужам и грязи, в дождь и в снег, в гололедицу

и метель, — год за годом, всю свою жизнь. Спят они четыре часа в сутки, живут в невообразимой грязи и вони, три семьи в одной конуре, и мрут от болезней, как мухи. Быть может, это преступники? Нет, они не повинны ни в каком преступлении. Быть может, они оскорбили священника? Нет, он в восторге от них, он жиреет на их гроши; без них ему тоже пришлось бы трудиться. За что же они так страшно наказаны? Ни за что, разве только за то, что по глупости своей родились людьми. Только что ты видел, как карают виновного; сейчас ты видишь, как карают невинных. Ну что, есть логика у людей? Лучше ли этим немытым праведникам, чем тому еретику? Я думаю, нет. Его страдания ничто по сравнению с их страданиями. Когда мы ушли из тюрьмы, палачи колесовали его и превратили в кровавое месиво. Сейчас он уже мертв и, значит, ускользнул от своих почтенных собратьев. А эти рабы? Они уже умирают годы и годы, и некоторым из них не удастся умереть еще долгое время. Нравственное чувство помогло владельцам этой фабрики разобраться в вопросе, что есть добро и что зло. Результаты ты видишь сам. И вы еще утверждаете, что вы обогнали собак! Не знаю, найдется ли кто на свете менее способный к логическому мышлению, чем ваша людская порода.

Он принялся всячески высмеивать человеческий род. Он пронизировал над тщеславной страстью людей к воинским подвигам, хохотал над «бессмертными героями», «немеркнущей славой», «непобедимыми монархами», «голубой кровью», «историческими достопримечательностями», так насмеялся, что мне, наконец, сделалось не по себе. Немножко поостыв, он сказал:

— В конце концов это не только смешно, но и грустно, если подумать, как коротка и эфемерна вся ваша жизнь и как нелепы ваши претензии.

Окружавшие нас предметы и люди внезапно исчезли. Эта перемена была мне уже знакома. Мы шагали по нашей деревне, внизу у реки поблескивали огни «Золотого оленя». Из тьмы послышался ликующий крик:

— Он здесь!

Это был Сеппи Вольмайер. Сердце у него вдруг забилось быстро и радостно, и он понял, хоть и не мог еще ничего разглядеть в темноте, что Сатана где-то здесь, поблизости. Он подошел к нам, и мы зашагали втроем. Сеппи был вне себя от восторга, словно любовник, нашедший потерянную возлюбленную. Сеппи был живой, смысленый мальчишка и, в отличие от Николау-

са и меня, выражал свои чувства открыто и бурно. Сейчас он был очень взволнован таинственным происшествием: бесследно исчез наш деревенский бродяга Ганс Опперт. Сеппи сказал, что народ любопытствует, куда же он мог подеваться. Он не сказал, что народ беспокоится. Народ любопытствовал, и не более того. Это было сказано очень точно. Ганса никто не видел уже два дня.

— С тех пор, как он учинил эту зверскую штуку, — добавил Сеппи.

— Какую зверскую штуку? — спросил Сатана.

— Видишь ли, он постоянно бьет своего пса. Это добрейший пес, его единственный друг. Он очень предан Гансу, любит его, да и вообще никому не делает зла. И вот третьего дня Ганс принялся вдруг дубасить его ни за что, просто так, ради потехи. Пес ластился к нему и скулил, и мы с Теодором пытались вступиться, но Ганс только бранился, а потом так ударил пса, что выбил ему глаз, а нам сказал: «Вот, получайте! Это за то, что мешаетесь не в свое дело!» И захохотал, подлый зверь.

Голос Сеппи дрогнул от негодования и жалости. Я знал заранее, что скажет сейчас Сатана.

— Опять эта путаница и вздор про зверей. Зверь никогда так не поступит.

— Но ведь это бесчеловечно.

— Нет, Сеппи, как раз человечно. Вполне человечно. Грустно слушать, когда ты порочишь высших животных и приписываешь им побуждения, которые им чужды и живут только в человеческом сердце. Высшие животные не заражены Нравственным чувством. Лучше следи за тем, что ты говоришь, Сеппи, выкинь из головы весь этот лживый вздор.

Тон его был непривычно суровым, и я пожалел, что не успел рассказать Сеппи, что думает Сатана обо всех этих вещах. Я знал, что Сеппи сейчас расстроен. Он охотнее поссорился бы со всеми своими родичами, чем с Сатаной. Мы оба молчали, чувствуя себя очень неловко, как вдруг появился пес Ганса Опперта. Бедняга бросился к Сатане, выбитый глаз висел у него на ниточке; он скулил и повизгивал. Сатана стал ему отвечать, и мы поняли, что они беседуют по-собачьи. Мы сидели все на траве, луна светила сквозь облака, Сатана притянул голову пса к себе на колени и вложил глаз в глазницу, и пес успокоился, завилял хвостом, лизнул Сатане руку и сказал, как он ему благодарен. Я уверен, что это было именно так, хотя и не понял их слов.

Они с Сатаной еще потолковали немного, и Сатана сказал:

— Он говорит, что хозяин был пьян.

— Это верно,— подтвердили мы оба.

— Через час после того, как они ушли из деревни, его хозяин свалился с обрыва возле Клиф-Пасчюрс.

— Клиф-Пасчюрс! Это в трех милях отсюда.

— Он говорит, что уже несколько раз прибегал в деревню за помощью, но его не слушали, гнали прочь.

Мы вспомнили, что пес действительно прибегал, но мы не знали тогда, что ему нужно.

— Он приходил за помощью для человека, который дурно с ним обращался, но ни о чем больше не мог и думать, не просил даже пищи, хотя был очень голоден. Он провел обе ночи возле своего хозяина. Что скажешь теперь о людях? Кто поверит, что вечное блаженство уготовано им, а не этой собаке? Может ли человеческий род соперничать с этой собакой, с ее нравственной силой, с добротой ее сердца? — последние его слова были обращены к псу, который плясал на месте, веселый и счастливый, ожидая, как видно, приказа Сатаны, чтобы тут же его выполнить.

— Соберите народ и идите все за собакой. Она покажет вам, где лежит эта падаль. Возьмите с собой священника, чтобы обеспечить ему блаженство; он при смерти.

С этими словами, к нашему великому огорчению, Сатана исчез. Мы позвали людей и священника, но нашли Опперта уже при последнем издыхании. Все остались равнодушны к его смерти, кроме собаки. Она жалобно скулила, облизывая лицо мертвеца, и была безутешна. Ганса Опперта похоронили без гроба и без отпущения грехов на том самом месте, где он лежал,— он был нищим, у него не было ни единого друга, кроме этой собаки. Если бы мы пришли часом раньше, священник мог бы еще спасти несчастную душу и отправить ее в рай; теперь же она в аду и будет гореть в адском пламени. Обидно, что в этом мире, где многие не знают, куда девать свое время, для этого бедняка не нашлось одного часа, который решал, будет ли он блаженствовать или терпеть вечные муки. Меня ужаснуло, что час времени значит так много в судьбе человека! Я решил, что теперь ни за что на свете не стану тратить времени зря. Сеппи совсем загрустил; он сказал, что гораздо лучше было бы стать собакой и не заботиться о спасении своей души. Мы забрали собаку Ганса домой и ре-

шили оставить ее у себя. На обратном пути Сеппи пришла в голову счастливая мысль, которая подбодрила нас и сильно утешила. Сеппи сказал, что раз пес простил своего хозяина, который причинил ему столько зла, быть может, бог зачтет это Гансу Опперту за отпущение грехов, хотя с другой стороны, поскольку прощение собаки было бесплатным, оно не могло иметь настоящей церковной силы.

Вся следующая неделя прошла очень уныло. Сатана не являлся, ничего примечательного не происходило, навестить Маргет мы не решались, потому что ночи стояли лунные и кто-нибудь мог нас заметить. Но мы несколько раз встречали Урсулу, когда она прогуливалась с кошечкой у реки, и узнали, что все у Маргет благополучно. Урсула была в новом платье, лицо ее светилось довольством. Четыре серебряных зильбергроша аккуратно появлялись каждое утро, причем не было надобности тратить их на еду, вино и тому подобное. Все съестное кошка доставляла бесплатно.

Теперь Маргет меньше страдала от заброшенности и одиночества; к тому же ее навещал Вильгельм Мейдлинг. Каждый вечер она проводила час или два в тюрьме со своим дядей и с помощью той же кошки значительно улучшила его тюремный паек. Она запомнила Филиппа Траума, и ей хотелось, чтобы я привел его снова. Да и Урсула тоже частенько вспоминала о нем и расспрашивала о его дяде. Мы с трудом удерживались от смеха: я успел рассказать ребятам, какие небывлицы плел ей тогда Сатана. Урсула же ничем не могла поживиться от нас: ведь мы ничего не могли рассказать ей о Сатане, даже если бы захотели.

Из болтовни Урсулы мы выяснили, что теперь, когда в доме есть деньги, они с Маргет решили нанять слугу для черной работы и для посылок. Урсула сообщила об этом, как о чем-то само собой разумеющемся, но видно было, что бедняжка почти вне себя от тщеславия и гордости. Мы позабавились, глядя, как старуха упивается своим новым величием, но когда узнали, кто их слуга, то почувствовали беспокойство. При всей нашей молодости и легкомыслии в некоторых жизненно важных вопросах мы разбирались не хуже взрослых. Их выбор пал на парнишку по имени Готфрид Нарр, глуповатого и добродушного, о котором трудно было сказать что-нибудь дурное. Но семья Нарров находилась под подозрением, что было вполне естественно: всего полгода тому назад его бабушку сожгли на костре за ведовств-

во. А ведь известно, что, когда в семье заведется такая зараза, одним костром ее никогда не выжжешь. Отец Адольф постоянно твердил нам об этом и велел покрепче приглядывать за грешным семейством. Маргет и Урсула поступили очень неблагоразумно, что связались с Готфридом Нарром. Охота на ведьм в наших краях никогда еще не была такой яростной, как в последнее время. От одного упоминания о ведьмах нас охватывал страх, леденящий душу. Да и как было тут не бояться — ведовство так распространилось за последнее время. В старину ведьмами бывали только старухи, а сейчас ловят ведьм какого угодно возраста, вплоть до восьми- и девятилетних девчонок. Ни за кого нельзя поручиться, каждый может вдруг оказаться слугой дьявола — мужчины, женщины, дети. В нашей деревне старались вывести ведовство с корнем, но чем больше мы жгли ведьм, тем больше их появлялось.

Как-то в женской школе, в десяти милях от нас, учительница увидела у одной девочки на спине красные, воспаленные пятнышки. Она, конечно, струхнула: не дьяволова ли это отметина? Девочка впала в отчаяние и умоляла учительницу никому ничего не рассказывать; она уверяла, что это следы от блошиных укусов. Дело пошло своим ходом, школьниц подвергли осмотру, пятнышки оказались у всех пятидесяти девочек, но у одиннадцати из них пятнышек было особенно много. Назначили тут же комиссию, которая и допросила одиннадцать школьниц: они ни в чем не желали сознаться и только кричали: «Мама!» Тогда их заперли поодиночке в темных камерах и посадили на десять дней и десять ночей на хлеб и воду. К концу этого срока они перестали плакать, сидели исхудавшие, с блуждающим взглядом, не принимали совсем пищи и только что-то несвязно про себя бормотали. Потом одна призналась, что часто летала верхом на метле на шабаш в сумрачное ущелье в горах, пила там вино, неистовствовала, плясала там с ведьмами и даже с самим Нечистым и что все они вели себя там непотребно, кощунствовали, поносили священников и проклинали господа бога. Правда, девочка не смогла рассказать все это в достаточно связной форме и не сумела вспомнить подробности; но зато члены комиссии точно все знали, что ей следует помнить: у них был вопросник для изобличения ведьм, составленный еще лет двести тому назад для подобных комиссий самим римским папой. Они только спрашивали: «А это ты делала?» И она отвечала: «Да!» и глядела на них

бессмысленно. Когда остальные десять девочек услышали, что их подруга созналась, они тоже решили сознаться и тоже ответили: «Да!» Тогда их всех вместе сожгли на костре. Это было, конечно, разумное решение. Все в деревне пошло смотреть, как их будут жечь. Я тоже пошел. Но когда я узнал одну из них, веселую красивую девочку, с которой мы часто вместе играли, когда я увидел ее прикованную к столбу и услышал рыдания ее матери, которая, обнимая дочь и осыпая ее поцелуями, кричала: «Господи, боже мой! Господи, боже!» — я не вынес этого ужаса и пошел прочь.

Когда сожгли бабушку Готфрида Нарра, стоял сильный мороз. Ее обвинили в том, что она вылечивала людей от головной боли, массируя им затылок и шею. Каждому было понятно, что она делала это с помощью дьявольских чар. Судьи хотели расследовать дело, но старуха сказала, что в этом нет никакой нужды, что она и так готова признать, что она ведьма. Тогда ее приговорили к сожжению на рыночной площади утром на следующий день. Первым на площадь утром пришел человек, который должен был все приготовить для казни и разжечь костер. Потом тюремщик привел старуху, оставил ее на площади и отправился за другой ведьмой. Родственники старухи не пришли с ней проститься, народ был озлоблен и мог их обидеть или даже побить камнями. Я пришел на площадь и угостил старуху яблоком. Она сидела на корточках у костра и грелась; губы ее и сморщенные старческие руки посинели от холода. Рядом с нами стоял какой-то чужой человек, — это был путешественник, гостивший у нас проездом. Он ласково заговорил со старухой и, видя, что кроме меня, никого нет кругом, выразил ей участие. Он спросил ее, подлинно ли она ведьма, и она ответила — нет. Удивленный и еще более опечаленный, он воскликнул:

— Зачем же ты на себя наклепала?

— Я бедная старуха, — сказала она, — и живу только тем, что заработаю. Что мне еще оставалось делать? Если я буду отрицать, что я ведьма, меня, может быть, и отпустят. Но что со мной станется? Всем известно, что меня судили за ведовство, и никто не захочет теперь у меня лечиться. Люди будут травить меня собаками. Я погибну от голода. Пусть уж лучше меня сожгут, — по крайней мере, скорый конец. Спасибо вам обоим, вы были добры ко мне.

Она пододвинулась ближе к костру и протянула руки, чтобы согреть их; снежные хлопья тихо и ласково

опускались на ее седую голову, которая становилась все белее и белее. Собрались зрители, кто-то бросил в старуху яйцом. Оно попало ей в глаз, разбилось и потекло, по щеке. Послышался смех.

Я рассказал Сатане эту историю про бабушку Готфрида Нарра и про одиннадцать девочек, но мой рассказ его, как видно, не тронул. Таков род человеческий, сказал Сатана, и лучше совсем не касаться того, что творят люди. Он повторил также, что видел сам, как создан был человек, и что он был слеплен из грязи, а не из глины,— частью, во всяком случае. Я знал, какую часть он имеет в виду — ту, что именуется Нравственным чувством. Увидев, что я угадал его мысль, он засмеялся. Потом подозвал вола, пасшегося поблизости, ласково тронул его за холку и о чем-то с ним побеседовал.

— Вот возьми хоть вола, он не станет терзать малых детей одиночеством, страхом и голодом, ввергать их в безумие, а потом жечь на костре ни за что. Он не станет надирать сердце бедной, ни в чем не повинной старухе и доводить ее до того, что она побоится жить среди себе же подобных. Он не станет издеваться над ней в ее смертный час. Вол не станет этого делать потому, что он не заклеимен Нравственным чувством. Вол не знает зла и не творит зла; он подобен ангелам в небе.

При всем своем обаянии Сатана был суров до жестокости, когда речь заходила о человеческом роде. Он презирал людей и не находил в их защиту ни единого слова.

Как я уже раньше сказал, мы считали, что Урсула поступила весьма опрометчиво, наняв мальчика из семьи Нарров. И мы были правы: люди вознегодовали, услышав об этом. Откуда взялись эти деньги на слугу, рассуждали они, когда старухе с девушкой самим не хватает на хлеб? Еще недавно Готфрида все сторонились, но теперь, чтобы удовлетворить свое любопытство, люди стали заговаривать с ним и искать его общества. Готфрид был очень доволен, по своей простоте он не видел ловушки и болтал, как сорока.

— Откуда берутся деньги? — говорил он в ответ на вопросы. — Да у них полно денег! Я получаю два зильбергроша в неделю, не считая харчей. Едят все самое вкусное. У князя и то нет такого стола.

В воскресенье утром эту странную новость сообщили отцу Адольфу, когда тот шел домой от мессы. Священник был сильно взволнован и сказал:

— Черт побери! Этим необходимо заняться.

Он решил, что здесь кроется колдовство, и велел своим прихожанам снова втереться в доверие к Урсуле и Маргет и наблюдать за ними. Сделать это нужно было с большой осторожностью, не вызывая никаких подозрений. Сначала никто не хотел путаться в колдовские дела, но священник сказал, что все, кто войдет в этот дом, будут находиться под его личной защитой, а если они вдобавок прихватят с собой четки и малость святой воды, то с ними наверняка не случится худого. После таких обещаний появилось много охотников отправиться в гости к Маргет, а более завистливые и злые даже рвались туда, чтобы поскорее выполнить поручение священника.

Бедняжка Маргет была вне себя от восторга, когда деревенские жители снова начали с ней дружить. Она, простая душа, была очень довольна, что им с Урсулой теперь лучше живется, и не видела повода это скрывать. Она радовалась каждому доброму слову вернувшихся к ней приятелей; ведь на свете нет ничего тяжелее, чем попасть в презрение к друзьям.

Поскольку запрет был снят, мы тоже отправились к Маргет. Мы бывали теперь у нее ежедневно вместе со своими родителями и со всеми соседями. Кошечке пришлось туго. Она кормила теперь ораву гостей, причем угощала их самыми редкими блюдами и поила такими винами, о которых они даже не слыхивали, разве только от княжеских слуг. Сервировка стола тоже была изысканной.

Иногда у Маргет бывали минуты сомнения, и она принималась расспрашивать Урсулу об источнике их благополучия. Урсула ссылалась на руку всевышнего и ни словом не упоминала о кошке. Маргет знала, конечно, что рука всевышнего не оскудеет, но продолжала тревожиться, хоть и сама боялась признаться себе в этом. Порой ей являлась в голову мысль о колдовских чарах, но она отвергала ее: ведь благополучие ее и Урсулы началось еще до того, как они взяли на службу Готфрида Нарра, а Урсула благочестива и так ненавидит всякое ведовство. Постепенно Маргет уверилась, что дом их находится под покровительством провидения. Кошечка же помалкивала и с течением времени становилась все более искусной и опытной домоправительницей.

В любом обществе, малом или большом, всегда найдется сколько-то добронамеренных по своей природе

людей, которых не так-то просто подбить на дурной поступок; разве только если поставить всерьез под угрозу их собственное благополучие или сильно их запугать еще каким-нибудь способом. И у нас в Эзельдорфе были такие люди, и в обычное время они оказывали смягчающее влияние на нравы. Но сейчас время было суровое — шла охота на ведьм, — и во всей общине не осталось уже ни единого человека с искрой жалости и благородства в душе. То, что творилось в доме у Маргет, пахло колдовством. Люди страшились, и страх помрачал им рассудок. Конечно, встречались еще такие, что втайне жалели Маргет и Урсулу, впутавшихся в это страшное дело; но эти люди молчали, боясь пропасть ни за что ни про что. Так оно шло, и не было человека, который предупредил бы беспечную девушку и глупую старуху о нависшей над ними беде. Мы тоже не раз собирались, но нам не хватало храбрости. Мы боялись отца Адольфа. Что пользы себя обманывать? Мы были трусами и не могли решиться на добрый поступок, потому что он грозил нам опасностью. Признаваться друг другу в низости нам не хотелось, и мы поступали так, как поступают все при таких обстоятельствах, — не касались больной темы совсем. Но я-то отлично знал, что Сеппи и Николаус не меньше моего чувствуют себя подлецами, когда сидят за столом у Маргарет вместе с толпой соглядатаев, дружески с ней болтают, похваливают угощение, смотрят на ее счастливое личико и ни словом не намекнут, что она идет к гибели. А она-то так рада, так счастлива, так горда, что снова с друзьями. Между тем гости зыркали по сторонам и передавали каждое ее слово отцу Адольфу.

Отец Адольф никак не мог взять в толк: что же такое происходит в доме у Маргет? Кто-то там занят волшбой, но кто же? Ни Маргет, ни Урсулу, ни Готфрида никто ни разу не видел за колдовскими занятиями, и тем не менее вина и изысканные лакомства не сходили со стола в этом доме, и каждого угощали всем, чего он только захочет. Что при помощи колдовских чар можно добыть любое угощение — понятно, но это была, как видно, волшба совершенно особая, без заклинаний и без заговоров, без призраков, молний и землетрясений — иными словами, нечто новое и неслыханное. О подобной волшбе в книгах ничего не найти. То, что создано чарами, имеет, как всем известно, лишь призрачное существование. Когда чары перестают действовать, золото превращается в прах, а пища распадается

и исчезает. Здесь же все было иначе. Соглядатаи отца Адольфа доставляли ему образчики угощений из дома Маргет. Он творил над ними молитву, но без малейшего толка. Продукты оставались съедобными. Они теряли свежесть лишь по прошествии времени, несколько не отличаясь в том от продуктов, приобретенных на рынке.

Отец Адольф был озадачен и даже обескуражен. То, что ему удалось выяснить до сих пор, заставляло его втайне склоняться к мысли, что колдовства нет. Но полной ясности не было. Наконец он нашел способ проверить свои сомнения: если ему удастся твердо установить, что все эти яства, которыми Маргет кормит своих гостей, не вносятся в дом извне, значит — в доме волшебства.

Глава VII

Маргет решила устроить званый обед и позвала к себе сорок гостей. До торжественного дня оставалась неделя. Это был подходящий случай для отца Адольфа. Дом Маргет стоял на отшибе, и за ним легко было следить. Все семь дней и ночей дом находился под наблюдением. Было установлено, что Урсула и Готфрид выходили из дома и возвращались домой как обычно, но ни они и никто другой ничего в дом не вносили. Следовательно, никаких запасов для сорока гостей куплено не было. Если хозяйка все же собираются их кормить, значит, они рассчитывают добыть свои яства, не выходя из дома. Правда, Маргет по вечерам уходила куда-то одна с корзинкой в руках. Но шпионы отца Адольфа все утверждали, что, когда она возвращалась, корзинка была пустой.

Гости явились в полдень и заполнили весь дом. Пришел и отец Адольф, хоть его и не приглашали. Ему уже донесли, что ни с парадного, ни с черного хода в дом Маргет не вносили никаких свертков. Войдя же, он убедился, что гости едят и пьют, и празднество идет полным ходом. Вдобавок, как он заметил, многие блюда, которыми кормили гостей, были так свежи, словно только что изготовлены. Свежи были и фрукты, не только местные, наши, но и те, что привозят из дальних стран. Сомнений больше не оставалось — тут колдовство! Правда, не было ни призраков, ни заклинаний, ни громовых ударов. Что же, значит, здесь колдовство особого рода, невиданное. Здесь действует колдовство небывалое, колдовство изумительной силы, и ему, священ-

нослужителю, суждено раскрыть эту тайну. Весть о его подвиге пронесется по всему миру до самых дальних пределов и потрясет сердца, он станет известен каждому, имя его засияет в веках. Подумать только, как ему повезло! При одной мысли об этом у него голова шла кругом.

Все расступились, когда появился отец Адольф. Маргет любезно пригласила его принять участие в пиршестве. Урсула велела Готфриду придвинуть отдельный столик, накрыла его для священника и спросила, чего он желает отведать.

— Угостите меня по вашему выбору,— сказал он.

Двое слуг устали стол яствами и подали две бутылки вина — одну красного и одну белого. Священник налил немного воды, освятил ее, покропил все, что было, вслед за тем прочитал молитву. Потом он наполнил свой кубок красным вином, осушил его разом, налил другой и с волчьим аппетитом принялся за еду.

Я не думал, что придет Сатана,— мы не встречались уже неделю,— но вот он явился среди гостей. Я еще не успел увидеть его, как почувствовал, что он здесь. Он извинился, что пришел неприглашенным, сказал, что заглянул просто так, на минутку. Маргет стала уговаривать его остаться, он поблагодарил и остался. Она повела его к столу, представляя своим подругам, Вильгельму Мейдлингу, некоторым из почетных гостей.

Послышался шепот:

— Это молодой незнакомец, о котором столько все говорят.

— Его очень редко увидишь. Всегда в разъездах.

— Какой красавец! Как его звать?

— Филипп Траум.

— Подходящее имя! (Вы ведь знаете, «Траум» по-немецки значит «мечта».)

— А чем он занимается?

— Говорят, готовится стать священником.

— С такой внешностью он далеко пойдет; не удивлюсь, если увижу его кардиналом.

— А откуда он?

— Говорят, откуда-то из южных тропических стран, у него там богатый дядя.

И далее в том же роде.

Он всем сразу понравился, всем захотелось познакомиться, побеседовать с ним. И вдруг все с удивлением почувствовали, как легко им стало дышать, словно их овеивал ветерок, но причину этого они не могли угадать.

Ведь солнце палило все так же с раскаленного синего неба.

Отец Адольф осушил второй кубок и налил себе третий. Ставя бутылку на место, он случайно опрокинул ее. Вино потекло на скатерть. Он быстро поднял бутылку и стал разглядывать ее на свет, восклицая: «Какая жалость! Королевский напиток!» Тут лицо его вдруг засветилось торжеством, и он крикнул:

— Принесите чашу! Живее!

Ему принесли огромную чашу вместимостью в четыре кварты. Он поднял над нею свою двухпинтовую бутылку и стал лить в чашу вино. Алая жидкость, булькая и бурля, полилась в белую чашу, поднимаясь все выше и выше. Все глядели, затавив дыхание. Чаша наполнилась до краев.

— Смотрите,— сказал священник, поднимая бутылку с вином против света,— бутылка полна по-прежнему.

В этот миг я поднял глаза на Сатану — он внезапно исчез. Отец Адольф поднялся весь багровый, дрожа от волнения, осенил себя крестным знамением и что было голоса возопил:

— Да будет проклят сей дом!

Толпа гостей с плачем и воплями ринулась к двери.

— Да будет сей дом...

Тут я увидел, как Сатана — или, точнее, его бесплотная тень — вошел в тело отца Адольфа и священник, подняв руку, крикнул (голос был бесспорно его):

— Погодите! Остановитесь!

Все остановились.

— Принесите воронку!

Перепуганная, трепещущая Урсула принесла тотчас воронку, и священник поднял огромную чашу и стал лить вино обратно в бутылку. Народ глядел в изумлении: все знали, что бутылка и так полна. Перелив содержимое чаши в бутылку, отец Адольф ухмыльнулся с победным видом, а потом, хихикнув, сказал:

— Это сущие пустяки для меня, мелкая дробь.



С испуганным воплем: «Оборотень! Нечистая сила!» — толпа вновь ринулась к двери, и вскоре в доме не осталось никого из гостей, кроме нас и Вильгельма Мейдлинга. Нам троим было ясно, что произошло, но мы ни с кем не могли поделиться. Молодец, Сатана! Если бы он не вмешался, беды бы не миновать.

Маргет сидела бледная, в слезах. Мейдлинг и Урсула словно лишились речи. Хуже всех себя чувствовал Готфрид Нарр, от страха он едва стоял на ногах. Он был из семьи колдунов, даже малейшее подозрение в волшебстве было для него гибельным. В комнату вошла кошка Агнесса с невинным и благочестивейшим видом и подошла к старухе Урсуле, чтобы та ее приласкала. Урсула испуганно отстранилась, но постаралась сделать это без грубости; она понимала, что ссориться с этакой кошкой неблагоприятно. Мы же трое стали ласкать Агнессу. Раз Сатана ей покровительствовал, значит, это была славная кошечка, — в других рекомендациях мы не нуждались. Сатана любил все живые существа, не обремененные Нравственным чувством.

Выбравшись из дому, перепуганные гости продолжали свое паническое бегство по улице, сообщая всем встречным, что священник стал оборотнем; а после рассеялись с такими отчаянными воплями, стонами и рыданиями, что подняли на ноги всю деревню. Люди выскакивали из домов, чтобы узнать, что приключилось, и, в свою очередь, присоединялись к взволнованной, бурной толпе. Когда появился отец Адольф, бормотавший без устали что-то свое под нос, толпа расступилась, подобно водам Чермного моря¹, и дала ему путь. Толпа сомкнулась за ним, заполняя проход, и каждый смотрел ему вслед недвижным взглядом, учащенно дыша и замирая от ужаса. Две или три женщины тут же лишились чувств. Когда он отдалился, люди поосмелели и последовали за ним на почтительном расстоянии, взволнованно споря о том, что же именно произошло на пире. Установив кое-какие факты, они пересказывали их каждый своим соседям, внося посильные добавления и варианты. В результате чаша с вином превратилась в бочку, а бутылка, вместив эту бочку, так и осталась пустой.

Когда священник вышел на площадь, он направил-

¹ Упомянуто одно из библейских чудес, когда волны Красного моря отступили, дав путь иудеям и потопив преследователей-египтян (Исход, XIV, 21—22). — *Прим. сост.*

ся прямо к жонглеру, который, расхаживая по рынку в своем пестром костюме, играл тремя медными шарами, попеременно взлетающими ввысь. Священник отобрал у жонглера шары и, обернувшись к подошедшей толпе, сказал:

— Этот жалкий фигляр не знает своего ремесла. Сейчас вы увидите, как работает мастер!

Он подбросил один шар, другой, потом третий, и они закружились в воздухе, образовав изящно вытянутый кверху блестящий овал. Еще шар, еще и еще — никто не видел, откуда он брал их, еще, еще и еще — овал все выше и выше, движения рук все быстрее и быстрее, пальцев не различить, и вот в воздухе кружится целая сотня шаров, — как утверждали те, кто их подсчитал. Сверкающий овал поднялся кверху на двадцать футов, это было изумительное, редкое зрелище. Сложив на груди руки, священник велел шарам кружиться без его помощи, и они закружились сами. Потом он сказал:

— Ну, теперь хватит!

Овал рассыпался, медные шары упали на землю, покатались во все стороны. Люди отскакивали от них, боясь к ним притронуться. Священник презрительно захохотал и стал поносить зрителей, называя их трусами и старыми бабами.

Оглядевшись по сторонам, он увидел протянутый через площадь канат и сказал, что всегда жалел простофиль, которые тратят деньги на грубых клоунов, профанирующих высокое искусство канатоходца. Сейчас он покажет им, что такое искусство. Одним прыжком он взлетел на канат и, прикрыв глаза ладонями, проскакал по нему на одной ноге до конца, а потом, вернувшись тем же путем, выполнил двадцать семь опаснейших сальто-мортале, сперва вперед, а потом назад.

Толпа зашумела. Священнику не подобало вести себя так легкомысленно. Но отца Адольфа этот шум ничуть не смутил, и он продолжал представление с чрезвычайным проворством. Закончив свои кунштюки, он ловко спрыгнул на землю, зашагал прочь и вскоре, свернув за угол, вовсе исчез из виду. Тесно сгрудившись, бледные и безмолвные от волнения, зрители перешептывались, спрашивая: «Да полно, было ли это? Ну а вы — вы это видели? Или мне снился сон?»

Потом послышался сдержанный говор. По двое, по трое люди брели домой. Они перешептывались, хватали друг друга за локоть, жестикулировали, — словом, вели

себя так, как бывает при важных особенных обстоятельствах.

Мы тоже шли следом за своими отцами, прислушиваясь к их разговору. Когда они сели за стол у нас дома, мы пристроились рядом. Отцы наши были в унынии и считали, что этот взрыв колдовства принесет несчастье деревне.

— Ведь еще не было случая, чтобы они покусились на священнослужителя,— сказал мой отец.— Я и сейчас не пойму, как только они осмелились. У него на груди висело распятие. Правильно я говорю?

— Конечно,— подтвердили собеседники.— Мы видели его собственными глазами.

— Плохо дело, друзья, очень плохо. Бог хранил нас все это время. Но сейчас он оставил нас.

Слушатели задрожали, как в лихорадке, и повторили:

— Бог оставил нас. Он нас оставил.

— Увы, это так,— сказал отец Сеппи Вольмейера.— Нам суждено погибнуть.

— Когда люди поймут, что спасения нет,— сказал судья, отец Николауса,— отчаяние отнимет у них веру и волю. Подходят страшные времена.

Он глубоко вздохнул, а Вольмейер добавил уныло:

— По стране побежит слух, что на нашу деревню пал гнев господень, и никто не приедет к нам больше. «Золотой олень» перестанет приносить мне доход.

— Да, сосед,— сказал мой отец,— все мы потеряем доброе имя, а иные лишатся и денег. Но будет еще страшнее, если нас...

— Что такое?

— Если нас и это постигнет — тогда конец.

— Что? Что? Ради господа бога!..

— Папское отлучение!

Собеседники замерли, словно сраженные громом. Кажется, они лишатся чувств от отчаяния. Но страх перед грозным бедствием словно вернул им силы. И они стали раздумывать, как его избежать.

Они спорили так и эдак, притом знали, что есть только один верный выход, но боялись к нему подступиться. И все же пришлось. Отца Адольфа следовало предать трибуналу по борьбе с ведовством, и кому-то из них надлежало сообщить суду об увиденном; сам суд, понятное дело, не сдвинется с места, раз речь пойдет о священнике. А они между тем, как и все в нашей деревне, опасались не столько наглого дьявола, во-

шедшего в тело священника, сколько отца Адольфа как такового. Он узнает от членов суда, кто донес на него, и доносчику будет несладко.

Положение казалось безвыходным. Если они донесут и священник отвергнется от костра, он пустит их по миру. А если они промолчат, на них падет папская кара.

Так тянулось до самого вечера. Убедившись, что выхода нет, они расстались с тяжелым сердцем, обуреваемые грустным предчувствием.

Пока гости прощались с моим отцом, я тихо выскользнул из дому и побежал к Маргет — узнать, как там у них обстоят дела. Никто из прохожих на улице не ответил на мой поклон. В другое время я удивился бы, но не сейчас. Люди были так испуганы и расстроены, что их легко было счесть за помешанных. Бледные, с осунувшимися лицами, бродили они по деревне, словно лунатики, широко раскрыв невидящие глаза, беззвучно шепча губами и судорожно сжимая и разжимая свои кулаки.

В доме у Маргет царило отчаяние. Она и Вильгельм Мейдлинг сидели вдвоем в молчании, даже не взявшись за руки, как это было у них в обычае. Оба были мрачны, глаза у Маргет покраснели от слез. Она сказала:

— Я умоляла его покинуть нас и спасти свою жизнь. Я не хочу стать его убийцей. Наш дом проклят, и всем, кто живет в нем, угрожает костер. Но он не хочет уйти. Он говорит, что умрет вместе с нами.

Вильгельм повторил, что никуда не уйдет. Раз Маргет прозит опасность, он будет здесь рядом с ней до конца. Маргет снова залилась слезами. Это было грустное зрелище, и я пожалел, что не остался дома. Раздался стук, вошел Сатана, красивый и полный сил, весь искрящийся веселостью, как молодое вино, и сразу переменил у нас настроение. Он ни словом не упомянул ни о том, что произошло за обедом, ни о страхах, терзавших деревню, а стал оживленно болтать о разных безделицах. А потом он перевел разговор на музыку. Это был ловкий ход, и Маргет, позабыв о всех горестях, тотчас оживилась и приняла участие в беседе. Ей еще не приходилось встречать никого, кто рассуждал бы о музыке с таким пониманием, и она была совершенно очарована собеседником. Маргет не умела скрывать свои чувства, личико ее просияло, и Вильгельм Мейдлинг почувствовал себя немного задетым. Сатана стал говорить о поэзии, отлично прочитал нам несколько стихотворений, и Маргет снова пришла в восторг. Мейд-

линг опять почувствовал себя задетым. Маргет заметила перемену в его лице и упрекнула себя за легкомыслие...

[...] На другой день только и толков было, что о случившемся, но — потихоньку. Трибунал по борьбе с ведовством подвергся суровой критике. Почему они не притянут отца Адольфа? Если бы дело шло о какой-нибудь беззащитной старухе, ей бы так не сошли эти сатанинские штуки с бутылкой вина и с бронзовыми шарами. Все роптали, но шепотом, и не забывали добавить: «Я-то что? Я молчу. На меня не ссылайтесь». Они поносили судей, оробевших перед священником, но притом забывали бранить за трусость себя — они ведь тоже боялись донести на отца Адольфа. Еще они упустили, что, клеймя трибунал за то, что он судит одних беззащитных старух, они клеймили себя — и они были храбрыми только перед старухами. Будь сейчас Сатана, он вдоволь бы посмеялся. Он сказал бы: «Таковы все вы, люди».

[...] Я заснул в этот вечер под славную музыку: капли дождя барабанили в ставни, вдалеке погромыхивал гром. Ночью пришел Сатана, разбудил меня и сказал:

— Вставай! Куда мы отправимся?

— С тобой — куда хочешь!

Меня ослепил солнечный свет. Сатана сказал:

— Мы в Китае.

Ничего подобного я не ждал и был счастлив и горд, что странствую в этих дальних краях. Так далеко никто из нашей деревни не засезжал, даже сам Бартель Шперлинг, который воображает себя величайшим из путешественников. Больше получаса мы парили над Небесной империей и осмотрели ее от края до края. Это было удивительное зрелище, многое было прекрасно, но многое ужасало. Я мог бы порассказать... впрочем, я сделаю это после и тогда объясню, почему Сатана выбрал Китай для нашего путешествия. Сейчас это мне мешает. Насытившись зрелищем, мы прервали полет.

Мы сидели на вершине горы. Под нами расстился огромный край. Горы, ущелья, долины, луга, реки не жились в солнечном сиянии; в отдалении синело море. Это был тихий мирный пейзаж, радующий своей красотой и покоящий душу. Насколько легче было бы жить в этом мире, если бы мы могли по желанию, вдруг, перенестись в такое блаженное место. Перемена — она гонит прочь усталость тела и духа, словно перекидываешь тяжесть забот с одного плеча на другое.

Мне пришла в голову мысль потолковать по душам с Сатаной, уговорить его стать лучше, добрее. Я напомнил ему о том, что он натворил, и просил его впредь не действовать столь опрометчиво; не губить людей зря. Я не винил его, только просил, чтобы он, перед тем как решиться на что-нибудь, помедлил и чуть поразмыслил. Ведь если он будет действовать не столь легкомысленно, не наобум, будет меньше несчастий. Сатана нисколько не был задет моей прямоотой, но видно было, что я удивил и рассмешил его. Он сказал:

— Тебе кажется, что я действую наобум? Я никогда так не действую. Ты хочешь, чтобы я медлил и думал о том, к чему приведет мой поступок? Зачем? Я и так точно знаю, к чему он приведет.

— Почему же ты так поступаешь?

— Изволь, я отвечу тебе, а ты постарайся понять, если сумеешь... Ты и тебе подобные — неповторимые в своем роде создания. Каждый человек — это машина для страдания и для радостей. Два механизма соединены одной сложной системой и действуют на основе взаимной связи. Едва успеет первый механизм зарегистрировать радость, второй готовит вам боль — несчастье. У большинства людей жизнь строится так, что горя и радостей приходится поровну. Там, где такого равновесия нет, преобладает несчастье. Счастье — никогда. Встречаются люди, устроенные так, что вся их жизнь подчинена механизму страданий. Такой человек от рождения и до самой смерти совсем не ведает счастья. Все служит для него источником боли, что он ни делает, приносит ему страдания. Ты, наверно, видел таких людей. Жизнь для них — гибельный дар. Порой за единственный час наслаждения человек платит годами страдания — так он устроен. Или ты не знаешь об этом? Нужны примеры? Изволь, я тебе приведу. Что же до жителей вашей деревни, то они для меня попросту не существуют. Ты, наверно, это заметил?

Я не хотел быть с ним резким и ответил, что да, иногда мне так кажется.

— Так вот, повторяю: они для меня не существуют. И это вполне естественно. Разница между нами слишком обширна. Начать с того, что они лишены разума.

— Лишены разума?

— Даже подобия разума. Когда-нибудь я познакомлю тебя с тем, что человек зовет своим разумом, разберу по частям этот хлам, и ты увидишь, насколько я прав. У меня с людьми ничего общего, ни малейшей

точки соприкосновения. Переживания людей пусты и ничтожны, таковы же и их претензии, и их честолюбие. Вся их вздорная краткая жизнь — только вздох, смешок, гаснущее на ветру пламя. Они вовсе лишены чувства, — пресловутое Нравственное чувство не в счет. Сейчас я поясню тебе мою мысль на примере. Видишь красного паучка, он не крупнее булавочной головки. Как ты думаешь, может ли слон питать к нему интерес, беспокоиться, счастлив ли этот паук или нет, богат или беден, любит ли паука невеста, здорова ли его матушка, пользуется ли он должным успехом в обществе, справится ли он со своими врагами, поддержат ли его в несчастье друзья, оправдаются ли его мечты о карьере, преуспеет ли он на политическом поприще, встретит ли он свой конец в лоне семьи или погибнет, презираемый всеми, в одиночестве, на чужбине? Слон никогда не сумеет проникнуться этими интересами, они для него не существуют, он не властен сузить себя до их жалких размеров. Человек для меня то же, что этот красный паук для слона. Слон ничего не имеет против него, он с трудом его различает. Я ничего не имею против людей. Слон равнодушен к красному пауку. Я равнодушен к людям. Слон не возьмет на себя труда вредить пауку, — напротив, если приметит его, то, может статься, в чем-нибудь и поспособствует, попутно, разумеется, со своими делами и между прочим. Я не раз помогал людям и никогда не стремился вредить им. Слон живет сто лет, красный паучок — один день. Разница между ними в физической силе, в умственной одаренности и в благородстве чувств может быть выражена разве только в астрономическом приближении. Добавлю, что расстояние между мной и людьми во всем этом, как и в другом, неизмеримо шире, чем расстояние, отделяющее слона от красного паучка. Разум человека топорен. Уныло, с натугой он сопоставляет элементарные факты, чтобы сделать какой-то вывод — не станем уже говорить, каков этот вывод! Мой разум творит! Подумай, что это значит! Мой разум творит мгновенно, творит все, что ни пожелает, творит из ничего. Творит твердое тело, жидкость или же цвет — любое, что мне захочется, все, что я пожелаю, — из пустоты, из того, что зовется движением мысли. Человек находит шелковое волокно, изобретает машину, прядущую нить, задумывает рисунок, трудится в течение многих недель, вышивая его шелковой нитью по ткани. Мне довольно представить себе это сразу, и вот гобелен предо мной, я сотворил его,

Я вызываю мысленно к жизни поэму, музыкальное произведение, партию в шахматы — все, что угодно, — вот я сотворил их! Мой разум — это разум бессмертного существа, для которого нет преград. Мой взор проникает всюду, я вижу во тьме, скала для меня прозрачна. Мне не нужно перелистывать книгу, я постигаю заключенное в ней содержание одним только взглядом, сквозь переплет; через миллионы лет я все еще буду помнить его наизусть и знать, что на какой странице написано. Я вижу, что думает человек, птица, рыба, букашка; в природе нет ничего скрытого от меня. Я проникаю в мысли ученого и схватываю все то, что он накопил за семьдесят лет. Он может забыть это, и он позабудет, но я буду помнить вечно.

Сейчас я читаю твои мысли и вижу, что ты понял меня. Что же дальше? Допустим, в какой-то момент слону удалось разглядеть паучка, и он ему посочувствовал. Полюбить его слон не может; любить можно только тех, кто твоей же породы, равных. Любовь ангела возвышенна и божественна — человек не в силах даже отдаленно представить ее себе. Ангел может любить ангела. Человек, на которого падет любовь ангела, будет испепелен.

[...] Мы не питаем любви к людям, мы снисходительно равнодушны к ним, иной раз случается так, что они вызывают нашу симпатию. Ты мне нравишься, ты и твои друзья, мне нравится отец Питер. Ради вас я покровительствую жителям вашей деревни.

Он заметил, что я принял его последние слова за насмешку, и решил пояснить их.

— Я приношу добро жителям вашей деревни, хотя с первого взгляда может казаться, что я им врежу. Люди не различают, что идет им на пользу и что — во вред. Они не разбираются в этом потому, что не знают будущего. То, что я делаю для жителей вашей деревни, даст в свое время плоды; иные из этих плодов вы вкусите сами, иные предназначены для будущих поколений. Никто никогда не узнает, что я изменил течение жизни этих людей, но это именно так. Есть игра, ты не раз играл в нее со своими друзьями. Вы ставите кирпичи близко один от другого. Вы толкаете первый кирпич, он падает, валит соседний, тот сбивает еще один и так далее, и так далее, пока все кирпичи не лежат на земле. Такова и жизнь человеческая. В младенчестве человек толкает первый кирпич. Дальнейшее следует с железной неотвратимостью. Если бы ты читал будущее,

как читаю его я, то увидел бы, как и я, все, что случится далее. Порядок человеческой жизни предопределяется первым толчком. Никаких неожиданностей в ней нет и не будет, потому что каждый новый толчок зависит от предыдущего. Тот, кому доступно подобное видение, прозревает весь ход человеческой жизни от колыбели до самой могилы.

— Разве бог не управляет человеческой жизнью?

— Нет, она предопределена обстоятельствами и средой. Первый поступок влечет за собой второй и так далее. Представим себе на минуту, что из чьей-то жизни выпал один из таких неизбежных поступков, самый пустячный. Мальчик должен был в обусловленный день, в обусловленный час, в обусловленную минуту и даже секунду, — может быть, речь идет о доле секунды, — замахнуться, словить муху; он это не сделал. Тогда, начиная от этой секунды, его жизнь должна коренным образом перемениться. До самой его кончины она потечет теперь не по тому руслу, которое предречено этим детским поступком, но по другому. Если бы он замахнулся, словил муху, это, быть может, привело бы его к королевскому трону. Он этого не сделал — и вот его ждут бедствия и нищета. Возьмем для примера Колумба. Стоило, скажем, ему в детские годы утратить крохотное, ничтожное звеношко в цепи своих поступков, начатых и обусловленных первым его поступком, и вся его жизнь сложилась бы по-иному. Он стал бы священником в итальянской деревне, умер бы в неизвестности, и открытие Америки было бы тем отсрочено на сто или двести лет. Я знаю это навверное. Не сверши Колумб хоть единого из миллиарда положенных ему в его жизни поступков, и судьба его переменялась бы. Я рассмотрел миллиард жизненных линий Колумба, и только в одной из них значится открытие Америки. Люди не понимают, что любой их поступок, крупный или ничтожный, одинаково важен в их жизни. Словить муху, которую вам словить предназначено, не менее важно для вашей дальнейшей судьбы, чем, скажем...

— Открыть материк?

— Да, именно так. Конечно, практически человеку не дано уйти от поступка, который ему предназначен; этого никогда не бывает. Когда человеку кажется, будто он принимает решение, как ему поступить, так или иначе, то колебания эти входят звеном в ту же цепь, и они обусловлены. Человек не может порвать свою цепь. Это исключено. Скажу тебе больше, — если он и задастся

подобным намерением, то и оно будет звеном той же цепи; знай, что оно с неизбежностью зародилось у него в определенный момент, относящийся еще к его раннему детству.

Я был подавлен картиной, которую набросал передо мной Сатана.

— Человек осужден на пожизненное заключение, — сказал я грустно, — и не может вырваться из тюрьмы.

— Да, он не в силах уйти от первого же поступка, совершенного им в младенчестве. Но я властен освободить его.

Я поглядел на Сатану вопросительно.

— Я уже изменил судьбу нескольких жителей вашей деревни.

Я решил было поблагодарить Сатану, но потом подумал, что благодарить пока не за что, и промолчал.

— Я хочу переменить еще несколько судеб. Ты знаешь маленькую Лизу Брандт?

— Конечно, все ее знают. Моя мама всегда говорит, что такой красивой и ласковой девочки еще не рождалось на свет. Она говорит, что Лиза, когда подрастет, станет гордостью нашей деревни, и все будут так же любить ее, как и сейчас.

— Я изменю судьбу этой девочки.

— К лучшему? — спросил я не без тревоги.

— Да. Я переменю также судьбу Николауса.

Тут я обрадовался по-настоящему и сказал.

— За него-то просить не надо. Для Николауса ты постарайся.

— Разумеется.

Фантазия у меня заработала, и я стал рисовать себе будущий путь Ника: вот он генерал и гофмейстер двора. Тут я замечил, что Сатана молча ждет, когда я закончу свои мечтания, и мне стало неловко, что он прочитал мои наивные мысли. Я ждал насмешек, но он продолжал свою речь:

— Нику суждено прожить шестьдесят два года.

— Отлично! — сказал я.

— Лизе — тридцать шесть. Но, как я уже сказал, я решил изменить линию их жизни. Через две минуты и пятнадцать секунд Николаус проснется и услышит, что дождь хлещет в окно. По прежнему плану жизни он должен был повернуться и снова уснуть. Но я заставляю его встать и закрыть окно. Эта пустячная перемена изменит всю его жизнь. Он утром проснется двумя мину-

тами позже, чем следовало, и ничто из того, что должно было с ним случиться, уже не случится.

Сатана вынул часы, поглядел на них и сказал:

— Николаус встал с постели и затворил окно. Прежний ход его жизни прервался, начался новый. Это не останется без важных последствий.

Слова Сатаны звучали таинственно, по спине у меня побежали мурашки.

— То, что случилось сейчас, переменит события, которым назначено было случиться через двенадцать дней. Николаусу было назначено спасти Лизу. Он прибежал бы к реке к четырем минутам одиннадцатого — секунда в секунду, — и тогда он легко бы вытащил девочку из воды, плыть ему было бы близко. Но теперь он на несколько секунд опоздает. Лизу унесет течением на глубокое место, и, несмотря на все усилия Николауса, оба они утонут.

— Сатана, дорогой Сатана! — вскричал я, заливаясь слезами. — Спаси их! Не надо этого! Я не перенесу смерти Ника. Он мой любимый товарищ, мой друг. Что станет с матерью Лизы? — Прильнув к нему, я молил его, но Сатана остался спокойным. Он усадил меня на прежнее место и попросил выслушать его до конца.

— Я нарушил ход жизни Николауса, и этим нарушил ход жизни Лизы. Если бы я не вмешался, Николаус спас бы ее, но захворал бы от купания в холодной воде. Простуда перешла бы в одну из тех страшных горячек, которым подвержен ваш род, и последствия были бы ужасающими. Николаус лежал бы сорок шесть лет, не вставая с постели, без движения, без слуха, без речи, с одной лишь мечтой — умереть. Хочешь ли ты, чтобы я отменил то, что свершилось?

— Нет, нет, ни за что! Пожалей его! Пусть будет так, как ты сделал!

— Ты прав. Лучше, чем я сейчас сделал, сделать нельзя. Я перебрал миллиард жизненных линий для Николауса, но все они были ужасны, полны несчастий и горя. Если бы я не вмешался, он спас бы, конечно, Лизу, потратил бы на это не более шести минут и получил бы в награду за свой геройский поступок сорок шесть лет мук и страданий. Когда я тебе говорил, что поступок, который приносит час радости и довольства собой, нередко вознаграждается годами страданий, я думал о Николаусе.

Мысленно я задал вопрос, от каких же бед должна спасти Лизу столь ранняя смерть?

Сатана тут же ответил:

— Ей предстояло мучиться десять лет, медленно оправляясь от случайно полученного увечья. После чего ее ждали девятнадцать лет позорной, грязной преступной жизни и смерть от руки палача. Через двенадцать дней ее больше не будет. Ее мать отдала бы, я думаю, все на свете, чтобы спасти свою Лизу. Разве я не добрей ее матери?

— О да! И добрей и мудрей.

— Приближается суд над отцом Питером. Он будет оправдан. Суд получит твердые доказательства его невиновности.

— Но каким же образом? Ты в этом уверен?

— Я знаю наверняка. Его доброе имя будет опять восстановлено, и остаток жизни он проживет счастливо.

— Ты прав. Если его доброе имя будет опять восстановлено, он будет, конечно, счастлив.

— Он будет счастлив, но по другой причине. Как только суд вынесет ему оправдательный приговор, я переменю линию его жизни, и ради его же блага. Он никогда не узнает, что его доброе имя опять восстановлено.

Я робко подумал, что хорошо бы поточнее узнать, что именно произойдет с отцом Питером, но Сатана не обратил на мои мысли никакого внимания. Потом я подумал об отце Адольфе. Он-то куда же девался?

— Я отправил его на Луну, — ответил Сатана, как-то странно посмеиваясь. — На неосвещенную сторону Луны. Он никак не может понять, куда он попал, и ему там не так уж весело, но место для него подходящее. Скоро он мне понадобится. Тогда я доставлю его назад и еще раз в него воплошусь. У священника впереди долгая жизнь, исполненная преступлений и мерзостей. Но я не питаю к нему зла и даже готов услужить ему. Пожалуй, я переменю линию его жизни, и его сожгут на костре.

У Сатаны были самые странные представления о том, как оказать человеку услугу. Но он ведь был ангел, разве ангелу что-нибудь растолкуешь! Ангелы ничем не похожи на нас и ни во что нас не ставят. Мы кажемся им чужаками. И к чему Сатана закинул отца Адольфа в такую дальнюю даль? С тем же успехом он мог держать его под рукой где-нибудь неподалеку, в Германии.

— В такую дальнюю даль? — спросил Сатана. — Для меня дали не существует, для меня все одинаково близко. Солнце от нас на расстоянии около ста миллионов миль, и свет, освещающий землю, дошел к нам оттуда

за восемь минут. Я же могу пройти этот путь, да и более длинный, за столь малую долю времени, что его не уследишь на часах. Мне довольно подумать, и мой полет совершен.

Я протянул к нему руку.

— Свет падает мне на ладонь, пусть он станет стаканом вина.

Мое желание исполнилось. Я осушил стакан.

— Разбей его,— приказал он.

Я разбил стакан.

— Ты видишь — он из стекла. Жители вашей деревни боялись дотронуться до медных шаров, думали, что они колдовские и исчезнут как дым. Какие же странные вы существа — род человеческий. Впрочем, довольно об этом. Я тороплюсь. Давай-ка уложим тебя снова в постель.

Я лежал у себя в постели, Сатана исчез. Потом я услышал голос, доносившийся откуда-то из тьмы, сквозь грохот дождя.

— Можешь сказать это Сеппи, но никому больше.

Он ответил на то, о чем я подумал.

Глава VIII

Я лежал без сна. Мысли мои были теперь не о том, что я побывал на краю света, в Китае, и вправе посмеиваться над Бартеlem Шперлингом, который, единственный раз съездив в Вену, возомнил себя путешественником и смотрел свысока на всех остальных эзельдорфских мальчишек, не повидавших, как он, широкого мира. В другое время подобная мысль, быть может, и лишила бы меня сна, но сейчас она меня несколько не занимала. Я думал о Николаусе. Все мои помыслы были о нем. Я вспоминал, сколько беззаботных деньков провели мы с ним вместе, как мы играли и резвились в лесу, в полях, у реки в долгие летние дни, как бегали на коньках и катались на санках зимой, убежав с уроков. И вот он должен проститься со своей молодой жизнью. Снова наступит лето, снова придет зима, мы, как и прежде, будем бродить по лесу, затевать игры, а Николауса больше не будет с нами, Николауса мы не увидим. Завтра я его встречу, он ничего не знает, он такой, как всегда, а мне уже тяжело будет слышать, как он смеется, глядеть, как он веселится и дурачится, потому что он для меня уже мертвец в саване, с восковыми пальцами и остекленевшим взором. Прой-

дет день, он по-прежнему ни о чем не будет подозревать, потом другой день и третий, эта ничтожная горстка дней гает и тает, а страшный конец неуклонно близится, словно поступь судьбы. И никто не будет об этом знать — только Сеппи да я. Двенадцать дней, только двенадцать дней! Подумать — и то страшно. Я заметил, что даже мысленно называю его не так, как обычно — Ник и Ники, а уважительно — Николаус, как принято называть умерших. Одну за другой я вспомнил все ссоры, какие были у нас с ним за долгие годы дружбы, и убедился, что почти всегда я был не прав; я обижал его. Было горько думать об этом, и сердце мое терзалось раскаянием, как бывает, когда вспоминаешь, что был нехорсш с человеком, которого уже нет, и уже нельзя никакими силами хоть на минуту вернуть его к жизни и, встав на колени, взмолиться: «Сжался, прости меня!»

Однажды — мы были тогда девятилетними мальчуганами — торговец фруктами послал Николауса по какому-то делу почти что за две мили от нашей деревни и дал ему в награду большое вкусное яблоко. Я встретил Ника, когда он шел домой с этим яблоком, сам не свой от изумления и радости. Я попросил у него яблоко будто бы так, поглядеть, и он, не подозревая коварства, отдал мне его. Я побежал, обгрызая яблоко на ходу, а Николаус за мной, умоляя: «Отдай же, отдай!» Когда он догнал меня, я сунул ему огрызок и стал смеяться над ним. Он отвернулся и пробормотал сквозь слезы, что хотел огнести яблоко младшей сестренке. Я понял, что поступил очень дурно: сестренка его выздоравливала после долгой болезни, и ему, конечно, хотелось сделать ей приятный сюрприз и насладиться ее радостью. Но я стыдился признать, что поступил дурно, и, вместо того чтобы попросить прощения у Николауса, я сказал ему что-то обидное, грубое, хотел показать свое молодечество. Николаус ничего не ответил, но когда он повернул к дому, я увидел по выражению его лица, как мучительно он страдает. Много раз по ночам вставало передо мной это страдальческое лицо, и я испытывал стыд и раскаяние. Постепенно воспоминание слабело, потом исчезло совсем, но сейчас оно снова владело мной и терзало меня.

Другой раз, это было уже в школе и нам было по одиннадцати лет, я опрокинул чернильницу и залил четыре тетради. Мне грозила порка. Но я ловко свалил все на Николауса, и суровое наказание досталось ему.

И, наконец, совсем недавно, в прошлом году, я обманул его, когда мы менялись крючками для удочки. Я всучил ему крупный крючок с надломом, а взял три поменьше, маленьких, совсем еще новых. Крючок у него сломался в первый же раз, как он вытащил рыбу, но он не подозревал, что я обманул его, и, когда я решил со стыда вернуть ему один из его крючков, он не захотел его брать и сказал:

— Мена есть мена. Кто же тут виноват, если крючок сломался.

Да, сон не шел. Воспоминание об этих трех мелких подлостях не покидало меня, и думать о них было много больнее, чем обычно, когда речь идет о живых людях. Николаус был еще жив, но для меня он был мертвым. Ветер стонал в деревянных ставнях, дождь барабанил в стекла...

Утром я нашел Сеппи и рассказал ему обо всем. Мы стояли на берегу реки. Сеппи сильно переменялся в лице, губы его дрогнули, но он ничего не сказал; мои слова словно оглушили его. Так он стоял и молчал, потом слезы брызнули у него из глаз, и он отвернулся. Я взял его крепко под руку, и мы пошли вместе, думая об одном и том же, не говоря ни слова. Пройдя мост, мы спустились в долину, потом поднялись на лесистый холм, и только там обрели дар речи. Мы говорили о Николаусе и вспоминали всю нашу дружбу. Сеппи не переставая твердил, словно говоря сам с собой:

— Двенадцать дней! Меньше двенадцати дней!

Мы решили, что все оставшееся время будем проводить с Николаусом. Мы должны насладиться его дружбой, каждый час был на счету. Но сейчас у нас не хватало духу пойти к нему. Нам было жутко; ведь это — почти все равно, что встретиться с мертвецом. Сказать это вслух мы не решались, но думали именно так. Поэтому мы оба вздрогнули, когда за поворотом дороги столкнулись лицом к лицу с Николаусом. Он весело крикнул:

— Ну-ну! Что это у вас такие кислые лица? Уж не повстречали ли вы привидение?

Мы не могли вымолвить ни слова в ответ, но, к счастью, этого и не требовалось. Николаус был готов говорить за троих. Он только что виделся с Сатаной, и все еще ликовал после беседы с ним. Сатана рассказал ему о нашем полете в Китай. Николаус попросил взять и его в какое-нибудь путешествие, и Сатана обещал ему, сказал, что возьмет его в дальнейшее путешествие, увлека-

тельное и прекрасное. Николаус просил его, чтобы он взял и нас двоих, но Сатана сказал, что сейчас невозможно; а придет наше время, отправимся и мы путешествовать. Сатана обещал прийти за ним точно тринадцатого числа, и Николаус с нетерпением считал оставшиеся часы. Тринадцатое было то самое роковое число, и мы тоже считали оставшиеся часы. Мы прошагали в тот день вдвоем не одну милю, выбирая излюбленные тропинки, знакомые нам еще с детства, и все время напоминая друг другу то один, то другой интересный случай из нашей дружбы. Веселился, впрочем, один Николаус; мы с Сеппи ни на минуту не могли позабыть мучившую нас страшную тайну. Мы старались обходиться с нашим другом как можно внимательнее и бережнее, старались показать ему, как мы любим его, и ему это было очень приятно. Мы все время старались оказать ему какую-нибудь услугу, хоть маленькое одолжение, и это тоже его радовало. Я отдал ему семь рыболовных крючков, все мое достояние, и уговорил его принять их в подарок, а Сеппи подарил ему новенький перочинный нож и желто-красный волчок. (Сеппи признался мне после, что недавно надул Николауса при обмене и теперь хотел чем-нибудь искупить вину, хоть Николаус и не помнил зла.) Сейчас он наслаждался нашим вниманием и был счастлив, что у него такие друзья. Его нежность к нам и его благодарность заставляли страдать нас, мы чувствовали себя недостойными его дружбы. Расставаясь с нами, Николаус сиял от восторга и говорил, что еще никогда в жизни не был так счастлив.

По дороге домой Сеппи сказал мне:

— Мы всегда любили Николауса, но разве мы дорожили им так, как сейчас, когда теряем его?

На другой и на третий день мы старались все свободное время проводить с Николаусом. Чтобы побольше побыть вместе, мы трое всеми правдами и неправдами увиливали от наших домашних обязанностей. Наши родители бранили нас и грозились, что нас накажут. Просыпаясь каждое утро, мы с Сеппи дрожали от ужаса и твердили: «Осталось всего десять дней. Всего девять дней. Восемь дней. Семь». Дни бежали один за другим, а Николаус был беспечен и весел и не мог понять, почему мы грустим.

Он пускался на всевозможные выдумки, чтобы развлечь нас, но большого успеха они не имели. Наша веселость была принужденной, наш смех замирал, словно что-то глушило его изнутри, и переходил в печальные

вздохи. Тогда он стал расспрашивать нас, почему мы грустны, говорил, что хотел бы помочь нам или хотя бы облегчить наше горе своим участием, и нам приходилось лгать, чтобы успокоить его.

А больше всего нас ужасало, когда Николаус назначал что-нибудь вперед, переступая в своих планах роковое тринадцатое число. Всякий раз при этом мы внутренне содрогались. Он не терял надежды развлечь нас и вывести из уныния, и наконец, когда ему оставалось жить только три дня, он сказал нам смеясь, что придумал отличную штуку. На четырнадцатое он назначает пикник и танцы для девочек и мальчишек всей нашей деревни на том самом месте в лесу, где мы встречали в первый раз Сатану. Мы слушали нашего друга в отчаянии. Ведь четырнадцатого его должны хоронить! Сказать, что мы не согласны, было нельзя. Он, конечно, захочет узнать, почему мы не согласны, а мы ничего не сумеем ответить. Он попросил нас помочь ему известить всех гостей, и мы согласились — разве можно отказать в чем-нибудь умирающему товарищу! Но это было ужасно, ведь мы приглашали гостей на его похороны!

Какими страшными были эти одиннадцать дней! Но сейчас, когда меня отделяет от них целая жизнь, я вспоминаю то время с благодарностью и умилением. Ведь это были дни близости с ушедшим от нас другом, и с той поры я уже никогда не знал дружбы, которая была бы такой тесной и нежной. Мы считали каждый час и минуту ускользающего от нас времени и цеплялись за них с той страстью отчаяния, какую испытывает скупец, когда разбойники расхищают дукат за дукатом его богатство, а он не в силах им помешать.

В последний вечер мы задержались дольше обычного. Вина была наша, мы медлили расстаться с Николаусом, и когда, наконец, простились с ним у дверей его дома, час был уже поздний. Мы помешкали чуть у двери, когда он ушел, и услышали то, чего опасались. Отец Николауса, уже не раз грозивший ему наказанием, жестоко побил его, и мы слышали, как Николаус заплакал. Мы пошли домой с печалью в душе, сокрушаясь, что это случилось по нашей вине. Мы жалели не только одного Николауса, жалели и его отца. Мы думали: «Если бы он знал... если бы только знал...»

Утром Николаус не пришел на наше обычное место, и мы поспешили к нему, чтобы узнать, почему.

Его мать сказала:

— Отец потерял терпение, говорит, что хватит с него. Когда Ники ни кликнешь, его нет дома, а потом выясняется, что он где-то гуляет с вами. Вчера вечером отец отлупил его. Я жалею Ники и много раз спасала его от порки, но на этот раз промолчала, потому что сама на него тоже сердилась.

— Ах, если бы вы заступились за Ники! — сказал я дрожащим голосом. — Может быть, это послужило бы вам утешением.

Мать Николауса гладила белье утюгом и стояла спиной к нам. Тотчас она обернулась с удивленным и обеспокоенным видом:

— Что это ты говоришь?

Я был застигнут врасплох. Она продолжала глядеть на меня в упор, а я все не знал, как объяснить ей мои слова. Мне на выручку пришел находчивый Сеппи:

— Конечно, вам было бы приятно вспомнить об этом. Вчера как раз Николаус рассказывал нам, как вы всегда за него заступаетесь, — вот мы и позадержались. Он говорил, что отцу никогда не удастся его отлупить, пока вы стоите рядом. Он так интересно об этом рассказывал, а мы так внимательно слушали, что совсем позабыли про поздний час.

— Значит, он вам об этом рассказывал, правда? — спросила она, вытирая глаза уголком фартука.

— Спросите хоть Теодора, он вам подтвердит.

— Мой Ники хороший, добрый мальчик, — сказала она. — Ах, зачем я дала отцу высечь его. Никогда не позволю больше. Подумать только, я-то сержусь и браню его, а он весь вечер расхваливает меня перед своими друзьями. Боже мой, если бы знать все заранее! Тогда мы не ошибались бы так, а то бродим впотьмах и спотыкаемся, словно скоты неразумные. Теперь я уже никогда не смогу вспоминать этот вечер без сердечной боли.

Она была точно такая же, как и все остальные. В эти несчастные дни никто не мог рта раскрыть, чтобы не выпалить что-нибудь, от чего нас охватывал трепет. Да они все «бродили впотьмах» и не понимали к тому же, какие грустные истины они изрекали.

Сеппи спросил, нельзя ли Николаусу пойти погулять с нами.

— К сожалению, нет, — отвечала она. — Отец велел поддержать его взаперти, чтобы он сильнее почувствовал, что наказан.

Мы переглянулись. Это был шанс на спасение. Если

Николауса не выпустят из дому, он не утонет. Для верности Сеппи спросил:

— Он просидит взаперти только утро, сударыня, или весь день до вечера?

— Весь день... По правде сказать, обидно, погода такая хорошая. И ему непривычно сидеть взаперти. Но он там готовится к пикнику, и это его развлечет. Надеюсь, что он не очень будет скучать.

Что-то в ее лице придало Сеппи отваги, и он спросил, нельзя ли нам подняться наверх к Николаусу и составить ему компанию.

— Вот и молодцы! — сказала она сердечно. — Вы настоящие друзья, если готовы отказаться ради него от веселой прогулки. Хотя иной раз я вас и браню, мальчики, но сердце у вас доброе. Возьмите по пирожку, а этот отдайте Ники, скажите: мама прислала.

Первое, что бросилось нам в глаза, когда мы вошли в комнату Николауса, были настенные часы. Они показывали без четверти десять. Возможно ли, что ему оставалось так мало жить? Сердце у меня сжалось. Николаус подпрыгнул от радости и кинулся обнимать нас. Он не скучал, готовился к пикнику и был отлично настроен.

— Садитесь, — сказал он, — я вам кое-что покажу. Я смастерил змея, вы просто ахнете. Он сушится у мамы на кухне. Сейчас притащу.

На столе у него были расставлены всякие заманчивые вещички. Это были призы, которые Николаус приготовил для пикника. На покупку их он потратил все, что сберег в копилке. Уходя, он сказал:

— Вот, полюбуйте, а я схожу вниз. Хочу попросить маму прогладить змея, чтобы он поскорее высох.

Он выскочил и, насвистывая, побежал вниз по лестнице.

Мы не стали любоваться призами. Нас ничто не занимало сейчас, кроме стрелок на циферблате. Молча мы вслушивались в ход настенных часов, и каждый раз, как минутная стрелка передвигалась на деление вперед, мы согласно кивали: миновала еще минута в состязании жизни со смертью. Глубоко вздохнув, Сеппи сказал:

— До десяти две минуты. Через семь минут, Теодор, смерть останется позади. Он будет спасён. Он...

— Тсс! Я как на иголках. Гляди и молчи.

Прошло пять минут. Мы задыхались от волнения и страха. Еще три минуты. На лестнице слышались чьи-то шаги.

— Он спасен!

Мы вскочили и ринулись к двери.

Вошла мать Николауса со змеем в руках.

— Вот это змей так змей! — сказала она. — А сколько он потрудился над ним! Начал еще на рассвете, а кончил перед вашим приходом.

Она прислонила змея к стене и чуточку отступила, чтобы лучше его рассмотреть.

— Ники сам его расписал, и я бы сказала — на славу. Церковь, правда, не очень похожа, но взгляните на мост, каждый скажет, что это наш мост. Он велел принести змея сюда. Боже мой, семь минут одиннадцатого, а я-то здесь с вами!

— Где он?

— Сейчас вернется. Выбежал на минутку.

— Выбежал на минутку?!

— Да. К нам зашла мать маленькой Лизы и говорит, что ее дочурка куда-то пропала и она сильно волнуется. Я и говорю Николаусу: «Хоть отец и запретил тебе выходить из дому, сбегай, поищи Лизу...» Да что это с вами, почему вы такие бледные? Вы оба больны, наверно. Сядьте, я сейчас принесу вам лекарство. Это от пирожков. Тесто было тяжеловато, но я думала, что...

Она исчезла, не кончив фразы, а мы ринулись оба к окну, которое выходило на реку. На дальнем конце моста стояла толпа, народ сбегался со всех сторон.

— Все кончено! Бедный наш Николаус! Ах, зачем она выпустила его из дому!

— Уйдем, — сказал Сеппи, подавляя рыдания. — Скорее уйдем, я не в силах видеть ее. Сейчас она все узнает.

Но уйти нам не удалось. Когда мы сбегали с лестницы, мать Николауса встретила нас с пузырьком в руках и заставила сесть и принять лекарство. Потом захотела проверить, помогли ли нам ее капли. Убедившись, что с нами все то же, она запретила нам уходить, а сама все бранила себя, что угостила нас пирожками.

Наконец настал миг, которого мы боялись. За дверью послышался шум и топот, и люди с обнаженными головами торжественно внесли в дом и положили на кровать два бесчувственных тела.

— О господи! — вскричала несчастная мать. Упав на колени, она обняла своего мертвого сына и стала осыпать его поцелуями. — Это я... Я виновата во всем, я погубила его! Если бы я не сняла запрет и не выпу-

стила его, с ним бы этого не случилось. Я наказана по заслугам, я жестоко поступила вчера, когда он просил меня, свою мать, за него заступиться.

Она рыдала и причитала, и все женщины тоже рыдали, жалея ее, и старались ее утешить, но она не слушала утешений и только твердила, что никогда не простит себе этого, что, если бы Николаус остался дома, он был бы жив и здоров, что она погубила его.

Все это показывает, как неразумны люди, когда упрекают себя за что-либо, что они совершили. Сатана нам сказал, что в жизни каждого человека не случается ничего, что не было бы обусловлено самым первым его поступком; и что человек не в силах нарушить предусмотренный ход своей жизни или повлиять на него.

Но вот раздался пронзительный вопль. Неистово расталкивая толпу, в дом вбежала фрау Брандт, простоволосая, полуодетая и, бросившись к своей мертвой дочери, стала осыпать ее ласками и поцелуями, стелая и бормоча несвязные речи. Истошив свое отчаяние до конца, она поднялась; на ее залитом слезами лице вспыхнуло ожесточенное и гневное выражение. Грозя небу сжатыми кулаками, она сказала:

— Скоро две недели, как меня мучат сны и предчувствия. Я знала, что ты хочешь отнять у меня самое дорогое. Ночи и дни, дни и ночи я пресмыкалась перед тобою, молила тебя пожалеть невинное дитяtko. И вот твой ответ на мои мольбы.

Она ведь не знала, что девочка спасена, она не знала об этом.

Фрау Брандт осушила глаза, отерла слезы с лица и стояла как вкопанная, продолжая ласкать щеки и локонь девочки и не сводя с нее взора. Потом сказала все так же горестно:

— В его жестоком сердце нет сострадания. С сегодняшнего дня я не молюсь больше богу.

Она взяла на руки свою мертвую девочку и пошла прочь. Толпа шарахнулась в стороны, чтобы пропустить ее. Все были напуганы тем, что она сказала.

Бедная женщина! Сатана прав, мы не знаем, где счастье и где несчастье, и не умеем отличать одно от другого. Не раз с той поры мне приходилось слышать, как люди молили бога сохранить жизнь умирающему. Я не делаю этого никогда.

Утопленников отпевали на другой день в нашей маленькой церкви. На панихиду собралась вся деревня, в том числе и те, кто был приглашен на пикник. Пришел

и Сатана, и это было вполне естественно: ведь если бы не он, не было бы и панихиды. Николаус умер без покаяния, и пришлось объявить сбор пожертвований на заупокойные службы, чтобы выручить его из чистилища. Собрать удалось лишь две трети потребных денег, и родители Николауса уже решили обратиться к ростовщику, когда подошел Сатана и внес последнюю треть. Он по секрету сказал нам, что никакого чистилища не существует и что он дает эти деньги лишь для того, чтобы родители Николауса и их друзья не горевали. Мы восхитились его поступком, но он возразил нам, что деньги ничто для него.

На кладбище плотник, которому фрау Брандт уже год была должна пятьдесят зильбергрошей, отобрал у нее гроб с мертвой дочерью вместо залога. Фрау Брандт не платила долга потому, что ей нечем было платить, и сейчас у нее тоже не было денег. Плотник унес гроб домой и четверо суток держал у себя в погребе. Мать сидела все это время у порога его дома и просила пожалеть ее. Наконец он зарыл гроб без церковных обрядов на скотном дворе у своего брата. Лизина мать почти помешалась от стыда и горя. Она забросила дом и хозяйство и бродила по городу, проклиная плотника и кощунственно понося законы империи и святой церкви. На нее было жалко смотреть. Сеппи просил Сатану, чтобы он вмешался, но Сатана возразил, что плотник и все прочие — люди и поступают в точности так, как подобает этому классу животных. Если бы так поступала лошадь, он непременно вмешался бы. В случае, если какая-нибудь лошадь позволит себе подобный людской поступок, он просит тотчас же сообщить ему, чтобы он мог вмешаться. Это, конечно, было насмешкой с его стороны. Где же отыщешь такую лошадь?

Через несколько дней мы почувствовали, что не можем больше терпеть отчаяния фрау Брандт, и решили просить Сатану, чтобы он рассмотрел другие линии ее жизни, и выбрал какую-нибудь менее жестокую. Он сказал, что самая продолжительная линия ее жизни тянется еще сорок два года, а самая короткая — около тридцати лет, но что обе они полны горя, страданий, болезней и нищеты. Единственно, что он еще может сделать, это задержать ход ее жизни на три минуты и переменить тем ее направление. Если мы согласимся, то он готов. Решать надо было немедленно. Нас с Сеппи раздирали сомнения и нерешительность. Мы не успели еще

расспросить Сатану о подробностях, как он сказал, что больше нельзя ждать, да или нет,— и мы крикнули:

— Да!

— Все! — сказал он.— Она должна была сейчас повернуть за угол. Я задержал ее. Это переменит ее жизненный путь.

— Что же с ней теперь станет?

— То, что должно с ней стать, уже происходит. Вот она встретила ткача Фишера и повздорила с ним. Теперь тот обозлился и задумал ей отомстить (он не решился бы, если бы не эта последняя ссора). Фишер ведь был при том, когда фрау Брандт произнесла свои кошунственные слова над телом умершей дочери.

— Что же он теперь сделает?

— Он уже сделал. Донес на нее священнику. Через три дня ее сожгут на костре.

Мы оледенели от ужаса. Язык не повиновался нам. Мы навлекли на фрау Брандт эту страшную кару, вмешались в ее жизнь! Сатана прочел наши мысли и сказал:

— Вы рассуждаете, как свойственно людям,— иными словами, бессмысленно. Я осчастливил эту бедную женщину. Ей все равно суждено было быть в раю. Теперь срок ее блаженства в раю увеличится, и на столько же лет сократятся ее страдания в этой земной жизни.

Недавно мы с Сеппи решили никогда не просить Сатану помогать нашим друзьям: ведь он полагает, что оказывает человеку услугу, убивая его! Но сейчас, прослушав его объяснения, мы стали думать иначе. И даже были довольны своим поступком.

Немного погодя я вспомнил о Фишере и робко спросил Сатану:

— А как будет с Фишером? То, что он сделал, тоже изменит линию его жизни?

— Конечно, коренным образом. Если бы он не встретился с фрау Брандт, так умер бы очень скоро, тридцати четырех лет от роду. А теперь проживет девяносто лет, будет богат и вообще, по вашим понятиям, счастлив.

Мы снова обрадовались, мы возгордились, что осчастливили Фишера и ожидали, что Сатана тоже будет доволен. Однако он оставался холоден. Мы с беспокойством ждали, что он нам скажет, но он молчал. Тогда, снедаемые тревогой, мы спросили его, нет ли какой-нибудь тени в счастливой судьбе Фишера. Сатана задумался, потом ответил:

— Видите ли, это сложный вопрос. Если бы все осталось по-старому, Фишер попал бы в рай.

Мы с Сеппи остолбенели.

— А сейчас?

— Не будьте в таком отчаянии. Ведь вы не хотели ему зла. Пусть это утешит вас.

— Боже мой! Как это может утешить нас? Ты должен был предупредить нас заранее.

Наши слова не оказали на Сатану ни малейшего действия. Он не способен был почувствовать боль и страдание, не мог даже толком понять, что это такое. Он рисовал их себе отвлеченно, рассудком. А так не годится. Пока не хлебнешь горя сам, ты будешь всегда судить о чужом горе приблизительно и неверно. Напрасно мы старались ему разъяснить, как ужасно то, что случилось, и как дурно мы поступили, причинив Фишеру это зло. Он отвечал, что не видит особой разницы, попадет Фишер в рай или в ад, что в раю по нем плакать не будут, там таких Фишеров сколько угодно. Мы старались втолковать Сатане, что он не должен брать на себя решение подобных вопросов, что Фишер сам вправе судить, что для него лучше и что хуже. Но наши уговоры пропали впустую. Сатана отвечал, что не станет заботиться о всех Фишерах в мире.

В эту минуту на другом конце улицы показался Фишер. Я едва устоял на ногах, только представив, какая его ждет судьба по нашей вине. А Фишер и думать не думал, что с ним приключилось худое. Он шагал энергичным, упругим шагом, как видно, очень довольный, что ему удалось погубить фрау Брандт, и с нетерпением поглядывал через плечо. Наконец он увидел то, чего ждал. Стражники вели фрау Брандт, закованную в кандалы. За ней бежала толпа зевак, которые оскорбляли ее и кричали: «Богохульница! Еретичка!» Некоторые подбегали поближе, чтобы ударить ее, и стража, которая должна была охранять заключенную, делала вид, будто не замечает.

— Прогони их! Скорей прогони! — закричали мы с Сеппи, позабыв в эту минуту, что любое вмешательство Сатаны меняет судьбу людей. Он чуточку дунул, и все они вдруг зашатались, заспотыкались, размахивая руками и словно хватаясь за воздух. А потом побежали в разные стороны, крича от ужасной боли. Дунув, Сатана сокрушил каждому из них по ребру. Мы спросили его, не переменял ли он тем линию их жизни.

— Конечно. Одни из них проживут теперь больше, другие меньше. Некоторые выгадают от перемены, но большинство прогадает.

Мы не решились спросить, не ждет ли кого-либо из них судьба Фишера. Лучше было не спрашивать. Ни я, ни Сеппи не сомневались, что Сатана хочет помочь нам, но нас все сильнее стали смущать его приговоры. До того мы хотели просить его познакомиться с нашей линией жизни и посмотреть, нельзя ли ее улучшить. Теперь мы отказались от этой мысли совсем и решили не говорить с ним на подобные темы.

День или два в деревне только и было толков, что об аресте фрау Брандт и о таинственной каре, постигшей ее мучителей. Зал суда ломился от публики. Исход дела был предreshен, потому что фрау Брандт повторила на суде все свои богохульные речи и отказалась взять их назад. Когда ей стали грозить смертной казнью, она сказала, что охотно умрет и предпочитает иметь дело с настоящими дьяволами в аду, чем с их жалкими копиями в нашей деревне. Ее обвинили в том, что она сокрушила ребра своим преследователям при помощи чар, и спросили, откуда знакома она с колдовством. Она отвечала с презрением:

— Неужели вы думаете, святоши, что были бы живы, если бы я обладала хоть какой-нибудь колдовской силой? Я убила бы вас на месте. Выносите свой приговор и оставьте меня в покое. Вы мне отвратительны.

Суд вынес обвинительный приговор. Фрау Брандт отлучили от церкви, лишили блаженства и обрекли на адские муки. Потом на нее надели балахон из грубой холстины, передали светским властям и под мерный звон колокола повели на рыночную площадь. Мы видели, как ее приковали к столбу и как первый, неколеблемый ветром сизый дымок поднялся над ее головой. Гневное выражение ее лица сменилось ласковым и умиротворенным; она оглядела собравшуюся толпу и негромко сказала:

— Когда-то давным-давно мы с вами были невинными крошками и играли все вместе. Во имя этих святых воспоминаний я вас прощаю.

Мы ушли с площади, чтобы не видеть, как сожгут фрау Брандт, но слышали ее крики, хоть и заткнули заранее уши. Но вот крики стихли,— значит, она в раю, пусть отлученная. Мы были рады, что она умерла, и не жалели, что были причиной этого.

Прошло несколько дней, и Сатана появился снова. Мы всегда ждали его с нетерпением, с ним жизнь была веселее. Он подошел к нам в лесу, где мы впервые с ним встретились. Жадные до развлечений, как все мальчишки, мы попросили его что-нибудь нам показать.

— Что ж! — сказал он. — Я покажу вам историю людского рода — то, что вы называете ростом цивилизации. Хотите?

Мы ответили, что хотим.

Мгновенным движением мысли он превратил окружающий лес в Эдем. Авель приносил жертву у алтаря. Появился Каин с дубиной в руках. Он прошел совсем рядом, но, как видно, нас не заметил и непременно наступил бы мне на ногу, если бы я ее вовремя не отдернул. Он стал что-то говорить брату на непонятном нам языке. Тон его становился все более дерзким и угрожающим. Зная, что сейчас будет, мы отвернулись, но слышали тяжкий удар, потом стоны и крики. Наступило молчание. Когда мы снова взглянули в ту сторону, — умирающий Авель лежал в луже крови, а Каин стоял над ним, мстительный и нераскаянный.

Видение исчезло, и длинной чередой потянулись неведомые нам войны, убийства и казни. Затем наступил потоп. Ковчег носился по бурным волнам. На горизонте, сквозь дождь и туман, виднелись высокие горы. Сатана сказал:

— Цивилизация началась с неудачи. Сейчас будет новый зачин.

Сцена переменилась. Мы увидели Ноя, упившегося вином. Потом Сатана показал нам Содом и Гоморру. Историю с Лотом он назвал «попыткой отыскать во всем свете хотя бы двух или трех приличных людей». Потом мы увидели Лота и его дочерей в пещере.

Дальше последовали войны древних иудеев. Они убивали побежденных и истребляли их скот. В живых оставляли только молодых девушек, которые становились военной добычей.

Мы увидели, как Иаиль проскользнула в шатер и вбила колышек прямо в висок спящему гостю¹. Это было совсем рядом; кровь, брызнувшая из раны, потекла красной струйкой у наших ног, и мы могли бы, если бы захотели, коснуться ее пальцем.

¹ Убийство ханаанского военачальника Сисары, потерпевшего поражение от иудейских войск, описанное в Библии (Кн. Судей, IV, V). — *Прим. сост.*



Перед нами прошли войны египтян, греков и римлян. Вся земля залита кровью. Римляне коварно обошли карфагенян; мы увидели ужасающее избиение этих отважных людей. Цезарь вторгся в Британию. «Варвары, жившие там, не причинили ему никакого вреда, но он хотел захватить их землю и цивилизовать их вдов и сирот», — пояснил Сатана.

Народилось христианство. Действие перенеслось в Европу. Мы увидели, как на протяжении столетий христианство и цивилизация шли нога в ногу, «оставляя на своем пути голод, опустошение, смерть и прочие атрибуты Прогресса», как сказал Сатана.

Святая Инквизиция появилась на сцене («Еще один шаг по пути Прогресса!» — сказал Сатана). Тысячи изувеченных еретиков, терзаемых палачами в застенках, многие тысячи обвиненных в волшбе и ереси и сжигаемых на кострах. И посреди этих чудовищных будничных зрелищ ослепительный галаспектакль во тьме, освещенной факелами, — избиение во Франции христиан христианами в ночь святого Варфоломея.

Войны, войны и снова войны, по всей Европе и во всем мире. По словам Сатаны, эти войны велись во имя династических интересов, для захвата новых земель, иногда же — чтобы подавить народ, который был слабее других. «Ни разу, — добавил он, — завоеватель не начал войну с благородной целью. Таких войн в истории человечества не встречается».

— Ну вот, — заключил Сатана, — мы с вами обозрели прогресс человеческого рода до наших дней. Кто скажет, что он не достоин всяческого удивления? Сейчас мы заглянем в будущее. Через год или два у вас будут Бленхейм и Рамийн¹.

Он показал на эти две страшные бойни.

Он показал нам сражения, в которых применялись еще более грозные орудия войны и которые были еще ужаснее по числу погубленных жизней.

— Вы можете убедиться, — сказал он, — что человеческий род — в постоянном развитии. Каин прикончил брата дубиной. Древние иудеи убивали мечами и копьями. Греки и римляне ввели латы, создали воинский строй и полководческое искусство. Христиане изобрели порох и огнестрельное оружие. Через два-три столетия

¹ *Бленхейм и Рамийн* — два кровопролитных сражения 1704 и 1706 гг. в войне за испанское наследство. — *Прим. сост.*

они неизмеримо усовершенствуют свои орудия убийства, и весь мир должен будет признать, что без христианской цивилизации война осталась бы детской игрой. И тогда народы и страны всего нехристианского мира станут добычей коронованных бандитов Европы. Они их захватят и в обмен дадут им блага цивилизации.

Через девять лет от сего дня родится прусский властитель¹, который прикарманит Силезию; потом он ввергнет народы в разрушительную кровавую схватку, покажет себя предателем и негодяем, за что и получит прозвание «Великий». А через шестьдесят лет родится на свет корсиканец², который утопит Европу в крови. Он тоже получит прозвание «Великий». Чуть ранее Англия примется заглатывать Индию. А в юности корсиканца во Франции произойдет революция, кровавые жертвы которой заставят забыть о Варфоломеевской ночи. Войны будут идти и все последующее столетие. Разбойничьи войны — каждая начата с преступными целями. Английская королева будет царствовать шестьдесят лет³ и будет вести более шестидесяти войн, распространяя цивилизацию и получая немалую прибыль. Позарившись на алмазные копи более слабой страны, Англия не без ловкости их прикарманит. Позарившись на золотые прииски другой слабой страны, англичане попробуют сцапать их по-разбойничьи, а потерпев неудачу, объявят войну и тогда уже захватят и прииски и всю страну в целом.

Китайцы захотят избавиться от христианских миссионеров, восстанут и перебьют их⁴. За это придется платить — наличными и территорией. Китайцы озлобятся и еще раз восстанут против оскорблений и гнета пришельцев. Тогда возникнет возможность проглотить весь Китай, и коронованные пираты ее не упустят.

Хотите, я покажу вам весь этот кровавый спектакль, чтобы вы убедились воочию, сколь преуспела цивилизация с тех Каиновых времен?

Тут Сатана залился бесчувственным смехом и принялся издеваться над человеческим родом, хотя и отлич-

¹ Имеется в виду Фридрих II Прусский (1712—1786), который воевал с Австрией, развязал разрушительную Семилетнюю войну (1756—1763), создал крупнейшую армию, считавшуюся тогда лучшей в Западной Европе.— *Прим. сост.*

² Наполеон I Бонапарт (1769—1821).— *Прим. сост.*

³ Виктория царствовала с 1837 по 1901 г. Далее идет речь об англо-бурской войне 1899—1902 гг.— *Прим. сост.*

⁴ Речь идет о восстании Ихэтуань (см. памфлет «Человеку, Ходящему во Тьме»).— *Прим. сост.*

но знал, как задевают нас эти слова. Никто, кроме ангела, так не поступит. Страдания для ангелов ничто, они о них только слыхали.

И я и Сеппи не раз уже пробовали с осторожностью, в деликатной форме объяснить Сатане, насколько неправилен его взгляд на человечество. Он обычно отмалчивался, и мы считали его молчание согласием. Так что эта речь Сатаны была для нас сильным ударом. Наши уговоры, видимо, не произвели на него сколько-нибудь заметного впечатления. Мы были разочарованы и огорчены, подобно миссионерам, проповеди которых остались втуне. Впрочем, мы не обнаруживали перед ним своих чувств, понимая, что момент для этого неподходящий.

Сатана продолжал смеяться своим бесчувственным смехом, пока не устал. Потом он сказал:

— Разве это не крупный успех? За последние пять или шесть тысяч лет родились, расцвели и получили признание не менее чем пять или шесть цивилизаций. Они отцвели, сошли со сцены, исчезли, но ни одна так и не сумела найти достойный своего величия, простой и голковый способ убивать человека. Кто посмеет обвинить их, что они мало старались? Убийство было любимейшим делом людей с самой их колыбели, но я полагаю, одна лишь христианская цивилизация добилась сколько-нибудь стоящих результатов. Пройдет два-три столетия, и никто уже не сможет оспорить, что христиане — убийцы самой высшей квалификации, и тогда все язычники пойдут на поклон к христианам — пойдут не за верой, конечно, а за оружием. Турок и китаец купят у них оружие, чтобы было чем убивать миссионеров и новообращенных своих христиан.

Тут Сатана снова открыл свой театр, и перед нами прошли народы множества стран, гигантская процессия, растянувшаяся на два или три столетия истории, бесчисленные толпы людей, сцепившихся в яростной схватке, тонущих в океанах крови, задыхающихся в черной мгле, которую озаряли лишь сверкающие знамена и багровые вспышки огня. Гром пушек и предсмертные вопли сраженных бойцов не стихали ни на минуту.

— К чему все это? — спросил Сатана со зловещим хохотом. — Решительно ни к чему. Каждый раз человечество возвращается к той же исходной точке¹. Уже це-

¹ В конце XIX — начале XX в. весьма распространена была идея круговорота истории, восходящая к концепции Джамбаттиста Вико (1668—1744), хотя Вико и не имел в виду абсолютного

лый миллион лет вы уныло размножаетесь и столь же уныло истребляете один другого. К чему? Ни один мудрец не ответит на мой вопрос. Кто извлекает пользу из всего этого? Только лишь горстка знати и ничтожных самозванных монархов, которые пренебрегают вами и считают себя оскверненными, если вы прикоснетесь к ним, и захлопнут дверь у вас перед носом, если вы постучитесь к ним. На них вы трудитесь, как рабы, за них вы сражаетесь и умираете (и гордитесь этим к тому же, вместо того чтобы почитать себя опозоренными). Само присутствие этих людей — удар по вашему человеческому достоинству, хоть вы и страшитесь это признать. Они не более чем попрошайки, которых вы из милости кормите, но эти попрошайки взирают на вас, как филантропы на жалких нищих. Такой филантроп обращается с вами, как господин со своим рабом, и слышит в ответ речь раба, обращенную к господину. Вы не устаете кланяться им, хотя в глубине души — если у вас еще сохранилась душа — презираете сами себя за это. Первый человек был уже лицемером и трусом и передал свое лицемерие и трусость потомству. Вот дрожжи, на которых поднялась ваша цивилизация. Так выпьем же, чтобы она процветала и впредь! Выпьем, чтобы она не угасла. Выпьем, чтобы...

Тут он заметил, как глубоко мы обижены, на полуслове оборвал свою речь, перестал так жестоко смеяться и, сразу переменившись, сказал:

— Нет, давайте выпьем за здоровье друг друга и забудем про вашу цивилизацию. Вино, которое пролилось нам в бокалы, — земное вино, я предназначал его для того, прежнего тоста. А сейчас бросьте эти бокалы. Новый тост мы отметим вином, которого свет не видывал.

Мы повиновались и протянули к нему руки. Новое вино было разлито в кубки необычайной красоты и изящества, которые были сделаны из какого-то неведомого нам материала. Кубки эти менялись у нас на глазах так, что казались живыми. Они сверкали, искрились, переливались всеми цветами радуги, ни на минуту не застывали в неподвижности. Разноцветные волны сшибались в них, идя одна на другую, и разлетались брызгами разных оттенков. Больше всего они походили на

повторения. У таких художников-сатириков, как М. Твен или А. Франс — в «Острове пингвинов» (1908), — идея круговорота становится средством социально-философской критики современного им общества. — *Прим. сост.*

опалы в морском прибое, пронизывающие своим огнем набегающий вал. Вино было вне каких-либо доступных для нас сравнений. Выпив его, мы ощутили странное околдовывающее чувство, словно вкусили с ним райский восторг. Глаза у Сеппи наполнились слезами, и он вымолвил благоговейно:

— Когда-нибудь и мы будем там, и тогда...

Мы оба украдкой глянули на Сатану. Должно быть, Сеппи ожидал, что он скажет: «Да, придет такой час, и вы тоже там будете», — но Сатана словно о чем-то задумался и не сказал ничего. Я внутренне содрогнулся, я знал, что Сатана слышал, что сказал Сеппи, — ничто сказанное или хотя бы помысленное не проходило мимо него. Бедный Сеппи смешался и не закончил начатой фразы. Кубки взлетели вверх, устремились в небо, словно три лучистых сияния, и там пропали. Почему они не остались у нас в руках? Это было дурным предзнаменованием и навевало грустные мысли. Увижу ли я снова свой кубок? Увидит ли Сеппи свой?

До сего дня я не знаю. Я промолчал, как и Сеппи. В некоторых случаях вредно допытываться — если вы хотите сохранить душевный покой. Я не уверен, что Сеппи увидит свой кубок, у него тоже сомнения, увижу ли я когда свой — для того есть причины. Потому мы смолчали и не стали заглядывать в будущее за пределами этой жизни.

Глава IX

[...] Власть Сатаны над временем и пространством поражала нас. Они для него попросту не существовали. Он называл их человеческим изобретением, говорил, что люди их выдумали. Мы не раз отправлялись с ним в самые отдаленные уголки земного шара и проводили там недели и даже месяцы, но, возвратившись домой, замечали, что прошла всего ничтожная доля секунды. Это легко было установить по часам.

Трибунал по борьбе с ведовством, не решаясь поднять дело против отца Адольфа или же Маргет, посылал на костер одних бедняков, и жители нашей деревни роптали. Наступил день, когда они потеряли терпение и решили сами поискать себе жертву. Их выбор пал на женщину хорошего происхождения, о которой было известно, что она излечивала людей колдовским способом. Ее пациенты, вместо того чтобы глотать слабительное и пускать себе кровь у цирюльника, мылись горячей водой и укрепляли свои силы питательной пищей.

Женщина бежала стремглав по деревенской улице, преследуемая разъяренной толпой. Она пыталась укрыться сперва в одном доме, потом в другом, но хозяева предусмотрительно заперли двери. Ее гоняли по деревне около получаса, мы тоже бежали с толпой, чтобы посмотреть, чем это кончится. Наконец она ослабела и повалилась на землю, ее схватили, подтащили к ближайшему дереву, привязали к суку веревку и надели ей петлю на шею. Женщина рыдала и молила пощады у своих мучителей. Ее юная дочь стояла возле нее, заливаясь слезами, но боялась вымолвить даже слово в защиту матери.

Это было, конечно, ужасно. Но в какой-то мере показывало и храбрость людей. Власти их здесь не поддерживали, и они на свой страх и риск выполняли то, что считали христианским долгом. И наша святая церковь обретала в этом величие, ибо только католикам свойственна такая отвага.

Тут Сатана вмешался в ход наших мыслей:

— Увы! Протестанты наделены такой же отвагой. Сейчас я покажу вам Шотландию, и вам придется умерить спесь.

И вот мы в Шотландии. Толпа протестантов гонит благородную женщину средних лет, о которой служанка сообщила, что она католичка. Это статная, сильная женщина, она безумно испугана, она бежит как олень, которого травят охотники, седая грива волос вьется по ветру. Каждый раз, как толпа ее догоняет, она стремглав бросается в сторону и бежит с новой силой, и они не могут ее схватить. Но потом приходит священник и дает им совет: «Выстройтесь полукругом и гоните ее к морю». Это был дельный совет, и женщина поняла, что конец неминуем. Все же она с полчаса не давалась им в руки; потом ее силы иссякли, она упала на землю, и они с горжествующим воплем схватили ее. Она билась отчаянно, но они притащили большую амбарную дверь, придавили ее этой дверью и навалились все сверху. И умирая, она не смирилась, и амбарная дверь ходуном ходила над ее сильным телом. Потом все утихло. А рядом стояла девочка, дочка убитой, слезы текли у нее по лицу, но она боялась вымолвить слово в защиту матери.

— Видели? — сказал Сатана. — Можете так же гордиться, как эти отважные протестанты. Вернемся же в Эзельдорф.

Нам показалось, что прошло три часа, но они только

кончили надевать ей на шею петлю. Пока мы были на взморье в Шотландии, здесь минуло всего полминуты. Мы были поражены.

Они повесили эту женщину, и я бросил в нее камнем, хотя в глубине души и жалел ее. Все бросали в нее камни, и каждый следил за соседом. Если бы я не поступил, как другие, кто-нибудь на меня непременно донес бы. Стоявший рядом со мной Сатана громко захохотал.

Все, кто был рядом, обернулись удивленно и негодуя. Неподходящее время он выбрал для смеха. Его вольнодумство, язвительные шутки, неземные мелодии, которым он нас учил, уже вызывали не раз подозрения, и многие были настроены против него, хотя пока что молчали. Ражий детина, деревенский кузнец, сочтя момент подходящим, зычно, чтобы все услышали, спросил:

— Чего ты смеешься? А ну, отвечай! И еще доложи народу, почему ты не бросил в нее камнем?

— А ты уверен, что я не бросил в нее камнем?

— Конечно. Не пробуй вывернуться. Я за тобой следил.

— Я тоже! Я тоже следил,— присоединились два голоса.

— Три свидетеля,— сказал Сатана.— Кузнец Мюллер, ткач Пфейфер и подручный мясника Клейн. Все трое отъявленные лжецы. Может быть, еще есть свидетели?

— Это неважно, есть или нет. И какого твоего мнения о нас, тоже неважно. Важно, что три свидетеля налицо. Докажи, что ты бросил в нее камень, или тебе будет плохо.

— Да, да! — закричала толпа и сгрудилась вокруг спорящих.

— А сначала дай ответ на первый вопрос,— закричал кузнец. Окрыленный поддержкой толпы, он почувствовал себя молодцом.— Говори, над чем ты смеялся?

Сатана с учтивой улыбкой ответил:

— Мне показалось смешным, что трое завязых трусов бросают камнями в мертвую женщину, когда сами одной ногой уже ступили в могилу.

Суеверная толпа ахнула и подалась назад. Кузнец, пытаясь храбриться, сказал:

— Вздор! Ты не можешь этого знать.

— Я знаю наверняка. Я предсказываю людям судьбу, это мое ремесло. Когда вы трое и кое-кто из других подняли руки, чтобы бросить в женщину камнем, я прочитал вашу судьбу по линиям на ладони. Один умрет

ровно через неделю. Другой сегодня к вечеру. А третьему осталось жить всего пять минут,— вот вам башенные часы.

Слова Сатаны произвели глубокое впечатление. Все, как один, подняли побледневшие лица к часам. Мясник и ткач сразу обмякли, словно пораженные тяжким недугом, но кузнец взял себя в руки и сказал угрожающе:

— Сейчас мы проверим одно из твоих трех предсказаний. Если оно окажется ложным, ты не проживешь и минуты, голубчик ты мой. Это я тебе говорю.

Все молчали и следили в торжественной тишине за движением стрелки на башне. Когда на часах прошло четыре с половиной минуты, кузнец вдруг охнул, схватился за сердце и с криком: «Пустите! Дышать нечем!» — стал валиться ничком. Окружающие отступили назад, никто не помог ему, и он рухнул мертвым на землю. Люди уставились на кузнеца, потом на Сатану, потом друг на друга. Губы у них шевелились, но никто не мог промолвить ни слова. Тогда Сатана сказал:

— Три человека уже заявили, что я не бросал в женщину камнем. Может быть, найдутся еще свидетели? Я обожду.

Эти слова вызвали панику. Сатане никто не ответил, но многие в злобе принялись попрекать друг друга.

— Это ты сказал, что он не бросил в женщину камнем!

— Лжешь, я заставлю тебя признать, что ты лжешь,— раздавалось в ответ.

Толпа заревела, началась всеобщая свалка, каждый тузил соседа, а посреди висел труп повешенной ими женщины, равнодушный теперь ко всему на свете. Она покончила с этим миром, ее страдания были уже позади.

Мы с Сатаной пошли прочь. Мне было не по себе, и меня мучила мысль, что хотя он и говорил, будто смеется над ними, но на самом деле смеялся он надо мной.

Снова захохотав, он сказал:

— Ты прав, я смеялся над тобой, Теодор. Из страха, что на тебя донесут, ты бросил в женщину камнем, когда вся душа твоя была против. Но я смеялся над ними тоже.

— Почему?

— Потому что они испытывали то же, что ты.

— Как же так?

— Если хочешь знать, из шестидесяти восьми человек, которые там стояли, шестидесяти двум так же не хотелось бросать в эту женщину камнем, как и тебе.

— Неужели?

— Будь уверен, что это так! Я хорошо изучил людей. Они — овечьей породы. Они всегда готовы уступить меньшинству. Лишь в самых редких, в редчайших случаях большинству удастся изъять свою волю. Обычно же большинство приносит в жертву и чувства свои и убеждения, чтобы угодить горлодерам. Иногда горлодеры правы, иногда нет, для толпы это не имеет большого значения, — она подчиняется и в том и в другом случае. Люди — дикие или цивилизованные, все равно — добры по своей натуре и не хотят причинять боль другим, но в присутствии агрессивного и безжалостного меньшинства они не смеют в этом признаться. Призадумайся на минуту. Добрый в душе человек шпионит за другим человеком, таким же, как он, чтобы толкнуть его на поступок, который обоим гадо. Мне достоверно известно, что девяносто девять из каждых ста человек были решительно против убийства ведьм, когда много лет назад кучка святош затеяла это безумие. Я утверждаю, что и сейчас, после того как суеверия вбивались столетиями в голову, не более чем один человек из двадцати в них действительно верит. И тем не менее каждый кричит о злокозненных ведьмах и каждый требует, чтобы их убивали. Но однажды поднимется горстка людей, которая сумеет перекричать остальных, может быть, это будет даже один человек, храбрец со здоровой глоткой и твердой решимостью, — и не пройдет недели, как овцы все повернут за ним, и вековой охоте на ведьм наступит конец. Случилось же так за последние десять лет в маленькой стране, называемой Новая Англия¹.

Монархи, аристократические правления и религии основывают свою власть на этом коренном недостатке людей. Суть его в том, что человек не верит другим людям, но, трепеща за свое благоденствие и свою жизнь, делает все, чтобы подладиться к ним.

Монархи, аристократические правления и религии будут и впредь проиветать, а вы будете под ярмом, оскорбленные и униженные, потому что вы рабы меньшинства и хотите оставаться рабами. Не было и не будет

¹ Имеются в виду выступления священника Джона Уайза (1652—1725) против реакционных теократов в защиту человека, а тем самым и против позорной охоты на ведьм. — *Прим. сост.*

такой страны, где большинство было бы действительно предано монарху, вельможе или священнику!

Меня возмутило, что Сатана сравнивает человеческий род с овцами, и я прямо сказал об этом.

— И тем не менее это так, ягненочек мой,— возразил Сатана.— Погляди, как людей заставляют идти на войну, и ты убедишься, что они истинные бараны.

— Но почему же?

— Еще не было случая, чтобы тот, кто начинает войну, действовал справедливо и честно. Вот я гляжу на миллион лет вперед и вижу только пять или шесть исключений из этого правила. Обычно же дело происходит вот так.

Горстка крикунов хочет войны. Церковь для видимости пока еще возражает, воровато оглядываясь по сторонам. Народ, неповоротливая, туго думающая громадина, протрет заспанные глаза и спросит недоуменно: «К чему мне эта война?» — потом скажет, от души недоудая: «Не нужно этой несправедливой и бесчестной войны!» Горстка крикунов удвоит свои усилия. Несколько приличных людей станут с трибуны и с печатных страниц приводить доводы против войны. Сначала их будут слушать, им будут рукоплескать. Но это продлится недолго. Противники перекричат их, они потеряют свою популярность, ряды их приверженцев поредеют. Затем мы увидим прелюбопытное зрелище: ораторы под градом камней сбегают с трибуны, озверелые орды людей (которые втайне по-прежнему против войны, но уже никому не посмеют в этом признаться) удушают свободу слова. И вот вся страна вместе с церковью издает боевой клич, кричит что есть духу до хрипоты и линчует честных людей, поднимающих голос протеста. Вот уже стихли и их голоса. Теперь государственные мужи измышляют фальшивые доводы и возлагают ответственность на страну, на которую сами напали. И каждый, ликуя в душе, что ему дают снова шанс почувствовать себя порядочным человеком, прилежно твердит эти доводы и спешит заткнуть уши, услышав хоть единое слово критики. Мало-помалу он сумеет увериться, что его страна ведет справедливый и честный бой, и, надув таким образом самого себя, вознесет благодарственную молитву всевышнему и обретет наконец душевный покой.

— Но народы ведь станут цивилизованнее, Сатана.

Он, конечно, захохотал. Слово «цивилизация» он не мог слышать без смеха. Он сказал, что на его памяти

тринадцать цивилизаций возникли, росли и снова пришли к дикарству, причем три из них были выше всего, что наблюдалось в былом и предстоит еще в будущем,— и все они были лживы и тираничны.

— Через двести лет,— сказал он,— христианская цивилизация придет к апогею. Но христианнейшие монархи останутся конокрадами. Это ли не прогресс! Англия станет могучей державой, добьется почетного имени, но потом потеряет его в грязной войне; выйдет запятнанной и зловонной. Угождая дюжине богачей-аферистов, Англия развяжет конфликт с фермерами, тоже христианами¹, пошлет против их деревень могучую армию, сокрушит их, захватит их земли. Она будет шумно кичиться своим торжеством, но в душе будет чувствовать, сколь она опозорена; и флаг ее, символ свободы и чести, станет флагом пиратов.

— Сатана,— сказал я,— этого не случилось бы с Англией, если бы она исповедовала истинную религию.

— А, ту прелесть, которую вы исповедуете у себя в Австрии. Я слышал, мой дядя хочет ввести ее у себя во владениях.

— Сатана,— сказал я,— это осквернило бы нашу религию.

В знак насмешливого сомнения он чуточку оттянул пальцем край нижнего века.

Глава X

Дни шли за днями. Сатана не являлся. Без него жизнь текла уныло. Отец Адольф разгуливал по деревне, пренебрегая общественным мнением. Время от времени какой-нибудь ненавистник волшбы, надежно укрывшись, запускал в него камнем. Маргет переживала благодатную перемену под влиянием двух обстоятельств. Во-первых, Сатана, который был к ней вполне равнодушен, после двух-трех визитов перестал бывать у них в доме. Это задело ее гордость, и она решила забыть его. Во-вторых, после того, как Урсула сообщила ей несколько раз, что Вильгельм Мейдлинг стал вести беспутную жизнь, Маргет поняла, что повинна в этом сама, что он ревнует ее к Сатане, и почувствовала раскаяние. То и другое пошло Маргет на пользу: интерес ее к Сатане ослабел, а интерес к Вильгельму Мейдлингу столь же неуклонно усилился. Если бы Вильгельму удалось

¹ Речь идет об англо-бурской войне.— *Прим. сост.*

взять себя в руки и добиться вновь уважения в нашей деревне, это привело бы к решительному перелому в его отношениях с Маргет.

Вскоре такой случай представился. Маргет послала за Мейдлингом и просила его принять на себя защиту ее дяди в предстоящем судебном процессе. Вильгельм был чрезвычайно горд полученным поручением, бросил пить и усердно принялся готовить защиту. По правде говоря, усердие заменяло ему уверенность, потому что шансов на выигрыш дела почти не было. Вильгельм часто вызывал меня и Сеппи к себе в контору и тщательно обсуждал с нами наше свидетельство, стараясь разыскать в гряде словесной мякины полновесные зерна истины.

Ах, куда же пропал Сатана? Я не переставал думать о нем ни на минуту. Он нашел бы способ, как выиграть дело. Раз он предсказал, что дело будет выиграно, значит, ему известно и как это сделать. Но дни шли за днями, а Сатаны не было. Я, конечно, не сомневался, что дело будет в конце концов выиграно и что отец Питер счастливо проживет остаток своей жизни. Раз Сатана обещал, это исполнится. Но на душе у меня было бы много спокойнее, если бы он явился и точно сказал, что всем нам нужно делать. Если отцу Питеру действительно суждена счастливая жизнь, то ждать было больше нельзя. Со всех сторон говорили, что тюрьма и позор совсем извели старика и, если это продолжится, он быстро умрет с горя.

Наконец настал день суда. Народ стекался со всех сторон. К нам съехались люди из отдаленных мест, чтобы послушать, как будут судить отца Питера. В зале собрались все, кроме него. Он был слишком слаб, чтобы присутствовать на суде. Маргет пришла, она была молодцом и старалась поддерживать в себе надежду и бодрость. Деньги тоже присутствовали. Они лежали высыпанные из мешка на стол, и те, кому разрешалось по должности, глазели на них и любовно перебирали монеты руками.

На свидетельской скамье появился отец Адольф.

Вопрос. Вы утверждаете, что деньги ваши?

Ответ. Да.

Вопрос. Как они вам достались?

Ответ. Я нашел кошелек с деньгами на дороге, возвращаясь из путешествия.

Вопрос. Когда это было?

Ответ. Два с лишним года тому назад.

Вопрос. Как вы поступили с находкой?

Ответ. Я взял деньги с собой и спрятал их в тайнике, в своем кабинете, рассчитывая, что в дальнейшем найдется владелец.

Вопрос. Что вы сделали, чтобы отыскать владельца?

Ответ. В продолжение нескольких месяцев я производил розыски, но без успеха.

Вопрос. Что вы тогда предприняли?

Ответ. Я решил, что дальше искать бесполезно, и думал пожертвовать эти деньги на новый приют для подкидышей при здешнем женском монастыре. Я вынул кошель из тайника и начал считать деньги, чтобы проверить, в целости ли они. В эту минуту...

Вопрос. Почему вы запнулись? Дальше.

Ответ. Мне тяжело вспоминать об этом. Когда я закончил подсчет и стал укладывать деньги обратно, то заметил, что у меня за плечами стоит отец Питер.

Кто-то в зале пробормотал: «Слушайте, слушайте!» Но в ответ послышалось: «Да это же лгун!»

Вопрос. Вы были встревожены?

Ответ. Нет, в ту минуту не был. Отец Питер и ранее заглаживал, чтобы попросить помощи. Он нуждался в то время

Маргет вспыхнула, услышав эту бесстыдную ложь, будто ее дядя ходил просить милостыни. Она хотела что-то сказать, но сдержалась вовремя и промолчала.

Вопрос. Что было дальше?

Ответ. Поразмыслив, я все же раздумал отдавать эти деньги на приют для подкидышей и решил, что буду искать владельца еще в течение года. Узнав о находке отца Питера, я за него порадовался, и только. Не возникло у меня никаких подозрений и через два-три дня, когда мои деньги исчезли. Но потом обнаружились три весьма подозрительных совпадения, связавших мою пропажу с находкой отца Питера.

Вопрос. Какие же совпадения?

Ответ. Отец Питер нашел свои деньги на тропинке, я — на дороге. Отец Питер нашел золотые дукаты. Я — тоже. Отец Питер нашел тысячу сто семь дукатов; в точности ту же сумму и я.

На этом отец Адольф закончил свои показания. Было видно, что они произвели на судей сильное действие.

Задав несколько вопросов священнику, Вильгельм Мейдлинг вызвал меня и Сеппи и попросил рассказать

суду, как было дело. Публика в зале стала посмеиваться, и мы оробели. Нам и без того было не по себе — мы-то видели, что Вильгельм чувствует себя неуверенно. Он старался, как мог, бедняга, но обстоятельства складывались против него. Даже при самом добром желании публика в зале суда никак не могла стать на его сторону.

Допустим, что показания отца Адольфа, учитывая его всем известную лживость, не вселили в судей и публику полной веры, но ведь и рассказ отца Питера тоже мог показаться чистой водой! Мы совсем приуныли. Когда же адвокат, приглашенный отцом Адольфом, заявил, что не станет нас вовсе допрашивать, что наши показания и так непрочны и было бы невеликодушным предъявлять к ним излишние требования, все в зале заулыбалось, и нам с Сеппи стало окончательно не по себе. После этого заявления он выступил с краткой язвительной речью, высмеял наш рассказ, назвал его детской выдумкой, нелепой и вздорной с первого и до последнего слова, и под конец так рассмешил публику, что все хохотали до колик. Бедная Маргет не в силах была больше храбриться и залилась слезами. Мне было жаль ее от души.

Но вот я поднял голову и почувствовал, как в меня вливается бодрость. Рядом с Вильгельмом стоял Сатана! Контраст был разительный. Вильгельм — с понуренной головой, в отчаянии. Сатана — уверенный, полный энергии. Мы с Сеппи воспрянули духом. Сейчас он выступит с речью и убедит суд и публику, что черное — это белое, а белое — черное, — словом, сделает, что пожелает. Мы обернулись в зал поглядеть, какое он произвел на них впечатление, ведь Сатана был очень красив, красив ослепительно. Но никто, казалось, его не заметил. Мы поняли, что он явился невидимым.

Адвокат отца Адольфа как раз кончал свою речь. Когда он произносил последнюю фразу, Сатана стал воплощаться в Вильгельма. Он растворился в нем и исчез. Вильгельма трудно было узнать — в его глазах загорелась неукротимая энергия Сатаны.

Адвокат закончил речь на патетической ноте. Торжественно указуя на деньги, он заявил:

— Страсть к золоту лежит в основе всякого зла. Вот оно перед нами — древнейшее из соблазнительей! Оно блещет позорным румянцем, чванится новой победой — бесчестьем священнослужителя и двух его юных сообщников. Если бы деньги имели дар речи, то, навер-

но, сказали бы нам, что из всех одержанных ими побед еще не было ни одной, столь прискорбной и ужасающей для человечества.

Он сел на место. Вильгельм поднялся и спросил:

— Из показаний истца я заключаю, что он нашел деньги два с лишним года тому назад. Правильно ли я понял ваши слова, сударь? Если нет, поправьте меня.

Отец Адольф сказал, что его слова поняты правильно.

— Деньги оставались во владении истца вплоть до указанного им дня, то есть до последнего дня истекшего года. Если я неправильно понял, сударь, поправьте меня.

Отец Адольф кивком подтвердил слова Мейдлинга. Тогда Вильгельм повернулся к председателю суда и спросил:

— Если я представлю суду доказательства, что лежащие здесь деньги не те, о которых сообщил истец,— согласится ли суд, что истец не имеет на них никакого права?

— Разумеется. Но вы нарушаете нормальный ход разбирательства. Если вы располагали свидетельством подобного рода, вы обязаны были известить своевременно суд, в установленном законом порядке вызвать свидетеля и...

Председатель суда прервал свою речь и стал совещаться с другими судьями. Адвокат отца Адольфа живо вскочил с места и заявил протест против вызова новых свидетелей, когда слушание дела уже подходит к концу. Судьи признали его протест обоснованным и вынесли соответствующее решение.

— Я не прошу о вызове новых свидетелей,— возразил Вильгельм.— Мой свидетель уже принимал участие в судебном следствии. Я имею в виду золотые монеты.

— Золотые монеты? Какое свидетельство могут дать золотые монеты?

— Они могут сказать, что они вовсе не те монеты, которые находились во владении отца Адольфа, они могут сказать, что в декабре прошлого года они еще не появились на свет. Не забудьте, что на них обозначен год выпуска.

Более верное доказательство трудно было придумать. Публика заволновалась. Судья и защитник отца Адольфа брали монеты одну за другой и потом опускали на место с криками изумления. Все восхваляли Вильгельма за то, что ему пришла в голову такая блестящая

мысль. Наконец судья призвал всех к порядку и объявил:

— Все монеты, за вычетом четырех, отчеканены в этом году. Суд выражает сочувствие обвиняемому. Суд глубоко сожалеет, что обвиняемый, будучи совершенно невинным, в силу несчастного стечения обстоятельств был заключен в темницу, опозорен и предан суду.

Таким образом выяснилось, что деньги все же имеют дар речи, хотя защитник отца Адольфа и выразил в этом сомнение. Суд удалился, и почти все, кто был в зале, направились к Маргет, чтобы поздравить ее и крепко пожать ей руку, а затем и к Вильгельму, чтобы пожать ему тоже руку и выразить восхищение его достойной удивления находчивостью. Сатана в это время уже выступил из Вильгельма и стоял теперь рядом с ним, с интересом поглядывая на происходящее. Люди шли сквозь него то туда, то сюда, не чувствуя, что он здесь. Вильгельм не мог объяснить, почему он заявил о монетах только в самом конце. По его словам, эта мысль пришла ему в голову вдруг, по наитию, а высказал он ее не колеблясь, так как был почему-то уверен, что это именно так. Это было сказано честно, иного и нельзя было ждать от Вильгельма. Другой на его месте заявил бы, конечно, что придумал все это заранее и приберег к концу для эффекта.

Сейчас Вильгельм уже малость поблек, и в глазах у него уже не было блеска, какой им придавало присутствие Сатаны.

Впрочем, они на минуту зажглись, когда Маргет подошла к нему, расхвалила, осыпала благодарностями, нисколько не думая скрыть, как она гордится его успехом. Отец Адольф удалился, изнемогая от злобы и всех и вся проклиная, а Соломон Айзекс ссыпал деньги в мешок и унес с собой. Никто не собирался больше оспаривать их у отца Питера.

Сатана исчез. Я подумал, что он перенесся в тюрьму, чтобы сообщить о случившемся узнику, и оказался прав. Радостные и счастливые, мы следом за Маргет со всех ног побежали в тюрьму.

Позже выяснилось, что, представ перед несчастным узником, Сатана вскричал:

— Суд окончен! Вот приговор! Тебя заклеили как вора!

От потрясения старик лишился рассудка. Десять минут спустя, когда мы вошли к нему, он важно разгуливал взад и вперед по камере и отдавал приказания тю-

ремщикам и надзирателям, именуя одного камергером, другого князем таким-то, третьего фельдмаршалом, четвертого адмиралом флота и так далее и тому подобное, ликовал, как дитя. Он вообразил себя императором.

Маргет бросилась ему на шею и зарыдала. Все мы были потрясены. Отец Питер узнал свою Маргет, но не мог понять, почему она плачет. Он потрепал ее по плечу и сказал:

— Не надо, дорогая. Здесь посторонние люди, и наследнице престола нельзя так себя вести. Скажи, чем ты встревожена, и я сделаю все, что захочешь. Власть моя беспредельна.

Оглянувшись, он увидел старуху Урсулу, утиравшую фартуком слезы, и с удивлением спросил ее:

— Ну, а с вами́ что приключилось?

Урсула в слезах объяснила, что горюет из-за того, что с хозяином случилось «такое».

Он задумался, потом пробормотал, словно обращаясь к себе:

— Странная особа эта вдовствующая герцогиня. В сущности, добрая женщина, но постоянно ноет и даже не может толком сказать, что с ней стряслось, а все потому, что не в курсе событий.

Взгляд его упал на Вильгельма.

— Князь Индийский,— сказал он,— я склонен думать, что вы повинны в слезах наследницы. Я утешу ее, не стану более вас разлучать. Пусть царствует вместе с вами. Свою империю я тоже передаю вам. Ну как, моя дорогая, разумно я поступил? Теперь ты улыбнешься, не так ли?

Он приласкал Маргет, расцеловал ее, а потом, очень довольный собой и нами, решил осчастливить всех разом и стал раздавать царства. Не осталось ни одного, кто не получил бы в дар хоть какое-нибудь княжество. Когда его наконец уговорили покинуть тюрьму, он направился домой, сохраняя величественную осанку. Народ, стоявший на улице, понял, что старика радуют почести, и стал кланяться ему до земли и кричать «ура», а он улыбался, милостиво наклонял голову и время от времени, простирая к ним руки, говорил:

— Благословляю вас, мои подданные.

Ничего более грустного мне не приходилось видеть. А Маргет и Урсула всю дорогу не переставая рыдали.

По пути домой я встретил Сатану и упрекнул его, что он так жестоко меня обманул. Он ничуть не смутился и ответил мне спокойно и просто:

— Ты заблуждаешься. Я тебя не обманывал. Я сказал, что отец Питер будет счастлив до конца своих дней. Разве я не выполнил обещания? Он воображает себя императором и будет гордиться и наслаждаться этим до самой смерти. Он единственный счастливый по-настоящему человек во всей вашей империи.

— Но какой путь ты избрал для этого, Сатана! Разве нельзя было оставить ему рассудок?

Рассердить Сатану было трудно, но мне это удалось.

— Какой ты болван! — сказал он. — Неужели ты так и не понял, что, только лишившись рассудка, человек может быть счастлив? Пока разум не покинет его, он видит жизнь такой, как она есть, и понимает, насколько она ужасна. Только сумасшедшие счастливы, да и то не все. Счастлив тот, кто вообразит себя королем или богом, остальные несчастны по-прежнему, все равно как если бы они оставались в здравом уме. Впрочем, ни об одном из вас нельзя сказать, что он в здравом уме, и я пользуюсь этим выражением условно. Я отобрал у этого человека ту мишуру, которую вы зовете рассудком, я заменил дрянную жестянку разума беспримесным серебром безумия, а ты меня попрекаешь! Я сказал, что сделаю его счастливым до конца его дней, и я выполнил свое обещание. Я обеспечил ему счастье единственно верным путем, доступным для человека, а ты недоволен!

Он разочарованно вздохнул и сказал:

— Вижу, что угодить человеческому роду нелегкое дело.

Вот так всегда с Сатаной! Он считал, что единственное одолжение, которое можно оказать человеку, это либо убить его, либо свести с ума. Я извинился, как мог, но остался тогда при своем мнении. Я считал, что он слабо разбирается в наших делах. В то время я так считал...

Сатана не раз говорил мне, что жизнь человечества — постоянный, непрерывный самообман. От колыбели и вплоть до могилы люди внушают себе фальшивые представления, принимают их за действительность и строят из них иллюзорный мир. Из дюжины добродетей

телей, которыми люди чванятся, хорошо, если они владеют одной; медь стараются выдать за золото. Как-то раз, когда разговор шел на эту тему, он заговорил о юморе. Тут я решил, что не уступлю ему, и сказал, что люди, конечно, сильны чувством юмора.

— Узнаю все ту же повадку,— сказал он.— Претендуете на то, чего нет, и норовите выдать унцию медных спилок за тонну золотого песка. Какой-то ублюдочный юмор у вас, конечно, имеется. Комическая сторона низкопробного и тривиального большинству из вас доступна, не спорю. Я имею в виду тысячу грубых несоответствий, абсурдных, гротескных, из тех, что рождают животный смех. Но по тупости вашей вам не дано распознать комизма тысяч и тысяч других смешнейших вещей. Вы их просто не видите.

[...] Наступит ли день, когда род человеческий поймет наконец, насколько они смешны, захохочет над ними и разрушит их смехом? Ибо при всей нищете люди владеют одним бесспорно могучим оружием. Это — смех. Сила, доводы, деньги, упорство, мольбы — все это может оказаться небесполезным в борьбе с управляющей вами гигантской ложью. На протяжении столетий вам, быть может, удастся чуть-чуть расшатать ее, чуть-чуть ослабить. Но подорвать до самых корней, разнести ее в прах вы сможете только при помощи смеха. Перед смехом ничто не устоит. Вы постоянно стремитесь бороться то тем, то другим оружием. Почему же вам всем не прибегнуть к этому? Зачем вы даете ему ржаветь? Способны ли вы применить это оружие по-настоящему — не порознь, поодиночке, а сразу, все вместе? Нет, у вас не хватит на это ни отваги, ни здравого смысла...

Он брал меня в странствия по всему свету, останавливаясь на неделю или на день — по часам это было минутное дело [...] Как-то мы забрели в маленький городок в Индии и остановились посмотреть на фокусника, дававшего представление перед толпой местных жителей. Он показывал чудеса, но я знал, что Сатане ничего не стоит затмить его. Я попросил Сатану показать свои таланты, он согласился и в ту же минуту стал индусом в тюрбане и с повязкой на бедрах. С обычной своей предусмотрительностью он внушил мне на время знание местного языка.

Фокусник достал семечко, посадил его в цветочный горшок и прикрыл тряпицей. Прошла минута, и тряпица стала вздыматься. Через десять минут она поднялась на фут. Фокусник сбросил тряпицу — под ней было де-

ревцо с листьями и со зрелыми ягодами. Мы отведали ягод, они были хороши. Но Сатана сказал:

— К чему ты прикрываешь семечко тряпкой? Разве нельзя вырастить дерево на свету?

— Нет, — ответил фокусник, — это невозможно.

— Недалеко же ты ушел в своем мастерстве. Я покажу тебе, как это делается.

Он взял у фокусника плодовую косточку и спросил:

— Какое дерево ты хочешь, чтобы я вырастил?

— Из вишневой косточки можно вырастить только вишню.

— Вздор! Это для начинающих. Хочешь, я выращу из вишневой косточки апельсиновое дерево?

— Попробуй! — сказал фокусник и засмеялся.

— И оно будет родить не только одни апельсины, но и другие фрукты.

— Если будет на то воля богов.

Все засмеялись.

Сатана засыпал косточку горстью земли и приказал ей:

— Рости!

Крошечный стебелек мигом пробился вверх, поднялся выше, выше. Он рос так быстро, что через пять минут стал большим деревом, осенившим нас своей кроной. В толпе пронесся ропот восторга. Когда зрители подняли вверх головы, им представилось необычайное, чарующее зрелище. Ветви дерева были усыпаны разноцветными плодами всех видов — апельсинами, виноградом, бананами, персиками, вишнями, абрикосами. Принесли корзины и начали сбор плодов. Люди толпились вокруг Сатаны, целовали ему руки и называли царем всех фокусников. Весть быстро распространилась по городу, сбежался народ, чтобы взглянуть на чудо; многие пришли с корзинами. Дерево не оскудевало. На месте сорванных плодов тут же вырастали другие. Десятки и сотни корзин были уже полны доверху, но плоды все не убывали. Вдруг появился иностранец в белом полотняном костюме и в пробковом шлеме. Он крикнул сердито:

— Убирайтесь прочь отсюда, собаки! Дерево выросло на моей земле и принадлежит мне.

Индусы поставили корзины на землю и стали почтительно кланяться. Сатана тоже почтительно поклонился, приложив руку ко лбу, как все, и сказал:

— Я очень прошу вас, сударь, позвольте этим людям собирать плоды еще час, только один час. Потом

налагайте запрет. Вам останется столько фруктов, что вся страна не сумеет съесть их за целый год.

Эти слова рассердили иностранца, и он закричал:

— Кто ты такой, бродяга, чтобы указывать мне, что делать?

Не ведая, какую судьбу он себе готовит, иностранец ударил Сатану тростью, а потом еще пнул ногой. Фрукты на дереве стали гнить, листья засохли и вскоре опали. Иностранец уставился на голые сучья с сердитым видом. Сатана сказал:

— Теперь ухаживайте усердно за этим деревом, ибо его жизнь и ваша связаны воедино. Дерево не будет больше давать плодов, но если вы будете усердно ходить за ним, оно проживет еще долго. Поливайте его каждый час, от заката солнца и до рассвета. Делайте это собственными руками. Нанимать кого-нибудь для этой цели нельзя. Поливать в дневное время тоже нельзя. Если вы не польете его хоть раз, оно засохнет, и вы умрете вместе с ним. Не пытайтесь скрыться на родину — вы не доберетесь туда живым. Не отлучайтесь в поздний час ни в гости, ни по делам. Помните, что ваша жизнь под угрозой. Не сдавайте внаймы эту землю и не продавайте ее — опасность слишком близка.

Иностранец был самолюбив и не стал молить о пощаде, но по его глазам я понял, насколько он близок к этому. Он стоял, вперив в Сатану неподвижный взгляд, но тут мы оба исчезли и перенеслись на Цейлон.

Мне стало жаль этого человека. Почему Сатана не поступил, как обычно: не убил его, не лишил разума? Это было бы милосерднее.

Сатана прочел мою мысль и сказал:

— Я не сделал этого потому, что жалею его жену, которая ничем передо мной не виновата. Она должна скоро приехать к нему с их родины, из Португалии. Сейчас она здорова, но скоро должна умереть. Она стесковалась по мужу и едет сюда, чтобы уговорить его вернуться на родину. Она умрет здесь и не узнает, что он не может покинуть эти места.

— Он не расскажет ей?

— Нет. Он не доверит никому своей тайны, побоится, что тот, кто узнает ее, проболтается, и тайна станет известной туземным слугам кого-нибудь из других португальцев.

— А индусы, они поняли, что ты ему сказал?

— Нет, но он будет бояться, что кто-нибудь понял. Страх этот будет терзать его. Он всегда поступал с ни-

ми жестоко, и теперь ему будут сниться страшные сны, будто они подрубают дерево. Это отравит ему дневные часы. О его ночных часах я уже позаботился.

Я был несколько огорчен, что Сатана черпает столь злобное удовольствие в своей мести этому иностранцу.

— А он поверил тому, что ты ему сказал, Сатана?

— Ему хотелось бы усомниться, но наше исчезновение заставит его поверить. Дерево, выросшее на пустом месте,— как же тут не поверить? Нелепое, фантастическое разнообразие плодов, внезапно засохшие листья — все это тоже толкает к вере. Но поверит он или нет, одно несомненно — он будет поливать это дерево. Впрочем, еще не спустится эта ночь, которая перевернет всю его прежнюю жизнь, и он предпримет последнюю попытку спастись, весьма характерную.

— Какую же?

— Он призовет священника, чтобы тот изгнал из дерева нечистого духа. Все вы, люди, изрядные комики, хоть и не видите этого.

— А священника он посвятит в свою тайну?

— Нет. Он скажет, что фокусник из Бомбея вырастил это дерево, а он хочет изгнать из дерева беса, чтобы оно снова цвело и приносило плоды. Молитва священника не поможет, и тогда португалец совсем падет духом и наполнит водой свою лейку.

— Пожалуй, священник сожжет дерево. Он не даст ему больше расти.

— В Европе он так бы и сделал, и сжег бы вдовок и португальца. Но в Индии живет просвещенный народ, здесь этого не допустят. Португалец прогонит священника и примется поливать свое дерево.

Я задумался, потом сказал:

— Сатана, ты обрек этого человека на тяжкую жизнь.

— Да, праздником ее не назвать...

Глава XI

[...] — Значит, ты уходишь от нас и больше совсем не вернешься?

— Да,— сказал он,— мы с тобой подружились. Я был рад нашей дружбе. Я думаю, и ты тоже. Сейчас мы расстанемся навсегда и больше не увидим друг друга.

— Не увидимся в этой жизни... но ведь будет иная жизнь. Разве мы не увидимся в той, иной жизни?

Спокойно, негромким голосом он дал этот странный ответ:

— *Иной жизни не существует.*

Легчайшее дуновение его мысли проникло в меня, а с ним вместе неясное и пока еще смутное, но несущее с собой покой и надежду предчувствие, что эти слова — правда, не могут не быть правдой.

— Неужели тебе никогда не случалось думать об этом?

— Нет. Мне не хватало смелости. Это действительно правда?

— Это правда.

Благодарность стеснила мне грудь, но прежде чем я успел ее выразить, вновь родилось сомнение:

— Да, но... мы сами видели эту иную жизнь... мы видели ее наяву... значит...

— Это было видение, не больше.

Я дрожал всем телом, великая надежда охватила меня.

— Видение? Одно лишь видение?

— *Сама жизнь — только видение, только сон.*

Его слова пронзили меня, словно удар ножа. Боже мой! Тысячу раз эта мысль посещала меня.

— Нет *ничего*. Все — только сон. Бог, человек, вселенная, солнце, россыпи звезд — все это сон, только сон. Их нет. *Нет ничего, кроме пустоты и тебя.*

— И меня?

— Но ты — это тоже не ты. Нет тела твоего, нет крови твоей, нет костей твоих — есть только мысль. И меня тоже нет. Я всего только сон. Я рожден твоей мыслью. Стоит тебе понять это до конца и изгнать меня из твоих видений, и я растворюсь в пустоте, из которой ты вызвал меня...

Вот я уже гибну, кончаюсь, я ухожу прочь. Сейчас ты останешься один навсегда в необъятном пространстве и будешь бродить по его бескрайним пустыням без товарища, без друга, потому что ты только *мысль*, единственная на свете; и никому не дано ни изгнать эту одинокую мысль, ни истребить ее. А я лишь покорный слуга твой, я дал тебе силу познать себя, дал обрести свободу. Пусть тебе снятся теперь иные, лучшие сны!..

Странно! Как странно, что ты не понял этого уже давным-давно, сто лет назад, тысячи лет назад, миллионы, не понимал все время, что существуешь один-единственный в вечности. Как странно, что ты не понял, что *ваша вселенная, жизнь вашей вселенной — только сон,*

видение, выдумка. Странно, ибо вселенная ваша так нелепа и так чудовищна, как может быть нелеп и чудовищен только лишь сон. Бог, который властен творить добрых детей или злых, но творит только злых; бог, который мог бы с легкостью сделать свои творения счастливыми, но предпочитает их делать несчастными; бог, который велит им цепляться за горькую жизнь, но скаречно отмеряет каждый ее миг; бог, который дарит своим ангелам вечное блаженство задаром, но остальных своих чад заставляет добиваться блаженства в тяжких мучениях; бог, который своих ангелов освободил от страданий, а других своих чад наделил неисцелимым недугом, язвами духа и тела! Бог, проповедующий справедливость, и придумавший адские муки, призывающий любить ближнего, как самого себя, и прощать врагам семижды семьдесят раз, и придумывавший адские муки! Бог, который предписывает нравственную жизнь, но притом сам безнравствен; осуждает преступника, будучи сам преступником; бог, который создал человека, не спросив у него, но взвалил всю ответственность на его хрупкие плечи, вместо того чтобы принять на свои; и в заключение всего с подлинно божественной тупостью предлагает рабу своему, замученному и поруганному рабу, себе поклоняться...

Теперь ты видишь, что такое возможно только во сне. Теперь тебе ясно, что это всего лишь нелепость, порождение незрелой и вздорной фантазии, неспособной даже осознать свою вздорность; что это только сон, который тебе приснился, и не может быть ничем, кроме сна. Как ты не видел этого раньше?

Все, что я тебе говорю, — это правда! Нет бога, нет вселенной, нет жизни, нет человечества, нет рая, нет ада. Все это только сон, замысловатый дурацкий сон. Нет ничего, кроме тебя. А ты только *мысль*, блуждающая мысль, бесцельная мысль, бездомная мысль, потерявшаяся в вечном пространстве.

Он исчез и оставил меня в смятении, потому что я знал, знал наверное: все, что он мне сказал, было правдой.

<i>П. Балдицын. Марк Твен и религия</i>	3

ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА СТОРМФИЛДА В РАЙ. Пер.	
<i>В. Лимановской</i>	13

ИСПРАВЛЕННЫЙ КАТЕХИЗИС

Рассказ о дурном мальчике. Пер. М. Абкиной	64
Среди духов. Пер. А. Старцева	68
Открытое письмо коммодору Вандербильту. Пер. М. Абкиной	75
Возмутительное преследование мальчика. Пер. М. Абкиной	82
Исправленный катехизис. Пер. А. Старцева	85
Послание ордену «Рыцарей святого Патрика». Пер. В. Лима- новской	88
Рассказ капитана. Пер. Т. Рузской	90
Плимутский камень и отцы-пилигримы. Пер. В. Лимановской	94
Письмо ангела-хранителя. Пер. А. Старцева	100
Красный кружок. Пер. Н. Дехтеревой	106
Дневник Адама. Фрагменты. Пер. Т. Озерской	116
Дневник Евы. Пер. Т. Озерской	128
Христианская наука. Пер. Т. Рузской	147

ЧЕЛОВЕКУ, ХОДЯЩЕМУ ВО ТЬМЕ

Человеку, Ходящему во Тьме. Пер. В. Лимановской	166
Соединенные Линчующие Штаты. Пер. Т. Кудрявцевой	185
Дервиш и дерзкий незнакомец. Пер. В. Лимановской	194
Сделка с Сатаной. Пер. М. Литвиновой	197
Доброе слово Сатаны. Пер. В. Лимановской	207
Монолог короля Леопольда в защиту его владычества в Конго. Пер. В. Лимановской	209
Военная молитва. Пер. Т. Кудрявцевой	233
Налоги и мораль. Пер. П. Балдицына	237
Был ли мир сотворен для человека? Пер. И. Гуровой	241
Разум бога. Пер. И. Гуровой	247
Официальный доклад ИИПН. Пер. И. Гуровой	249
Любознательная Бесси. Пер. А. Старцева	252
Мир в году 920 после сотворения. Пер. И. Гуровой	254
Библейские поучения и религиозная тактика. Пер. Э. Боровик	263

ИЗ «ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК» И «АВТОБИОГРАФИИ»

Из «Записных книжек». Пер. А. Старцева	268
Из «Автобиографии»	279

Человеческая натура. Пер. И. Гуровой .	279
Президентские выборы. Пер. И. Гуровой	285
Учение Джея Гулда. Пер. А. Старцева . . .	294
Мистер Рокфеллер и библия. Пер. А. Старцева	297
Размышления о религии. Пер. И. Гуровой	304
Молитва о прянике. Пер. Н. Дарузес	328
Мы — англосаксы. Пер. А. Старцева	330
Святой Грааль. Пер. М. Беккер .	332
Эндрю Карнеги. Пер. М. Беккер	338
ПИСЬМА С ЗЕМЛИ. Пер. И. Гуровой	340
ТАИНСТВЕННЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ. Пер. А. Старцева	394

МАРК ТВЕН

Сделка с Сатаной

Составитель Павел Вячеславович Балдицын

Заведующий редакцией А. В. Корогнян. Редакторы Т. Н. Зенюк, Г. И. Кряжевских. Младший редактор И. Г. Чекина. Художник В. Б. Мартусевич. Художественный редактор И. В. Зарубина. Технический редактор В. И. Демьяненко. Корректор Ю. П. Порошина

ИБ № 4128

Сдано в набор 31.07.85. Подписано к печати 13.12.85. Формат 84×103¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарн. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 26,04. Усл. кр.-отт. 26,04. Уч.-изд. л. 28,78. Тираж 500 000 экз. (1-й завод 1 — 200 000). Заказ № 133. Цена 2 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград. Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

21.0019

МАРК ТВЕН



**СДЕЛКА
С САТАНОЙ**